

КОНТИНЕНТ

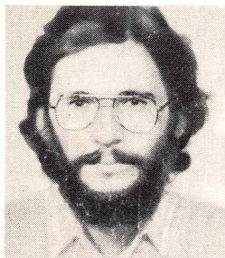
КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTYNENTS MANDER KONTINENT

80



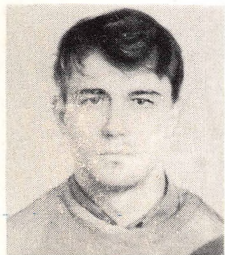
Неужто и в веках
(и в сказках,
и на сцене)
По рангам да чинам
ты всех решил
развесть?
Чтоб роль живых
ослов считать
за повышенье,
А роль пропавших
львов —
за униженье счастья!

Н. Матвеева



Сегодня приходится констатировать, что Церковь как нечто целостное, как духовная и общественная сила, которая имеет, что предложить обществу, переживающему тяжелейший кризис, — такая Церковь у нас не появилась.

А. Кырлежев



Это только нам кажется, что если мы выломались оттуда сами, то так же можем выломать с собой хотя бы ветку на память из того сада. Вдыхать и вспоминать. Да нет. Нет.

А. Терехов

Сегодняшнее руководство страны пришло к власти на волне борьбы с привилегиями, с союзным аппаратом, а теперь у нас для одного российского аппарата не хватает помещений.

М. Горбачев

Большая объединяющая национальная идея?.. Это хорошо, но необязательно..

Е. Гайдар

Совершенно ясно, что при Горбачеве власть имущие и в первую очередь сам Горбачев всячески пытались спасти, сохранить систему, укрепить ее. Они просчитались — дело было безнадежное...

Т. Троянов

Люди мы были тогда уже взрослые, успели посмотреть страну, понять, какая она большая и богатая, а живет плохо, не по возможностям. Было очень обидно, что мы не умеем делать самые элементарные вещи...

В. Виноградов

На мой взгляд, как это ни парадоксально, Гайдар просто прервал экономическую реформу, которую начал Горбачев. Одним простым способом: ввел сразу 80% налога на кооперативы.

Л. Пияшева



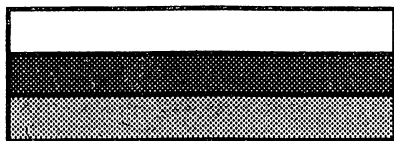




**Журнал издается при содействии
ИНКОМБАНКа**

КОНТИНЕНТ

*Литературный, публицистический
и религиозный журнал*



Выходит 4 раза в год

МОСКВА ◦ ПАРИЖ

80

КОНТИНЕНТ — CONTINENT

Издатели:

Редакция журнала "Континент"
Ассоциация друзей журнала "Континент"
(Париж, Президент Ассоциации и основатель-
учредитель журнала "Континент"
Владимир Максимов)
Издательство "Московский рабочий"

Адрес редакции: 101923, Москва,
Чистопрудный бульвар, 8а.
Телефон: (095) 928-97-42
Факс: (095) 201-57-41

Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются
и в переписку по этому вопросу редакция не вступает.

Рукописи, присылаемые на дом работникам редакции,
не рассматриваются.

При перепечатке наших материалов ссылка на "Континент"
обязательна.

Авторы несут ответственность за достоверность
приводимых ими фактов и цитат.

В розницу журнал распространяется
Агентством по распространению "АиФ".
Тел. (095) 923-68-59

© ТОО "Журнал "Континент"

© Название журнала "Континент" — В.Е.Максимов

Главный редактор: Игорь Виноградов

Зам главного редактора: Игорь Тарасевич

Ответственный секретарь: Сергей Юров

Редакционная коллегия:

Василий Аксенов ● Виктор Астафьев ● Ценко Барев ●

Александр Блок ● Армандо Вальядарес ●

Галина Вишневская ● Георгий Владимов ●

Ежи Гедройц ● Густав Герлинг-Грудзинский ●

Пауль Гома ● Алла Демидова ●

Милован Джилас ● Вячеслав Иванов ●

Эжен Ионеско ● Фазиль Искандер ●

Оливье Клеман ● Роберт Конквест ● Наум Коржавин ●

Эдуард Кузнецов ● Николаус Лобковиц ●

Эдуард Лозанский ● Эрнст Неизвестный ●

Жорж Нива ● Амос Oz ● Булат Окуджава ●

Ярослав Пеленский ● Андрей Седых ● Виктор Спарре ●

Витторио Страда ● Юзеф Чапский ●

Карл-Густав Штрем ● Юлиу Эдлис ● Сергей Юрский ●

Представители "Континента"

- Израиль Юлия Эйдельман
Hashaftim 22
64365 TEL-AVIV, ISRAEL
☎ (03) 69-67-375
- Италия Джулия Филиппелли
Via Olmetto, 5
20100 MILANO, ITALIA
☎ (2) 86-45-47-23
- Канада Ольга Бутенко
1221, Boul. Rene Levesque
SILLERY QC G1S1V8, CANADA
☎/fax (418) 688-1221
- США Эдуард Лозанский
3001 Veazey Terrace, N.W.
WASHINGTON, D.C. 20008 USA
☎ (202) 362-7855
- Франция Татьяна Максимова
9 rue Lauriston, 75116 PARIS, FRANCE
☎ (1) 45-00-67-56
- Швейцария
Женева Жан-Филипп Жаккард
104 rue de Carouge
1205 GENÈVE, SUISSE
☎ (22) 321-4052
- Берн Юрий Гальперин
Scheuermattweg 14
3007 BERN, SUISSE
☎ (31) 459-463
- Япония Госуке Утимура
Higashi-Yamato, Hikariga-oka 10-7
189 TOKYO, JAPAN

СОДЕРЖАНИЕ

Новелла МАТВЕЕВА	
<i>Догадка о Шекспире. Сонеты</i>	9
Александр ТЕРЕХОВ	
<i>Сон в летнюю ночь. Повесть</i>	18
Владимир БРЕМЕНКО	
<i>Житие Марии. Стихотворения</i>	93
Литературный дебют	
Ольга БУТЕНКО	
<i>От этого еще никто не умирал. Рассказы</i>	102
Юлиу ЭДЛИС	
<i>На снос. Повесть</i>	132
Литературный дебют	
Валентина БОТЕВА	
<i>Не порукой добра, не любовью. Стихотворения</i>	189
РОССИЯ	
<i>Настоящее и будущее России. Интервью главного редактора «Континента» И.Виноградова с М. Горбачевым, Е. Гайдаром, В. Виноградовым, Л. Пияшевой, Т. Трояновым</i>	194
ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА, ДОКУМЕНТЫ	
В. Г. КОРОЛЕНКО	
<i>Легенда о царе и декабристе.</i>	
Публикация Т.Г Дмитриевой	251

РЕЛИГИЯ

Александр КЫРЛЕЖЕВ

Церковь или «православная идеология»? 281

Максим ЭГГЕР

Архимандрит Софроний: монах для мира 304

Архимандрит СОФРОНИЙ

Как получить дар истинного бытия? 317

ГНОЗИС

Александр ХОМЕНКОВ

*Закат «естественно-научного материализма»
и христианское мировоззрение* 322

ИСКУССТВО

Дмитрий МИНЧЁНОК

*История нереализованного проекта Исадора Пальмера
по постановке «Торы» при императоре и большевиках . . .* 346

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «КОНТИНЕНТА» 365

ПИСЬМА В «КОНТИНЕНТ»

Владимир МАКСИМОВ

Письмо в редакцию 381

ДОГАДКА О ШЕКСПИРЕ

Дай мне перо из твоего крыла!

А.Кодру. «Икар»

1

Венера и Адонис

Богиня, кажется, не более горда,
Чем жареный кабан?! Ни при какой погоде
Такой вот лавочно-ветчинной бутерброде
Шекспир н е м о г поднести поэзного труда!

Не Саутгэмптон ли свой замысел (тогда
Подделки, разыгрыши — очень были в моде!)
Явил в шекспировском, плебейски крупном роде?
Но — полностью — в обход плебейского стыда?

Не Бекон ли, начав за свой престиж войну
И вспомнив, что владел шекспировской манерой,
Как раз имел в виду Адониса с Венерой?
Не более? Но стоп! Молчу. Чтоб на одну
Вещь малоценную не напустить пол-мира,
Как всех собак Зоил — на одного Шекспира!

**Новелла
Матвеева**

— родилась в г. Детское Село (ныне г. Пушкин) Ленинградской области. Автор многих книг, среди которых «Кораблик» (1963), «Душа вещей» (1966), «Ласточкина школа» (1973), «Река» (1978), «Избранное» (1986). Широко известна как автор песен.

Дать описание и лавра, и маслины,
И чувственных утех — что стоило эстетам?
Ведь кистью (сильною, как на хвосте ослином!)
Кто не располагал тем ренессансным Летом?!

Чем песнь о Веприце полна? По всем приметам,
Не Вашим, о, Шекспир, дыханьем не-бесчинным
Да сельской чистотой, но... — «университетом»
Да праздностью господ с их ржаньем беспричинным.

Вот так и слышится мне, за иным столетьем,
Как некто говорит (при сходе с пьедестала):
— «Друг Вилли! Мне строчить поэмы не пристало;
На, допиши-ка сам... И распишись под этим...

Ах, ты с ходатайством? Я все, что мне по силам,
Устрою для тебя в твоём театре миллом!»

Видение соавторства

Он не был скромником, но не был и разнуздан.
А то и от него домчался б запах серный!
И не был бы ему — рукой парнасских муз — дан
Венец особенный и гений беспримерный.

Ну нет! — не он сложил поэму о Венере!
Хотя, по-своему (как школьник, из-под палки!)
Ее раскрасить мог. (Вполне в его манере —
Изображенье тьмы... Вид моря... Вепрь. Фиалки)...

Но были все-таки они озорниками —
Те возрожденческие люди! Каждый в каждом
Своим гордись весьма; на стульях сидя рядом
(С прикушенными, в знак усердия, языками).

Поэт и Меценат могли кропать... Сенату?
Нет; «Посвящение» Поэта — Меценату!

Шекспировские героини

Заметив, что ее влюбленный бред
С пристрастием подслушан был в саду
Оброк Джульетта платит (разве нет?)
И женственной гордыне, и стыду

Корделия взошла бы к тигру в пасть,
Чтоб устранить разъявший царство грех!
Офелия — должна в безумье впасть,
Чтоб грубые куплеты спеть при всех!

Чтоб Дездемону грешницей считать,
Ее сперва пришлось оклеветать...
Кто ж Вам подсунул, первый бард земли,

Сию Венерку, веприцу греха?
Вы кем угодно в жизни быть могли,
Но только не предателем Стиха!

Маленькая рецензия на «Венеру и Адониса»

Задумалась. И слышу разговор уж
О том, что мысль моя антинаучна,
Что в снах Эрота есть, как снежна порошь,
С припека примостившийся беззвучно,

Знак чистоты. О, да. Но он — заморыш!
Тогда как пошлое и пышна, и тучна.
И если есть у вольных сценок сторож,
То он давно храпит благополучно!

Что хуже? Нож всадить Поэту в спину
Иль закрепить за ним сию картину
На все века? Нет, не Шекспир виновен,

Что сам Петрарка, чье ученье свято,
Здесь — не слышней ключа под кучей бревен;
Шекспир не мог так плохо слышать брата!

Угол шекспировидения,
откуда Шекспира и не видать!

Я уступаю вам поэму о Венере,
Злодеи! Можете отдать ее кому
Хотите! Этим-то уж вам ни в коей мере
Вреда не причинить кумиру моему!

Но... как — за Автора — в разбойничьей пещере —
Хотя б не сундуки; хотя бы лишь суму
Я «уступать» могу? Торгуясь, ко всему?!
И что-то вообще менять в его карьеру?

Разбив пустой флакон у мэтра в мастерской,
Как далеко зашла я в грозную стихию!
Но, сэр, я лучше тех, кто... всю драматургию
У Вас раскрасть хотят! И сеют слух такой,

Что Добчинский имел лицо и место в мире,
Чего никак нельзя подумать — о Шекспире!

«Пылкий пилигрим»

Ура! Я снова улыбаюсь,
Листая сборник «Пилигрима»!
Вот и Шекспир... Но ни одна из
Певучих сальностей — за ним

Не числится! А кто ж был словлен
У пороссяческих корыт?
Сей весельчак «не установлен»,
Мне комментарий говорит.

Венера? Ба! Адонис? Боже!
Которым ветром?! Почему
Вы — и в ничейных — так похожи
На т е х , приписанных ему?

Что думать о приписке странной:
Здесь — упраздненной, там — сохранной?

«И если б ничего не создал, кроме...»

/Кристофер Марло/

А ежели к рассказу о Венере
(Буфетной бабе, но куда срамней!)
Причастен Марло... Что ж. По меньшей мере —
Я увольняюсь. А ему видней.

С него отдельный спрос: он шаток в вере.
Могуч в сомненьи. Несколько бледней
Шекспира в драме. В нем дремали звери
Без кличек. И растенья без корней.

Шекспира он как раз настолько меньше,
Насколько меньше верил в скромных женщин
И в Господа. Он многих был умней,

Но если б ничего не создал, кроме
“Венеры”, — то и в памяти моей
Не обитал бы, как в надежном доме.

9

Кристофер Марло, или Гадание на цветах

Вплету в солому ряд цветов,
И пояс для тебя готов
С застежками из янтаря
И в бляшках, алых, как заря.

*К.Марло. «Песни для музыки».**

Из красных блях, цветов и янтаря с соломой
Он пояс обещал своей любимой сплести.
Как яркоцветна вязь! А в ней — какой знакомый
Дух непрактичности и преданности есть!

Тот будет поступать всегда неосторожно
И вечно цепи рвать, и вечно влечь ярем,
Кто верит, что сдержать в одной гирлянде можно
Соломку с бляхами и розы с янтарем.

От тренья янтарей соломка распадется,
Цветы не выдержат соседства жестких блях,

* Перев. В.Левика.

Тому же, кто сдружить их чаял, — век придется
У инквизиторов игрушкой быть в руках.
И, где-то в кабаке, Бог весть о чем радея,
Погибнуть под ножом наемного злодея.

10

* * *

Тот не безбожен, кто карьеры
Не бережет! В конце концов
Он мог восстать не против веры.
А против лжи ее жрецов.

Тот не безбожен, кто неверье
В сычей — хранит! Но пал поэт —
И грифов траурные перья
Пред ним заткали белый свет.

С отчаянья — свой горний чин
Еще в долинах мытарь тратит!
Пав духом, сам Шекспир подхватит,
Крамольный Марло, твой почин,
И нрав твой, твой конец, твой принцип
Быть может, вспомнит в “Датском принце”

11

Шекспир и Марло

Уайтхед, перечисляя пьесы Марло, такие, например, как “Пуританка”, приписываемые прежде Шекспиру, замечает: “...трудно поверить, что он (то есть, Шекспир — Н.М.) не высказал никаких возражений, когда пьесы появились в печати”.

Зачем он не открыл, что пьесы Марло — тоже
Ему приписывались? Бог ты мой! Затем,
Что для замешанного в марловском “безбожьи”
Заранее готов был марловский “эдем”.

С крюками, с дыбами, с костром под книги, с тем
Инструментарием для обдиранья кожи,
С которым “благостные пастыри” похожи
На адских выходцев (и тут уж без проблем!).

Итак, Шекспир сокрыл приятельскую лиру.
Но где? На площади, среди народных масс!
Он дал еретику подмости, плащ, рапиру...
Под именем своим он имя Марло спас!

Труд Марло не пропал: благодаря Шекспиру,
Где в маске, где ползком, а ведь дошел до нас!

12

Тот век...

Тот век, по нашему суждению,
Красно-зеленой был морковью:
Ботва взлетела к Возрожденью,
А корень пер к Средневековью,

Страшась расстаться с ним; оставить
В нем то, что многим кайф сулило...
Средневековье никогда ведь
И никуда не уходило!

Покуда Подвиг, Труд, Веселье
Земной поверхностью владели,
Оно сползало в подземелья,
На срок (примерно в полнедели).
И, зацепив петлей за шпору,
Прохожих втаскивало в нору...

13

“Все это” или Десертная ложечка

Я не причисляю себя к восторженным
поклонникам пресловутого Барда...

Уайтхед

Простому человеку безразлично, кто
был автором пьес, написанных, как его
учили..., Шекспиром, пьес, которые
уже настолько ему надоели, что он...
едва переступив порог школы, выкиды-
вает все это из головы.

Уайтхед. (Разрядка моя.— П. М.)

Угомонись, дитя поп-арта!
Зачем даешь такой сигнал,
Чтобы — уже со школьной парты -
Никто Шекспира знать не знал?

Ты, вижу, горд, как та невеста,
Что всем грозит (каргой — карга!)
За принца — не сойти ей с места! —
Не выйти замуж никогда?

Но, впрочем, вы с Шекспиром квиты,
Скучающий ами кошон:
Он — не видал твоей защиты,
Ты — счастья чтить его лишен.

Тому не в пользу пир, вестимо,
Чья ложка так маловместима!

14

Второе прочтение

“Голубку с фениксом” перечитав прилежно,
Назад беру слова, что это “не Шекспир”!
Конечно, здесь еще пока не ювелир —
Гранильщик молодой, — но будет неизбежно

Великим мастером! О, Боже, как мятежна
Стихия поисков! К открытию впритир —
Вдруг оступаешься... Пока скакал на пир, —
Уж кто-то твой бокал опустошил небрежно...

“— А если это так, — мне говорит Приличье, —
Раз красноречие в сетях косноязычья
Запуталось, — молчи!” Но... как мне быть немой?

Могу ли я застыть, подобно изваянью,
Когда враги спешат предать, Учитель мой,
Блестящие твои знамена — осмеяню?!

Роль Тени и тень роли

... — Ну и выступал он в роли Тени убитого короля, потому что очень уж плохой актеришка был...

*Из услышанного
в интеллектуальной толпе.*

В том нет зазорного, что, в драму смело въехав,
Роль Тени короля играет лицедей:
Зазорнее — по мне — тень в роли человека,
Ничем не связанная с миссией людей.

Тень короля сыграть почетней (слышишь, “гений”?),
Чем тушу Клавдия. Хоть Клавдий жив и здрав.
Тебе же не сыграть и клавдиевой тени,
Хотя б на роль ролей ты “выбил” право прав.

Неужто и в веках, и в сказках, и на сцене
По рангам да чинам ты всех решил развесть?!
Чтоб роль живых ослов считать за повышение,
А роль пропавших львов — за унижение счесть?!
Однако равенства запальчивый поборник
Не может не следить, кто пэр из нас, кто дворник.

Политика печали

Крутись, невидимый станочек!
Твой ход сокрыт, а суть — ясна:
Без одного сонета к ночи —
Не получается и сна!

Но от одной лишь мысли хитрой,
Что сочинителя чуть свет
Ждет на невидимом пюпитре
Недоработанный куплет, —

Я устремляюсь к дальним пирсам,
Ко дням, когда Шекспир был юн...
(Не с Бэкона ли Эдмунд списан,
Хоть Бэкон прям, а Эдмунд — вьюн?)...

Но главное, о, Мельпомена,
Что я засну всенепременно.

СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ

*Повесть
(Журнальный вариант)*

1.

Все, что было с нами на самом деле, оказалось, было слишком давно, чтобы стать нашей жизнью, и поэтому настоящего мы о себе не знаем ничего. Почти. Вот прадеда моей бабушки, Марии Ивановны Даниловой, «давнишнего деда», дразнили — Шевляк. «Шевылять» значит — ковылять. Может быть, поэтому я косолапый? А у моего прадеда, Ивана Микича, отца бабушки, в 1916 году отнял хату пожар, гнев Божий. Дядя позвал прадеда к себе во двор жить — доглядишь нас с бабкой, хата тебе и достанется.

Иван Микич доглядал, и та бабка дядина таскалась за ним по пятам. И с крыльца, уложив на колени серые, словно плесневелые булки, руки, следила, как он машет топором, обтесывая столб для подгнившей закуты.

Иван Микич тюкнул: раз! два! — закута своротилась на бок. Рухнула, дыхнув трухлявой рыжей пылью, выпужав кур. Бабка потрясла кривым пальцем и крикнула, досадуя: «Ванька! Шатош-ш ты переводиш родительску шэпку в ядрену мать?!»

Александр — родился в 1966 году в г. Новомосковске Тульской области. Окончил факультет журналистики МГУ. Автор книг очерков, повестей и рассказов «Секрет» (1989), «Зимний день начала новой жизни» (1992), «Прошу простить» (1993).

Видно, бабка была доставучая. Иван Микич, помирая, велел детям, выжившим из десятка: никогда не беритесь доглядывать.

Вот все, что мое. Доглядать — ненавижу, и болит занозой «родительска шэпка».

Бабушка Мария Ивановна рассказывала мне каждое лето, опять:

— Мой отец, это твой прадед, купил у Голячихи, у барыни, три десятины усадьбы. Нас было десять робенков у яго. Разве он думал тах-то жить-то? Он не захватил-то эйту жизнью... Пришел — штаны широкие, карна* трясется, и крестисся: «Ну, мать, спи спокойно. Есть куда детей сялить!»

— У нас на вусадьбе от выгона — рожь, ниже ржи — пашаница. Потом проса, конопель и картошки. Лен полосочку сеяли. Овец кошара, пастухи стерягли. Нанимали. Корова дойная да телушка. Подтелок, индюшки — по семнадцать рублей возила продавать на наряд себе. Куры, вуток водили, три лошади. Свинья поросная и хряк... Картошки закапывали, девать некуда было.

— Бабушка...

— Погоди. Раз лошади окоростовели, языки перевалилился. Пахать, а они нейдут, отец все коленки протер у штанах. Я ему хлеб нясу, а вон плаче, ругается:

— Пошла вон!

И этому хлебу не рад, ка-ак припустил за мной с кнутом! На Вербное сижу я, глядь: к нам мужик заехал:

— Где отец?

— Зле Кудимова овес сея.

А лошадь под мужиком (либо украл где) — во! Гладка-а, страсть. Супротив солнца прямо — блестить.

— Скажи: кум велел позвать.

— Тять, там кум приехал на лошади. Либо хочет табе лошадя продать?

Отец прямо стогне! Было меня задушил на радости.

С кумом поздравлялся. Тот:

— Кум, я вот табе лошадя разжилси.

— Ну что-ш табе за ие?

— Да что даш.

И он за ие и грячихи (забыла, сколько пудов), два поросенка отдал, да тялушку.

* Карна — мотня (Даль)

— Ба!..

— Да погоди ты!.. А Хверопонт, сосед новый, чегой-то загорелси, и пасека у отца погибла, а пасеки было много. Так он голосил... Хотел удавиться. А мать: «Отец, да уж ты либо отуманел? Да чегож ради на себя руки накладывать? Да ты и сам умрешь». Он помер по Масляной... Да што тебе?

— А в школу ты ходила?

— Зиму. За чятыре километра. Учись хорошо, а то поставят на грячиху, анеж больно. До Рошства ходила. Ноги к валенцам начали примерзать, кровью закашляла — села прясть. Манфактур-то не было. Скатерти ткала в пять сопков*...

— Ребята померли. Брат хвастал: «Грудь моя стальная, ие ничто не пронимас!», а помирал — подушку изорвал, кричал: «Уйди, Машк!», а мы стояли и плакали на его смерть. Два малых осталось. Старший настойчивый хто знат какой. Служил офицером. Их в Старом Осколе посекали в капусту. Банда какая-то наехала, понял? И сообщенья не было, ничаво. Усе ждали душу отпускать, усе ждали, а уж мать душу отпускала — я замуж вышла. Осталси только Тиша...

— Ба, а танцы тогда были?

— Днем либо вяжешь, либо скалки меташь, а ввечери идешь на вечеринку. Я была в чясти! Я как пойду — ов-во! — полечку под гармонию-двухрядку, только ноги стучать, да все жилы колотятся. А волосы у меня были — во! А сейчас седые стали проглядывать...

— Невестка, Анфиска, у меня была больная. Не тебе было слушать, не мне говорить: ребенка силом вынули. Какая ж это оказия? И Тиша ея берег. А я и углы закашивала, у отца была косарка. Мы выйдем троя, к обеду — гектар! Как блинчик схватим! Ни павиличку, никакой травки, ни пырью... Только все лятить, только все лятить!..

— Конопли били. У нас масло было, знаешь какое хорошее? Маслитя! Ештя! Яблоки солили по шесть ведерок, огурцы солили в наполах. Вишняку было хто знат сколько — на Илью возили продавать в верейи...

— Тиша женихом наряжалси. Тах-то дюже культурно. Манжеты. Тут-то во воротничок подкладывал сабе. Возили зерно в Щигры — привез мне ботинки на пуговицах. Отец бало с ума сошел.

* Сопок — цапок, деталь ткацкого станка.

— Я — одна дочка была. Не нарадуются! Шаль шелковая у меня. В церкви стояли, где звонят. Да я, как видная — одна дошь. И мои — Иван Микич, Тихон Ваныч, да мать — в почете. За меня сватались тот-то их зная сколько...

— А дед твой высватал.

2.

Мы жили на краешке России, средь воронежских, и белгородских, и курских земель, меловых откосов, медленных кривых речек, отороченных лозинами — каждое лето. И теперь мне кажется, что прожитые мной лета, это именно — лета, а прожитое бабушкой — ее речи. Они снова набухали в ней, пронзали, острые, землю и тянулись. Зрели и опять смыкались в нетронутое, пенистое золотыми верхами поле с сиреневыми отливами по меже, болели, переставая в бабушкиной немоте — и тогда снова приезжал я. Бабушка и говорила, облегчая землю. Освобождая ее.

Так сидели на крылечке рядом: моя жизнь и ее жизнь. Да не срослись.

3.

Бабушка не помнит, но когда я был мал и только осмеливался переходить один за озеро, в сад...

Я раздвинул траву, пугая стрекоз. Тихонько ступил в сад, под солнце: один, к саду одному. И вдруг из-под нашей яблони разом встали цыгане — там, на одеяле, разложены были яйца, огурцы и хлеб. Один шагнул ко мне, вынося вперед руку.

Я так бежал, что чуть не свалился в озеро. И поспешил за бабушкой обратно. За суровой, большой бабушкой моей. А сад уже пуст. Чист. Я помню это, сколько живу. Как-то сказал вслух: бабушка не вспомнила.

Чего испугался? С мешками страшными цыгане в городах. Там витрины с коричневым, толстым мылом из краденых детей. В наших Валуйках они только батюшку задушили, да и то — дура попадья: ей цыганка сотенную «разбить» протянула, а та полезла при ней в заветный сундук. Цыгане в ночь за сундуком и подъехали. Матушку заперли. А батюшку по-

том в кровати синего нашли. А батюшка, он меня крестил, бабушка помнит:

«Батюшка был бандит! И не успрашивай. Не позвала яго к сабе выпить. Пошла три поклона положить зле царских дверей, а вон табе на пол кинул. Он не издох своей смертью... Господи, можа мне и грех».

Следующий батюшка — красавец, девчонки из медучилища ходили глядеть на его бороду. Приехал — это было уже после того, как Брежнев помер — и куртка джинсовая, и штаны. Даже жилетка джинсовая, а крест — поверх. Имел университетский диплом филолога. Этот батюшка любил угощать шампанским. И играть в футбол по субботам на площадке у медучилища. В понедельник ходил присесть за карты к командиру пожарки и, прежде чем выбрать масть, восклицал: «Прости меня, Господи!»; и с чувством крестился на радио. Нашу Комсомольскую улицу он посетил только раз — соседкин сожитель Вольдемар скрал батюшкиного щенка.

Батюшка успел Вольдемару только рубаху порвать и раз по морде смазать. Тут налетели старушки, умолили. На батюшку писали жалобы. А самого нашли осенью под мостом истыканного ножом, прямо в лозняке. Говорили послали его за водкой а он не принес. так, что ли? Не знаю.

Следом батюшка приехал строгий. Но опять жалобы писали: в свежих росписях церкви звезды шестиконечные проглядывают, и цвет, заметили, какой голубой? Спроста это? Батюшку повысили от нас в Алексеевку, там он отстроил хороший дом. Оттуда его и посадили на семь лет, а церковная староста повесилась.

В ресторане, которым заправляла моя тетка, полюбили крепче всех следующего — тихого. Пел он протяжно. Затеял бесконечный ремонт и обнаружил, что боковая калитка церковной ограды точно выводит на заднее крыльцо ресторана. Руководя ремонтом, батюшка задирает голову детски улыбаясь безмятежному покою рабочих, раскинувшихся на лесах легким шагом переходил под своды ресторана и его останавливала только буфетная стойка.

Буфетчица наливала. Вздыхала:

— Эх, кто из вашего храма до нашего ходит — долго у вас не задерживается.

Ремонт завершился совокупным обвалом штукатурки и батюшкиным убытием куда-то.

Бабушка моя в городскую церковь не ходила. Слободскую взорвали.

— Взяли, да отворотили колокольню, где звонючь. Гагай, Нечаев да председатель сельсовету. У председателя сын умер. Не болел, не горел, зле парты умер. А сам поехал с суседкою за поросенком, без люльки мотоцик. И вколоса прямо в столб! Суседка осталась с двумя поросятами, а он околдыбился. Глянькися, ведь это ж господь его наказал?

4.

Мальчик проснулся от белого света.

Разомкнул теплые и невесомые веки. Свет острыми спицами ломился в зеленые ставни, сотрясаясь судорогами теней от колыхаемых ветром вишневых веток.

Мальчик услышал, как грустно на вдохе и равнодушно на выдохе сопит его нос. Щеку давила затвердевшая за ночь подушка. За голубыми цветами занавески откалывал по кусочку жизнь будильник-дровосек. Медленно, томительно колени подтянулись к животу, и неясным, как весеннее проседание снега, движением голова склонилась к плечу. В глазах таяло мохнатое сонное тепло. Спальня серела мазаными стенами, ровной, болезненной бледностью, непогрешимой легкостью солнца, ветра, июня.

Мальчик понял: он проснулся. Разбудил свет.

Серый кот, поддев толстой спиной занавеску, присел у кровати в позе «сфинкс», устремив вверх, будто загудевший электричеством, зеленый взор. Вдруг кот задышал, как ветер, пронесшийся по верхушкам дерев.

Мальчик окликнул:

— Кузя.

Но спекшиеся сонной истомой губы едва разомкнулись, выпустив неясный вдох, и ладошка дрогнула тоже. Кот, пушистым водопадом наоборот, перевалился в кровать, подержал равнодушный взгляд на окне: там был день. Дернул хвостом и лег. Протянулся, достав ухом до замазанного зеленкой локтя. Кот раздувал и сдувал круглые бока. Внутри его что-то довольно, громко рокотало.

Мать кота звали Муркой. Отца, скорее всего, тетя Вариным Василием. Кот жил неслухом: путался по чердакам с подругами, исчезал, являлся драным и скверно орал в сенях у ног

особенно хмурой бабушки — до заветной минуты, когда чистенный рыбий хвостик, переправляемый из тазика на сковородку, вдруг падал из запнувшейся руки под его усатую морду.

Очень скоро Кузя уже довольно тупо рассматривал мух на стене мутным взором, и алое пламя его язычка сыто гуляло по деснам и лапам.

Но как только вечер тянул на небо синеющее одеяло с редкими пока звездными прорехами, кот немедленно уметался со двора одному ему известной тропинкой меж картофельных гряд, посверкав на прощанье бандитским зеленым глазом.

Солнце еще не вычерпало холод из теней и озерной воды. Мальчик тер рукой руку и поеживался. На улице завяз грузовик с красно-черной тряпкой на боку, выл со звериным страданием, проминая в грязь охапки пыльного камыша, выдранного с крыши ближнего сарая — земля подрагивала.

Мальчик отвернулся. Через двор, у Шэпиных, ходил по огороду народ. Синеватый Вольдемар, сожитель тетя Вари, махал косою у межи, оборачиваясь на упорный петушиный выкрик. У соседей Придворевых качал насос — поливали. Небо пустовало от холода. Только облачко на краю — комком снега в талой воде. Кот выбрался следом и зевал что есть мочи.

Бабушка смотрела зацветшие огурцы. Сорвала с плети цветков покраше и кинула через забор на дорогу. Сколько за день овец пройдет — столько огурцов уродит. Нагнулась рвать траву.

Мальчик нахмурился — он же солдат! — взял из-за двери палку, служившую автоматом, и отправился, потрогав попутно лысый арбуз: растет?

Бабушка, не разогнувшись, выкрикнула:

— Ты далеко из хати?

Далеко, сам не знаю куда, отступает и этот июнь. Навтыкал седых, летучих вихров в рябые лысинки одуванчиков и уходит на цыпочках под бормотанье дождей, переступая через радуги, стеля пух тополей под босые ступни — чтобы тише. И куда они топятся все?

Я так старался все помнить. Будто собирался назад. А теперь вспомню в последний раз, что за хату бабушка сидела в тюрьме, хату ставили через двадцать лет после войны, после двадцати лет землянки. Бабушка подавала чурки выше окон, пока не заболел живот, а дед ставил. Один. Он был великий в Валуйках плотник и мог все построить. Кроме достойной

хаты себе. Строил эту недолго, побыстрее, на первое время. Вышло — на последнее.

Распухшее озеро весной заливало двор по крыльцо. Доски крыльца потемнели, вздыбились и гнили вокруг гвоздей. Под крыльцом ночевали лягушки и с вечера прыгали по лужам слепыми скачками — домой. Бабушка отпихивала их ногой, но не давя, чтоб не накликасть дождя.

В сенях хранились мои удочки и палки, газовый баллон и плита, кастрюли, ведра, просыхала картошка на мешке. В сенях разувались.

По хате стлались домотканые дорожки, которые я выхлестывал об забор по субботам. В кухне желто-грязная, в зале — голубая. В спальне — два круглых ковричка из лоскутков.

Кухню я любил: на печи можно лузгать семечки. Если дождь, совать чурки в пепельный зев печи — чтоб трещало. Из ведра пил без кружки, в каком-то трепете погружая лицо прямо в воду (и макаясь по уши после бабушкиного подзатыльника). В столе и шкафчике бабушка берегла печенье, конфеты, булочки — все, что приносила тетка из ресторана. По старому дивану я ползал храбро, как щенок под боком матери: проминал старые пружины, прыгал, выбивая пыль. Складывал из подушек трон и танк. И слушал бабушку — она спала на диване и сидела на нем всегда, когда было время. Рукомойник я не любил за умывания, холодную плаксивую сосульку носика.

Зато еще на кухне был комод: черный, проточенный жуками, с железными узорчатыми ручками и точеными колоннами по бокам — выше меня. В ящиках хранились мои рубашки и майки, отрезы материи, мотки серого, шершавого полотна, похвальные листы и выпускные фотографии отца, тетки и дяди Толи, дедовы медали и лента «Почетный колхозник», клубки, катушки, стопки клетчатых рубашек и широких галстуков — ими с дедом расплачивались за сколоченный стол или гроб (бабушка все ждала, что я подрасту — вон сколько носить), складывались письма и открытки на День Победы, вязальные спицы, крючки, крышки для банок, платки, пуговицы. В отдельном ящике бабушка держала свое «на смерть». Странно, я это знал. Но это казалось скучным: что-то белое, глаженое, стираное.

В зале я ел. Бабушка — на кухне, отдельно. Я ел за столом, на скатерть стлалась клеенка. «Кусай хлеб!» — прикрикивала

бабушка и стучала костистым кулаком по ручке дивана с протертым бархатным покрывалом. На этом диване спали квартиранты, когда я зимовал далеко от Валуек.

И я кусал хлеб. Накальывал вилкой картохи. Надкусывал и высасывал соленые помидоры. И вздыхал в сторону неумолимого тонконового фужера с козьим молоком. Молоко приносила Дунька Гусакова — вечером и всегда внезапно. В деревянном зеркале (его вместе с комодом подарила бабушке на свадьбу ее мать, Авдотья Афанасьевна) отражалась моя дрыгающаяся нога. Родственники с одинаково увеличенных фотографий ждали в выкрашенных под бронзу картонных рамках, когда же я начну пить молоко. Особенно неустрашимо взирал дядя Толя — в пожарной форме.

В зале еще висела «радива». Бабушка заходила в зал, только чтобы поставить на стол и убрать, оторвать лист календаря, выключить «радиву» и глянуть, кто там ходит возле хаты.

В спальне кровать поменьше принадлежала мне. Побольше, с тремя подушками и покрывалом с рыжим оленем — для гостей. Больше там и плюнуть было негде. Окна укрывались ставнями на ночь. Я отстегивал крючки, смыкал ставни, затыкал тяжелый шкворень в дыру в стене — бабушка ходила за мной внутри хаты и прихватывала шкворень за особую дырочку гвоздиком. Последней запиралась кухня. Ее окно глядело на озеро, на поленницу. В малине шуршали ежики, лохматым лоскутом промахивала над головой летучая мышь (они, говорили, цепляются за белую одежду), и я дрожал в своей светлой рубашке. На озере стонали лягушки и сверлила воздух мерным бульканьем неведомая тварь. Я запирал кухню и лез через кучу песка к крыльцу, задвигал засов за собой, поворачивал ключ, спотыкался в сенях о помойное, в синеватых наплывах ведро — бабушка заносила его на ночь, щадя мой сон от послеарбузных походов. Еще замыкал кухонную дверь и топал наугад к своей кровати. Бабушка с кряхтеньем ложилась. Диван под ней скрипел. Тьма, подносишь руку ковырнуться в носу — не видно. Тишина, только гавкает, как рубанок, запнувшийся о сучок, псина Гусаковых или родовитый кобель деда Никиты Гагая. Спать. Если не выходило — спальня с кухней сообщалась дырой у потолка (чтоб теплее было спать в зиму), и бабушка, прежде чем начать подхрапывать, обязательно еще говорила что-то.

— Я не шла замуж. Дед твой два года ездил, пока высватал. У их три коровы. Поехали дома глядеть — мы тут-то не поладили. Они грязно жили. Я: не пойду, да не пойду. А мать начала лупить рушником. Силом отдала! Я в хвате венчалась. Спевчими. Добра наготовили — лошадь не везла. Восемь подушек, пярины, шесть одеял. Пятьдесят холстов напряли: там-там страсть господня...

— Сабе хату, как горницу, выстроили — трехстенка сосновая! Там такие-то во дубы. Тиша, брат все просил: «Не выходи, Машк. Хоть лето еще погуляешь». Мать плакала, и ему: «Жанись и ты! Власть переменялася, голотыпа начала ворочать — делиться надо скорей». Тиша засватал эту хохлушку, Анфису, эх! Прости меня, господи...

— Усадьбу стняли, картошки вырыли. У моего дяди ригу сожгли и корм весь. «Марь Ванна! Марь Ванна! Ваша рыга горит!» Я глянула: а стропила уж повернулася. Знаешь, какая была рыга... Дядя побираться поехал по деревне...

— Кулачить начали побирашки: Барин (так дражнили), Шэпин, Гагай (это хто с гармошкой гуляет) — Сталин же выбирал. Мать зовет: «Машк, приходи, а то Шэпин сожге хату. Заночуй, дочешка, со мной, то миня тут задуют» «Да брось ты эту хату, да переезжай ко мне. Хоть подуют нас, дак с тобой. Мене с родительницей, а тебе с дочерью»...

— Мы в колхоз и не писалися. Тиша, брат, приехал верхом: «Маш, живая ты? Машечка, не то тебе говорить, не то нет, — охватил мене и заголосил. — Усех Баршевских повыселили».

— Да они ж не дюже богатые?

— Семнадцать дворов за ночь!

Да-а... вязал Сталин виски с висками. И какие женихи мои, все поплыли в Каранду... Далеко это?..

— За дедом твоим Гагай гонялси — дед прятался у ямки. Гагай ловит, сдать в Курск: зажиточный был? Десять лет дают. Я деду грю: докедаж ты будешь прятаться.

— Я поеду на постройку.

Не хотел он в колхоз, да больше ничего. Проводила я яго на Турбинстрой. Тут отобрали корову. Отобрали поросенка, Что я им еще поведу? Матиря свою?.. Шэпину иль Гагаю поллитра не поднесла, взяли — раму выдрали, да пошли. А где ж подносить: копейки не было за душой. Чуть что: выходит из хати!

Отца твоего только накупала, одеялом обернула, а Барин яго на снех выкинул, а он гробыхається. Я у костюмчику, да шалью покрывши, стою промеж оскорин, а вон с винтовкою...

— Начали хлеб отбирать. Я пошла к золовке, а она: «Слышь, Барина удавили. На дрожках ехал — ктой-то скинул, вожжи накиннул на яго, да удавил. За дрожками тащил-си»,— и засмеялась.

— Стало быть, это чья-то молитва дошла.

Глядь: к матери пришел Шэпин:

— Выходи, Авдотья Ахванасьевна, из хати!

— В честь чаго я буду выходить? Наживал ты яе?

Пришла мать ко мне, голосит день и ночь. Я грю:

— Чего ты голосишь? Никуда я не пойду от табе с робенками. Что будет с тобой, то и я буду отвечать.

Я верковном совете была — свечи тушила. Меня староста Анна Федоровна позвала к сабе:

— Маруська, ты, говорят, дюже молотить ловка.

Я осталась. Пять копен оstarновали* и иду двору. Глядь: Шэпин побег обаполо нашей усадьбе, а Гагай — по низу. Мать кричит:

— Меня Гагай гнал из хати! Я ребят вынесла на бугор, да боюся: либо лошадь будя бечь — задуша. Куцкою** меня ус-порол!

Задрала прям рубаху, а моя родительница — уся черная, прям пруты.

Я из Озер несла ветки у руку толщиной — вытащила тэйтү палку, догнала Гагая, перекрестилась — ка-ак начала яго гвоздить. Я табе, грю, укажу! Побирашек назначил Сталин, чтоб бабок бил ба!

Мать кричит:

— Машк, табе посодют!

Деда чуть не посадили после войны — с ним кидалась драться Анфиса, вдова Тиши, брата бабушки. Дед отмахивался — ему привесили мелкое хулиганство. Бабушка из-за этого опасалась хохлушек. Спрашивала:

— Ну, а ты, Сашк, когда женишься? Приглядел каку сабе?

— Рано еще.

* Старновать — обмолачивать наскоро.

** Куцка — короткий кнут.

— Смотря какая рана. А то — и шапкой не закроешь. Смотри — только не хохлушку.

Деда я не чувствовал, хоть спал в саду на его тулупе. Хоть щелкал маленьким, средним, высоченным (все ореховые) его кнутами. Громыкал итальянскими гильзами — дед накалял их и метил овец. Все — старые ульи, скамейка, сарай, забор, хата — это был дед. Только не я. Я и делать ничего не умел. Он жил да жил, работал, воевал, помер.

Мне казалось: я в бабушкиного брата Тишу.

Хата, доставшаяся Ивану Микичу от досмотренных стариков, стояла прямиком на краю слободы, по дороге на маслозавод и дальше — на Озеры. В гражданскую гнали мобилизованных — они хмуро дожидались во дворе у Ивана Микича своего часа, выходить. Тиша летел к соседу за гармошкой и выводил с крыльца страдальческим голосом: «Черный ворон, черный ворон, да что ты вьешься надо мной? Ты да-бычи-и не до-объешься, я-а ба-еец ищщо жи-и-ивой...»

Мобилизованные начинали поплакивать. Тиша наяривал пуще. Рыдание усиливались, начинали подвывать собаки. Наконец, Иван Микич высовывался из окна и кричал, пересиливая общую тоску:

— Тишка! Я щас тебе виски выдеру!

Для ночевавших Авдотья Афанасьевна выносила кастрюлю борща, с пылу, с жару, покрытого огненной, как цыганский платок, пленкой жира и поэтому даже не дымящего.

Тиша первым почерпывал и отплеывал в стороны матери:

— Ах, черт. Опять борщ холодный!

Следующий едок смело заправлял за щеку полную ложку и вдруг — хрипел, кашлял, брызжал слюной, со стоном бежал к колодцу, к воде. Тиша божился: показалось! Иван Микич снаряжал ему ложкой по лбу через стол, и Тиша бросался через огород и плетень на гулянку.

Иван Микич серчал недолго. Поехал глянуть лошадей на ярмарку в Тимоново. Ночевал на постоялом дворе. Там битком, народ какой-то ехал со свадьбы. И он спал на полу. Простыл и помер.

Мне казалось, что Тихон и погибнуть так просто не мог, как чуть не погиб, к примеру, мой дед на Днепре: упала банка резинового клея с плота, и он за ней нырнул. Тиша пропал без вести на близкой Курской дуге. Пропал — это не умер. Может, вернется?

Не знаю, думала ли так бабушка. После него оставшаяся совсем без родных.

6.

Хоть кончена война, а самолет все взлетает — доставить пакет в штаб генерала Ватутина. Наши штурмуют Киев, уже вцепились в землю на той стороне. Доставили, надо лететь обратно, а тут какой-то полковник: если сбросите боеприпасы на тот берег, по ордену из рук Ватутина!

Ночь, Днепр. Но плацдарм не мигнул фонариком — нет. Молотят немцы, уже мало горючего. Обратно, под огонь своих. Чуть не сбили. Ведь еще надо где-то сесть.

Штурман светил вниз фонарем:

— Роща... Болото, что ли. Кресты.

— Что «кресты»?

— Да кладбище! Пашня... Пашня, командир — садимся!

Они сели. Темень. И смотрели во все стороны ночи — молча. Только штурман бормотал:

— Дак Валуйки это. Ты что? Ты трубу не видишь? Маслозавод.

Командир буркнул:

— Сиди на месте.

Посветлело, и труба оказалась трубой. Механика отправили узнать. Он возвращался, за ним полз трактор и брели, нагибаясь против ветра, бабы. Механик помахал рукой.

— Видишь, — толкнул штурман командира, — я ж говорил: Валуйки.

— Сиди. Махать можно и под пистолетом.

Бабы за парашютный шелк принесли яичницу и две бутылки самогона.

— Нету горючего! — кричал комендант аэродрома и тащил командира за руку — глянуть. — Видал? Самолеты стоят с кровью для раненых! А я их отправить не могу.

Пришлось отдать ему одну бутылку — вмиг самолет заправили. После ужина пошли в землянку по набитой бензовозами колее. Разобиженный штурман махнул рукой и пошел «на скосы». Чтобы спрятать. Через поле.

Дошли — штурмана нету. Подождали. Закричали — стонет в ответ. Только по стонам нашли, ввалился в воронку, плавает по шею в грязи. Командир уж матерился...

Командира могли бы уволить из армии потом, в Белгороде со стола офицерской чайной он спьяну прокричал: «Бей жидов! Спасай Россию!» Остальные могли попасть под хрущевские сокращения. Генерал Ватутин умер от ран, похоронен в Киеве.

На следующем аэродроме штурман сел чистить пистолет. Пистолет вдруг — пальнул! Командир за ложкой нагибался, а то б — в лоб. Штурман вылетел из землянки на воздух злой, как собака, и прилег на травке. С боеприпасами предстояло лететь до аэродрома Рай, по одноименной станции.

Бабушка увидела штурмана самолета, когда шла ко двору. Они лопатками рыли луг под конопель. На руках были синие мозоли. Штурман курил и плевал, и зло плевал.

— Докедаж вы лятите? — спросила бабушка.

— Далеко. До Рая.

— У рай? — недоверилась бабушка, — что, был ты там?

— Был, — буркнул штурман.

— Гляньки-ся, что я у табе спрощу: и што, и валуйские там есть?

— А сколько хочешь.

— А Тихона Данилова там не видал?

Штурман холодно посмотрел на бабушку и спросил:

— А какой из себя?

— Высокий! Чернявый, веселый такой... Видал?

— А-а, так это Тишка? Да, видал. Есть такой. Хмурый только, чего ему там веселиться — жрать нечего. Сапоги он сносил. Курить нема, — с нажимом на «курить» бормотал штурман, борясь с улыбкой. — Да и выпить. Откуда там выпить?

— Ну, если я табе што и дам, отдашь яму? — нерешительно спросила бабушка.

Штурман поклялся.

Бабушка наворовала колосьев с поля, отобранного у нее колхозом после немцев. Просушила в печке, напарила. Разжилась молочком. Отрыла из ямки какие-то дедовы вещи и принесла утром узелок к самолету.

Штурману за труды отдала моток холстины — хошь на полотенец, хошь на портянки.

— Передай, — стала она наказывать и все-таки заплакала, — Анфиска яго живет одна, дети яго живы, только Васья

помер. Мой Васья воюе. Я — с детьми в землянке. Жизнь наша дюже тяжелая. Всех наших побила, друзей яго: Епихванова Мишку, Нюркиного Васюрку, Володьку, Ваську Серенькина, Ваньку Серенькина, Гришаку, Петечку Бабкиного, Мишу Шесталихиного...

— Ладно, все,— остановил ее штурман, осматриваясь по сторонам.— Будто он их там не встретил... Он, вообще-то, конечно, выпить хотел, да ладно, сойдет. Передам.

— Помер так хоть легко? — крикнула бабушка, вспомнив.

— Да как там легко. Не успел порточки надеть, а чайник уже свистит,— загадочно ответил штурман и отмахнул рукой: иди.

Самолет упал сразу за вокзалом и взорвался.

А еще память — это партизанские отряды. Это брошенные и списанные, и забытые окруженцы. Они тихо вымирают в неведеньи, что кончились войны и, как всегда, проиграны битвы, что все заросло, зажило, зажили. Как вдруг кольнет. Шевельнется мох. И шагают нетвердыми ногами к высокомерным победителям ветхие, немощные солдаты — наши знаки отличия. Поразительно и жалко верные всевышнему, неведомому долгу...

7.

К бабе Анфисе, Тишиной вдове, я ходил за яблоками. Я влезал и тряс. Она собирала яблоки в мое ведерко. Когда яблоко стучалось о ее согнутую спину, я говорил: «Извините...». Она очень удивлялась.

Когда бабушка села в тюрьму — об этом я еще вспомню — Анфисе досталась на житье младшая из детей — Рита, моя тетка. Тетка год просидела на печи. Баба Анфиса ворчала ей при гостях:

— Твоя мать черная, черная.. Да она и не вернется, не вернется. Скажи: какая твоя мать?

— Черная,— и тетка плакала.

Отца моего взяли дальше всех — Лозовые, за реку. Лозовой рубил мясо, ставил вечером патефон. Женился, разводился. Отца кормить было не за что. Не так мал, как Ритка, чтоб жалеть. Не так велик, как Толька — тот пастушил на Мона-

стырке. Когда отец стирал со стола, Лозовой разжимал его кулачок — не взял ничего?

Отца послали к бабе Анфисе за реку — за вестями от деда (дед все ездил хлопотать за бабушку); время обратно идти, а река поднялась, потужилась и пошла. По улице льдины ходят. Отец мялся на круче, где пожарная каланча. Ночь скоро. Лозовой вышел на крыльцо, оправился и махнул:

— Ну, пльви! Чего ты там стоишь?

Отца положили помирать на сундук в спальне. Когда он вспоминал себя, слышал патефон и пение: новая супруга Лозового работала учительницей.

На полгода отец ослеп и ушел побираться. Если Лозовой его встречал, то здоровкался по-взрослому и сажал рядом на совет:

— Вот учительница. Живет чисто. А жрать готовить? Я буду? Вот и подумай.

Бабушку выпустили — она собрала всех мигом. Лозовой даже обиделся: хоть бы картохи пропололи.

Только, моего дядю, бабушкиного сына, взяли на флот. Не вернувшись до дому, он сунулся в шахты, затем — в пожарную охрану. Женился на хохлушке. Привозил фотографию, хвалился: у жены — зуб золотой. Потом запил.

Бабушка обожглась и оставшихся определила строго: отца в машинисты, Риту — в повара. Всех — в город.

— Я ходила с хвостом подтрепанным, и вы чтоб ходили?

Я любил дожидаться тетку Риту. Издали заметишь: белая кофта, черная юбка. Шла осторожно, белые руки тянулись вниз — сумки. Она несла лимонад, пирожки с изюмом и яблоками, кексы, конфеты, ломти плотного сыра, печенье, колбасные дурмящие слитки. Несла жилистых петухов за синие ноги — они свешивали через край кулька свои кровавые гребни, как букет цветов. Несла голенастых кур, розовые протяженные кроличьи туши. Несла ведра абрикосов, плитки щербета, банки сметаны, горячий, податливый хлеб.

Бабушка притворно скучно выставляла все это на стол, ворча: «Куда все это?» Я смотрел преданно на тетку. Она скромно щелкала семечки в углу и устало улыбалась на меня. Очень аккуратно двигалась по хате, чтоб не замараться.

Наша хата — на Пушкарке. Сами Валуйки — за рекой, на выси. «Рит Васильна» в Валуйках — директор ресторана. Оттуда шлются нам машины с углем, чурками и навозом, при-

ходят веселые мужики пахать огород, бибикают расторопные шоферы, и мы через двор катаем с бабушкой арбузы: в сени, погреб, на чердак.

В ресторане пересекаются пути свадеб и поминок, юбилеев, комиссий, первого секретаря райкома коммунистической партии и пушкарского дурачка Миши Романенко. В кабинете тетки встречаются хозяева мясных, молочных, сахарных, масляных, пивных производств и соседи бабушки, включая тетю Вариного Вольдемара в дырявой кепке.

Тетку подвозила каждая машина. С ней здоровался каждый встречный. Когда она шла колядовать:

— Я маленькая девочка, одна, как в поле веточка. Ничего не знаю, кроме «аз» да «буки». Пожалуйста рупь в руки! — ей совали вазы из хрусталя. В день ее рождения из дальних деревень везли тыквы, кабачки, корзины помидоров, лукошки грибов, живых грустных кроликов, тушки гусей.

Муж ее пил, бил. Детей не нажили, разошлись. Его потом рак заел.

Я гордился — племянник Рит Васильны. Для Пушкарки я баб Машин внук. А для оставшихся Валуек — племянник.

8.

Мальчик двинулся вдоль озера — в сад, переступая павшие камышины с шершавыми листьями, содрогаясь от мгновенных ранений росы. В воздухе плавали худенькие и глазастые, как отличницы, стрекозы, изгибаясь горелыми спичками. Кот тигриной поступью шествовал вослед, приседая греться на открытых местах.

— Унук! — крикнула бабушка белой рубашке. — Ня долго! Есть будем. А сегодня деда Шэпина хоронят.

Мальчик боялся инвалидской палки деда Шэпина — злодея бабушкиных речей. Сегодня его хоронят.

Он обернулся и строго сказал:

— Кузя.

Кот зевал еще пуще и тряс башкой.

Справа соседский сожитель Вольдемар бросил косить, и за ним, как одна, понеслись на высоких ногах мясные куры, соря пером.

Соседская Придворева Майка слева — вывела есть малину сестренку по кличке Труссы. И говорила Трусам громко и гнусаво:

— О-оля, ты куда? Куда ты, О-оля, ты куда?

Оля с топотом давила гусениц и с хрустом втерлась в малинник, сопела и чавкала там.

Майка каждое лето росла рядом незаметно. Гнула голую спинку, собирая с картошки жуков. А этот год — вдруг пробежала, красная, в хату за купальником — только мальчик прибыл на откорм из далеких краев. Ее мать бросила тяпку, смеясь, и ушла следом.

А он заметил: девочка. И замечал дальше: он — в сад, она — на огороде. А сегодня ее что-то нет. Наверное, в городе. Он — на вокзал за семечками, она — поет, метет двор зелеными ветвями. А Труссы сидят у калитки в мокрых трусах. Вечером собирается лавочка — Майка выходит постоять: молча, дичась, отдирая с забора кору, шлепая комаров, именно она: с жалким хвостиком, редкими остренькими зубами и свекольной рожей — его единственная сверстница. А еще соседка! И толстая. И это «еще» складывалось с «еще» и «еще» с каждым днем, и мешало, злило, тревожило. Странно трогало, что рядом — всегда она. Он стыдился, что она — именно вот, вот такая. Это унижало почему-то его и меняло. Когда собиралась лавочка.

Со станции дохнул тепловозный, горячий гудок, пуганув скворцов — качнулась земля, камыши кренились. За озером ждал сад — ерошился ветром, как буйные кудри прилегшего спать; сад — корявые, как вены бабушкиных рук, вишнины с черными лохмами отстающей коры и заросшие по пояс травой, скрывающей скорбные пни умерших сестер; смородиновые кусты с пахучим листом, колючие старухи-сливы ползут всех выше и, наконец, с ненавистью сплетаются, трутся синими в солнечный полдень ветвями, не пуская света под себя — в сырой, пахучий сумрак куда осыпаются черные и сиреневые сливы с зеленым, тугим румянцем и гниют безвестно, в покое там зреют груши в недоступной выси, копя солнце — от резиновой твердыни до прелой зернистой мякоти: чавкнут о траву в ветреную ночь, уйдя в землю, под бережливое, приземистое облачко крыжовника с запорожскими чупринами на продолговатых, просвеченных насквозь плодах.

И внутри всего, как ладонь раскрытая небу, достигая ветвями всех, простираясь, пряча под подол детский взор земляничных ягод, росла, не качаясь под ветром, мать-яблоня — старое, толсторукое дерево, рожавшее каждый год, как в последний — с бессмысленной, слепой щедростью ронявшее под робкий, сердечный стук белобок, чистые яблоки — собираешь без усталости, а сколько — не заметил: пускают в себя землю, капли дождя, но только не червя, устают ждать и чернеют беззлобно у подножия матери своей, у чрева.

Мир — этот мир, прихваченный к небу золотыми нитями солнечных лучей, полный грузным шмелиным гудом, жеманным скрежетом камыша, паденьем плодов и птичьих вскриков; и земля — душистая, мягкая, тяжелая земля. Мальчик сел, и под колени, в натяженье кожи, упирались и щекотали податливые усы прохладной травы, и зашептал дрожащей тропой муравей. И мальчик лег, прижав руки к груди, на промявшейся земле, как на блюде, пустив солнце ломиться чрез частокол жарких ресниц. А ведь скоро будут вишни, хоть пока зелены и малы.

Сердце вздрагивало внутри маленького тела, странно устроенного и пущенного жить: с двумя глазами, светлой головой, твердыми коготками, носом с дырками — он возлежал под яблоней, охваченный косматой травой, словно опавший, последний, выродившийся плод — в блаженную пору нетленья и первозданности. В лоб пекло, в спину холодом земля давила — день начинался. Небо гнулось, как парус.

Кот престарело жмурился на солнце и сопел, изготавливаясь чихнуть.

За садом, за дырявым плетнем, тянулся мертвый двор: хата — сквозь сгнивший камыш голыми ребрами вылезли стропила, заколочены выбитые окна, и сад — без троп. Поэтому мальчик не ходил в свой сад в серые вечера — заброшенный двор и вовсе темнел, к каждому стволу липли человеческие, крадущиеся тени.

А светлым днем с той стороны наступали псы-рыцари, Наполеон ждал московских ключей на Поклонной горе, постреливали кулацкие банды, шли черные цепи фашистов, стрекотали вертолеты правительственных войск, копилась враги — я забирался в развилку яблоневых ветвей, в окоп, устраивал ствол оружия на удобном сучке и воевал. Можно

еще пожевать смолу чайного цвета, отодранную от вишнины. Кот Кузя использовался для разминирования, переноски раненых и подвоза боеприпасов, а теперь напрягся под смородиной и кряхтел.

— Кузя!

Кот неприязненно косился.

— Фу!

Сад — зеленый, черный, нагретый — весь день, всегда новый; и страшный, неумолимый, когда тяжкая ночь вползала в него под стынущими от ужаса звездами — тогда возвышает голос всякая тварь — но ведь все уже спят. Хоть день и ночь как-то связаны.

Мальчик раздвинул ветки — за хатой Шэпина в теньке сараев ждали женщины в жарких, черных платках, тесных платьях. Мужики, багровые от загара, курили. Шэпинские правнуки чесали дуреющего от жары кобеля.

Мальчик примерился и направил палку на людей, в загородное поместье кровавого тирана Сомосы, в офицеров национальной гвардии, платья в брильянтах, американского горбоносого посла, в капиталистов-хищников, начальника генерального штаба, подписавшего приказ о расстреле бастующих горняков, в белые куртки официантов, туши охраны, подносы.

Он касался щекой теплого гранатомета и ласкал пальцем тяжелый клюв спускового крючка: выйдет, сейчас, в снежном парадном мундире, и отсюда, от зелени и ветвей до золотого роения этих тварей, полыхнет, дотянется смертоносное пламя — месть. Народ измучен голодом и насилием.

Застучат телеграфы — конец выроodka. Он побежит к спасительному лесу: ждут соратники, машины. Стрельба! «При попытке задержания погибло три охранника...» «Охранника», — прочтет самая красивая в стране, дочь нефтяного богатея, любит его. Значит он жив! Он — командир особого отдела партизанского фронта — спасется в подполье. А вот уже пять ударных бригад спускаются с гор победным маршем. Перерезано четырнадцать важнейших дорог. Взорвано двадцать мостов. Сдаются и бегут гарнизоны. Перебежчики первыми бросаются в атаку: скрепить кровью клятву верности. Пленные товарищи — на свободе! Паденье столицы под штурмом. Гибель батальона американских советников — четыре-

ста, пятьсот человек. На стенах декреты: земля, вода, порядок. Президентом — тихого профессора в очках, остальные — в оливковой форме. Он — разведка, подавление, кара. Нищий народ шагнет к свету — учат буквы, лечат эпидемии, сеют кооперативы крестьян, высланы иноземцы — все наше. Наши парни — в военных академиях далекой России. А тогда, в день штурма, его простреленная машина, наконец, устанет у витых дворцовых ворот, грузовики с охраной останутся ждать. Он пройдет, поднимется по темным лестницам, битому стеклу, оправляя форму, руку оттягивает автомат. Не замечая ненавидящие поклоны слуг, найдет ее в кабинете отца, удравшего в Штаты — и скажет, пряча слезы в морщины: «Мы победили. Ты слышишь? Революция победила».

...Калитка скрипнула — мальчик с ноющими от напряжения зубами нажал стальной кадык гранатомета.

— Унук! — бабушка вглядывалась из-под ладони в сад. — Пади ко мне, я што скажу!

9.

Бабушкина война говорила неинтересно:

— Немес пришел, хлеб повынес, пярины повынес, кур переловил. В потолок плеснул керосину — пых! Хата горит! А я с детьми на морозишши. Сошли немцы к низу, а я взяла и хату затворила — они мене отбузовали. Колхоз за хорошую работу корову дал, за двести рублей, а у меня офицер немецкий отнял ея на дороге. Ка-ак пхнул — так и легла.

— Пан, а с кем же я буду детей кормить? — а сама плачу.

Пошли на выселки, напросились в хату Шэпина-активиста. Я яго жане пряла — все руки провертела, ребята побিরались. На волах копали, на волах скородили. Шэпин раньше усех вернулся, стал ругать: какого черта вы тут сидитя? Я яму огород прополола два раза. Лошадь водила, перепаживала, а ишо снех лежал — он миня из хати выгнал:

— Выхади отседова! Вы мне ня нужны! Куды хочитя.

А мороз хто знат какой...

— У миня печки у землянки не бало. Спасибо, одёжа была — тулуп дедов сохранила. Ребят одену, да одеялом. Как живы остались — не знаю. Ритка зле меня спала, охватя мене: «Мам, я тибя никуда не пушу».

Землянку дезертир строил, да дед с Озер. Восемь метров холстины отдала — перематки на шее не было! Дезертир п хатам ходил греться, дрова носил. Анфиска взяла и сказала нашему, ездил там верховник, про яго: «Тиша на фронте пропал, а этот с бабами сидить».

Ну, что ей надо было?

Верховник да прям зле мени и расстрелил яго. Дезертир стал к нему задом, а тот:

— Не становься задом! Перворачивайся лицом!

В землянке двадцать годов прожила, все хату хотела. Я и в тюрьме сидела через тэйту хату.

10.

Лес на хаты растет за речкой. И город там — на холме. Воевода Мясоедов поставил городок, посадил стрельцов — это Годунов двигал крепости на юг в подмогу сомнительным казачкам, в заслон последним смертоносным дуновениям ногайцев и крымчан. По реке приплыл Петр и ночевал в домике на круче. Через мост притащили со станции на руках Троцкого — он читал речь четыре часа и в бумажку не глянул. Проскакал Буденный в хорошей бекеше. В педучилище сидел учился будущий генерал убиенный Ватутин И все

Сама река загибает петли в мохнатом лозняке, пронизанном тропинками, запятнанном кострищами, и все самое черное вершится в лозняке.

Рыбу ловить меня выучил Вовка Резниченко Он был старше меня лет на пять-на шесть. Поверху искрили голавли, мы ловили на перетяжку, на стрекозу. Еще в Валуйках ловят сетью: особенно если пьяные или много народа. Можно еще кинуть хлеб с борной кислотой. Приманивать вернее всего макухой, жмыхом. Вот семечки на масло подавили, а шкорки сдавливают в жмых. Макуху жрали всю войну. Орали немцу — конвойному лагеря:

— Па-ан! Можно бросить камнем в русского солдата?

— Мож-на!

Кидали макуху — пожуйте. Вовка Резниченко потом получил условно за киоск, утащил платки носовые, в клетку.

Затем он слонялся по лозняку, на ночь глядя. Вылез на холм, высадил форточку на кухне и проник в ресторан в ночь после русско-цыганской свадьбы. Позднее определили, что

Вовка слопал два бутерброда с сыром. Наткнулся в буфете на ящики вина и полбутылки оприходовал прямо там, с горла — стаканы стояли в мойке, он не знал.

Вино он решил носить к реке. В первую ходку заховал в камышах восемь бутылок. Вторую догадался нести в ящике. К тридцати тысячам недельной выручки в столе Вовка внимания не проявил.

Аркадий Придворев (Майкин отец) рыбачил закидушками под мостом, когда клевало — звенел колокольчик. Звяканье бутылок вдруг поразило его.

Вовка сел отдохнуть и допить начатую бутылку — тут Аркадий засадил ему свинцовым грузилом по башке, свалил в коляску мотоцикла и в милицию стрелой!

Вовка отсидел дома — в колонии, занявшей Валуйский монастырь. Охраняли бывшие одноклассники. До монастыря монахи жили в пещерах: вырубили в мягких меловых холмах кельи, соединились ходами. Их норы тянулись за реку и в город, к крепости. Всех сгинувших утопленников и пропавших коров списывали на пещерные обвалы. В пещерах посидели контрабандисты, беглые зэки, беженцы, пьянь несусветная. В пещерах заваливало детей.

Больше всего на свете бабушка боялась, что я полезу в пещеру.

Монастырь спасла колония. Соседа ресторана — Архангельский собор — спасла молодость, свежие стены. В собор засыпали зерно, все прочие церкви взорвали. Кто тащил с руин досточки-кирпичики — потом отсохли ноги, мерли у них дети. Последнюю церкву на Казацкой, куда сносили сокровища всех прочих, взорвали вообще впопыхах. Толком ничего не вынесли.

Лет тридцать народ цепенел перед покойной поляной кирпичных обломков, розовой пыли, известки, ломтями штукатурки с небесными красками, а спустя: потянулись глухими ночами копатели. Все Валуйки обмирали у окон, в ночи, в которой тыкались в землю слепые и скользкие фонарные лучи, вздрагивая от ветра под скрипящими и стонущими тополями, гнулись к падшей, не плодящей земле люди, не узнавая соседей, под жестоким присмотром единственного, жутко вытарашенного зрака луны.

А осенью — это было в шестьдесят шестом — Валуйки загорелись. Сгорел дотла новый дом Коли Крашеного на Пушкирке. Запылала летняя кухня у деда-каменщика Герасименко на Новоездоцкой. Вспыхнула крыша у цыгана Данько на Монастырке — успели залить. А когда через неделю заревело пламя на Казацкой, Завалуе и во дворе Уколовых на Пушкирке, все вдруг поняли: мы же горим!

В Валуйки стянулись пожарные машины трех районов. Из колонии и области привезли солдат. Солдаты жили в педучилище и спали одетыми. Не было недели без страшного пожара.

Но еще страшней, если пожара не было.

Базары пустели — торговали одни грузины. Детей развезли по хуторам. На хатах разбирались камышовые крыши; бросили топить. Никто не брался жечь бурьян. Курильщики уходили смолить в лозняк. Аркадий Придворев влез на столб и отключил на Пушкирке свет.

Горело лишь личное жилье, и люди бросили ходить на работу. Маялись по улицам целыми белыми днями: вялые, сонные, злые, а к ночи лезли на сараи, вставали на лавки и слушали ночь: где? И ночь вздрагивала и рыже ржавела с какого-то боку: опять Монастырка! Снова — у вокзала!

«О панике в Валуйках» передал «Голос Америки». В Валуйках его не слушал никто, но из области позвонили. Стало еще страшней: кто-то ведь донес, кому-то надо. Кто-то здесь, рядышком. По улицам раздали багры и лопаты, повесили огнетушители, у каждой хаты свалили песка на радость детям и псам.

Мужики с охотничьими ружьями и винтовками из тира выходили в ночной патруль — несколько раз палили в тьму. Едва не прикололи вилами тетя Вариного Вольдемара. Он боялся оправляться в деревянном сортире и присел в кустах. Его бесшумно обложили с трех сторон. Захватом руководил начальник валуйской госбезопасности, получивший, наконец, бессонные ночи после многолетних дремотных поисков: кто наступил весной на плакат, упавший в январе с ворот артели незрячих?

Вольдемар сиганул с места очень резво, но штаны помешали — упал.

Слава Богу, Вольдемара опознали, и внимательный осмотр места события подтвердил цель его размещения в кустах. Раз-

горяченный народ, может, только три раза и саданул ему по морде, да проломил ключицу гвоздодером.

Меня еще не было, я в тот год родился.

Бабушка и дед ночевали в землянке — они только-только покрыли хату. Бабушка выходила ночью в огород, смотрела на новую крышу и плакала.

За пожаром не видели ни правды, ни ума, ни причины — ничего не видели. Горели богатые и горели бедные хатенки-развалюхи. Вспыхивали заколоченные, нежилые, трещали во тьме дровяные сараи и кучи хвороста в садах. Занимались пламенем заборы и столбы. У деда Шэпина сгорело крыльцо, у армяна, что торговал цветами — баня. Горсли с крыши, со стены, с пола. У Гагая первым занялся комод. Огонь то вовсе покидал улицу, то возвращался, и сразу — на два двора. А то месяц вообще стояла бледная и жуткая тишина. А то, что ни ночь — воют и сверкают пожарные машины.

Народ терпел, начальство думало. Искали поджигателей, бомбы замедленного действия, колдовство, порчу электропроводки, шаровые молнии, запускаемые из пещеры ракеты, Божий гнев неизвестно за что, монахов и банду беглых эков — два года Валуйки пылали с небольшими передышками.

А потом свыклись, вернулись в хаты спать. Начали топить. Успокоились и — пожары ушли.

Вовку Резниченко уже гораздо позже зарубали в лозняке топором. Так сильно, что в гроб пришлось по кускам класть. Хоронили закрытым. Болтали: Вовка золото откопал. Может просто по пьяни не сошелся с новыми дружками. Даже не слышал: нашли кого или нет? Искали ли?

11.

Кот, мокрой головешкой блеснув в камышах, прометнулся к крыльцу, деловито вихляя задом. Мальчик прыгнул в траву и — следом, за ним.

Во дворе Шэпиных вразнобой взвыл оркестр.

И стало жарко совсем. Землю залило тягостным медом, трещала и лопалась красная краска богатых крыш. Небо переполнилось и оплывало через край, чертило потом по бабушкиному темному лицу, проливаясь из-под черного, не-

знакомого платка, лилось и удушало, брызгало золотыми шаррами из каждого палисадника, нависая над самой землей одинаково пылающими головками. Мальчик едва дышал от жары от медных вздохов оркестра — бабушка толкала его за калитку — мимо несли два бумажных венка скособочив в разные стороны, тетка, что бросала в грязь разномастные цветы, шла уже далеко, у колонки. Брели наугад понурые, безголовые мужики, безголовые от бархатной крышки на плечах. К мальчику подступила (он вздрогнул и схватил бабушкину руку крепко, что есть сил) высокая невидящая его женщина с черными кружевами на руках и протянула горсть дорогих шоколадных конфет. Мальчик хмурился, отворачивал голову, вопреки ухвертящим бабушкиным указам.

— Возьми! — наконец выпалила бабушка. Все лохмотья, а он вишь — лоскут.

Мальчик протянул неприязненно, как на прививку руку и захватил пальцами противный дар, связавший его тотчас с нестройной толпой, сцепившейся за локти в мерно качающейся ходьбе, жмущей платки к уголкам глаз, смотрящей под ноги, на часы; с синеватым мертвым ликом, тонушим в высокой подушке, захлебнувшимся пенным покрывалом; с оркестром, надрывающимся возвратить всю эту жару обратно в небо; с грязным грузовиком, с материей красной и черной на борту, заслонившей все.

Все протащилося мимо, редая, стихая, обнажив растоптанную грязь, вывороченную колею, сжатую кучами угля и на воза освободив улицу но прошив ее редкими стежками брошенных цветов — насмерть.

Бабушка ушла проводить до угла. На дороге торчал один дед Данил Гагай. Сковыривал палкой ломти грязи с сапог. Потоптался еще в траве для пущей чистоты и пошел до хаты — ветер растопырил потные космы его праздничной седины, и розовая плешь проступила молодым подсолнухом над воротом армейской стираной рубахи.

Мальчик обернулся на высокую абрикосину, расставившую толстые ветви у шэпинской хаты. Абрикосы вызревали богато — будто закат оставлял сгустки своего прощального цвета в зелени, а потом ветер ронял их под ноги, и ноги медлили, и ладонь размыкалась уже в тяге ухватить бесхозный абрикос, пылавший пушистым, огненным боком на удобренной индюками пыли — но днем тут же на лавочке подремывал дед Шэ-

пин, пуская острым лезвием взор меж смеженных морщинистых век, как только проходящие ноги мешкали на своем пути. А ночью мальчик спал.

Но ночью дед Шэпин перевязывал ближе к забору черного пса. Вот сейчас странно причесанные и трезвые мужики унесли что-то по улице и за углом ставят на грузовик. И почему-то не хочется абрикосов.

Мальчика схватил за ладонь последний шэпинский правнук — Митька.

— Ну? — осведомился мальчик, погрузив палец в носовое отверстие. — Что?

— Так просто, — Митька тяготился своей внезапной забывчивостью и новой рубахой. А мальчик стеснялся. Рядом трст тряпкой малиновый, сияющий мопед Витька Енин, по уличному «Ильич» — обещал рогатку выгнуть и подарить широкий жгут, а тут стоишь с соплежуями...

— Митька, — мальчик вывел руку из-за спины и протянул размякшие, лезущие из горячей бумажки конфеты. — На, — его передернуло. — Пожуй.

Митька широко помотал головой и вывалил до подбородка блестящий шоколадом язык. Чуть приподнял плечи и выдавил тесным голосом — новая рубашка и ворот тугой:

— Не. Это деда помянуть.

Мальчик скривился и отшвырнул конфеты. Они коротко тронули забор и канули, качнув крапивой.

У Митьки сама собой вытянулась шея. Он отступнул, оторопело отковырнул щепочку от забора и припал к забору совсем: наблюдал через проделанную щелку палисадник бабы Дуси Гусаковой, вдруг у него дернулись лопатки и круглый причесанный затылочек затрясся: человек задыхался и всхлипывал.

— Ну-у, — сказал мальчик. Засопел и отправился к Витьке Ильичу. Захотелось куда-то деться.

— Прибрался Шэпин? — разлепил Ильич толстые, как фасольные стручки, губяки.

Мальчик не понял, но кивнул: да.

Ильич пустил пенной цепочкой слюну под ноги.

— За гильзами поедешь?

Мопед ревел молодо и гнусаво. Ильич сидел ровно, печной трубой. Мальчик сжимал его бока, крикнув возвращающейся бабушке:

— Ба! Мы за гильзами. Я щас!

Ехать и уехать! Бабушка на миг подняла вглядывающееся лицо и пошаркала дальше, еще от угла увидев кота, шапкой торчащего на заборе, а еще выше — слезящимся собачьим глазом стекало солнце...

Мопед прогрыгал переезд и понесся вдоль распаренных, мертвых вагонов, тяжело поблескивающих готовыми к движению колесами, вдоль заросших озер, с ныряющей в небе чайкой, вдоль белых столбиков с черными цифрами и толстоногих женщин в белых косынках с тяпками на плечах — они уступали дорогу, кратко оборачиваясь распаренными, резиновыми ликами — мопед несся быстрее.

Мальчик жмурился и сопел от удовольствия, обгоняя грузно качающийся автобус с пыльными тенями в душном чреве, лобастый похоронный грузовик: люди сидели друг против друга, прижавшись, пригнувшись — будто между ними разверзлась пропасть, а мальчик подпрыгивал — мягкое сиденье! — а вон там коровы ходят за озером и козьи рожки торчат из бурьяна, съехали на тропку и трава захлестала ноги жилистыми побегам, и уже без рева, с разгону выкатились на берег — Ильич прочесал сандалиями по траве, уперся — все!

Здесь раздирали палками грудь худенькой земли и врывались в песок, губя усилья времени и травы — здесь откапывали гильзы, пули, доски, сапоги, осколки, крылатое оперение мин — все, что посеял павший когда-то здесь наш самолет, везший боеприпасы до какого-то аэродрома.

— Ага! — на черной паре шпал, стянутых скобой, продирался в камышах Борька Миргородский, одноклассник Ильича. Он матерился и загребал обломком доски. — За гильзами?

Борька ломал пыжики, торчавшие, как толстые эскимо, меж камышей — карие, тяжелые болотной сыростью. Они лягут на крышу, сберегутся от дождя и росы ночной и — сохнут, посереют, охотно отдадут на проверочный выщип седой одуванчиковый мех, и тогда их поджигают, обломив верхушки, раздув до огненного звериного зрака спичечную подпалину, и душистый дымок прогоняет комарей и достает соседа, и об этом уже можно поговорить, и от пыжика прикурить, и

выжечь им на заборе хорошие и другие слова, и размахом выписать во тьме малиновые восьмерки, колеса и огненные молнии-зигзаги, а дальше сидеть и покусывать стебель с чистым вкусом реки, осени и солнца на зубах.

— Все! — Борька причалил. — Наломал. Ильич, собери серу — ракету запустим.

Мальчик пал на колени. Видел: руки его устремились меж раскаленных россыпей щебня рвать траву — зеленый мех, добираясь до песка, ребристых осколков ракушек — пальцы устремились назад, за малолетнюю спину, и война, приподнимая с натугой затрещавшую от жара землю, потянулась навстречу ржавым гильзами и они — коснулись.

Ежедневно он собирал железный урожай. Весь угол сарая был полон умершим железом. И мальчик все не мог остановиться.

В колодезно неподвижном поднебесье полоскала горло одинокая ворона. Рельсы горячими путами пластались по земле. Миргородский дремал, раскинув сияющие мокрые ступни, обклеванные зеленой ряской. Пули от зенитного пулемета торчали из его кармана, как чужеземная сигара. Ильич выбирал меж шпал желтоватые осколки серы, посеянные худыми вагонами — солнце плавало медные волосы на ищущей руке.

Мальчик поднялся — собранные гильзы лежали у его ног поляной, ржавой, как лист, переживший зиму под вмерзшим в землю бревном. Под тоскливые песенки пуль, нависающий вой самолетов он бежал, и земля сотрясала его сжатое тело и посыпалась за ним в окоп — он расталкивал своих людей — скорей! — где бронбойщики? — там стонали рты меж черных морщин, стянутых болью, бинты с кровью — на людях, на траве, на обожженном солнцем немом поле, на которое небо выдавливало из-за земельной кромки черные; нескончаемые танки — шесть, восемь. Теперь — двенадцать. Устоять до темна, сейчас — пол, сколько же? Шестнадцать. Часов — восемь часов. Считайте гранаты! А людей? Я просил посчитать, сколько можем стоять. Еще напоззли — двадцать. Что со связью? Что соседи? А время? Двадцать четыре. Сколько ж погибнет? Живых пусть — восемь. Оставшихся он выведет сам раненный — в плечо. Они удержатся даже до утра. Почти все полягут. Он получит орден и майора. В двадцать шесть лет!

— Ты что все время считаешь? — Ильич смотрел на мальчика с рельсов.

— Гильзы.

— Сколько у тебя в сарае?

— Две роты почти.

— Итальянские и мадьярские?

— Только наши.

— И на хрена тебе столько?

— Чтоб был батальон, — мальчик перекладывал гильзы в мешок, куда Миргородский наставил пыжиков.

Ильич бил ногой о педаль мопеда — издали, громыхнув по цепочке, поскрипели на запасной путь порожние, черные вагоны.

— Поехали, — завелся наконец Ильич.

Дорога пряталась под них — песок скрипел и пел.

Через переезд шли ногами. Ильич толкал мопед. Он обернулся к Миргородскому:

— Рогатки сделал?

Мальчик прекратил дышать — Миргородский кивнул.

— Заедем.

У Миргородского в садку стоял шалаш. Из него долго торчал только зад Миргородского — потом Миргородский осмотрительно выбрался и протянул две алюминиевые рогатки с затрепыхавшим розовым жгутом — как кровавые жилы на вилке.

— Постреляем? — Ильич загреб из подзаборной кучи горсть шлака и покидал на руке. — Давай, что ль, твои гильзы поставим, — и вытащил из рук мальчика мешок.

Ильич ищуще согнулся над травой, раздергал лишнюю и начал втыкать гильзы прямо в тропу: составлял отряды и цепи — армия росла; он ставил автоматные к автоматным, пистолетные — к своим, ружейные держали середину. В оцеплении стали пули. Он выдерживал равнение в шеренгах. Возвел в тылу батарею пушек из зенитных грузных гильз. Собрал штаб из поменьше ржавых, нарастил фланги, скопил резерв. Глаза Ильича полузакрылись — словно лицо его опустилось в воду — руки все делали сами собой.

Миргородский ухмыльнулся, еще слазил в шалаш и начал разминать на листе железа собранную Ильичом серу в порошок — для ракеты.

Мальчик сидел за вишниной, оттягивал упругий жгут — отпуская. Трогал черные, ноздреватые ядрышки шлака. Мальчик смотрел на это войско, а войско уже видело его, став незаметно живым, с выраженьем лица, разумным. С собственной, непонятой волей, пытаюсь врать в эту тропу, надеясь выстоять несвержимым, без укоризны, держа строй, почему-то смело, но без угрозы.

— Готов, — доложил Ильич и занял позицию.

Миргородский дотолок серу. Принес с кострища березовую головню и соскребал с нее древесный уголь на ту же железяку, прикидывая, хватит — иль нет? — для горючего соотношения.

— Вниманье! — Ильич зарядил первое ядро. — Гады! А мы идем на прорыв. Скажи им, обратись.

Мальчик бережно отложил оружие и выступил из-за вишнины, сцепив кулаки за спиной:

— Солдаты и офицеры двадцать шестой мотопехотной дивизии, — выкрикнул он над головами заново увидевшего его войска. — Ваше правительство преступно. Предало интересы... Изменило делу! Использует вашу доблестную армию в грязных целях. Обрекает на смерть. Вы окружены. Остатки ваших армий бегут дальше. Мы вводим в бой свежие силы. Два часа назад командование вашей дивизии бежало на самолете в тыл. Наша могучая армия имеет лучшее оружие, вплоть до бомб и ракет — сопротивление безумно. Мы пришли сюда для дела мира. В лагере для пленных вас ждет почта и горячее питание. Считаю до трех! Раз. Два.

Ильич слушал, жмурясь.

— А кто вас, козлы, звал? — ответил Миргородский из метелок травы и начал перемешивать серу и древесный уголь. — Закрой свой гроб и не греми костями!

— Молчать! — мальчик нелепо взмахнул руками.

— Сам заткнись. Фашист!

— Три! Стреляйте же! Три!!! — и мальчик мигом почерпнул шлака, бешено метнул целую горсть в крошечное войско на сухой, растрескавшейся тропе.

Ильич дождался своего часа. Пропел жгут и — толстая зенитная гильза, из штабных, отлетела к забору.

Они палили по очереди — работали, не глядя по сторонам, только мальчик чаще мазал — путались руки. Он постанывал, опаяясь оплошностями страсти, а Ильич покойно выбирал, ладно целился и бил: туда — сюда — и середка — и в штаб!

И уже широкие просеки прорубили шеренги, но еще строй стоял. Войско еще стояло под каменным дождем, держалось, пытаясь прикрыться ядрами, уже убившими свое, и телами павших друзей — а в него равномерно врезались и звонко врезались громадные снаряды, сразу брызгая бахромой взметенных взрывом тел. Тела летали врассыпную и били рикошетом соседей, отстояв вахту на этой тропе, на этой земле.

Мальчик пускал от себя болезненное натяжение жгута, и через плеск смертного мгновенья что-то менялось там, на тропе, и после его выстрела — что-то новое: больше свободного места, пустого. Оставалось меньше работы.

Середину уже вымело подчистую вместе со штабом. Справа еще терпела под огнем жиденькая цепь — ее, задумчиво хмыкая, выщелкивал по неумолимой очереди Ильич. Остатки левого фланга жались к полуразбитой артиллерийской батарее и ближе к траве: следующий снаряд был круглым и катнулся лихо, снеся все на коротком своем пути.

Мальчик опустил руки, и жгут на рогатке вяло качнулся над теплой травой.

Миргородский пересыпал горючую смесь в картонную охотничью гильзу, плотно утрамбовал, заткнул спичками дырку от капсюля, чтоб не высыпалось. Гильзу вставил в картонную трубку с деревянным острым носом и проволочными колечками на боку. Получилась ракета.

Ильич с третьего выстрела добил замыкавшего в цепи и с удовольствием почесал рогаткой подбородок.

— Щас салют,— Миргородский воткнул в землю железный пруток и просунул его в колечки на боку ракеты — чтоб ракета не осела до земли, подпер ее щепочкой.

— Постой-ка,— заметил вдруг Ильич.— А что это за хреновина там?

На отшибе, в краешке, притаилось последнее, полуржавое орудие с двумя гильзами прислуги — стояло так, в сторонке, будто не заметили его в пылу битвы, обошли, и артиллеристы уже успели подумать, что — пронесло.

— И стоят гаврики.— Ильич уже зарядил,— вперед!

— В плен лучше,— ломано предложил мальчик, стихший. Вся тропа рябила поверженными солдатскими гильзами, как оторванными изработанными пальцами, расплюснутыми и ржавыми.

— Сколько положили, а этих в плен? — Ильич пересел влево, чтоб вернее достать. — Хочешь, ты давай. А я добыю.

Мальчик отвращенно, куда попало, пальнул отставленными от себя дальше руками и сразу, еще не увидав, сердцем понял мерзкое: да. Точно! — одна гильза как-то особенно жалко кувыркнулась и, больно ударившись об забор, канула. Вторая осела на пушечку — словно облокотилась, под хохот Миргородского.

— Не глядя, — присвистнул Ильич. — А тот залег. И думает: не видим.

Ильич растянул жгут для второго номера расчета.

— Все. Ну, ладно, — попросил мальчик. Рогатка куда-то рвалась из его рук.

— Ле-жит, — шепнул Ильич, метясь, щеки его дрогнули.

— Ладно, Вить, — хрипло окликал мальчик и маялся за его спиной. — Дай, я соберу. Тот же убитый!

— Ага... А чтож он шевелится?

Ильич выстрелил и сплюнул оплошно:

— Выше! Ну-ка...

Он заискал под ногами особый, одному ему понятно какой годный камушек для последнего залпа.

Мальчику солнце напекало в волосы — жгуче, и он выпалил с криком:

— Да бог с ним!

— Не ори ты. Щас кончим.

Мальчик вдруг пошел вперед подкашивающимися ногами, ослепнув — не глядя вниз, дохнув, обронил, не чуя, ногу на тропу — на гильзу — хрустнул. И земля стала ровной. Мальчик понял: все. Поворотился.

Ильич улыбнулся, разведя руки: можно и так. И нагнулся тоже к ракете.

Мальчик подбирал с земли гильзы русского оружия, пальцами видя свежие вмятины, лазил под забор, уже зная — всех не сыскать. Затапывал раны в земле, чувствуя солнечную ношу на плечах, дул себе на лицо — все? Опять оглядывался и раздвигал траву — вроде сюда улетели... Сколько теперь не вернешь.

Ракета готова — Ильич подпалил спичку, воткнутую снизу в горючую смесь, и отбежал за Миргородским к забору.

Мальчик уходил, рогатка торчала в кармане. Когда он ставил вперед правую ногу — она торчала в кармане еще сильнее.

Ракета подумала, вдруг шелохнулась — харкнула! — и с шипом полезла по пруту — прыгнула — и унеслась с тающим дуновением огня, похожим на скрип санного полоза.

Миргородский смотрел ей вслед. Ильич тоже прикидывал: куда упадет. Его спину тронул удар — Ильич отпрыгнул. Повернулся: а это была рогатка. Мальчик вернул ее и уходил.

Первый камешек шлака попал в забор, второй — впился горячим мальчику под коленку — там заболело. Больше не кидали. Только свистнули раз.

Мальчик вышел от Миргородских твердым шагом, запер калитку. Огляделся и быстро вытер единственную слезу.

13.

Самой большой лично моей мечтой было — сушить пыжики и быть поэтому желанным для вечерней лавочки человеком.

Самые лучшие дни, когда во дворе кто-то жил. В озере бултыхались две черепахи. Я ловил марлевым сачком головоастиков, тритонов, задиравших головы, и драгоценных жуков-плавунцов с желтой каймой — все запускалось в корыто для исследований. Страшился поймать пиявку — так ни разу ее и не видел. Очень хотелось уловить щуку, небольшую — щуренка.

Тетке подарили раков. Я выпросил одного от мученической смерти и тоже засадил в корыто, в тень. Утром выходил проверить. Рак сидел задом в угол, выставив клешни, и я не знал: жрет ли он сырое мясо, которое я затапливал ему под нос — а может, его Кузя тырит с легкой грустью? В одну ночь рак пропал.

Жил — кролик. Его осенью задавили взрослые. Пищал цыпак — на него наступил пьяный Вольдемар. Ежики днями отсиживались за комодом и шебуршились по ночам — бабушка ворчала. Поймали ворона — но он лишь день хворал в коробке из-под пива, а потом — как дал наружу! — и не глянул на мои семечки.

В июне в палисаднике начинался писк. Синеватые, щетиновые, с голыми старческими черепами, птенцы дергали полумертвыми крыльями и пищали. Я подсаживал их обратно на крышу. Но утром они пищали опять, а воробьи только бес-

толково трещали над головой и даже не кормили — а птенцы не закрывали рта.

В коробку из под сахара клалась вата, бабушка топила печь — птенцы сажались в коробку ближе к печи. Вату я иногда менял, обмотав нос полотенцем. В Кузю, при любом его появлении в пределах огорода, металось полено. Целыми днями я бродил со свернутой газетой «Советская Россия» вокруг отхожего места и шлепал зеленых и синих мух — надо было так шлепнуть, чтоб муха осталась на доске, а не свалилась в траву. Бежал, добычу закладывал в жадные рты, соблюдая очередь.

Птенцы кричали все время. Сами не спали и под них трудно спалось. Кого они звали во тьме? Зачем? Мух, вроде, хватало. Уж в горло не влезали. Переставали кричать, когда умирали. По одному. Я не знаю, куда девала их бабушка.

Вобщем, я не видел смерти. Бились на мотоциклах, резались, становились «плохими», помирали. Все это как-то было без меня. Я был далеко, учился в школе, не летом. Первую смерть я заметил на вокзале.

Самые лучшие места для гуляний в Валуйках — базар и вокзал. Они рядом. Одевались в праздничное и выходили пройтись к московским поездам, к летучей продаже из вагонов-ресторанов. Жены совали пиво в сумки, а измаявшиеся мужья отрывали зубами пробки, запрокидывали бутылку над собой пионерским горном, а жены дергали за рукав — автобус пришел! Мужья, не прервавшись на глоток, шли за женами, как слепцы, доверяясь поводырю, меж старушек, несущих бледным, рыхлым, таким чужим в своих синих спортивных костюмах и дешевых длинных халатах москвичам мисочки с дымящимися картохами и блестящими огуречными боками, облепленными толстыми паутинками укропа, белотелые кабачки, забаву-семечки, и смородину, и коринку, баночки пускающей сок и дурманящей дух малины и россыпи литой, белозернистой клубники и крохотноглазой землянички, кукурузные початки, масляно и греховно смотрящие меж лошадиных грив проваренных листьев, ведра синих слив и «белого налива», стаканы крыжовника, вишневые веточки, обвязанные вишником с головы до ног с двумя затейливыми листочками на макушке — за полтора рубля! А вот груши — эх, сам бы ел, да деньги нужны! Да это ж не дыня — ананас,

мандарин! Ах, пусть тебе будет так хорошо, как ты хочешь: побольше и почаще!

Поезд отходил, соря косточками, шелухой, корками, листьями, огрызками аж до самого юга, до моря — бабки отступались усталым отливом в тень моста и тополей, следующий через час сорок, садились на ведра под мазанными белокирпичными заборчиками, и стакан семечек опять стоил пятнадцать копеек, и оказывался виден Миша Романенко, местный дурачок, обмочившийся под пивной бочкой и потерявший миллицейскую фурагу. Слетались голуби. Вольдемар тащил через перрон два ведра проса и кричал бабкам:

— Здорово, бабки!

Ближе к полночи мы провожали в Донецк дядю Толю.

Самое жестокое дело в Валуях — сесть в поезд. Билеты «на проходящий» — без мест. Поедешь на том, что успеешь накрыть своим задом. Провожают целыми улицами: кто с вещами, кто выходящим помогает вылезать скорей, в кто — належке и понаглей — запрыгивают в вагон. По стремительности это напоминает захват самолета с бандитами. Впрыгивают еще на ходу, лезут на неопущенную подножку, пихая в могучие груди вопящих проводниц: «Мужчины, у меня ни одного места!» — продираются меж сходящих, толкают спящих: «Здесь спят? Докуда едешь? А тут не вышли? Вышли?!» — падают на место и машут в окно: заноси вещи!

Оставшиеся несмелые едут у спящих москвичей в ногах или ждут на третьей полке чьей-то ранней высадки.

На перроне сразу тревожно. Подозрительно оцениваются силы возможных соперников, их возможные преимущества: грудные дети, старики, инвалиды. Никто не признается, какой вагон он рассчитывает подстеречь под этим фонарным столбом. Заветной тайной хранится выпытанная у справочной нумерация вагонов.

На вокзале объявления по радио читала Майки Придворевой мать с нашей улицы. Она прохрипела: поезд опаздывает на час.

Никто даже не дернулся. Ближе к нам ждал потный очкастый товарищ неместного коричневого загара (местный — красный) с кудрявым чубом. С двух чемоданов, коробок и узлов тоскливо смотрели на него дочка и супруга. Их никто не провожал, значит — пересадка. Они тоже не дернулись.

Только дядя Толя посмотрел в сторону вокзального ресторана и вдруг признался, что его знобит. Бабушка гаркнула:

— Стой уто!

И Майкина мать неожиданно объявила что поезд прямо сейчас идет на четвертый путь. И нумерация от хвоста.

На первом пути бросали посылки из почтово-багажного в гремящие тележки, по второму что-то ездило и гукало, и поэтому толпа ломанулась на мост, растекаясь на сходе наполам, в соответствии с вагонными устремлениями.

Потный очкарик надрывался за нами с двумя чемоданами, пот катился с его подбородка и носа на галстук и пиджак. Дочка и жена подтаскивали следом, по очереди отдыхая, узлы и коробки. Вообще-то они отставали. И понимали это.

На четвертом пути стояла темень. Все высматривали цвет сигнального огня или прожектор тепловоза. С четвертого пути уже стали видны звезды, и доносился шорох камышей с запутейных озер. Я уже зевал и подмерзал, бабушка меня подталкивала походить. Я ходил от потного очкарика и обратно, стараясь не смотреть на его дочку — у нее было две косы, она тоже смотрела в сторону поезда.

Тетка опять обнимала дядю Толю и в какой-то раз просила:

— Ну, хоть ты там передавай привет Маше, Русланчику, Жанночке.

Дядя Толя согласно кивал, но в гости не звал. И бабушка это подмечала, сурово поджимая губы.

Топтались-топтались, жгли спички — глянуть на часы, а тут Майкина мать виновато прокричала, что донецкий стоит уже у первой платформы, но упорно с прежней нумерацией от хвоста.

Лезть под вагонами, любимым для валуйчан путем возможности не было — на втором пути продолжались затяжные маневры грузового состава.

Со смехом, матом, охом народ снова полетел на мост, с упорным ожесточением рвясь вперед. Я держался за бабушкину руку — меня подталкивали жестким углом чемодана в зад, и я перестал высматривать дочку очкастого товарища с кучей вещей.

На сходе народ опять распался. Сгоряча пробежал каждый свою меру, но тут уже самостоятельно обнаружил под покаянное молчание вокзального радио, что нумерация все же от головы. В Валуйках тепловоз перегоняют с заду наперед —

конечно, легко напутать. И все помчались навстречу друг другу, растопырив оттянутые сумками руки, будто раскрыв объятия для радостной родственной встречи, и тяжело дыша загнанным ртом.

Пара дежурных милиционеров, проводники, поздние торговки смеялись до слез. Один Миша Романенко не оценил событий и начал басыть:

— Ребята, пиво е?

«Ребята-пиво-е?» вцепились, полезли, тужились, схватив желтые поручни, суя билеты вперед, и дядя Толя молодецки впился, но дело застряло — он стал проталкивать плечом широкую задницу тетки с двумя десятилитровыми бутылками томата через плечо — у тетки нога в тесном подоле не подымалась через две ступени, а отступить она боялась, и никак не могла освободить руку, чтоб задрать юбку. Дядя Толя вдруг ахнул:

— И-и РАЗ!!! — поддал плечом — юбка лопнула по шву, тетка сорвалась.

Дядя Толя лежал в жирной луже томата, смотрел на бабушку. Тетка сидела на его животе, держала юбку и хохотала — я тоже смеялся.

А потом, в стороне громко прокричали, и я отошел туда глянуть, отошел оглядываясь и хихикая: комочек томата шмякнул бабушке в глаз, и она все выпроваживала его углом платка и сердито мигала на меня.

Из следующего вагона торчали ноги, две. Одна в сандалете, южном, отдыхающем, вторая — в одном носке. Через ноги люди протаскивали коробки с перцем, лезли с сумками и тюками, уже приноровившись так, волокли мешок муки, кивали провожающим из окошка:

— Ага, нормально. Тут боковая. И в следующем купе парень в Купянске уже вылазит.

У туалетной стенки скучно смотрела на посадку синеватая проводница. Рядом с ней кричали женщина и дочка ее с косами. Они уже устали кричать без умолку — просто вскрикивали, будто в них брызгали холодной водой. Это их супруг и папаша свалился в тамбуре вниз лицом — интересно, как же очки? Как же ему удалось влезть с чемоданами первым? Значит, вагон угадал. И упал меж двух своих чемоданов, принудив всех последующих раздвигать ноги чуть не в шпагат через его спину.

Проводница лениво повторяла:

— Пассажиры, достаньте его. Ну, подымите.

Жена и дочка вскрикивали. Народ лез и лез, провожающие с вещами.

Когда расселись и откричали спорные места, мужика вытащили выползающие провожающие. Я смотрел на ногу в носке — как протащилась она по грязным ступенькам. Я у бабушки всегда ходил без носков. Еще думал: а гдеж сандалет? И забыл глянуть в лицо, а тут уже нагрудилось народу, и я видел только спину дочки — косы свалились со спины вперед. Спина качалась, дергалась рывками: ближе, дальше от меня. Дочка давила кулачками на белую рубашку, промоченную потом — чтоб выходило сильнее, налегала всей грудью вслед, а мать, как наперегонки, вдыхала в невидный мне рот воздух: хых! хых! Они делали это привычно и странно молча, только дышали с хрипом, а люди кругом молчали.

Я подумал, что у этого мужика, наверное, давно неладно со здоровьем, раз даже такая девчонка и так умеет. Наверное, из отдыха ехали — шея у дочки загорелая.

Проводница глянула: нет ли зеленого, кивнула кому-то и из вагона тихонечко вытащили оба чемодана и поставили тут же рядом, ближе к ногам. Ноги торчали из толпы, опять беспризорные, меня так и притягивал этот носок — холодно же! Мать заметила чемоданы и как-то непонятно повела головой.

Из медпункта притащились не очень проснувшаяся бабка и фельдшерница Райка Бессонова — она тоже мерзла в халате и оглядывалась на знакомого милиционера. Они принесли носилки. Я все смотрел на спину дочке и видел, как ей уже тяжело, но она совсем не отдыхает, попадает в понятный ей ритм.

— Так, давайте понесем, — вконец замерзнув, сказала Райка, и все пошевелинулись.

Меня достала бабушкина рука и повела. Мимо нас поехал поезд с махающими руками бессонными товарищами в майках с волосатой грудью. Дядя Толя помахал нам, обнимая тетку, разбившую томат, оба улыбались. Поезд проехал, отгорели малиновые фонарики хвостового вагона — четыре штуки, тетька Рита спросила:

— Мам, почем, сказала Райка Бессониха, на базаре сливы?

Мы дошли до трех белоногих белогуровских тополей, когда из-за спины, с вокзала прорвал ночь до самого неба большой истощенный стон, кто-то подкликнул ему послабже и рыдающе стихло. Мы пошли молча и скорей.

Я схватил крепче бабушкину шершавую руку, шумели темные облака дерев, ноги трогала ночная сырость земли, никто не попался навстречу, ни одна лавочка не жила дымками пыжиков или сигаретным искрением или старческим неспешным разговором — мы шли одни.

Я проскочил первым в хату, глянув с крыльца на черную тьму сада и мрак заброшенного двора, споткнулся, весь передернувшись, о мягкий Кузин бок. Бабушка вдруг разбранила Кузю и кинула его в хату на ночь — ловить мышей. Кузя недовольно и дико вскрикивал, и тетка, сходяв закрыть ставни, недовольно буркнула, что так не уснет, а ей завтра — к шести на базар, и швырнула Кузю с крыльца.

Они еще переговаривались недовольно про кота и стали стелить, а я сидел на стуле в зале, под портретами дяди, тети, отца и деда, смотрел в пол, в присыпанные мелом промежутки между досок и чувствовал, почему *так* старалась эта девочка, *что* билось под ее рукой, *что* зависело от силы ее плечей и *что* она пыталась сделать. И не сделала.

Только чувствовал, а понять не мог ничего, и только видел тесный вонючий медпункт, чемоданы, коробки, узлы, занятый лежак, Райку Бессонику, у которой армян строит на участке парник и ей бы, конечно, сбегать туда на ночь, стриженный милицейский затылок над бумагами возвращающегося отпускника, единственную кабинку межгорода на вокзале — с неслышной связью, мученические очереди за билетами и сонных кассирш, пересмеивающихся над Майкиной матерью, начудившей с поездами, и Мишей Романенко, спящие в тяжелом воздухе на вокзале люди, прохладную, пушистую ночь со звездным обещанием завтрашнего ясного дня, с зернами, разбрасываемыми тополями под ветром, с простором уходящих рельсов, сонными вздрагиваниями черных стрелок на больших часах и светлый южный сандалет на шпалах, по которым бредет небритый дядька в грязном желтом жилете и стучает молотком.

— Так. Ведро в сенях. Давай. И спать, — стараясь быть строгой, сказала тетка и коснулась легко моего затылка.

В некий день лета бабушка усаживалась в зале на диван, я — за стол. Она, глядя преимущественно на фотографию дяди Толи, начинала вспоминать имена, и я записывал их в столбик, радуясь почему-то, что много — Тихонов, Федоров, Максимов, Василюв, Стефанов, Екатерин, Авдотий, Евдокий, Петров, Марий, Сергеев, Иванов, Александров, Александр, опять Петров и Сергеев. Иногда бабушка присовокупляла, проверяя себя:

— Эти в Каранде умерли... Это деда твоего брата на войне. Это дядя, завербовали яго на телеги скалки телефоновы возить. Взял Дянкин, был такой. Сосед вернулся — на ногах онучи в пять локот, а наш отпорол у зипуне рукава и те-то рукава на ногах и пришел пяхком, да не выдался — помер... А вот за этого хоть есть кому подать? Давай напишем.

Я перечитывал вслух. Она недовольно, громко подправляла, забирала листок (ей нравилось, если выходило чисто) и несла Дуське Гусаковой вместе с ромашками — Дуська ходила на кладбище.

Следующим днем наша пустая, спящая под тополиной тенью улица с утра отдавала свои обе тропинки: шли без отдыха с Города, Завалуя, Новоездоцкой, Солатей, Монастырки, Уразова, Казацкой — я грыз семечки на заборе, играть во дворе невозможно — прохожие засматриваются через забор на бабушкины ромашки.

Этот день будоражил: привыкли бегать к окну на каждого — кто там пошел? Не к нам? А тут: идут и идут, и все незнакомые. Детям люди протягивали конфеты. Хождение утихало только к темну — старушки брели к лавочке, обсудить важный день, молодежь взволнованно трещала на мопедах и хвасталась набранными конфетами — сравнивали, если одинаковые — кто дал? И мне. Читали фантики: откуда?

В кладбище таилась для меня даже не сладость, а томление, что ли, кладбище было чем-то совершенно *другим*. Вот в округе, и даже далеко (даже в Москве) все, что есть, всегда — лишь то, что есть. А кладбище — совсем другое. Хотя собранное из того, что знаешь: смиренная кладбищенская трава, баночки под цветы, песок, баранки, шелковицы, сирень, проволочные остовы размоченных дождями и растрепанных ветром венков. Мусор по краям. Узкие тропки меж теснотищи

оградок. Старушки. Усатый мой дед, срисованный с паспортной карточки. Но добавляется что-то неведомое тебе и получается явно другое — предел нашей улице, поляна на краю болота с тенистыми берегами, истоптанными утками, изгаженными, зазелененными мхом.

Предел, но все равно — в этом не было окончанья а просто: томительная страна — по ней можно бродить надежно непричастным этому песку, старушкам с сумками, памятничкам со звездами и суеверными крестами. Вслед за теткой останавливаться у молодых лиц, с непонятной нежностью высчитывая по цифрам возраст — сколько пожил всего, искать нашу давнишнюю тетку Лизавету — первую у бабушки — она померла в год, но старше всех, даже дяди Толи, и я представляю ее уже старушкой и рву траву с ее могилки. И спокойно знаю, что, поплутав, мы выйдем к воротам, на закат, и пойдем по веселой улице Кузнечной меж кирпичных домов работников кирпичного завода и дальше — направо, вдоль реки, до второй закуской — из нее тетку заметят и вынесут на крыльцо толстые пышки с розовой коркой и холодный лимонад с испариной на тонком девичьей плавности горле.

15.

Сейчас за вокзалом поставили каменного генерала Ватутина: без рук, без ног — как вазу. А ведь это место сиреневых кустов, в них жили цыгане, а я их боялся. Я очень боялся расставаний и летом снова спрашивал бабушку: «Ну, ведь у меня еще детство?» и победно взглядывал в зеркало: «Это же все равно — я?» — и как же я не усмотрел, как он отстал — бежал следом, но упал? И не докричался? Или просто заигрался, забегался и не увидел, как я ухожу? Что же его удержало? Мы расплывались, но я еще долго ждал, мне все равно казалось, что, потеряв, я все равно вожу его за руку. И он не понимает ничего. Но как же он мог бросить меня, забыв мою жизнь? Как же я его забыл, родив ребенка?

Эта вокзальная сладость. Сюда приезжали московские девочки. Между этими словами можно падать в пропасти, но не упасть. Начиналось что-то очень другое.

Москвички. Я, чтоб пойти на вокзал, надевал рубаху и постигал, что на голове у меня как-то не так лежат волосы и правое ухо оттопыренной левого, и что есть видные ребята. Такие, как Витька Ильич. А еще есть — разные. Как я, например. Меня там не ожидали.

В часы московских поездов я прекращал косолапить и шел стройно, как пионер на линейку, и семечек под ноги не плевал. Только в кулак. И смотрел.

Нет, я не надеялся первым встретить. Приезд москвичек обсуждали с весны. Дни до него считались. Ночь перед приездом плохо спалось, а утром ты рождался в прекрасном, золотом мире.

После их отъезда вдруг желтели предательницы липы и приходило письмо от мамы, что она купила новый дневник и бумагу для обертки учебников.

Москвички никогда не приезжали. Они заезжали по пути с юга или на юг. Они скучали в Валуяхках.

Я упоенно рассматривал тропку до вокзала в хороший, синий день, стоило вспомнить, что скоро приедут они, этим летом. Увидят то же самое. Пройдут здесь же. Какой тогда тревожной полнотой набухали и бились в согласии с сердцем ежедневно виденные картины. С каким волнением и радостью отзывалось в душе все, на что мог упасть, пусть выборочно, пусть легонько, их нездешний взгляд — подновленные красные буквы на туалетной стене, табунки багажных тележек, разматывающиеся вслед за тарахтящим трактором, алыча в пыли у телефонной станции, куча щепенки, зеленые яблоки на высоких ветвях, тетя Рая Чекалова, обирающая клубнику, кирпичи, легшие цепочкой через лужу (ведь у нас дожди), наша улица, и даже я — в рубашке. Они все это увидят.

Я вдруг менялся, так сильно, что боялся увидеть знакомого на вокзале — увидит и догадается, почему я другой. В чьи воды бесправно смотрюсь, втихомолку дерзаю. Я понимал, что моих-то прав меньше всего на эту радость. Но почему же так властно и всесильно она владеет мной? Наверное, просто по слепоте и силе, не унижаясь рассмотрением раздавленного...

Они писали своим бабушкам и редким подругам. Строки писем разносились от колонки по дворам, дополнялись так щедро, что писем словно становилось уже несколько на одну

тому — они даже немного спорили меж собой и относились к каждому из нас. Даже к Майкиной сестре — даже к Трусам. Избранные подружки ходили по улицам с отблеском златоглавой Москвы на челе.

По письмам мы знали их семьи, отметки в школах, обновы, мечты о поступлениях, ссоры с родичами, имена уха-жеров и ухватки — но все равно: они оставались бесплотны. Они начинались, когда шли от калитки к онемевшей лавочке. И кончались, когда калитка глотала их. Больше их не было. Они не ходили на речку, не поливали перец, не дергали бурьян. Когда я подносил баб Варе Писаревской ведро воды до хаты, я никак и не думал соотносить ободранный зеленый рукомойник, сушащиеся перины, куриный помет на крыльце, пыльные окошки с баб Вариной московской внучкой — я не мог.

Они приезжали, и бедные наши красавицы никли в ситцевых своих сарафанчиках и маминых кофтах, молчали, опустив головки с нестойкими кудрями. Слушали и подсмеивались, где шутили; теряли свое. Зато на наши бедные лавочки вдруг снисходили ангелы и падшие души, о которых я раньше слышал только в рассказах тетки о ресторанных пирах и мордобоях — приезжал на велосипеде красавчик Барон. Его звали с ударением на «а» — Ба́рон. Он иногда употреблял слово «проститутка» и охотно рассказывал, почему собирается учиться на женского врача и что про это знает.

Из-за путей, с Новоездоцкой, приходил с гитарой Гена Дрокин — Гена играл на танцах и пел — слов не понять, но у них были гитары и одинаковые рубашки. Они отрастили волосы. Махнуть рукой Гене из толпы... И удостоиться обратного знака! А уж скдеть на лавке рядом...

Заходил всегда пьяный Вовка Резниченко, уже отсидевший, но еще живей. Он чудил: падал в грязь, ругался с бабками, перетягивал веревкой дорогу.

На алом, пылающем, горячем мотоцикле мчался к нашей лавке Костя Ковалев из педучилища. У него висела цепочка на шее. У него росли даже усы и на запястье был выколот штурвал.

С ними были цветы, бутылки, смех, праздник, новые слова, песни, транзисторы и даже магнитофоны, ночные катания, сладостные игры в «кис-мяу» и набеги на груши — улица наполнялась, шумели тополя Белогуровых, на станции гудел

тепловоз, и завтра ждал такой же день — огромный, и после него — вечер — новый, лучше еще... Только тогда я понимал, сколько я в жизни хочу. И что я хочу.

И теперь. Я, наверное, мог бы. Только они меня не подождали.

Я был там тенью, гвоздиком в лавочной доске — я даже пыжиков своих не сушил, у меня не было плота — чужие пыжики мне редко давали. Держался лишь тем, что я здесь живу. Пусть — никто. Но если целый день высматривать почту, ходить за водой, пускаться в луже корабли, висеть на заборе — ты сможешь увидеть ее одну. Пусть даже просто вышедшую подождать ту же почтальоншу. Пусть даже не увидит тебя, многие и этого не имеют. Но ведь может еще и увидеть!

Это все, что все-таки держало небесный жестокий свод над головой, не давало ему обрушиться и растереть меня в прах напрочь.

Они были женщинами. Увидев их, можно было понять, что это такое.

Они были оформлены, и в случайном прикосновении малого моего роста к большому вдруг открывалась тревога и власть мягкой и плотной встречи с неведомым телом. На них смотрели другими глазами. Счастьем было за ними бежать. Они красили губы и ресницы. Ими можно было дышать и задышаться. Говорить про их кольца, серьги, цепочки, сигареты, жвачку. Они привозили жвачку, дарили ее. Ее жевали, обмениваясь по три дня, а обертки распрямляли в книгах и нюхали зимой.

У них и имена-то были: Воротынцева, Звонарева, Оболенская. Куда там нашим Сыроватским да Пономаревым.

Их ждали, чтобы влюбиться. Генка Дрокин писал в Москву Константин Ковалев даже ездил; и еще ездил, когда Ленка Звонарева первый раз развелась.

К ним приезжали еще днем, на мотоциклах — они стояли у калитки, всегда немного сонные, обняв себя руками, и улыбались. Яркие губы были видны издали. Эта улыбка и осталась.

Остался еще изгиб у дороги из города на сахарный завод. В августе начинают возить свеклу на завод.

В августе Ленка Воротынцева неделю загорала на огороде, по южному: стоя. В купальнике. Шоферы под влиянием белого тела, едва ограниченного цветными полосочками ткани, стали

все позже и позже заворачивать в сторону завода — поворот становился все круче.

Сначала было хорошо: вся улица запаслась свеклой, посеянной на ухабах. В конце вышло по-другому. Какой-то воин, привлеченный к уборке урожая, въехал на своем «КАМАЗе» во двор дядь Васе Уколову, навернулся и вывалил тонну свеклы на парализованную бабку, которую вынесли из хаты дышать.

Воротынцева тогда уже уехала — солдат смотрел по привычке. Изгиб на дороге так и остался. Каждый год там бьется очередной мотоциклист.

— Товарищ генерал! — над забором торчала рыжая башка Ильича.

Мальчик посмотрел на него без выражения.

— Товарищ генерал, пойдешь сегодня в пещеры? Просил ведь.

Мальчик уперся рукой в сарзй и спросил:

— Кто еще?

— Бабы московские, Лейка Звонарева и Воротынцева.

— И Миргородский?

— И Миргородский. Куда ж я с двумя бабами один?

Мальчик кивнул:

— Во сколько?

— Я зайду.

Бабушка листала календарь, мальчик натирал хлеб чесноком, откусывал и суп хлебал.

— Ба.

Бабушка подняла голову.

— Я схожу с Ильичом на речку потом?

— Сходи. Но только не в пещеру.

— Ты что-о? — поразился мальчик. — Я б сказал, — и хлебать стал чаще.

— А то лазият и не говорят. У Герасименковых троих завалило и не знали — где. Через месяц только догадались. Мать сразу в гроб легла. Кусай хлеб!

Мальчик молча доел и ушел в сад. Кот проводил его узким, полуприкрытым взором.

Мальчик с мукой вздыхал, и лицо его становилось жалобным, пока он шел по тропинке, упрятанной в камыш, и его никому не было видно, а еще зной — тяжело дышать. Небо

стекало студенистым киселем, в него макали кроны истомленно выгнутые вишни — и зеленое марево, клубясь, вырастало в голубое — такой день, лето. Мальчик шел и шел, убегал, как со связанными ногами, и давил ногой землю — она виноватая.

Ноги запнулись. На заросшей как попало меже смутным столбиком торчал маленький человек. Рос из земли и травы.

Мальчик поднес к нему свое запрыгавшее сердце.

— Митька,— сказал он скорей правнуку Шэпина, опережая страх.— Дед вернется. Врачи придумают.

Прошумели деревья, и внезапный ветер пригнул к траве женскую стать камышей, мальчик оглядывался и нагнулся к человеку, как в темный колодец:

— Хочешь сегодня в пещеру? Будем играть — у меня гильзы. Плот построим — еще только одна шпала нужна и две скобы.

Мальчик отдыхал после слов, он толкал застревающий ход их плечом, выжимал — пытался отворить зажмуренные глаза, тронуть впечатанное в зной лицо.

— Чо молчишь?

Суетливо оглядывал сбитые локти, погончики на рубашке, пятна вишневого сока на грязных ладонях и парашютик одуванчика, зацепившийся в волосах — как на вспаханном поле — неудачно выбросили, да среди бела дня, и полощет ветер видный всем парашют, мчится по ближней дороге погоня, а он — в сторону! — жмясь к чужой земле, плохо пригнанный вещмешок колотится по спине. Его хотят брать живым, а ему бы до леса. Ему бы до Волги, а там — парходом!

Увидел вязкую каплю пота, переползающую чужой висок, не теряющую напора, восполняя потерянную по пути силу глотаньем невидимых крапин. Кожа дышала — человек жил.

Мальчик сразу вернулся в сад, где бьются, словно запутавшись, скворцы на вершинах вишнин, и моляще выдавил в прижмуренные упрямо глаза:

— Прости меня. Ну, прости меня.

Пошел прочь. Надо уже идти.

16.

Почему-то я все время считал. Вдруг заметил: считаю шаги, удары, в моей голове грохочут числа в докладах подчиненных,

в подсчетах, планах: потери, силы, сроки, стволы, расстоянья, вес. События теснились, усыхали, а числа росли и неожиданно я понимал, что стою среди двора, втыкаю палку в траву и просто считаю. И голова моя охвачена изнутри липким жаром, жжением и готова лопнуть!

Я отбрасывал палку и бежал в хату. Числа бежали за мной. Я отмахивался. Говорил что-то про себя. Числа считали слова.

Мы с бабушкой гоняли мух. Первым делом я заманивал их чистыми окнами и, пленив шторой, давил жужжащую хрупкость — хруп! хруп! — и вскрикивал, чтоб не считать и это. Тела падали на пол, подметались. Я хватал на кухне полотенце. Затыкал подушкой дыру из спальни на кухню и гнал мух в зал. Ограждал спальню занавеской и продолжал мотать полотенцем, как крылом. Мухи метались, соединялись с кухонными — бабушка гнала фартуком — и бросались сквозь сени — на улицу!

И — пропадали в белом свете. За ними запиралась дверь. И в хате — чистая тишина. Мы с бабушкой шли на лавочку отдыхать. Бабушка почему-то думала, что я стану учителем. Я садился к ней под бок, и мы смотрели на нашу хату — беленькую, с высоким крылечком, зелеными ставнями, черной трубой — наша хата, бабушка вспоминала, как затеялись строить ее:

— Я в тюрьме сидела через гэйт хату. Лес нужен. Самогон затирала — так же мене не поедут лес возить. Привязут на лошади, складают, а я ставлю литр, пол-литра. Или четверть всю.

Они идут пьяные — хвалятся: я их пою!

Гагай с Шэпиным и наскочили: обыск у хате сделали, горилку нашли. У клубе суд показательный — двое суток судили! Чуть сердца не лопнуло.

Первый день — до семи вечера. Отпустили домой спать. А утром, снова с сями — в клуб. Последнее слово! А я и не знаю, што говорить... Просилась: хоть дояркой пойду, хоть свинойкой.

Шесть лет тебе!

Посадили на линейку да повезли. Бабы, бригада наша, в голос голосили. Во как судил Сталин! Глаза ему б повылазили тут!

Дед упал на землянку и заголосил: «Милые мои уголошки да как же я теперь без хозяйки?»...

— Там и кормили ничего, и баня два раза в неделю. Концерт — распутный такой: плясали, били. Один мужик на плечи другому взлезил, а мы с Нюшкой. У ее матери — девяносто годов — омет в колхоз свезли, а она сабе — вязанку узяла. Восемь лет!

Сидим сабе в стороне. Начальник лагеря, старый, говорит: — Данилова, што ты так далеко все время садишься?

Узбудят в семь утра, выведут мерзнешь — зубами стучишь.

Нам напхают в бригаду тюху, да матюху, да колулая с братом — они и не работают. Цыганка распутная, на плечах — орлы. Все плясала. К мужикам бегала — веселая приходила: полный подол махорки. Я ей:

— Ты не пой. Ты вот давай кирпичи грузи!

Так она меня так вдарила — аж затылок болел...

— Лягу на нары: «Как тебя сюда угораздило. Ни дед тут твой не был, ни прадед». Как время корове доиться — вся подушка в слезах. Почтальонша писала: дед, как письмо получает — кидается на землянку плакать. Думаю: чего я тут лежу? Приду на кухню, столы помою, битоны, в каких варють, — мне воблу дадут. В барак приношу — повалят и отымут, ей богу!..

Толька встрел Гагая, схватил яго за горло и тряс тах-то во:

— Задушу! Если мама будя шесть лет сидеть. Спалю!

Бабы видали.

Гагай и Шэпин прибежали к деду:

— Василь Максимыч, хлопочи за Марию Ивановну. Мы допустили к ней очень большую ошибку.

А дед:

— Вспомни, Гагай, как ты еще не отсеялся после войны, идешь мимо — она всегда тебя звала. Сало на стол, картохи..

У нас прокурор сидел курской — мальчонку покालечил. Мальчонка лисапет взял покататься, пока прокурор купаться лазил. Бабы разговаривают: я Швернику подала жалобу, прокурор написал.

Думаю: дай-ка я сабе к няму подойду.

У воскресенья пришел он с каструлею за харчами для своих мужиков. Подошла к яму. У миня ботинки были на одну ногу: на левую. Ходить анеж неловко. Поздоровлялась.

— Гражданин прокурор, ты сидишь и я сижу. Напиши мне жалобу на помилованье.

А он говорит:

— Пять рублей.

А у mine их нету. Глядь: вон он начальник лагеря идет, кашляе, согнувши. Я как была, так и обмерла. Даже варева не зачерпнула. Так и отошла с пустой тарелкой. А как раз ужин хороший был: суп, Нюшка еще ведро кипятку принесла, чай хрустовый, а я и есть не стала. Спасибо, бригадир-рас-тратчица селедку принесла. Вот такая-то во селедка, а жир-на-а... там страсть. Я нарезочек съела.

Глядь: приходит девчонка-расконвоированная, кульер, за подсолнухи сидела:

— Иде тут у вас за горелку Данилова? Теть, тебя началь-ник лагеря велел.

Ох, теперь в карцеи посодют. А у карцеи двести грамм хлеба и кружка воды у сутки. Сидять — какие провиняться, там прям идешь обаполо, глянешь: они — жолтые. А посодют на две недели — эта бальшая цифра. Надо иттить.

Пошла. Наплакалась и стучу.

— Да.

— Здрастуйтя.

А стул насупротив поставлено.

— Я не замечал, чтоб ты мужикам зубы казала. Что с про-курором разговаривала?

— Хотела Швернику подать.

— А Шверник утвердил ба! За тэйту заботу! За что си-дишь? Обвинилровка у тебя есть?

— Да там наплетено. Председатель с кладовщиком поса-дили.

— Не плачь.

Написал мне как надо.

— Только перепиши. В ящик никому опускать не давай. Сама! У конвоя спросися.

Мы с Нюшкой на два листа тетрадных и накатали. На ра-боту вывели в березы, я подождала, пока мужиков прогнали, триста человек — шесть собак. И к ящичку бягом!

Дед в деревне двадцать пять подписей собрал, что не само-гонщица я. Учительница жалобу составила. Спросила у Тольки:

— Данилов, штош ты был отличник, а уш год ходишь оша-лелый и носки сверх ботинок висят?

— За мной ухаживать некому. Моя мама в тюрьме.

Повез дед в Москву. Гдей-то там Красная площадь есть. Есть? Подал вон и говорит:

— Ну што же, будя какая-то разслабждение мосей жаны?

— Будя! Ежели сверху попадется — то через неделю. А если под земь — там же не одна — то через месяц.

А дед был девятнадцатый.

Я готовилась, рубаху мушинскую выстирала, сухарей насушила, хто знат сколько — все оставила, нате, бабы...

Быстро до Курска доехала. Все ходила, не могла куму найти. Где та улица ВЧК? Мужик говорит:

— Пойдем со мной через мост — покажу.

Я не пошла. Так пойдешь и опять посодют. Еле нашла.

— Кума, ты, что ли?

— Я.

— А откуда?

— С производству.

— И как же там кормют?

— Заслужи такое право и узнаешь...

Шла по деревне, все дивились — Маруська Васюнина пошла. Дед охватил мене, и Ритка, и Толька, и отес твой — то голосили, то голосили...

А на постели грязи хто знат сколько и сам весь в грязи, а ехать утром в Озера, овцам за рожью. Встала рано.

— Маруська, что ты встала?

Я грю:

— Воду греть.

Воды нагрела, выкупала. У рубахи мочки приметала, пуговицы пришила, кухвайку новую дала. Нарядила яго, а он уж побрилси, он уж помолодел. Штаны новые, костюм новый, у меня все загодя было. Ну, теперь иди с Богом.

Пришел утром Шэпин:

— Данилова, на сколько под займ подпишешься?

— На всю корову пиши! — я уж смелая, не боюсь. — Ийде я была? Посадить меня посадил, а теперь просишь у меня под займ? Какой я буду тебе давать?

Встретил Гагай. Засмеялся:

— Ну что, Данилова, будешь горелку гнать?

— Соломина колхозная за пояс зацепится и ту — брошу Двору не понесу, — а сама плачу

Бабушка обратно добиралась поездом, поездом и плакала: как быть? — дети побирались, а она сидела в лагере города Электросталь — как же жить? Не простишь себе. Попутчик, путеец в черной фуражке, ее образумил: «Если все будешь вспоминать, Мария Ивановна, ты не проживешь. Забудь. Не вспоминай. Как и не было этого», — и она увидела заново отстроенный после бомбежки вокзал, крыши Пушкарки, озера, сады, землянки, монастырский луг с лысыми куполами колонии, темные холмы с меловым пятном на входе в пещеру.

Путеец уехал дальше до станции Рай. Бабушка даже не знала, что есть такая станция. Она мне как-то раз рассказала про этого путейца, но так, неясно — непонятно, к чему он это присоветывал. Бабушка ни разу в жизни не сказала мне, что сидела в тюрьме — ни слова.

17.

Москвички шли в пещеры в коротких халатиках, мазутно посверкивая очками из-под мохнатых пляжных шляп с иностранными буквами на полях.

Ильич и Миргородский заговорили отрывисто и не знали куда глянуть. Ногти на ногах москвички тоже красили — вниз не поглядишь.

— Наш генерал, — сказал про мальчика Ильич. — И счетовод. Все дни считает.

Одна москвичка опустила чистую, ровно загорелую руку мальчику на горячую шею. Он вывернулся и пошел один. Держал удочку тупым концом вперед и выбросил в кусты банку с червями.

Лес ждал за рекой. Качался дырявый мост на железных тросах.

— Осторожно ноги, — выкрикивал Ильич, и москвички, схватываясь друг за дружку, выпевали женскими своими голосами:

— Ноги, это у бегемота. У нас — ножки.

Потянулась лоза, да орешник, прохлада, комары, и солнце поплыло над зелеными сводами, царапая себе бока остриями сухих верхушек и проваливаясь изредка в серебряные опушки.

Миргородский ушел вперед — он лучше знал: где. А Ильич крутился меж москвичек, мутно улыбаясь, помогал толстой

рукой перебираться через корни и канавы, рассказывал совсем непонятные анекдоты, но москвички их понимали — улыбались, смиренные безлюдьем, черными ребрами древесных стволов и нескончаемостью тропы — она все вела в гору.

Мальчик вздыхал. Тоска мягкой горбушкой прилипла к сердцу. Шипел, давя комаров на коленках. Вот он ловит рыбу: солнце, река, поплавок. Так видит его бабушка. Больше она его никогда не увидит. Рухнут каменные глыбы. Тьма. Ильича и Миргородского задавит сразу. Москвички еще заплачут, будут стонать. Помрут там с голоду, остынут без воды — никто и не найдет.

А как же они там в туалет ходить будут?

А уже хватит подниматься — побрели вдоль склона. В земле проступили меловые плешки, из них жалкими сабельками тянулись чубчики травы и подпрыгивали дрожащие трясогузки.

— Вот, — встал Миргородский. — Пещера.

Мальчик воспрял, обежал всех.

В грязном меловом обрывчике, исписанном матерными словами, над самой землей зиял узкий, сумрачный лаз, в самом низу. В яме. Обставленный вырезанными из мела черепами. Как пасть, готовая сомкнуться, стоит кому-то скользнуть в ее узкое горло.

Про пещеру мальчик думал: сосульки с потолка и вход как во Дворце пионеров. А это ж — нора!

— Я не пойду, — сказал он.

— И я, — быстро добавила москвичка. — Мы вас тут подождем.

— Ле-ен, — кисло протянула другая. — Ну чего-о ты?

Ильич почему-то гордо стягивал брюки.

— Товарищи, лучше раздеться. Все мелом вымажетесь. — Ильич оставил себе только плавки. Сунул шмотки под орешину и, втянув живот, начал смотреть на москвичек.

Миргородский стянул только рубаху, стал вишневого цвета от лба до пупка. Повернулся вроде бы к мальчику, но сам смотрел тоже на москвичек.

Мальчик засопел и подумал, что сейчас его отправят домой. Ему было совестно глядеть на москвичек, и он смотрел на их шляпы.

Но москвички поиграли губами, качнули головками, сложили очки и скатали шляпы:

— Мы готовы.

Одна спокойно добавила:

— А ноги у тебя, Ильич, кривые. Как патефонная ручка. Миргородский вдруг заржал и уполз ногами вперед в нору, а ржал еще там — было слышно.

Москвички, зажимая подолы в коленях, перешептываясь, протиснулись следом.

— Ничего там не застревает? — сердито напутствовал их Ильич и шагнул к мальчику, упершемся в грудь подбородком.

— Ну? Ты что? Узко? Так это не вход. Вход разбомбило. Это дырка за водой лазить, если что. Полезли! Дальше сразу купол — встать можно. Давай.

Ильич выбрал из кучи хлама, наваленного у пещеры, пук промасленного железнодорожного тряпья и намотал на палку. Мальчик воткнул удочку в куст.

Зеленый лес обступал их, прижимая к бледному лбу обрыва — никого на свете не было больше, только тропа — она вела к реке, но долгой, вечной дорогой.

Мальчик одним выходом смирил себя, удержал внутри лишь комочек неясных звериных порывов, опустил на колени и прокрался в черное, успев умереть на грани воздуха и земли.

Там сдавленно хихикали. Мальчик деревянно приподнялся — в середине закопченных стен, в бледной луже света стояли пригнулись москвички и Миргородский — вокруг смолистого кострища.

Засунулись голые ноги Ильича, и свет сник.

Три темных хода-провала звали их за спиной.

— Ну! — Ильич подпалил факел. — Двинем, товарищи. Стало страшно.

Мальчика тянул за руку Миргородский — вперед, а в спину его толкалась сразу завизжавшая москвичка. Она визжала все время — темень. Мальчик отвел свободную руку в сторону — трогал сырые невидимые стены; когда спотыкались об опавшие камни — налегал на стену всей ладонью, и холод сильнее трогал его — до плеча. Москвичка вслед спотыкалась и вскрикивала матом, пьяно и пронзительно, ругала Ильича и Валуйки, факел качался, тонул за поворотами, качал тенями узкий ход и низкие своды — мальчик слышал голоса, но чуял только тишину нависшей горы, тяжести ожидания.

Мальчика тянули вверх по выбитым ступеням — он полз, легонько, опираясь руками, прижмурясь, вдавливая голову в

плечи, ударяясь плечом о каменные выступы — он один, не вижу ничего. Ильич загасил факел и ухал сзади, сбоку, спереди, выл — он так показывал ложные ходы, и схватывал орущих москвичек за бока, а Миргородский вопил, что они заблудились — тупик, а мальчик слышал только тишину — тупо стоял под этой горой, внутри камня, капелькой своей ливни дрожал на неподъемном своде, не смотрел даже в себя, а нахохленно, сгорбившись, что было сил, цеплялся за руку Миргородского. Держал ее сухой, старческой хваткой, нссильно, но жалко уговаривал: не оставь меня, услышь мою мольбу. Все время только ждал — когда это кончится. Все пусть совершит свое. Но когда-то кончится. Знал про себя, что дышал, вот он дышит, еще есть — проклятые монахи. Его дернули и повели дальше — ступай. Рукой он опять искал стену, но вдруг стало тесней, тесней — Миргородский уже гнулся ниже. Вдруг сказал: здесь свод почему-то опустился. Потолок сполз. Раньше так не было. Но протиснуться можно. Под глыбой — и он протиснулся! Он бросил руку мальчика! Не поняв толчка крови в обреченных пальцах! Не расслышал выкрика этой руки! Оторвал и бросил — оставил. И мальчик согнулся, присел. Налег животом на острые камни и, зная, что свет, выход совсем в другой стороне, он макушкой вперед, прижав локти и, поджав утробно колени, вошел под глыбу (и я делаю это каждую ночь) — потянулся в пустоту, втягиваясь в нее, внюхиваясь, впиваясь в пустое, не в простор, а в могильную придавленность последней пустоты — быстрее, еще, но дальше от света.

Миргородский нашел его руку снова, но это уже было все равно.

Мальчик шел дальше, открыв глаза, обращивался на выкрики, смеялся, когда все смеялись над матерными жалобами москвичек, шел облегченно, с пустотой у сердца, торопясь, волнуясь, чуть сучая.

Опять ткнулся с ходу в Миргородского, а мягкая москвичка вцепилась в него, приобняв, в темноте, как в ночи — он почувствовал тело, дышащее незаметно и вдыхающее в него везде, где касалось — целое, совсем другое, но сейчас бездумно воспринимающее его — так захотелось дальше так стоять, дальше трогать недостижимую для всех трясину, жарко державшую на плаву.

— Келья,— сказал Миргородский.— Здесь. Ильич, где там факел-то?

Пыхнул факел, закрепив все. Мальчик слепо полез за всеми на узкое ложе. Осмотрел руки, исклеванные мелом. Увидел вдруг свои сандалии, зашитые бабушкой утром, рядом — голые ноги москвичек в выгоревшем пушке, податливо расплывшиеся по камню. Сыто улыбающегося Ильича. Мальчик не мог только выпрямить голову. Боялся хруста своей шеи. Казалось — распрямишься — раздавит. И помнил: еще ведь назад идти.

— Скучно тут было, — отметил Ильич, обняв вяло улыбку улыбающуюся москвичку. — Я б за пять тыщ не согласился.

— Пять тыщ — это мне на тачке до дому доехать, — отвечала москвичка. Мальчик разглядывал, какие же у них всех толстые губы. Тяжелые. Не держащиеся вместе, жадные. Как они все дышат. Как странно легко можно быть рядом с москвичками. Для этого вовсе не надо копить денег на мотоцикл и играть на гитаре в клубе на танцах. Если даже Ильич. И даже мальчик.

Ильич несколько раз с сомнением глянул на Миргородского, как подозрительный зуб тронул — не болит?

— Возвращаемся, — заметил на это Миргородский. Схватил свою москвичку за руку. Факел тут же погас.

Потекли назад спотыкающейся вереницей — в голосах, объятых в хохоте, сквозь шорохи просыпающейся пыли, уже быстрее и просторней — другим путем. До купола добрались только втроем. Миргородский с подругой хохотали где-то в глубине и на крики не отзывались.

Ильич сплевывал на пол и указывал москвичке на другой ход:

— Там еще.

Она улыбалась вяло. Он добавил:

— А смотри, что здесь, — и, подпалив факел, вознес его под свод. Все задрали головы.

На точеной, меловой чаше зияли черные и синие полосы, изгибались и складывались в людей. Люди везде были по двое. Длинные и короткие волосы, значит: мужчина и женщина — везде соединены или соединялись. Мальчик заметил в женщинах то, что никогда не видел — неужели так? — и вдруг понял, что эти люди, по двое, это и есть то, о чем все рассказывают намеками или матом. Вот как все, выходит. Везде по-разному. Стыдней и стыдней. Пламя прыгало — фигуры дергались: они были нарисованы отчетливо всюду, кроме лиц.

Вместо лица — только волосы и широкие пасти, и он смотрел только на эти пасти, они завораживали его — нетерпеливые, жадные, хрипящие, оскаленные пасти с мерзким выдохом и все в окружении слов, мата.

Мальчик опустил голову, застигнутый смехом. Они показывали пальцами на него. И эта москвичка, что сидела с ним рядом. И Ильич, который его привел. Но главное — это его огненное лицо и холод, накрывший его, показалось, что уже не надо выходить.

— Вот так. Понял? — сказал Ильич. — Еще будешь.

И мальчик ответил:

— Нет, — уже предчувствуя на глазах предательские теплые слезы.

Они захохотали еще. Ильич — тянул москвичку еще походить, а она ныла, что там тоже самое...

— Пойдем, — звал Ильич. — Интересно же, пещеры. В Москве таких нету.

Дотронулся холодными пальцами до мальчика — тот уворачивался потому, что совсем замерз — холод тряс его костистыми лапами.

— Иди. Подождешь там, — и толкал к сиреновой проруби света. — Устал, находился.

Мальчик с робкой покорностью встал на колени и ящеркой юркнул наружу.

Он плакал, стоял на коленях, с седой от мела головой — лес простирался перед ним витой, морщинистой, мощной стеной, играя ветром и солнечным светом и мохнатым птичьим перелетом под натянутым небом.

А он остался один. Он больно жмурился. Он не мог видеть это.

Он догадался, что вылез через другой ход. Но вот же рубашка Ильича, удочка в кустах, значит — все то же.

Он вытащил из рубашки спички — ему бы согреться, ему бы голову снова в тепло, к чему-то прирасти, а так он не видит — сгреб в кучу ветки, шишки, обрывки газет, кору — теперь хоть огонь был с ним. Он сел спиной к лесу, за лесом — река, монастырский луг, улица, кладбище, хата, сад. Он в хламе раскопал книгу — и книга теперь была с ним. Он с мучительной радостью рвал листы, комкал вязкие, витые, старые буквы и отбрасывал от себя, в огонь, словно перевязки, сорванные со свежих ран, и огонь принимал эти белые бинты — они

рыжели, коричневели, чернели, и потом разрывались, прогрызались лохматой гортанью, и в нее выбрасывался искристый, лисий язык, оставляя черные остовы веточек с белесой перхотью бумажного пепла — бумага сгорала.

Он смелел у огня и хозяйничал на этом обрыве, в лесу, на небе, восторженно рвал языки страниц из трепещущей книги — как сердца у птиц, он вернулся и вознес себя на тысячу двести метров с потерей пяти метров в секунду, шести, восьми, он — в бомбардировщике, внизу — горит лес, бомб — восемнадцать, двадцать четыре, высота — тысяча, потеря — двенадцать, время — девять, десять, я — шестой, шестой, шестой — пуск! Внизу убежали люди, потери — сто двадцать, двести, раненных: на одного убитого трое раненых — четверста, в первую же ночь в госпитале из них скончается шестьдесят, восемьдесят пять, девять, четыре, один, а теперь уйти от гари, шестнадцать, от копоти, двадцать шесть, в белую, четыре, облачную, два, стену, сорок три, пятьдесят, семь, четыре, три, шесть, как, четыре, семь, сто, шестнадцать — глыба мела!

Он выхватил удочку из куста, и ненасытная бойкость костра осветила дорогу, куда-то девалось солнце — оттуда поплыла хмарь, он вдруг побежал, замечая: на дереве мох, паутина, белая гниль, оступился в грязь, ветви кололи и тыкались коряво и не вовремя, его разжигая, а он считал про себя шаги, чтобы скорей. Бежал скорей, а все — рядом с пещерой.

Выскочил из елок на простор, к родничку под меловой скалой и растер в кровавые полосы комаров на руках и коленях — родник ловил в кулак, а у того были свои дела — он проливался, это злило опять.

Мальчик смывал мел и рыжую кровь, он шептал про себя клятву: у меня никогда не будет жены. Я буду один. Я никогда не буду таким. Никогда не буду так делать. Мне так это противно. Мне тошно от этой гадости. Даже знать не хочу про эту грязь. Я никогда не буду говорить матом. Никогда даже не вспомню про это — он плескал в лицо водой, в черные, гнутые рисунки, понятно обнаженные навсегда факелом, в патлатые, склеенные попарно, безлицые тела с отверзстыми пастями с комками грязи под брюхами — можно ли от этого деться куда. Я не буду. Я клянусь себе: я не буду. Я не изменюсь. Как могу измениться — я оста-

нужь таким же. Мне этого не надо. И слышать об этом не буду.

Он ни о чем не думал, стало холодно, ветер сушил щеки до онемения.

На скале, среди скопища матерных росписей и имен он разглядел под мохнатой ветвью: на белом склоняют головы друг к другу три серых от старости человека в волнистых одеждах до пят, с кругами вокруг голов.

Мальчик придвинулся, соединив себя рукой с мертвенным холодком мела, и палец его поплыл, повторяя черты полувыветренных людей, прочищая им глазницы — они склонялись в союз, как три переспевшие подсолнуха на меже, нажал сильнее, а это был камень.

Отошел, вытащил из-под воды голыш и швырнул прямо в скалу.

Над лугом плыли две птицы, как брови незримого лика.

Мальчик еще решил и обещал себе, что окончит школу с золотой медалью. Поступит в медицинский институт. Станет врачом. Ученым. Пройдет все науки и научится спасать от смерти. Он только один так сильно хочет. Никто раньше не мог потому, что не так сильно хотели. Главное: всегда так сильно хотеть. Он всегда так будет сильно хотеть, займется только этим. Вообще-то медицина его не интересует, но если он не спасет от смерти, он не знает, как дальше — надо идти в медицину. Вылечит бабушку, папу, маму, тетя Риту, дядю Толю. И уж себя, конечно. Столько времени впереди. Он успеет к годам тридцати. Пусть родители будут уже старенькие, как бабушка, но — всегда живые. Это ж лучше — ведь бабушка старенькая, но и с ней хорошо. И так будет. Будет! Будет.

Тут он подумал: бабушку спасти он, кажется, не успеет... Помялся и понял: да. Не успеет. Этим что-то проломилось внутри, коснулось горячего. Но он тут же решил, быстро сморгнув: ну, тогда родителей — точно! А бабушку он будет помнить всегда, всегда. Он опять начал считать шаги, раз он так хорошо все устроил, но сразу проржавело небо и опустился дождь.

Березы с черными подмышками нестройно мели небеса, гоняя черные соринки воробьев, дождь метил реку расплывающимися мишенями — вода темнела и замедлялась, а дождь хлестал наотмашь радостно вязнувшую глину и взму-

чивал лужи до хлебного цвета, и мальчик пробежал сквозь дождь туда, где опять закачались в воздухе комары мохнатыми крестиками и стояли понурые, словно в инее, одуванчики, как клочья тумана, не успевшего вознестись. С сухим шорохом взлетали воробьи, пропрыгав меж отлакированных подорожников, и березы бежали к вымытому небу, рассыпаясь в ветви и листья наверху, проливая оттуда птичий свист струйкой холодной воды: копится, дрожит, набухает — проливается.

В начале огородов стояла лошадь с мохнатым чубом. Мальчик встал рядом. Еще пришла и села собака. Собака вставала, нюхала мальчику ноги и опять садилась впереди, а лошадь ела траву, и жевала, и фыркала, и волочила за собой цепь.

У кладбища его нагнал мотоцикл — Майкин отец, Аркадий Придворев. Подвез. Удочка хлестала по золотым шарам и вишням, на карнизах колыхались зыбкие, белесые капли, как бусины.

— Тетка приходит? — спрашивал Придворев. — Теть Рита твоя.

Мальчик кивнул.

— Жениться хотел, — засмеялся Придворев.

— А что не женились?

Придворев подрулил к гаражу, и мотоцикл угас. Мальчик посмотрел на оранжевый, ровный шлем и поспешно слез.

Придворев оперся на руль и признался:

— Дурак был. Матери говорю: люблю. Но как представлю, что она... Ну, в общем — в туалет ходит. Не могу! Противно!

Он закатил мотоцикл в гараж, на забор немедленно влезла Майка, но никак не сидела ровно, кто-то дергал за ногу снизу. Наверное, Труссы.

Придворев замкнул гараж.

— По большому? — спросил мальчик.

— Что-о?

— В туалет. По большому?

— А? Да. Да. Так, — Придворев захохотал и выразился попроще.

— А вы?

— Что?

— Вы ведь... тоже?

— Ну и я. Дурак был. Смотри, Марьянне не скажи. Тетка-то знает.

— Са-аш,— вдруг протянула Майка.— Пойдешь на лавочку?

— Пойду,— буркнул мальчик, тоскливо обидевшись за тетку.

— Зайди, вместе пойдем,— и пунцовая Майка прыгнула с забора и отвесила шлепок зарывавшим Трусам, вместо ответа на материнский вопрос: «Ну, сказала?»

Бабушка развешивала унесенное от дождя белье, поглядывая на радугу, мальчик, вздыхая, прошел к сараю — ставить удочку.

18.

Наша улица — я орошаю тебя собой — грязна: со двора на двор тянулись болотца, перетекали озера, переплывали утки с вульгарно покрашенными клювами, перекликались чайки. Весной все разливалось вообще до крылец — к сараям прыгали по пенькам. Копали канавы, спускали воду под наш забор. На всей улице — от кладбища до вокзала — мы жили в самой низине. Потому, что отстроились последними.

Наш огород просыхал, когда уж вишни зацветали желторесничными комками и, как волны, перехлестывались через забор пенным белоснежным чубом. Тогда уж разделялись лавочки: старушки собирались «под Гусаковыми» — на изъеденной муравьями шпале, похожей на серую кость. Мы садились на дубки «под Ениными». Когда Ильичева бабка, оберегая камышовую крышу от ранних курильщиков и любителей погонять комарей тлеющими пыжиками, гнала нас — мы переползали к хате Коли Крашеного — там топтали золотые шары, заигрывались до полночи в кулочки. Дедов было немного. Шэпин да Гагай сходились постоять среди дороги, перекрикивались, но скоро расходились, осторожно ступая.

Варька с Вольдемаром отдыхали на крыльце, подразнивая нового кобеля Серко. К ним выходил заезжий армян, строивший парник для роз на земле Райки Бессоновой — она жила вместе с братом-дурачком Мишкой Романенко. Мишка шлепал с вокзала последним, в синей «зэковской» робе, в милицейской фуражке и трубил по пути у каждой лавки:

— Ребята, пиво е?

Разговаривали по темну, перешептывались, а когда еще вечер жарил на голубой сковородке солнце, как глазунью, —

улица сидела и молчала среди разноудаленных коровьих жалоб, самолетных тающих росчерков, переговоров тепловозных, неспешного подступа озерной, пахнувшей тиной, прохлады, отмахиваясь веточками от ранних комарей, готова пыжики, высушенные на крыше — от тех же комарей. Вразной желали здоровья редким, последним прохожим. Опускали головы, чтоб не видеть залетных мотоциклистов, вглядывались вслед «чей-то такой?» Благодарили Мишку Романенко за весть о пиве, и ждали, когда проблеснут первые звезды, станут слышны паденья спелых груш и шорохи ежиков в траве, треск их седоватых иголок, заныряют над головами быстрые летучие мыши и ставни спрячут бережливый, только кухонный, свет и устанут все собаки, кроме одной, далекой, откуда-то с Монастырки — одна будет гавкать. Отдыхать и гавкать.

Уже сумрак плотнее нахлынул на хаты, сгущаясь в роскошную синеву над ветвями, которые деревья сушат после дождя, как женщины, напарясь, сушат волосы после бани, долгие, и в хатах на крестах оконных рам уже распинают свет и лягушки прыгают до хат. Вели коз — звенели колокольцы, проступала сквозь туман колючая паутина звезд.

Мальчик поставил своих на холме — они стояли, выставив копы меж щитов. Он ходил, втыкал палицу в траву. Считал шаги, считал своих, считал татар и сдувал с лица комаров. Кузя лазил по картохам.

Пещера расцарапало нутро ржавым гвоздем, время уходит, а все не заживает. Все болит. Липа желтеет. Скоро день, бабушка называет его «Илья» — и перестанет отпускать купаться. Клубники уже нет. Зато больше арбузов, а вечерами холодней. Бабушка знает, через сколько дней ему уехать — считает по календарю. Она все считает и знает. И когда он окончит десятый. Когда ему в армию идти. Когда появятся у него детки, а родители пойдут на отдых. Скоро он будет сидеть за партой и смотреть в окно, накрыв щекой железную пуговицу на школьном погончике. Тогда он уже будет только Данилов, а не племянник, не внук и не с Комсомольской улицы — он все оставит здесь навсегда. То есть: до следующего лета, до которого бабушка всегда думает не дожить, не

дождаться внука. Лето — это единственное время, проходящее быстро, лето — это единственное время, раз! — он вдарил палицей о землю.

— Убит! — гаркнул с забора Ильич, мальчик вздрогнул. — На лавочку пошли!

— Я приду.

Мальчик отбросил палку и пошел за ворота. Кивнул старушкам под Гусаковыми, а те шептались: «Если живут хорошо, любовь до самой смерти есть. До самой могилы никуда не денется». Он стукнул в Придворевы ворота, а дед Гагай прошептал Вольдемару, они курили у колонки — враз закашлялись.

— Заходи, — отворила Майкина мать. Аркадий вытаскивал шпилькой косточки из вишен, сидел на летней кухне, склонясь над широким тазом. — Майя, за тобой зашли.

И девочка быстро шагала по тропке к нему, вымытая, сжатая, и сипло сказала: «На!», и сунула две солнечные, крапчатые груши, одну — со срезанным подбитым бочком. Он мыкнул: «Спасибо», и протянул обратно одну, ей. «Та ешь, она уже столько их слопала», — улыбнулась ее мать и вышла за ворота — глянуть, как они пошли.

А они пошли — он наминал грушу со всхлипом, стыдясь перед улицей, лавочкой, собой; стыдясь ее зеленых колготок, толстых коленок, платья в горошек и кофточки, не надетой, а именно наброшенной на плечи, а еще тут и бант в волосах — ох.

— Ты не знаешь, что щас в клубе на утренний? — проворкотала она. Он мотнул головой и впивался в грушу дальше. Девочка сорвала на ходу листик и шлепала им по ноге — все. Не вышло. Поздно начала — лавочка уже встречала улыбочками. Расцветенная лавочка под белоногими великанами тополями белогуровской хаты — тополя доставали лысеющими макушками до звездного ковшика и роняли листья, как осенние каменщики роняют мастерки, замуровав небо — готово!

Были москвички, и все сразу явились: Барон привез красную розу, но никому не дарил, держал в зубах и нюхал, дымилась пыжики. Гитарист Дрокин в концертной рубашке настраивал инструмент, пьяный Резниченко опять ввалился в лужу и показывал всем: как он уделался, и старательно матерился под притворный девчачий визг. Извинялся — сорвалось — разглядывал брюки и снова что-то ронял, приседая на

гусиный помет. Витязь из педучилища Костя Ковалев не слезал с мотоцикла: он всегда вот-вот уезжал и поэтому сидел верхом часами. Ильич и Миргородский слушали шипящие песни в транзисторе, ржаньем покрывая рифмующиеся матом слова.

Местные девчонки, сплотившись коленка к коленке, равнялись то налево, то направо — на разговор, а москвички кутились в шали на собственных, принесенных табуретках — они были в брюках, так им теплей. Мелюзга ходила кругом, отмалчиваясь на все более обещающие выкрики матерей да бабок.

— Витька! Мишка! Андрей! — надрывались родичи.

— В пещеру! — добавляла лавочка, и малышня дулась и не уходила. Это был табор.

— Бабке про пещеры не сказал? — спросил Ильич. Мальчика заметили москвички и засмеялись потому, что Майка встала у заборчика и обернулась, надеясь, что он станет рядом, а он, покраснев, убежал на другой край, где Коля Крашенный учил материться Митьку Шэпина, он спрятался за Колю. И смех достался девочке — она отвернулась и покачивалась, постукивая кулачками о забор за спиной. Потом радостно обернулась на чьи-то слова, но, оказалось, говорили не ей.

Дядь Степа Гусаков пригнал коз, и мальчик был готов провалиться под землю от того, что Дуська Гусакова скоро потащит через дорогу банку с молоком, для него. И все знают; что для него. Еще он мучился, что девочка стоит одна, жалко улыбаясь широкой, щербатой улыбкой там, где смеются все. Слушает чужие слова и отворачивается, слезно жмурясь, от дыма, который от всех пыжиков валит в ее сторону; и придерживает кофточку свою руками — вот он ее оставил. А еще была пещера сегодня, был дождь, унесли деда Шэпина, а мальчик здесь — никто, но все это — ничего. Потому, что все кончится. Вот он еще ест грушу, а скоро — нигде ее не найдешь. А Митька Шэпин узнает, что такое школа — даже можно высчитать, когда . Лето — это единственное время, когда ничего не проходит, а стоит лету кончиться, а тебе отвернуться — все ка-ак полетит со всех ног, будто еле дотерпело, пока ты отвернешься: попилят белогуровские тополя — останутся лишь обрезанные низко пни, помрет дядь Степа Гусаков и Дуська найдет себе другого, оправдавшись, что детей у ей

нет и доглядать ее некому, армяна посадят в тюрьму, лавочка рассеется по семьям, казармам и тюрьмам. Умрет от рака языка Вольдемар, все пройдет, уже заведены часы, их гирькой Майкина сестра въедет в затылок родному деду — не мучайся, надо только подождать немного, мальчику дали в руки пыжик. Ильич поджег — теперь и у него был огонек.

Малышей утаскивали за уши мамыши. Москвички закуривали и делились куревом. Будущий женский врач Барон разъяснял Миргородскому различия женщины и мужчины — его пихали в бок, чтоб молчал, выразительно показывая на мальчика и девочку. Упрашивали Дрокина запеть наконец, но у того без бокала не было вокала, и он уехал с Ковалевым на мотоцикле к московскому поезду за тем и другим — тогда начали играть.

Играли чаще всего на лавочке в «кис-мяу», непонятная сейчас игра — мяукали, мяукали. Проигравший выходил, отворачивался от лавочки. Ведущий указывал пальцем на одного и второго — парой, и вопрошал: «Что этим?» Проигравший назначал. Ну, что могли придумать в Валуйках в присутствии гордых москвичек?

Лавочка сидела с пересохшими ртами, москвички укоризненно щурились, а проигравший лепетал, будто читая на темном Дуськином заборе, обрушивал испытания на избранные пары:

Сорвать и подарить цветок! Лавочка хихикала.

Взять за руку! Общий вздох.

Пройтись до угла и обратно! Выдох.

Тоже самое. Но — под ручку! Гогот.

Дойти до колонки, обняться и сказать что-то важное! Народ стонал.

Поцеловать в щечку! Безмолвие.

Чаще выпадали пары глупые. И Миргородский брал Ильича за руку. А две местные девчонки без радости тащились «под ручку» до угла и обратно. А Костя Ковалев, который с детского сада просто не замечал девочек ниже областных, отправлялся, вздохнув, до колонки, обниматься и говорить что-то важное нашей Верке Пономаревой — у нее комариные укусы на лице всегда были замазаны зеленкой.

Но вот когда выпадало нужное...

Москвички умели это подать. Они улыбались. Но как бы не весело, а грустно. Будто чего-то теряя. Они вроде бы даже стыдились. Они видели в этом какой-то порок и печаль. Подруги их даже уговаривали, шептали на ухо — а москвички вздыхали и заливались розовым огнем.

И только затем их белая, нечеловеческая рука, с кольцами, браслетами, чистая, с алыми ноготками, снегом касалась чьих-то дрожащих валуйских лап.

Только затем, печально оглянувшись на притихших всех, они уходили, обняв себя, озябшие, длинные, качающиеся, ладные, как лошади, рядом с полупарализованным каким-нибудь Витькой Ильичом в дедовой армейской рубахе — и я до сих пор не знаю, осмеливались ли наши лоботрясы взять под руку или тем более обнять. Но возвращались всегда не скоро, как-то устало, и не сразу начинали говорить. Рядом со счастливецем сидеть становилось невозможно — он был озадачен и горяч, как печка.

Но нужное выпадало редко. А целоваться — так вообще: раза три за все лето. И лавочка ждала этих трех, заветных раз. Нет, конечно, не целовались, но как пленяла томительность ожидания. Напряжение, предчувствие, влекущая сила мечты, связи, вдруг возникшей между двумя, несмотря на шутейные уговоры и толчки — давайте! Притяжение осязаемое до того, что надо было что есть сил сдерживать губы, сами тянущиеся вперед. Разве все это можно поставить рядом с каким-нибудь там чмоканьем в щечку?

Никто об этом не знает, но за все время случился только один настоящий поцелуй.

Меня почти не называли в пару, кому охота? Так, если только ради смеха. А вдруг Ильич показал на меня. И еще на кого-то. «Что этим?»

«В щечку поцеловать!» — брякнул вслепую Миргородский.

Все развеселились (хотя кто-то, конечно, огорчился), хлопнули меня по плечу: ну! Один дуропляс так хлопнул, что я слетел с лавки чуть ли не носом в кучу угля. Обернулся и замер: вторая-то была Ленка, москвичка Звонарева. А Ленка Звонарева — она самая красивая и большая, у нее черная челка по брови, и брови смоляные и такие ж глазищи, глаза. Она потом замуж выйдет два раза и разведется. К ней три жениха из Валуек будут приезжать. Я только раз с ней в кино

сидел. Она мне жвачку дала, сделанную как папироску, бабушка потом за мной с венником гонялась, как следует не разобрав. Мне вам трудно объяснить, какая была Ленка — всюду мягкая, а когда на нее смотрел — смотрел на губы: алые, широкие, с зубчиком на верхней губе. Она убрала со лба пряди, рассмеялась, поднялась, подтащила меня за шею ближе, пригнулась, тронув плечо большой грудью, и губы ее: сдвоенные, теплые, разомкнулись влажно на моей щеке — поцеловала. Я зажмурился. Она сказала: «А ну, стой», — и стерла с моей щеки помаду. Все.

И я залез обратно на лавочку. Играли дальше. Долго играли. Я крутил пыжиком в ночи. Докрутился, что Миргородскому волосы подпалил. Боялся еще летучих мышей. А на самом деле тихо горевал и волновался нечаянному моему счастью. Заглянул, как за крашек, а сам буду там еще очень не скоро, и не с этими людьми. Коснулась меня самая красивая женщина из богатого нарядного мира — коснулась запросто, ничего про это не поняв (а вдруг втайне что-то поняв?) — и этого никогда больше не будет. Ведь не подойдешь завтра к ней среди бела дня, когда она на солнышке стрижет себе ногти на ногах, склонив к голым коленкам вымытые замотанные полотенцем волосы, не скажешь ведь: давай еще.

Разве это можно просить? Черта с два захочет. А если и захочет, чтоб посмеяться — самому противно будет. Такого уже не повторится. Так и уедет, непонятая, а я останусь со своей крохотной хаткой, головастиками в тазу и гнусавой Майкой Придворевой, у которой одно платье и в город и на лавочку, вот ее и зовут моей «невестой», это — мое. А еще ведь была пещера с черными рисунками, что ждет и меня. Только я убегу. Мне этого не надо. Никогда не буду так, ни разу. Мне и сейчас тошно это вспоминать. Ну-ка, проверю: тошно? Еще как! Я ничего этого не хочу. Мне не надо.

Я совсем не помню Ленку Звонареву. И как тогда было. Нет. Совсем не помню.

Водил Барон. Коля Крашенный придумывал участь, глядя в забор.

Барон указал своей розой на мальчика:

— Этому, — и ухмыльнулся, — и этому!

Лавочка понимающе завопила — вторая была Майка, и Крашенный по вою этому спиной уже догадался что-то и не-

терпеливо переступая, загоготал и затряс рукой: сейчас-сейчас, скажет!

Мальчик сорвался, огибая ловящие руки, помчался к хате.

Бабушка сидела на крыльце, он ткнулся ей в бок. Она растегнула фуфайку и укрыла его полкой. Кузя лег греть им ноги.

Вдоль забора, всхлипывая, прошла Майка, стукнули ворота.

У Шэпиных расходились поминки — во дворе путались голоса. На темной, жирной земле пластались сухие плети бурьяна, над ними дрожащими свечными огоньками трепетали пепельные бабочки и жуки пушистыми комками, дребезжа, прорезали мрак.

— Што быстро? — спросила бабушка, — перевязав плотнее платок. — Не обидели?

Мальчик гладил кота. Бабушка согревала его сухим, птичьим телом. Они сидели на крыльцах горсткой тепла и покоя среди звезд, тополей и заборов, озер, камышинных переплетений и уклонов, черной гривы сада с заброшенным двором на задах, вокзальных железных отголосков, скрипящих изредка ставень, сопенья кота — стекала ночь, и прижимала их к дверям, к маленькому свету, к фотографиям близких людей, где последний силы теряет календарный листок, пытаюсь еще удержать черную цифру, в которой тяжело набухает ночь — идет ночь, приближающая кладбище, черного человека, огненное колесо, худую тетю Клаву-баптистку, пещерный, жадный, ледяной зев, в котором я не был никогда — сильна ночь, и они сидели тесно, чтобы немного побыть.

— Лето быстро... Через семь недель после Пасхи уже Троица. А там и осень. Раньше, кажется, не кончалось. Все полешь и полешь эту свеклу... Пойду я ставни позакрою.

В ромашках зашевелился ежик, распахнул траву и высунул черноконечный носик, задергал им, обнюхиваясь. Бабушка прошаркала мимо и тихонько вернулась — ежик выбрался из травы, собрался в шарик и растопырился.

Мальчик подкрался и трогал, гладил суховатые, вздрагивающие иголки, а ежик шипел и фукал, как сковорода.

— Сарай запри, — велела бабушка.

Мальчик тронул карман — а нету ключей. Где? Если только на лавочке обронил. Он взял на кухне спички и пошел искать.

Улица спала, и мальчик раззевался. Смотрел на глазастую лунную рожу и расчесывал запястья, исклеванные комарьем.

Над лавкой клубился хмель, будто кто-то еще сидел. Мальчик достал спички и брякал коробком на ходу и кашлял, чтоб слышали: на лавке, правда, кто-то сидел. Еще не распростились. Или пьяный шэпинский гость. Миша Романенко вроде уже протащился: не он. Или Вольдемара выгнала Варька? Вдруг — Майка плачет? Мальчик тоскливо вздохнул.

И встал. Не мог приглядеться: кто сидит-то?

— Саш,— узнали его. Позвала. Так внезапно. Она; аж сразу в голове застучало. Одна сидит.

— Ключи потерял,— мальчик совал прыгающие пальцы в коробочек — спички.

— На. Вот эти?

— Эти.

Он вдруг забрался на лавку. Рядом. Зло косился в стороны: сейчас, ясное дело, припрется какой-нибудь Костя Ковалев на своем мотопеде...

— Чего ты убежал? Так смеялись. Резниченко выкаблучивался: дорогу веревкой перетянул. Мужик на велосипеде свалился,— ей тоже хотелось спать. Она зевнула в ладони и посмотрела на пальцы — не смазала тушь? — Чего ты не спишь?

Он думал: сарай надо закрыть, вот и не сплю. Скажи про меня. Как долго может ничего не происходить, не стареть. Все стоит на месте. Сердце стучит на месте.

— А я уезжаю. Поезд через час. Бабка собирает. На юг завтра, к морю. Вечером — уже на море.

Мальчик не был на море. Никогда. Он вспомнил: следующим летом ей поступать, уже не приедет. Ее хахаль замуж тащит сразу после школы, не терпится ему, дотронься до меня, как все тянется, только сейчас все.

— Испугался в пещере? А я как... Как сегодня усну? — она сунула руку в хмель, дергала за липкие, шершавые сплетенья — движенье переходило в забор, а потом в спину мальчика, — скажи мне про пещеру, про то, что там.

— Наши ходили к Шэпину абрикос трясти. А ты убежал.

Абрикос у Шэпина теперь можно трясти — некому следить. Мальчик подумал, буркнул:

— Я бы не пошел.

— А чего ты убежал? Из-за Майки, да? — склонилась она к нему, хитровато подняв брови.

А он, раздавленный этим приближеньем, вдруг вышептал жаркое:

— Она. Такая некрасивая...— и чуть не расплакался.— Ну, что я-то...

— Са! Ша!

Они вздрогнули, она шепнула — ох!

А это бабушка выступила из тьмы худенькой тенью.

— Вон он сидит! Я яго выкликаю. Нашел ключ? А вон с дамою.

— Здравствуйте.

— Здрастуйте. Пошли быстро!

Он поднял голову. В макушку его задышала холодом ночь. Он выдавил бабушке — ну, бабушка!..— хоть все напрасно:

— Я еще. Посажу.

— Завтра день будя, — бабушка сдернула его с лавки и подтолкнула к хате.— Иди! А то вырежу хаваростину, — грозила она и толкала снова в спину, он сглатывал, не отвечал, задыхаясь.— Ночь на дворе, а вон — посидит. Жаних! А как собака побегит: бабушку звать будешь? Выпужает, что родителям скажу? А? Ты не дуйся на меня. Всякому дню забота своя. У бога дней многа. Посидит он ишо, отверай...

Он потянул леску, подымающую щеколду и оглянулся изпод руки: не видать. Кажется, отвернулась. Не смотрит.

— Бягом в хату! Ешь, я сарай запру. Ведро в сенцах. Дрожишь весь.

Так холодно, правда. Кончается лето. Да, уже все. Он бычком, без отрыву, влил в себя молоко. Откусил от булки сколько мог. Жевал и стягивал с себя в зале штаны. Бабушка разбирала в спальне постель, подбивала подушки.

— Вареники будешь есть? Я завтра налеплю. Тушу свет!

Она погасила свет и ушла на кухню, на свой диван. Там серчала: ничего не съел! — выносила банку с молоком в сенцы, вдруг с улицы заорал кот, мальчик сел на кровать, свалился на бок, разложил на себе одеяло — ночь, бабушка впустила кота и бурчала, что ни за что не подыметя его выпускать, и неужто такие холода, что и кот на улице не может, что такое... Она крикнула мальчику сквозь дыру в стене, чтоб не пускал кота в кровать, мальчик трогал железные прутья большой соседней кровати, высчитывал: четно или нет, если

четно — он долго проживет, один из прутьев шатался, он задержался на нем и шатал, и забыл, что считал, кот вытянулся в ногах, урчал, спит. Сейчас затарахтит мотоцикл. Ведь не просто она сидела. Конечно, ждала! И вырядилась. А может, и к поезду оделась? Мальчик вертанулся, как следует: и — раз! и — раз! Пусть слышит бабушка, что не спит, обиделся. Ну, чего она сунулась? И еще подошла. В фуфайке. Еще так сказала. Будто он боится собак. Какой же та увидела бабушку его! Хотя она уедет. Чего ей. И никогда!

Мальчик вздохнул и раздавил ресницами теплые слезы. Дома — мама. Дома даже пахнет другим, первые дни. Там сразу носки одевать. Он расскажет когда-нибудь про пещеру, кому-нибудь. Все удивятся. Как там было страшно. Как там было страшно. Как там было все... Бабушка не знает. Его загнала! Она бы ему сказала что-то. Или вот это. Она не придет больше. По радио — гимн, и все. Ночь. Утро, утром бабушка клубнику. Липкий подбородок. Полупрозрачные на свету вареники. Завтра уехала, больше нету, лето, засыпай, шестьдесят четыре, шестьдесят три, шестьдесят два, как ты надеешься на много, шестьдесят один, да разве это много, вот бабушке вон аж, шестьдесят, чего там на юге? Подняться, выйти из спальни — в зал, часы тикают, рубят канат, по ворсинке. На кухне — бабушка храпит. В сенях окошка не видно — ночь такая... Засов, еще ключ, щеколда... Две ступени крыльца — земля... А там пошел и уходит поезд... А земля ведет тропинкой за сарай, в камыши, в сад, где вместо забора свалены мертвые вишни, а за ними заброшенный сад, заколочены окна, оттуда идет ночь, начинает свой ход, стоит всем лечь. Он думал, что плакал, упершись в подушку, тихонько и жалобно, в горькой, бедной печали, вздыхая, как отдыхая, догадываясь, что слезы уже не могут все и не услышат и не заберут отсюда, и на самом деле. На самом деле он не хотел. Ведь он же не хотел быть, всего этого: грубеть, пить, чтоб на щеках выросли волосы, и пусть посмеют только потянуть его к ответу, он им прокричит: «Зачем ты? Я ж не хотел! Кто тебя просил? Какое ты имеешь, поганый, право?!» — ты прощай, моя кровь, мое летнее солнце, прощай ты, я упустил из рук тебя обратно в ведра вишен, лозняк и Новые года, манившие сквозь школьные каторги, вечности — хвоей, и томили посреди ожидания лета, переводили дух: белая вата, звезда и шоколадные медальки и бой! бой! бой! — часов за-

снеженного Кремля, где ты и бабушка, и как ни велика разделяющая вас ненастная пустыня, бабушка дождется опять, переждет, и ты рванешься и побежишь уже от угла Комсомольской — нет сил идти и ждать еще, ты прощай, я мог тебе быть хотя бы старшим братом. Я не в силах нести тебя дальше и не вопить среди ночи, высунувшись в окно — где же это?! Соседи и родственники против. Да, это сделал я; да, я просто оставил тебя за спиной, когда ты спал и думал, что плачешь; да, я не думал бросить совсем; я думал — хоть следом пойдешь, доберешься со мной, своим ходом. Но ты почувствовал раньше, все раньше меня, и не пошел, все крепился один, чтоб не реветь, чтоб не звать: а я? я? И побежал в сторону от затоптанной дороги, к черной ночи, в скользкий лес и кричал там: возьмите! Но и тебя отловили эти всегда здоровые, крепкие руки в рукавах, закатанных по локоть, и пхнули в зеленую твою солнечную могилу — где все вроде было: и хата, и сад, велосипед, стороны света, крашенные в бронзу солдатики, дожди и рыба красноперка, но только почему-то — в одном месте, но только почему-то: ты жил, как спал, как ждал — без вкуса вишен на устах. Ты перестал чувствовать вкус. И эти мгновенные, минутные, часовые руки хватали тебя за каждой дверью и толкали назад: здесь, вот здесь, здесь же все для вас приготовлено, играйте, кушайте, не надо выходить, но ты помнил смутно, что где-то есть еще и я, и ты доказывал это себе из того, что стал реже плакать, меньше говорить и знать, друзья твои теряли лица, некоторых вовсе уводили прочь, тихонько, когда ты спал, и ты не мог утром вспомнить: а кто же сидел за этим столиком у окна, куда-то девались игрушки, мячи, стеснился двор, меньше рассказывала бабушка, да все одно и то же, радостный, светлый детский сад усох до рисованного Деда Мороза на окне, нашествий зубных врачей и чеснока, краденного из борща — тебя забывали. Забывали твою жизнь. Ты прощал это и терпел потому, что забывал именно я, ты догадался, а что было делать — ты ж не смог убежать, надо ждать. Ты прощай, расставанье мое, прощайте, дни, просторные, как улицы, нестрашная ночь, тополя, я не могу больше даже смотреть на тебя — у меня это вырвалось просто, меня стошнило, да ладно, я... Но тебе-то терпеть, не меняясь, пока хожу я, когда тебя хоронит все, что я глупо отгребаю от себя в ночь, и крепкие руки все уводят, и забирают, рвут из альбома рисунки

зеленых танков с красными звездами, запирают ставнями окна, уносят гильзы, синяки, нежные твои имена, чистую кожу, кота, яблоки из сада, молоко, которое ты не любил и еще больше — то, что любил, и я, когда я захриплю, и старуха с щербатым ртом будет тискать мой взмоченный лоб и шептать: «Все щас пройдет, щас пройдет», и все — тогда ты остановишься ждать и, подняв голову, увидишь теснее все, что осталось: бабушку со смутным лицом и двумя словечками, необязательными, немного света, немного лета, синюю буденновку со звездой, смолу, в которую ты влезал новой сандалией каждое лето, и прижмешь ближе красный меч и белый кораблик с белой трубой и подумаешь: вот теперь, наконец-то, приду я — к тебе заглянут, что тут у нас осталось. И просто потушат свет, щелчком, похожим на последний сердечный стук. И на единый миг! — на вдох — к тебе вернется сразу все, великое, не помещающееся в скудное слово «мир» — на солнцепеке — ты проснешься, а на выдохе уже все уйдет, без остатка, совсем, и ты выдохнешь за меня, что вдохнул я последним в свое гнилое нутро, но все равно не припадешь к этим ступням и ступеням, оставшись с упрямой своею тоской: «Он же не хотел!» — прощай.

Бабушка припоминала, не спала.

19.

Если жить еще, то, в общем, так сложилось, что я не видел ни одной из своих бабушек, и летом мне некуда было поехать, кроме школьного лагеря, который водили на обед в диетическую столовую через весь город, а станцию Валуйки в Белгородской области я проезжал лишь однажды — это было ночью — нас везли в армию — я буду жить.

Мальчик сбросил одеяло и по доскам, по полу, побежал сквозь тьму, распахивая занавески, задевая притолки, стены, рукомойник и упал на бабушкин диван, позвал:

— Бабушка! Бабушка!

— Да што ты?!

— ... Как же страшно умирать.

Она сразу рассмеялась:

— Вот ты што, — и тронула его голову. — Бабушка, какая старая, а об этом не думает, еще хочет пожить, а ты еще сабе голову забиваешь... Что ты? Ложись-ка, а я тебе порасскажу, все равно ж не спишь.

Я заметил, что у меня крадут — ну и ладно. Но все же: как это неприметно. Вот у меня есть бывшее, а в нем то, что я не хотел бы забыть. Ну, не знаю — почему. Просто: детски не хочется.

Но все уходит одинаково: и дорогое, и просто бывшее. И это не так зримо. Не так, как осыпается фреска и кусок забвения зияет среди божьего цвета кладбищенской серой стеной. Это — как туман: все, в общем, видать, но все уже не так отчетливо. Но ведь там же, за туманом, все так и осталось, верно? Но за туманом опускается вечер, остаются лишь слабенькие огоньки.

Да еще столько дел, что нет возможности глядеть все время туда. Но даже если ты и обозлишься на свои дырявые карманы, поставишь стул и пристально уставишься в ту степь — все равно: ничего не изменится, разом всего не удержишь — и также продолжит оседать, подтаивать, затягиваться туманом.

И даже если ты плюнешь на все бывшее и соберешься беречь лишь одно лицо, одну полосочку: она точно также затянется и потеряется — не уследишь.

Беда в том, что там, в той стороне, все очень связано. Это только нам кажется, что если мы выломались оттуда сами, то так же можем выломать с собой хотя бы ветку на память из того сада. Вдыхать и вспоминать. Да нет. Нет.

Или там просто нет ничего? Лишь наши сны? И терзает душу лишь равномерность их выцветания, так похожая на равномерность удаления провожающих на вокзале: рядом, подальше, бегут — рукой машут, а вот — и не видны совсем. Оттого и кажется, что удаляемся от чего-то, уезжаем? Потому, что других равномерностей — властных, постоянных, неуловимых, но явных, не меняющих облик, а лишь уводящих его — мы не знаем, вернее — не хотим.

Но если захотим — вдруг все дело в равномерности умирания? Ведь если так: пускай крадут, да? И не такое теряешь. Ну ладно.

И когда я придумал вспомнить свою бабушку, мне казалось, что за дверью откроется лето. А там оказалось совсем немного места: узко, неглубоко — чтобы только встать одному человеку. Лечь. И не только вокруг ничего не развернулось, она и сама-то — почти не откликнулась. А вроде помнил все. И верил в это. Так, случаи какие-то, и не расскажешь, словечки, как жгли костер. Бабушка меня никогда не наказывала.

Никогда не ласкала. Даже по голове не гладила. Мне еще не помнится, чтобы она меня воспитывала. Она никогда не пела. Я ни разу не видел ее плачущей. Когда уезжал — улыбалась. Не любила, чтобы опаздывали на поезд, торопила из хаты. Тетка рассказывала, что бабушка плакала, когда оставалась одна. Она хотела дождаться моих детей. У нас всегда было мало денег, я это знал, но не чувствовал, на базар она ходила. Одну и ту же вижу: сидит, в окно смотрит. Все, что осталось.

Владимир Еременко не увидит этой публикации. Нынешней зимой он умер, не дожив и до середины пятого десятка. Очень требовательно и трудно относясь к своим публикациям и книгам, Володя выпустил лишь два сборника — «Приметы родства» (1989) и «Только любовь» (1991). Мы в редакции не раз говорили о его подборке стихотворений, да вот опоздали. Печатаая еще не известные читателю стихи В.Еременко, мы отдаем дань уважения талантливому и неординарному человеку.

ЖИТИЕ МАРИИ

* * *

Не пью с лирическим героем.
Хотя, бывает, ходим строем:
Жратва. Сортир. Работа. Сон.
Но он не я. А я — не он.
Поодиночке землю рою.

Я понимать его привык.
Но он несбыточный мужик —
Все сытным лукоморьем бредит
И ждет. А барин все не едет.
Чуть что — и никаких улик...
Такой немислимый мужик.

Бывает, встанем спозаранок
И хвалим ножки итальянок.
Жратва. Сортир. Работа. Сон.
Он спит, пространством потрясен.
Лицом спокойный, как рубанок...

Он верит в правоту свою.
Живет разумно, как в раю.
И видит сны про птичью стаю.
Его, как старших, почитаю.
С отцом не пил.
И с ним не пью...

* * *

Моей судьбы неведомая нить
Влечет меня, не требуя разлада.
И все сильнее желанье — уходить.
И становиться частью снегопада.

Парить, как он, в неверном свете дня.
И остывать. И чувствовать блаженство,
Преображая землю и храня
Падение, как меру совершенства.

Вдоль крестовин рука его легла.
Огни парадных требуют приличий.
Мы будем вместе только до угла,
Где оборвется след людской и птичий.

И я устану жить среди людей.
А он пребудет легок и неплотен,
Благословляя губы площадей,
Тоску платформ и корчи подворотен...

ЭХО

Ты стала мерой века на пороге
Пустой избы в излучине Протвы.
Я был крестом из бука у дороги
Между озер России и Литвы.

К тебе, в укор людскому недоверью,
Стучала жизнь, убогих веселя!
Мой резчик был — великий подмастерье.
Ему досталась легкая земля.

«Текли снега, вытаивая силу.
Судьба была то хлебом, то — тюрьмой...»
«Чужая боль ступни мои омыла,
Родная мать рубила комель мой!»

«Меньшой храним родительским объятьем.
У старшей — горб. У среднего — семья...»
«Услышь меня! Я был твоим распятым.
Меня твои спалили сыновья...»

* * *

Из рук друзей хмельное зелье
Принять, и склянку — на куски!
Храни нас Бог от рукоделья,
Спаси нас, время, от тоски.
Губами в мятые соцветья —
Затушим пламя ремесла,
Когда упругое столетье
В пространство вышвырнет тела,
И в колеи вопьются скаты,
И жижа хлынет на гранит!
И горечь — вервие крылатых —
Иным призванье объяснит.
Взойдут светила, встанет колос.
Разложат прах по именам.
Один из нас глубокий голос
Оставит новым временам.

ЖИТИЕ МАРИИ (Подражание кинематографу)

Золотозубый ангелок,
Угрюмым перышком играя,
Влечет Марию вглубь сарая
И душу требует в залог.

А для Марии боль сладка.
Сначала криком издерется.
Потом внезапно рассмеется!
Да и пойдет по кабакам.

И станет — «Машка-сучья кость»,
«Паскуда», «Лярва», «Дочка нэпа»...
Малины Пресни и Зацепа,
Сегодня мил, в завтра — врозь!

Один придет — милее всех.
В кармане — шпалер, в жесте — удаль.
Огнем в ночи — зажгутся губы,
Цветком в грязи — взорвется смех!

Сомлеет вся от грубых слов:
«Машуха, дура, помни Петю!»...
Но вот на ласки не ответит,
И словно — руку на излом!

Ударит в мозг степная кровь.
Но до конца сыграет сцену:
Подарит водки за измену
И пол-обоймы — за любовь!

И след простыл... Состав, пыхтя,
Ползет едва куда-то к Югу.
В вагоне душно. Храп и ругань.
Под сердцем стучает дитя.

Крик! Омут... Белая стена...
На плинтус — хлорку... Душу — Богу.
Уездный доктор смотрит строго
На кисть с наколкой «Княжна».

Свисает петель нитка бус.
В ночи волос — костяк гребенки.
На окровавленной клеенке —
Мертворожденный Иисус.

* * *

Были дни напролет, без затей,
Четкой прописью слева направо.
Я узнал ощущение людей,
Очарованных властью устава.

Под окном в набегавшей заре
Заскорузлые листья шумели.
Жил затяжкой в сухом январе
И ютился в безмерной шинели.

Двери моечной в душных клубах
Начинали неволить и сниться.
И друзей выделяла судьба
Как порез выделяет живицу.

Словно бросили вниз головой —
Опыт выступил пятнами соли.
Задохнулся июньской травой.
И забыл написать о неволе...

* * *

Моя нетленная страна,
Доколе ночь твоя продлится?
Я выкликаю времена,
Но их герои прячут лица.

«Оковы тяжкие падут!» —
Куда — с писульками пустыми?!
За так спросонья продадут.
И расстреляют... «холостыми»

Смахнут слезу: «Отворковал»
Глотнут по кругу: «Эх, судьбина...»
И снова лягут спать вповал
На потных досках равелина.

Одни на брошенной земле,
Под вздохи стершихся религий...
Пиши хоть кровью на Кремле —
Ночь не допустит этой книги.

И пусть их, спят. Перешагнем,
Меж судеб бережно ступая.
Их лица детские огнем
Не опали, душа слепая.

Как спится в каменном дому!
Прилег дневальный... Тихо в роте.
И не проснуться никому
На безымянном повороте.

* * *

С чего бы это снятся шомпола?
Должно быть, снова мыслящий рискует...
Опять земля детей пережила.
Опять о прошлом нищая тоскует.

Опять в глазах — мучительный запой.
Глухие люди в логовищах низких.
И нежничать с чудовищной судьбой
Необходимо только ради близких.

* * *

Я подумал о времени, сердце мое,
О неведомой горечи выбранных звезд,
От которой ночами болит бытие.
Но травинка судьбы поднимает в рост.

И на стебле судьбы, где излом пережит,
Где однажды у Господа ноги свело,
Изумрудная капля беззвучно дрожит,
Из морозного сна увлекает в тепло.

Нарушая морозное правило дней:
Осыпая труды, проходить без числа...
Это Дерево Нежности плачет над ней,
Потому что она ожила...

* * *

В сердце ласточки — город багровый
Изнемог. Но она не кричит.
Все ей мнится младенец безбровый
На песке за чертой пирамид.

Далеко, где живые забыты,
Где неслышно кровавой трубы,
Там, где знаки наносят на плиты,
Не спеша, дорогие рабы.

Круг за кругом, все выше и выше
Поднимается в тайной вине.
Там он, там он, рожденный под крышей,
Той, что ныне исчезла в огне.

Там она его взгляд пеленала,
Там ее ожидали всегда...
Поднялась, и Земли не узнала:
Так она голуба и чужда.

И воздвигнулась пагода птичья,
Где укор не сжимает виски...
Ни огня, ни песков, ни величья,
Ни рабов, ни родства, ни тоски.

* * *

Все имена — тебе! Единственно, Твое
Нельзя произнести дыханья не пытая.
У темного зрачка — опушка золотая,
Наверно, в небесах Господь ковал ее.

Среди потухших лиц сиделкою немую
Стоишь. Но бремя их одну тебя гнетет.
Твой взор — как дрема птиц, застигнутых грозюю:
Там мечется во тьме затравленный полет.

Безмозглая война... Горящая олива,
Кого б ты ни звала, никто не отвечал.
И все же ты стройна и царственно красива,
Как будто мытарь-мир не жег твоих начал.

Зачем тараним твердь безудержными лбами?
Так выпало... Но знай, пока нас водит Спас,
Зовущая простор творящими губами,
Ты в небе разлита для каждого из нас.

* * *

Как Земля необозрима,
Как печаль ее сладка
В детском сердце пилигрима,
Пережившего века.

Как приют ее прохладен!
Принимая благодать,
Соком лунных виноградин
Можно бремя пропитать.

В искушении высоком
Растворяя соль планет,
Свет струится темным оком,
Мгла сочится, сея свет.

Полуслово-полуптица
Держит звезды над огнем...
Никогда не повторится
Этот вечер. Миру в нем

Ни за что уже на свете
Не узнать следы свои.
Никогда и звезды эти
Так не выстроят рои.

Свод молитвой не терзая,
Неприступный для обид,
Дремлет, вечность осязая,
Или угли шевелит.

Ольга Бутенко

ОТ ЭТОГО ЕЩЕ НИКТО НЕ УМЕР

1. КАК КОЛЬЦО В ПЕСОК

Мы только успели дойти до столовой, как дождь полил снова, испытывая терпение. Нужно было что-то предпринимать. И мы решили ехать в Пярну. Собираться было не нужно, потому что путешествовать мы были всегда готовы. И нам некого было уговаривать: мы были вдвоем. Просто, когда мы съели свой клопс*, небо потемнело и дождь утроил свои усилия, я подумала: «А не съездить ли нам завтра в Пярну?» — а он закричал: «Давай! Давай! Ну, пожалуйста! Все! Все! Ты уже сказала, а слово брать назад нельзя». Мы раскрыли зонт и пошли узнавать расписание автобусов.

И вот мы встали в шесть без будильника, выпили чаю и поехали творога; постели, конечно, не убрали — вернемся ночью; надели джинсы и шерстяные кофты, положили в сумку еду, плащи, зонт, купальники; приняли аэрон**, взяли целлофановые пакеты и отправились в Пярну. Все отдыхающие спали, а потому своей будничной суетностью не тушили радости исполняющегося желания.

**ОЛЬГА
БУТЕНКО**

— родилась в Москве. Окончила Институт стали. В 1977 г. эмигрировала в Канаду. В 1985 г. в Канаде вышла книга повестей и рассказов на французском языке. На родине публикуется впервые.

* клопс — национальное эстонское блюдо.

** аэрон — средство от морской болезни.

Мы сели в автобус, достали карту республики, приготовили записную книжку и карандаш. Четыре часа мы будем в пути, будем следить по карте за маршрутом, записывать время прибытия в пересадочные пункты и обратное расписание автобусов в них, так как прямого обратного маршрута нет. Четыре часа мы будем делить на тридцатиминутные интервалы: сидеть-стоять, потому что врачи разрешили ему сидеть не больше получаса. Четыре часа мы будем ждать моря и следить, как меняется погода и небо, к дождю или нет. Четыре часа мы будем пребывать в томящей неизвестности: можно ли будет купаться? А сейчас водитель закрыл двери, и полупустой автобус со шпацими эстонцами тронулся со своего места и направился в Пярну.

Мы ехали, потому что два самые большие преступления на свете, убивающие человека, или, по крайней мере, его любовь,— это постоянное ограничение его свободы и равнодушие к его желаниям, умирающим неисполнившимися. А так как мы оба понимали это, то мы ехали, а «вопреки» мы даже не клали на другую чашу весов. Взвешивать желания так же глупо, как взвешивать любовь или гнев.

И мы правильно сделали, что поехали, потому что через неделю мы бы уже никуда не поехали. Через неделю мы будем уже не вдвоем, а втроем, и нецелесообразность поездки будет ему, третьему, так очевидна, что обратного мы уж не сможем доказать ему даже вдвоем. Он даже не назовет это нецелесообразностью, просто чудовищным легкомыслием, безответственностью за жизнь самого дорогого, что у нас есть — ребенка. После такой трудной зимы, после полутора месяцев лежания на спине, после того, как он заново учился ходить, бесконечных массажей и гимнастик... Да у него и сейчас еще болят ноги от трехкилометровых прогулок, и нельзя много сидеть, а лежать можно только на жестком. И, зная все это, без всяких тренировок, отправиться сразу в такую поездку: одна дорога — восемь часов туда и обратно с шести утра до двенадцати ночи на ногах! Да, на ногах, потому что даже посидеть больше получаса нельзя. Да вы что, ребята? Ну, подумайте сами, чем это кончится. Ведь он не выдержит. Он свалится. И что ты тогда будешь делать? Здесь? Одна в чужом городе? Ни языка не знаешь, ни врачей. Нет. Я категорически против.

И все. И все продиктовано самым возвышенным: любовью к нам и заботой о нас. О себе ни слова. И мы бы не поехали, потому что в своем желании были бы не правы. И наше Пярну, и наше море растаяли бы, как солнце в тумане.

Погода нам благоприятствовала. Природе уже не хватало туч, чтобы закрыть ими все небо. Они тут и там лопались, и в прорехи выглядывало обнадеживающе голубое. Стекла в автобусе сначала немного запотели, а теперь снова стали прозрачными. Значит, снаружи потеплело. Поля чередовались с лесом, холмы совсем пропали. Начиная от Тырвы, все шоссе, по которым мы выезжали из городов, назывались Пярну. Но это было, в лучшем случае, только полпути. Прохожих на улицах становилось все больше. Въезжая в населенные пункты, я смотрела в первую очередь, не начали ли люди снимать теплую одежду. День, казалось, сам для себя не мог решить, быть ему теплым и солнечным или продолжать оплакивать неизвестно что. А люди и подавно не могли решить этого за него и, на всякий случай, надевали плащи и кофты, даже когда шли ненадолго в магазин. И мы тоже не знали, будем купаться или нет. Казалось, конца не будет полям, костелам, двухэтажным коттеджам и этой неопределенности.

Наконец, мы въехали на шоссе Рига-Пярну. Слева был лес, не такой, как у нас, а только хвойный, а за ним море. И день сделал окончательный выбор: солнце скрылось. Мы въезжали в Пярну, как под полог.

Автобус долго кружил по улицам. Мне казалось, что Пярну меньше. Я не узнавала ни одного места, ни одной улицы. Даже засомневалась, найду ли я дорогу к морю и улице, где мы втроем жили десять лет назад и названия которой я не могла вспомнить. Автобус остановился, и мы вышли на площадь. Я узнала ее и здание автовокзала, и улицу, по которой мы ходили к нему за билетами. На углу ее я узнала следующую, ведущую к нашему бывшему дому, и вдруг мы оказались на той самой улице, названия которой я не могла вспомнить. Она называлась Хоммику. Хоммику, 5. Десять лет назад мы приехали сюда втроем отдыхать. Отдыхать! Из этого отдыха я не могу выделить ни одного дня. Нет, пожалуй, один можно. Это, когда среди ночи раздался истошный крик: у сына началось воспаление среднего уха. Ему тогда исполнилось два года. Мы жили в этом домике вместе с нашими друзьями, у которых тоже был сын, ровесник нашему, и шестилетняя

племянница. Наш бог был режим дня. По часам подъем, по часам завтрак, потом на пляж; каждый день одна и та же дорога, вызывающая у наших детей неизменный интерес и несинхронные остановки, требующие от нас нечеловеческого терпения и настойчивости в стремлении как можно скорее достичь пляжа. Обед. Мы ни разу не пообедали в ресторане, так как он открывался на час позже того, в который мы должны были покормить детей. Мы обедали в столовой самообслуживания: один берет обед на всех, другой занимает стол, третий моет руки детям. Обед взят — один быстро начинает есть, другой кормит ребенка. Потом тот, что поел, докармливает ребенка, а второй обедает сам. Потом быстро та же дорога домой и сон. Этот час для себя. Затем полдник, дорога на пляж, ужин в столовой и домой спать. Сидение в темной комнате в каменеющем оцепенении. Собачья стойка: уснул? Тогда можно выйти во дворик, сесть в шезлонг, беседовать с приятелями и слушать музыку из ресторана на углу. Каждый вечер слушать музыку и ни разу не пойти туда.

В ветреную погоду мы располагались в дюнах, в жаркую — на пляже. Купались тоже по очереди. Однажды я потеряла в песке кольцо. Не свое. Моя приятельница почему-то снимала свое обручальное кольцо, когда шла в воду, и отдавала его мне. Все взрослые пошли купаться, а я осталась за няньку при троих. Один из них тут же помчался в одну сторону, другой — в другую. Я выскочила из шезлонга, чтобы догнать их. Кольцо от резкого движения соскочило с пальца и пропало в песке. Я обвела место, куда, мне показалось, упало кольцо, и бросилась за детьми. Собрав их, я уселась около обведенного круга и стала просеивать песок сквозь пальцы. Ничего. Потом мы просеивали его уже вчетвером. Потом мы расстелили полотенце и стали пересыпать на него песок из этого круга. Мы дошли до сырого песка, но ничего не нашли. Пора было кормить детей обедом.

— Ты просто не заметила, как потеряла его. Кольцо не могло упасть и не оставить следа. Дай твое кольцо.

Муж взял мое кольцо (своего у него тогда еще не было), приподнял его сантиметров на пятнадцать над песком и отпустил. Кольцо пропало. На поверхности не сдвинулась ни одна песчинка. Такой тонкий песок в Пярну! Если бы мы сейчас отвели глаза от этого места, то не нашли бы его уже никогда. Я просеяла песок сквозь пальцы и вернула себе кольцо.

Дальнейшие поиски были бессмысленны. Мужчины пошли сдавать шезлонги: пришел час обеда. Приятельница собирала вещи, а я автоматически продолжала пропускать песок. И вдруг я нашла кольцо! Оно было у меня в кулаке, и никто не знал об этом. Все собирались в молчании, и лица их были хуже, чем сегодняшней день. Я спросила:

— А что, если б я нашла кольцо?

Это приняли за неуместную шутку и не ответили. Я разжала кулак, и инцидент был забыт.

Так мы проводили время в Пярну десять лет назад. Два синхронных механизма около одного ребенка. Теперь я показала сыну через загородку место под деревом, где мы ставили днем его раскладушку, клумбу с валунами и клетки с кроликами, Красную башню в соседнем дворе и улицу Калеви за углом. Красную башню начали реставрировать, и мы смогли заглянуть во внутрь и увидеть на стене спиральную лестницу. На Калеви двигались толпами отдыхающие: день был явно не пляжный, и большинство отдало предпочтение товарам. Но мы приехали ради моря и пошли к нему. Дорогу я помнила безошибочно. Мимо ресторана, через парк с памятником Лидии Койдуле, потом прямая длинная улица с каким-то революционным названием, знаменитый Ранахонэ и море.

Почти ничего не изменилось. На улице с революционным названием появилась новая закусочная. Мы выпили горячий кофе и съели по бутерброду с салями. Потом мы вышли на пляж и забыли о том мире, в котором жили до сих пор, который остался за нашими спинами.

Пляж был совершенно пуст, ни одной черной точки. Небо до самого горизонта равномерно белое, без единого просвета, без единого сгущения, только у самого горизонта чуть темнее. Если бы оно не оказалось там немного темнее моря, это было бы совсем не заметно. Свет рассеивался таким образом, что невозможно было даже предположить, где находится солнце. Мы были как бы внутри огромной жемчужины, а все внутри было выполнено в белом: белый ресторан с белой смотровой площадкой на белом песке пляжа, белое море с белыми гребешками пены, накрытое сверху половинкой белой жемчужины. Ветер и море шумят ровно, как в морской раковине, и стирают все шумы, которые были в прежнем мире. А этот

нереален, как сон, и поэтому удивительно, что мы можем находиться в нем вместе, одновременно.

Мы пошли по песку к дюнам. Крошечные дюнки на том же месте. И лавочки тоже.

— Хочешь, я покажу тебе, как кольцо уходит в песок?

Я сняла кольцо и уронила в песок. Ни одна песчинка не сдвинулась с места, и, если бы мы отвели глаза, то никогда бы не нашли его.

Время пропало, как вес в невесомости. Оно пропадало постепенно и потому незаметно. Оно начало таять и терять свою необратимость, пока мы рассматривали двор дома на Хоммику, 5, потом по дороге на пляж, в сквере Лидии Койдулы и, наконец, исчезло, как след от кольца в песке. Вокруг нас были пляж, море, ветер и небо десятилетней давности.

Тогда я не ощущала этого так четко, как пишу сейчас. Просто я увидела все так же (не то же, а именно так же), как видела это десять лет назад. Но так как одновременно с этим я утратила современное видение, то разницы не заметила. Чудеса делают невозможными свидетели. Свидетелей не было. Симметрично относительно времени я отобразилась в пространство десятилетней давности, в личность, конгруэнтную мне, а понять это чудо мне было дано значительно позже, лишь по возвращении в существующее пространство.

Точно так же, как если бы я продолжала оставаться самой собой настоящего времени, я закатала брюки и вошла в воду. Наверное, ноги замерзли, потому что вода показалась теплой. Но достоверность этого факта уже не имела принципиального значения: уйти от моря «так» было невозможно.

Мы вошли в воду, по сравнению с которой наши белые тела не являли ни малейшего контраста. Море было действительно теплым, волны мягкими, а вкус воды нежным. В жизни сына это были первые волны, которые он мог уже запомнить. Нас кидало вверх и вниз, накрывало с головой, обжигало ветром и снова окутывало пеной. Это были те мгновения, ради которых мы встали в шесть и провели в пути четыре часа, и проведем еще столько же в обратной дороге, и поздней ночью, усталые и измученные, свалимся в наши предусмотрительно не застеленные постели и будем спать до середины следующего дня, а проснемся только для того, чтоб в мыслях пережить еще раз каждое событие этого необыкновенного дня,

чтобы долго еще сверять свои впечатления и говорить знакомым:

— А знаете, мы ездили в Пярну!

Хотя эта фраза им ни о чем не скажет и в ответ никто не изумится и не спросит самого главного — какое же оно, настоящее море? А будут задавать мало интересные вопросы о расписании автобусов, укачивает ли в дороге и во что она обошлась — может, такси на четверых будет не на много дороже? — и, наконец, полностью отобьют желание разговаривать с ними вопросом:

— А что вы там купили?

И мы не торопили время. Мы плавали столько, сколько хотелось. Движения и дыхание так подчинялись ритму волн и ветра, что еще чуть-чуть, и мы совсем растворились бы в море, и от нас остались бы только купальник, плавки да шапочки, но мы вовремя вспомнили, что мы не рыбы или хотя бы земноводные, и нетвердыми ногами ступили на вращающуюся с огромной скоростью землю, растерлись полотенцами и натянули все имеющиеся кофты, свитера и джинсы. Жажда души была утолена.

Мы побрели по песку вдоль берега, дошли до женского пляжа, по которому болталась без дела одинокая сука, покатались на чертовом колесе и вышли к порту, уже в реальный мир, выполненный цветными красками и наполненный гаммой живых звуков. На гребне крыши конторы сидели чайки через равные промежутки и все, как флюгеры, повернутые в одну сторону, так что издали казались резным орнаментом, украшающим крышу. Потом одна взлетела, и мы догадались, что они живые, только не хотят летать. Сыну разрешили подняться на катер, и он смог ходить по палубе, трогать руками обшивку, штурвал, поручни и иллюминаторы.

Потом мы совсем ушли от моря в город, потому что пора было пообедать и отдохнуть. А время все не возвращалось, только небольшое беспокойство, как предчувствие боли, начало появляться, но это пока не настораживало и не мешало.

После обеда мы гуляли по городу, зашли в краеведческий музей, покрутились на карусели в детском парке, купили пирожки, конфеты и воду на обратную дорогу и в семь часов сели в тартусский автобус. Нам все еще не хотелось разговаривать, и мы обменивались вслух лишь названиями мест, которые узнавали. В Рынгу, где предстояло делать пересадку,

мы приехали в одиннадцатом часу. Июльская ночь была уже не белая, а лишь слегка беловатая. Людей на улице не было. Свет горел в редких домах. Мы обошли вокруг костела и осмотрели развалины замка XIV века. Все было темным и мрачным. Нам стало жутко, и мы пошли на автобусную станцию. Через час пришел автобус на Пюхаярве, а еще двадцать минут спустя мы тихонько открыли ключом двери темного дома и в двенадцать уже спали, накрытые половинкой жемчужины.

А на другой день, как только я проснулась, вернулось время. И все, что было десять лет назад, снова стало прошлым, но только совсем свежим, совсем недавним, хотя и до конца осмысленным. Как будто еще вчера спокойное, уверенное ожидание счастья наполняло все мое существо, а сегодня я уже знаю, что оно не сбылось и никогда не сбудется. Потому что счастье — это даже не исполнение желаний. Это его предчувствие, это готовность в любой момент испытать его. Это переполненность желаниями и страстями, которые сжигают атомные взрывы разочарований, опаляющие душу смертоносным неверием в его возможность. И остается в душе пустыня забот о хлебе насущном, зарплата, квартира, друзья, не замечающие трупного запаха души вашей, как не замечали прежде ее агонии, таблетка снотворного на ночь, пилюли с бромом по утрам.

Так, проснувшись однажды по утрам, я узнала, что десять лет назад я была счастлива и как далеко в сторону увела меня последующая жизнь от тех моих представлений и о жизни, и о будущем, и о счастье. И мне захотелось поскорее дожить лет до ста или хотя бы до пятидесяти, чтобы узнать, что еще случится со мной за пятнадцать лет и удастся ли мне тогда вернуться в свои тридцать пять. И что еще вернувшись из пятидесяти, я смогу узнать о себе сегодняшней.

2. ОТ ЭТОГО ЕЩЕ НИКТО НЕ УМЕР

До свидания, девочки. Девочки,
Постарайтесь вернуться назад.

Б.Окуджава

Она не верила в Бога. По крайней мере, с семи лет. Пока оставалась с няней, Бог был. Его не стало с тех пор, как пошла в школу. И вот теперь она молилась. Ужас не оставлял и во

сне. Не было и крошечной, мгновенной передышки. Теряя последние силы, она умоляла единственного, кому по силам была ее судьба:

— Господи, спаси меня. Не дай умереть. Ради сына, Господи, дай сил дожидаться и пережить.

От этого не умирали. Раз однажды не умерла и все остальные живы, значит, снова не умрет. Но лучше б не знать. Если б верилось в чудеса, то молила бы Бога послать ей прежнее неведение. Когда она ждала на койке в палате с восемью остальными. Когда уходили на своих ногах, живые, розовые, а привозили неподвижных, с ввалившимися глазами. И снова заходили, снова вызывали не ее. Теперь — рыженькую продавщицу из кулинарии, ей ровесницу. До того все говорила, говорила, а тут стихла, ротик скривила, казалось ей — улыбается. Но и до операционной не успела дойти, как они услышали ее вопль. Не узнали, подумали, кто другая, но няньки приволокли ее, обмякшую, бросили на кровать:

— Ишь, психопатка. Гуляла-то, о чем думала? Все сладко будет?

И даже тогда — хоть и страшно было, пошла вся белая — ждала одной физической муки и силы собирала, чтобы выдержать.

В зале было два кресла — она на одном, на другом здоровая баба-дворничиха. Вчера до ночи несла всякую похабщину, а сейчас с ее мясистой морды сходила жизнь, в узких татарских глазах билось страдание.

Врач, молодая женщина, вырезая из живого тела Киры живого ребенка, разговаривала с приятельницей, которая уже выскоблила близнецов из застывшей грудой мяса дворничихи.

— Вчера ездили смотреть. Кухня большая, санузел раздельный. От метро десять минут пешком, и воздух чистый, как за городом.

После, когда снова лежала на койке, такая пустая, что удивляла не синева кожи, не железо губ, а оставшееся в теле тепло и текущая из него кровь, когда соседка по койке положила ей на ноги свое одеяло, отерла полотенцем холодный пот с груди («Вот и все. Вот и прошло. Через неделю и думать забудешь») поняла: второй раз за эту черту не зайти, не вымочь.

Рыжая продавщица еще дважды билась в коридоре, и ее оставили в покое.

— Валерьянки б ей налили. Истерика у нее,— сказала соседка.

— Так кто ж ее неволит? — поразилась нянька.— Сама пришла, значит, понимать должна, зачем. С пузом-то есть к кому возвращаться? То-то и оно. Думать надо. И без ребенка никто не взял, а такая кому нужна будет? Жалейтея ее, а она у нас не по первому разу, привычная.

На другой день, осенний, бесцветный, она вышла из этого дома. Новое пальто, сшитое на заказ, сидело, как с чужого плеча, не согревало. Во дворе, усыпанном мокрыми жухлыми листьями, под дождем ждал муж. Полупустым автобусом доехали до Белорусской, чтобы пересест в метро, но вместо этого пошли пешком вниз по Горького. Не хотелось возвращаться домой, видеть свекровь, не хотелось ни есть, ни пить, ни согреться, ни уснуть, не хотелось больше быть ни матерью, ни женой, ни красивой, ни счастливой, ни любимой.

Она вдруг сказала, чего прежде никогда не думала, чему и сама до конца не поверила. И что-то внутри говорило, что незачем, минутное, пройдет, только зря сделаешь больно. Но не в силах ни дальше идти, ни возвращаться, ни выносить одна своего опустошения, не удержалась и сказала, словно выдала самой себе охранную грамоту. Позже, и правда, забыла об этом, снова заполнила плечами пальто, была любимой, любила, работала, почти совсем, как прежде, даже стала красивее. А он запомнил, как прислонилась она к полуоблежавшему мокрому дереву, листья с которого прели на земле под решеткой, и невпопад, словно боясь забыть потом, произнесла:

— Я хочу, чтоб ты знал. Мне кажется, если еще раз случится, я с тобой не останусь.

Передавшееся ее страдание отозвалось в нем таким острым предчувствием собственного, что через восемь лет, когда она узнала, что снова беременна, он не колебался:

— Оставим. Я все рассчитал — до года сможешь не работать, потом возьмем няньку. Ни яслей, ни садов больше не будет. И для Сашки лучше — перестанет на продленку оставаться.

Хотя сомнение у него появилось сразу.

А у нее, наоборот, все сомнения исчезли. Как свет в тоннеле, забелела надежда на обновление, на чудесное исцеление, и стала готовиться к неизбежному девятимесячному

ожиданию раз пережитого счастья. По ночам снились сны, лучезарные, как детство. Проступки, за которые прежде Сашу наказывала, теперь смешили:

— Ты у меня старший сын, а такой глупый.

И он замирал от ее любви.

Снесла в химчистку покрывала, занавески, купила про запас двух мороженных немецких кур, потом начали искать гранатный сок по овощным. Только и успели. И ясно стало: чуда не случится. Новая жизнь не исцелит, а выбрав скудные запасы истощенного болезнью Кириного тела, иссякнет сама и ее погубит. И ждать осталось недолго — пять недель, разрешающих аборт.

Сперва подумалось лишь: «Вот опять, поманило, и не сбылось. Снова жить по-прежнему». Но потом тело вспомнило нож и в ужасе замерло.

Как и в первый раз, она почувствовала смерть, хотя знала, что не умрет. В тот раз она сказала ему об этом, но он не поверил:

— Кируша, зачем себя так настраивать? Постарайся отвлечься, легче будет.

С таким терпением и покорностью в голосе, словно оставлял за ней право мучить его подобными фантазиями. Он ведь не мог избавить ее от предстоящих физических страданий, хотя свой собственный болезненный стыд и невыносимую тягостность ситуации ни на чьи плечи не перекладывал.

Она не настаивала. Даже если б он поверил и захотел понять, словами этого не объяснить. Да и самой как это понять? Пусть в том комочке нет души и не чему умирать. Лишь маленький кусочек тела. Но и в нем все уже начато и определено: с каким разрезом глаз родиться (может, как у нее?), каким стать через десять, двадцать, сорок лет, кого и как любить. Она и о себе-то этого еще не знает до конца. Неужели и для нее весь этот кошмар заранее был определен? Или где-то она сбилась, живет не свою жизнь, и потому та давит, как колодка? Но ведь и он с ней рядом. Или она чужая в его жизни? Отчего расплачиваться ей одной? Нет, все не то. Так сделала природа, что платит женщина. Но именно в природе все и должно быть справедливо. Если страх дан людям, как об опасности сигнал, то ей зачем предсмертная эта маята? Пусть это не за себя, за ребенка, как за него она и ест и спит, и

дышит, не разделяя вздохов. Но ведь она уже не хозяйка его жизни. Врачи приговорили и отступились.

Или оставить? Одной против всех? А если и правда оба погибнут? Или того хуже — на всю жизнь двое калек? Словно пыльный занавес упал на все непрожитое... Господи, что же делать?

И тут вдруг по утрам, когда сознание еще не автономно, однако все уже удерживает, она заметила, что молится. Не сразу. Может, на второй или на третий день. Во внезапном приближении своем могла бы попросить о большем, но не привычная ни к милостям, ни к чудесам, страстно и горячо умоляла лишь об одном, не сознавая даже хорошенько, зачем — и так от этого еще никто не умер:

— Дай сил дождаться и пережить.

Потом вставала и начинала день.

* * *

Как всегда, беременность обострила обоняние. Вместе с тонкостью у запахов пропала и приятность. Обед готовила, преодолевая отвращение. И хотя фрамугу на кухне открывала в любой мороз, а дверь держала закрытой, от запаха супа не могла избавиться ни в комнате, ни на лестничной площадке. В волосах он застревал, что ли?

До работы добиралась с одной пересадкой. В метро от людей разило телом, одеколоном, мокрой обувью, шубами, портфелями. Она шла давно надоевшим переходом с Проспекта Маркса на Площадь Свердлова, который не узнала бы, доведись хоть раз вернуться им же назад. Но никто не возвращался. С утра до ночи шли по нему люди в одну сторону. Ни заглянуть в лицо, ни встретиться взглядом.

Она вдруг заметила, что ей хорошо среди спин. Так бы и шла в общем потоке, подчиняясь ритму толпы, не думая о смысле ее движения, до самого конца. Если все делают вид, что ничего страшного в этом нет, может быть, поверить? Закрывать глаза и зайти за черту еще раз? Ведь их там много было, кто шел не по первому разу, не только рыжая продавщица. Сделать вид, что все забыла: себя, ее, несостоявшихся близнецов, растекшихся кровавой слизью по эмали лотка. Просто забыть, как в детстве забывают дома тетрадь с неприготовленными уроками.

Мысль эта, сладкая и спасительная, подобно сну замерзающего в снегу, не испугала, лишь открыла ей в себе что-то непривычное: так вот он, предел. Но оказалось, что это еще не предел. Через мгновение воспрянувший зов жизни захлестнул ее новым отчаянием. Нужно что-то делать. Невозможно, чтобы все было так только для нее. Такая прорва людей. Не в единственном же экземпляре она сделана. Наверняка для кого-то все так же. И, значит, должно быть какое-то избавление хотя бы от прямого соучастья. Ведь даже аппендицит удаляют под наркозом, а тут ребенка... Хуже, чем на глазах, прямо в теле. Господи Боже мой, кому она это все объясняет? Себе? Они всегда это знали. Для дочерей и жен у них свои больницы.

Вот и выход. Недосягаемый и ординарный, как и остальные атрибуты неравенства людского. Нашупала, и тут же, как от скользкого, отдернулась, заметалась в подземном коридоре от унижения к ножу и снова к униженью. Даже от этого избавить некому. Самой стелить свою беду под чужими ногами. Рядиться в обноски их милосердия. Неужели придет время, когда кончится это, и она забудет?

А вот об этом, пока не кончилось, лучше не думать. Сейчас главное — узнать, что есть и где, и как до этого добраться.

Ладно. Все не так страшно. Придет в институт, и сразу же поговорит с Ларисой. Или нет, лучше начать с Милки. Может, до Ларисы и не дойдет. То есть, дойти-то, конечно, дойдет. С кем ни поговори, рано или поздно дойдет до всех. Даже до шефа. Но хотя бы ей самой не придется говорить об этом с Ларисой.

И сразу стало чуть легче, словно кто-то уже посулил...

Она вышла из метро на проспект. В воздухе переливалась неизвестно откуда появившаяся — не то с неба, не то с земли — морозная пыль. Она застревала в меховых шапках, мохеровых шарфах, и даже бетонные стены переливались, как пещера Али-Бабы. Люди шли навстречу румяные, веселые. Зачем мир так хорош? Неужто только для того, чтобы невозможно было вырваться из его власти? Да нет, она и не собиралась. Это только там, в тоннеле, показалось на секунду. Она поговорит. Сегодня же.

Но потом отложила на завтра — вдруг и эта крохотная надежда обманет. И так прошло еще пять дней.

Окончив занятия, она зашла на кафедру и села за свой стол. Кроме нее в комнате были еще Милка и Сапожников. Милка по телефону договаривалась со своей приятельницей из типографии, чтобы та помогла Сапожникову отпечатать автореферат за спирт. Еще один домучил диссертацию.

Вежливости ради она спросила Сапожникова, поставили ли его уже на защиту, и он, путаясь и краснея, стал пересказывать скучные подробности своих хождений по секретарям, машинисткам, фотолабораториям. Словно врал. Но все было чистой правдой. Он только старался скрыть свое бессилие, невозможность избавиться от счастливого видения, на которое еще не имел права, и из суеверного страха прятал его от дурных глаз, что обступали со всех сторон. И даже Кириин интерес к себе, впервые в жизни им отмечавшийся, тревожил тем же. Впрочем, совсем напрасно. Мечтания его внимания не привлекали: не он был первым, не он последний из неустоявших перед плотским искусом науки. Однако встречаясь с его бегающими глазами, она каждый раз ощущала неизменный и все более сильный резонанс звучания их душ, причину которого и старалась понять, разглядывая Сапожникова новыми глазами.

Никаким ученым он, конечно, не стал и никогда не станет. Заблуждаться на этот счет не приходилось ни самому, ни окружающим. Однако шеф выпускает его на защиту, и, значит, все уже решено. И дело лишь за ним: вытерпеть этот час позора. Может быть, даже меньше, минут сорок, и уже до конца жизни никто не выбросит его из счастливых. Все сбудется: и кооператив (двухкомнатный, без тещи), и малютка «Запорожец», и никогда больше не будут женщины смотреть сквозь него пустыми глазами, как эта Кира Александровна. Сама с ним первая заговорила, и он лишь отвечал, зачем же тогда так смотреть, словно она здесь одна, а его нет и не было?

Так вот, что их объединило: готовность подвергнуться позору Она — во имя избавления от нечеловеческой муки, он — ради человеческой жизни. Господи, какая гадость. Когда же это кончится? Но ведь это от нее самой зависит. Значит, немедленно.

Милка положила трубку, и Кира позвала ее с кафедры в коридор.

Они стояли у окна. Милке до конца и дослушивать не понадобилось, все с полуслова поняла:

— Кира, оставь, а? — попросила тихо, словно для себя, но почувствовав несогласие в кирином молчании, взяла ее беду в свои руки и стала обминать ее со всех сторон, как глиняный ком, придавая ей ту форму, которую сама выбрала. Сперва она набросилась:

— Ну, чего тебе не хватает? Чего? Оба защитились, старших получили, со свекровью разъехались. Толька твой десятый год на тебя одну молится. Кому и рожать, если не тебе?

Кира не перебивала. Приятно было слушать, как Милка ругает ее. Словно они играют в дочки-матери, словно и вправду у нее есть выбор. А Милке казалось, что Кира колеблется, и она напирала:

— Ты посмотри, на кого похожа стала? С железом своим носишься, скоро совсем забудешь, что ты женщина. Доктором, что ли, хочется стать? Ну, положишь свою жизнь, станешь. Будешь со стариками по советам юбки протирать. А природа все равно свое возьмет. Только поздно уже будет.

Разделавшись с ненавистным идиолом, Милка набросала картину счастья, ясного и невозможного, как детский рисунок:

— А так, смотри: летом возьмешь отпуск, с сентября — в декрет, потом еще год за свой счет дома посидишь. Сама в себя придешь и Сашку на ноги поставишь. Перестанет болеть парень, да по продленкам изнывать. Он такое на всю жизнь запомнит и детям своим передаст. Если б я не разошлась, второго уже наверняка бы заделала. Самое время сейчас.

Все понарошку, а легче по-настоящему. Ничего, что Милка не положит ее беду на место, а растрясет по всему институту, пусть хоть на время поддержит вместо нее.

Мимо прошла лаборантка с их кафедры, и Милка замолчала. Во дворе под серым небом сырел снег. Из всего советского периода, загубившего любимого поэта, вдавилась в память единственная гранитная строчка: «Но нету чудес, и мечтать о них нечего...» Поиграли, и хватит.

Как она и думала, Милка оказалась бессильна ей помочь. К ЦКовской больнице отец ее не прикрепил. Прошлым летом водил туда вскрывать на шее чирей — опасался заражения в районной, однако считал, что блага жизни нужно заслужить,

и потому при гриппе Милка за больничным обращалась, как и все, к участковому. Неизбежное подтвердилось:

— Спроси у Ларисы. Она с внematочной в спецкорпусе Боткинской лежала. У нее мать все может. Знаешь, кем она работает?

— В МИДе? А кем?

— Приемщицей в ателье для иностранцев. Да не кисни ты так! Конечно, мало радости, но ведь от этого не умирают. Поправишься, еще троих родишь. От тебя никогда не знаешь, чего ждать.

* * *

Лариса походила на Софи Лорен. Даже если лицом и не совсем, то уж манерами не уступала ни на йоту. Шубу свою в гардероб не сдавала, а оставляла в кафедре под присмотром орденоносной лаборантки. Та стерегла, как пороховой склад. По этой шубе всегда можно было знать, здесь Лариса или нет.

Прозвенел конец занятий, и Кира вышла в коридор встретиться без зрителей и декораций. Но это не избавило ее от обстоятельных ларисиных соболезнований с ретроспекцией в молодые годы, затем от сожалений по поводу отсутствия счастья в настоящем и, наконец, в будущем. Все было совершенно не так, а начнешь объяснять — станет еще хуже, словно оправдываешься. Из-за этого нелепого оборота разговор пошел в другую сторону, и Кира стала искать способ как-нибудь его закончить совсем. К счастью, Лариса, не дождавшись опровергающих откровений, сузила круг своих интересов:

— Толя знает? Согласен? Впрочем, можешь и не спрашивать. Это не на их плечи ложится. Сперва кормить, по ночам вскакивать, потом болезни начинаются. Грудь форму уже не восстановит, и ночи бессонные с лица не сгонишь. Нет, нет. В крайнем случае ссылайся на здоровье. Врач запретил, и все. Не пойдет же он проверять?.. А-а, ты уже договорилась?! Но послушай, ведь если и правда по медицинским показаниям, они должны делать под наркозом... Значит, все-таки идешь на общих основаниях?..

С Ларисой всегда о чем ни заговори, все обращалось в себе противоположное. Киру снова начала заполнять не успевшая залежаться тоска.

Лариса испытывала то же. Все попытки вовлечь Киру в разговор проваливались в пустоту. Совсем раскисла. Посмотрел бы сейчас шеф на свою героиню. «Опасная женщина».

— Мне сейчас в голову как-то ничего не приходит. Последнее время Бог берег. Но я разузнаю. Погоди-ка, помнишь Светлану Ланц? Она недавно делала под маской. Потрясающе! Очнулась, думала, еще не начинали, а они уже кончили. Кира! Да ей в шестидесятой делали. С твоим домом рядом.

Это не просто рядом, это же их районная больница. Значит, можно было никому ничего не говорить, ее и так туда направят, по месту жительства. Она просто в рубашке родилась! И обе засмеялись, одна от радости, другая над простотой первой: на всю Москву десять коек открытых, где делают под маской. Блаженная, что ли, Кирка — верит, что туда по месту жительства кладут? Или она и правда в рубашке родилась?

* * *

Она все больше уставала. В лабораторию уже неделю не спускалась, хоздоговор забросила, с техника своего работу не спрашивала и новых распоряжений не давала, так что тот запил на безделье.

На кафедру тоже больше не заходила. Там все шло своим чередом: Сапожников защищался, друг его Ботов («два сапога — пара») уже защитился и хлопотал московскую прописку, Милка хотела замуж и второго ребенка, Лариса жила сладостно-запретной головокружительной жизнью кинозвезды... Одна Кира, как забывшая свою роль актриса, выпадала из триединства этой жизни. Приезжала только на занятия со студентами. Нагрузка была небольшая, три группы в неделю, но и на это сил уже не хватало. Стала возвращаться домой на такси, тут же ложилась и засыпала. Спала болезненным бредовым сном по десять, двенадцать часов кряду. Сперва в тело входил расширитель, потом сквозь него железо скребка отдирало плоть от плоти, выскабливало жизнь. Просыпалась в тоске, что это только сон, а явь еще впереди.

— Господи, спаси меня,— умоляла она, но тут же снова проваливалась, и бред повторялся.

Через три дня подошел срок брать направление. В вестибюле женской консультации у гардероба висело объявление. На куске белого ватмана красным карандашом от руки было

написано, что женщины на аборт направляются в четырнадцатый роддом в Люблино.

Справа, за аптечным прилавком, продавщица, закутавшись в платок, читала толстый журнал. Женщина в оранжевой кофте поправляла перед зеркалом прическу. На их глазах свирепый рок нагнал ее, сшиб с ног. Ей показалось, что теряет сознание, потом одеревенела глотка. Она все-таки успела дойти до туалета, наклониться над унитазом, низвергнуть туда свой ужас. Разогнулась. Ополоснула рот водой из-под крана. Подождала, пока уймется слабость. В глазах посветлело. Из треснутого зеркала выплыло отмеченное предназначенностью лицо. Красные веки, бледный рот.

В одном ей повезло — с участковой. Хотя приема приходилось ждать всегда не меньше часа, зато не холодел живот, пока она натягивала перчатки, и инструменты вставляла мягко, не тревожа зря.

В тот день Кира была пятой в очереди перед дверью. Значит, больше часа. Может, пропустят, если объяснить? Но вспомнила свое отражение, и судьбу пытаться не стала. Цепенела на стуле, засыпала, прислонясь затылком к холодной стене, сумка с коленей падала на пол. Ждала уже не приема, а только бы вернуться домой, в постель.

Наконец, вошла. Врач ощупала матку, определяя размер плода, поворошила листки анализов, подклеенных, как календарь, помедлила, потянула. Произнесла неуверенно, словно о нерешенном:

— Через неделю можно в больницу. Направление я вам сейчас выпишу.

На лице у врача была отрешенность и своя постоянная боль. Наверное, у нее уже взрослые дети, и что-нибудь с дочкой не так. Как с Кирой.

Врач заполняла бланк все медленнее, как против воли, и не закончив, остановилась:

— Мы направляем в Люблинскую больницу, — опять будто согласия спросила.

Сквозь общую отупелость или как раз ей и благодаря Кира почувствовала, что от нее чего-то ждут. Не поняв чего, она все же сочла необходимым поддержать разговор:

— Но ведь это страшно далеко? На электричке надо ехать?

Врач ответила терпеливо, как неразумной:

— Теперь от Таганской туда троллейбус идет.

Значит, совсем невпопад. Еще бы о погоде заговорила. Что же добавить? Просить? Жалобить? Выдавила из себя полуложь:

— Мне туда не доехать.

Врач молчала. Десять заветных коек были не в ее власти. Ей полагалось лишь пресекать поток просящих, умоляющих, сулящих деньги и подарки. «Мы не имеем права. Туда кладут по медицинским показаниям». И этой женщине, что как с иконы, откажут тоже. Потому и откажут, что как с иконы.

А Кире было все равно, почему. Зачем искать причину, когда потерян смысл? У каждого своя судьба. И приговор ее уже объявлен на белом ватмане у двери. Она не верила в случайность совпадений. Чего ждет от нее врач с усталым лицом? Неужто вступится в единоборство? Во всяком случае, поверит. Хотя бы поверит тяжести взгляда из разбитого зеркала:

— В той больнице у меня первый ребенок умер. Я думала, меня по состоянию здоровья в шестидесятую... — и замолчала, чтобы не заплакать.

— В шестидесятую направления дает заведующая, — вздохнула врач, и они вдвоем пошли по коридору.

Кира с первого взгляда поняла: все будет зря. Заведующая и слушать не стала. С толстых губ, как из репродуктора, полилось:

— Дорогие мои, не могу! Я бы рада, но вот только что, только что трубку положила. Категорически никого. Ни одного человека. Не поверите: я бы дочь родную сейчас не сумела положить к ним. Сулимов сам звонил. Ни одной койки!

Чугунные шары щек распирала улыбка, а голос вытеснял их в коридор. Не нужно было заходить сюда. Она ведь уже там, в туалете, поняла, что поедет в Люблинскую больницу. А врач все не могла понять, все повторяла про гемоглобин, про заключение специалиста. Заведующая вторила на той же ноте:

— Вы представить не можете, кому отказать пришлось. А что я могу сделать? Встаньте на мое место: сюда вся Москва идет. Вся Москва!

Потом дуэт оборвался. Заведующая, все улыбаясь, ждала, когда они уйдут. Врач молчала, и Кира испугалась, чтоб она не повторила здесь того, что вытянула из нее у себя в кабинете. Вдруг врач оттопырила нижнюю губу и брезгливо произнесла:

— Вы, видимо, меня не поняли. Это аборт по медицинским показаниям.

Похоже, здесь были старые счеты. И всемогущество земное с обрюзгшими щеками, подписывая направление, прошипело — верх вышел не его! — в усталое лицо, словно они уже вдвоем остались:

— Учтите, вы свой лимит исчерпали.

— Спасибо, — сказала Кира врачу в коридоре и пошла одеваться.

* * *

Казалось, как только получит направление в шестидесятую, станет легче. Но ничего не изменилось. Нож по-прежнему терзал в бреду ее тело, а пробуждение застывало мольбой:

— Спаси. Дай сил дожидаться. Спаси.

Может, от того не стало легче, что уже знала, как это будет? И прежний кошмар лишь обретал новые очертания? Серый прямоугольник шестидесятой наплывал на нее каждый раз, когда шла к метро. Послезавтра будет срок идти туда на предварительный осмотр.

Когда-то она провела там больше месяца. В терапии. Среди почти одних старух в застиранных больничных халатах. Гинекологические больные, выходявшие в домашних халатиках на лестничную площадку занимать очередь к телефону-автомату, казались тогда похожими на обитательниц гарема. Теперь она об этом забыла.

Смотровые кабинеты были в подвале, в приемном отделении. Вход со двора. В вестибюле сидел мужчина с женским пальто в руках. Сейчас он все поймет, но не уходить же из-за него. Он, может, еще час здесь просидит. А женщина в белом уже заметила ее. Смотрят оба — мужчина и женщина — как она подходит к столу, протягивает направление. Сейчас спросит: «Вы на аборт?» Натянулась к ответу. Как в детстве, когда шла мимо мужской школы и ждала затылком снежка. Тогда тоже все натягивалось, чтоб не вздрогнуть от удара.

Понятливая женщина молча показала, где ждать. Врача еще не было. Придет, когда все соберутся. В полутьме коридора на деревянной скамье уже сидела одна совсем молоденькая женщина. Даже трудно сказать — «женщина». Подросток

хорошенький. Если б не выражение испуга, походила б на головки Боттичелли. Испуг придавал ей детскость. Она открыла сумочку на коленях, тут же закрыла, открыла снова, порылась, ничего не достала и заговорила. До прихода врачей она уже не замолкала. Горячий шепот ее с быстрым оглядыванием по сторонам — не услышал бы кто из подошедших, — не требовавший участия, сократил Кире ожидание.

— У вас тоже беременность? И у меня, — обрадовалась, словно кому-то от этого легче. — Но у меня нехорошо: со второй недели выделения начались. Вы как думаете? Это ничего, что выделения? Мне тетя сказала: нельзя оставлять. Она говорит, неизвестно еще, останетесь вместе или нет. Но я не поэтому. Я думаю, если на первом месяце выделения, что же потом? Может, хуже будет? Или вдруг урода родишь? Он, знаете, очень странный. Он иногда молчит целый день. Но ведь это ничего не значит? Мы два года встречались, пока поженились. Он очень хотел. Когда я первый раз забеременела, — глазами быстро-быстро по сторонам, пальчиками по пуговкам кофты, — это у меня вторая; тогда он сказал, нам обоим учиться нужно. В тот раз все было хорошо. Без выделений. А теперь выделения. Я бы оставила. Я в институт не поступила, пошла в магазин, знаете, в галантерею. Мама сказала: «Уходи, пока тебя не посадили». Там заведующий был... — и покраснела кофточке под цвет. — А я теперь в цветочном. Нас там только двое, и люди заходят очень редко. Скучно немного, — и опять устыдилась, — я думаю, работать всем скучно? Зато можно читать. За это не ругают. Я сейчас как раз Ремарка читаю. Знаете, «Три товарища»? Конечно, зарплата маленькая и без премиальных. Я бы оставила. В колясочке бы с ним гуляла. Зачем мне работать? Все равно ничего не зарабатываю. А тетя сказала: «Нельзя». У меня тетя — гинеколог. Она говорит: «Не бойся, ничего не почувствуешь». А вы как думаете, это правда?

— Правда, — ответила Кира, и девочку вызвали в кабинет.

Кира шла за ней. Некоторые считают, что врачи-мужчины лучше женщин. И правда, движения его оказались точнее и быстрее, а прикосновение еще осторожнее, чем той женщины-гинеколога, от которой у нее не холодел живот. Он осмотрел Киру и назначил на девятое марта.

— Придете утром, к восьми часам. В тот же день и сделаем. Накануне ложиться незачем, праздник портить. Возьмите с

собой тапочки. Рубашку и халат здесь дадут. С вечера не ешьте.

— Вы будете делать?

— К кому попадете. Я девятого на операции буду занят.

— У вас наркоз применяют?

— Под маской делаем. Это как общий наркоз. Чувствительности никакой.

Она не поверила. Не мог он знать, что чувствуют женщины, хотя бы и под наркозом, когда он выскребает из них зарожденные его собратьями плоды.

Шла по улице под легким, набирающим к лету высоту небом, вдыхала вечерний весенний воздух, думала.

Когда-то ее потрясла трагедия Медеи. Собственно, причина трагедии банальна — испокон веков мужья изменяют женам, жены мужьям, терзая друг друга. Поразила сила протеста Медеи против своего бесчестья.

Кира тогда училась на втором курсе, и, как у большинства студентов, бунт кипел у нее в крови. Теперь она понимала, что Медея либо страдала скрытой формой шизофрении, либо была патологически честолюбива, так что это чувство в ней превзошло материнское. Но скорее не то и не другое. Просто трагедия эта написана мужчиной. Все, что касается категорий, присущих обоим полам — любви, ревности, обиды, боли измены, жажды мести — сильно и достоверно. И вдруг фальшь: Медею якобы легче дважды стать под военные знамена, чем хоть раз родить! Какая связь? Война — это работа.

Наверное, Эврипид увидел однажды (а может, и не однократно) колтун волос на потной голове, женщину, изгибающуюся от нечеловеческой, разрывающей собственное тело натуги, в которой она отторгает на свет своего детеныша, прикинул на себя всю эту работу и ужаснулся. Один физический труд и увидел.

Интересно, что бы он написал, если б увидел аборт? Или сам бы его делал, как этот мужчина-гинеколог? Впрочем, ничего, кроме того, что увидел, услышал, прочитал в медицинских журналах и учебниках. Интереснее, если бы о себе рассказал. Что чувствует человек, выполняющий мерзкий труд исправления статистических ошибок человечества в попытке обессмертить себя?

Оставалось прожить еще один день. Нерабочий. Праздничный. Проспать бы хоть треть его. Нет, проснулась первой. Он проснулся вслед:

— Лежи, не вставай. Сегодня завтрак готовим мы, — и пошел поднимать Сашу.

Она осталась одна. Наверху соседи уже взялись за пылесос. За стеной в кухне переплелись голоса, хлопнула дверца, опустилась сковорода на конфорку. Перед ней в голом квадрате окна тополиные ветви бились под порывами: один еще не отпустил, а уж другой подступает. Негде переждать, ни сил занять дожидаться лета. Она встала из постели, пошла к своим на кухню.

На столе в вазочке стояли три красные розы, рядом коробка шоколада и открытка. Жарилась яичница. Саша расставлял тарелки. Остановился, поздравил, заглянул в глаза:

— Тебе нравится? Правда, нравится?

Просиял мордочкой, обрадовал:

— Мы и обед будем готовить сами. Ты не заходи на кухню совсем.

Вот что. Значит, сегодня быть одной. Даже без дела. Зрителем. Но ведь это жестоко — отбирать последнее! Как легко отделался от нее, и как ловко. Сашкиной простотой. И глаз прятать не нужно, если только от скромности — «мужчина в женский день». Оставалось лишь поблагодарить.

И сама ребенка наивнее: за тридцать, а все ждет чудес — кто-то плечо подставит.

Ах, все это ерунда. Просто никто не любит убираться. Все хотят готовить. Он ведь не верит, что она умирает, как же ему жалеть ее? Тоже не дождется, когда день закончится, чтоб, наконец, на работу. Но зачем у нее отбирать? Неужели другого занятия не найти? Мог бы шторы повесить, неделя уж, как из чистки забрали. Или вместе быстро сготовили бы, и гулять. Вместе. Впрочем, тоже жестоко навязывать им свою беду. Ладно. Справится. Один день остался. Пусть идут гулять — Саша всю неделю без воздуха.

Она видела, что он обиделся, но было не до его обид. Бог подаст, она сама нищая. Хватило бы на день.

Они ушли, и она стала плотно, как чемодан, набивать день делами. Помылась, подбрилась, чтоб нянька завтра не касалась общей тупой бритвой. Взбивала пену, старалась не по-

резаться, не оставить волосков. Дробила, дробила на сиюминутное, сиюсекундное, лишь бы спрятаться от завтрашнего, единого. Потом стало легче. Поменяла постели, пересчитала грязное, сложила в сумку, заполнила квитанции для прачечной. Жарила мясо, поливала цветок, снимала пену с супа, вытирала мебель, пока не почувствовала, что к завтрашнему готова. И тогда силы оставили ее.

Когда они вернулись с прогулки, она лежала. Он сам накрывал на стол, подавал обед, мыл посуду, удивляясь случившейся в ней перемене. Саша сидел с ней на тахте. Рассказывал, где были, что видели. Играли вдвоем весь вечер в дурачка и в шестьдесят шесть.

Ему казалось, что она уже и не страдает вовсе. И это почему-то пугало больше, чем утренняя несправедливость. К вечеру он уже не мог избавиться от странной ревности к тому неопознанному, что вытеснило его из ее жизни.

Как бы то ни было, день, наконец, закончился.

* * *

И наступил последний, самый емкий из всех предшествующих. Время меняло скорость. Угловая его составляющая, измеряемая в минутах, секундах, сохраняла для всех неизменную дату. Линейная же, измерять которую еще не научились, убывала, скользя по радиусу к центру-нулю другой жизни, с которой Кира была еще неразделима. Мгновения того дня запомнились ей невыносимо долгими часами.

Сквозь сон она слышала, как он встал, поднял Сашу. Они позавтракали вместе на кухне, затем оделись. Уже в пальто он зашел, постоял в дверях, она не открыла глаз. Хлопнула входная дверь, потом кабина лифта. Она еще подождала немного, не забыли ли чего, чтобы не вернуться. Убедившись, что осталась одна, встала, прибрала постели, начала собираться. Приняла душ, почистила зубы, сложила в сумку паспорт, мыло, щетку, пасту, номер «Иностранной литературы» с романом Бёлля, тапочки, расческу, два апельсина. Сняла кольца, кроме обручального, сложила в сафьяновую арабскую шкатулочку (любимый подарок, вместе в феврале выбирали). Вышла в прихожую, надела шапку, пальто, проверила газ, свет, воду. Все обстоятельно, не торопясь. Проходя мимо зеркала, задержалась и долго смотрела себе в глаза, словно такой

уж больше не увидеть. Наконец, вышла, заперла дверь, оба замка на два оборота. У лифта взглянула на часы, поднесла к уху, еще раз взглянула. С тех пор, как встала из постели, прошло пятнадцать минут.

В тусклом небе солнце едва проглядывало над крышей универмага. Она повернулась к нему спиной и пошла к серому четырехэтажному зданию.

Во дворе его перед дверями стояла неотложка. Оттуда вытаскивали носилки с кем-то закутанным в домашнее одеяло. Она вошла следом. Регистраторша головой показала, где ждать. Кира села на стул около молчаливых женщин с сумками на коленях и тут же поняла, что они все здесь за тем же. Надо было бы поздороваться. Женщины оставались удивительно неподвижными, одни глаза жили. Впрочем, это тоже могло быть эффектом растянувшегося времени.

Дверь в коридор приоткрылась, оттуда выглянула нянька, спросила:

— Которые тут в гинекологию?

Когда они вошли за ней, еще уточнила:

— Все абортницы? Тогда пальто сюда ложите. Да не бойтесь, здесь брать некому. И идите к столу, в книгу вас запишут.

Потом отвела их за перегородку в нежилую комнату, заставленную по стенам крашеными шкафчиками. Цвет их было трудно определить из-за недостатка света. Окон не было, а лампочка, свисавшая с потолка на шнуре, была такая слабая, что и без всякого колпака не резала глаз. Каждой дали по наволочке, по рубахе, по ситцевому застиранному халату и велели переодеваться.

Женщины раздевались, повернувшись друг к другу спинами, но все одинаково, словно и это было предписано уставом больницы — сперва до пояса, потом надевали грубые бязевые рубахи (кому длинны, кому коротки), стягивали сапоги, переступали на вынутые из сумок тапки, снимали оставшееся, натягивали халаты. Складывали снятое в наволочку, сдавали няньке. Та выдавала квитанцию и уносила вещи в кладовку. Женщина за столом вписывала номера в книгу.

Кира не узнала переодевшихся, не запомнила, сколько их было, ни во что сама была одета прежде. Заметила только, что на молодой женщине рядом под платьем оказалась три-

котажная рубаха вроде майки и допотопные трико с резинками внизу. Стояла она на обрывке газеты.

— Что ж тапки-то, забыла, что ль? — спросила нянька.

— У меня их, может, и совсем нет, — огрызнулась та.

— А нет, так купи, — и бросила ей пару разношенных тапок.

Потом Кира узнала девочку, у которой тетя-гинеколог. Та ждала ее взгляда, чтобы встать рядом и не отходить до конца. Им велели ждать на лавках в той же комнате, где они переодевались. Молчание тяготило одну няньку:

— Вишь, вас с праздником уважили. В простой день с вечера кладут, а вы в своих постелях выспались.

— Какой уж тут праздник, — отозвалась женщина лет сорока с простым лицом. — Моему-то, сама знаешь, женский — не женский, а раз не рабочий, значит, праздник для всех. А раз праздник — бутылку вина ставь. Думала, хоть сам выпьет и уймется, а он товарища привел. Я им подаю, а сама в сторону смотрю, запаха не переносу, а они с собой за стол усаживают. «Как так, ради тебя собрались». Еле дождалась, пока разошлись. Я уж больницу-то вспоминала. Лежала бы сейчас на кочке, думаю, отдыхала, хоть табаком бы никто не вонял.

— И то верно, — согласилась нянька, — да видишь, у них местов свободных нету.

Они еще о чем-то своем поговорили, и Кира поняла, что женщина работает в этом же отделении. Зазвонил телефон. Та, что записывала их в книгу, окликнула няньку:

— Тетя Маша, веди абортниц в отделение. Койки не готовы, так ты их в холле на стулья посадишь.

Они уселись кучкой в углу, спиной к окну, на железных стульях с сиденьями и спинками, обтянутыми дерматином. Все, что их окружало, можно было вытирать и постоянно вытиралось хлорным раствором: линолеум, краска, пластмасса. Врачи, сестры, студенты-практиканты обращали на них внимания не больше, чем на остальные предметы выхолощенного стерильностью интерьера. Больные же специально проходили по коридору посмотреть на них.

— Господи, твоя воля, — вздохнула женщина, которая работала здесь нянькой, — рассадили, как в витрине. Забирали бы уж скорее, что ли.

Та, что пришла без тапочек, ответила ей:

— Если бы хоть немножко... Если бы государство... хоть чуть-чуть на ребеночка доплачивало... только б на одного... Хоть тем, кто учится, только бы до трех лет, или пусть до года...

Этой тоже было не больше двадцати. Тапочки она не взяла из дома нарочно, чтобы свекровь не догадалась, что она в больницу. Сказала, к крестной в поселок поехала. И почти что правда: крестная здесь в столовой работала.

— Запрещенных аборт вы не знаете. Раньше бы попробовали. Ни больниц вам, ни больничных листов. Теперь-то все стерильно. А вы трясетесь. Сами не знаете, чего боитесь...

Казалось, хуже и быть не может, а было... Но ведь не их вина.

Кира обернулась, одна из всех. Лицо привычное, как будто жили рядом или забытое родство. Нет, не знакомы. Просто все это относилось к остальным, а Киру приобщала к себе, к разумным, высшим, без животных страхов.

Наверное, она ошиблась. Кира же боится, как и все, только прячет. А женщина и правда за ту другую жизнь в ней не боится. Не чувствует в себе. Глаза спокойные, как точки. Специально, чтобы обмануть. Заставить поверить, что не страшно, и сделать своей.

Как странно: умирать от страха, и за него цепляться. Почему из всех ей эта женщина сейчас самая чужая, когда на деле они, наверняка, всех ближе? Словно всю жизнь ее встречала. Институт, работа, гости, кооператив. И женщина ее узнала и отделила от остальных. Или, может, узнала в ней себя? Оттого тепло ее взгляда лишь Кире, что Кире одной суждено стать после такой же, без страха?

Но как же тогда? Как любить и не бояться потерять? Вдруг завтра она уже не будет чувствовать Сашку спиной? Его ударит, а самой не больно, и не заплачет. И мужа непонимание тронет не больше, чем его любовь. И больше никогда от горя не умрет и утром не проснется от счастья. И небо станет, как асфальт, асфальт, как мел, глаза без солнца.

Показалось, что не стало волос на голове. Нет, нет! Только не это! Так вот о чем она просила: оставить живой среди живых. Чтоб и завтра сил хватило страдать не меньше, чем сегодня. Пусть боль, лишь бы как прежде: чувствовать ее. И не забывать.

Затылок одеревянел, словно Горгона за спиной.

Зачем это она? На кого? Женщина ли виновата, что осталась жива лишь телом? Кто б вынес? Кто б выдержал все это? Без маски, без наркоза, без больницы? Распяли на обеденном столе. Заперли дверь. С настольной лампы сняли абажур, светить старухе, что копошится между ног. За перегородками фанерными затихли: вроде кричал кто, или показалось? А рядом никого, чтоб стереть холодный пот, чтоб прошептать: «Тише, мой ангел, тише. Потерпи. Еще чуть-чуть. А завтра все пройдет».

Утром в авоське окровавленные тряпки свезла на городскую свалку, и словно не было. И погнала себя сквозь жизнь к удаче, как в цирке через огненные кольца. Алле, алле! Ей теперь, как лотовой жене, лишь бы назад не оглянуться. И Кира не судья. Сама боится оглянуться, еще раз встретить точки дружелюбного взгляда, хотя они и ждут...

Она взглянула на девочку Боттичелли, не напугала ли ее женщина. Но та, похоже, уже не слышала, не понимала окружавшего. Глаза ее были безумны — зрачки их заполнили совсем, так что и цвета не узнать. «Значит, еще жива, — подумала Кира, — хотя нет, это не ужасом проверяют, а светом».

Девочка прошептала:

— Вы любите кроссворды отгадывать? Хотите, будем вместе? Я с собой специально «Огонек» взяла.

Если начать отгадывать кроссворд, подумают, что она тоже сошла с ума, но если откажешь, девочка может упасть, забиться, закричать. Она не спускала с Киры глаз, и лицо у нее дрожало.

Они отгадали несколько слов, и девочка стала спокойнее.

— Тетя договорилась, чтобы мне сделали укол. Сказала, так лучше, — на бледных щеках ее появился розовый отлив, а в глазах влага. — Это не от того, что она здесь работает. Всем нервным делают укол, — и губы у нее опять задрожали.

— Я знаю, — подтвердила Кира.

Девочка не замечала ни сидящих, ни их молчания, словно кроме Киры во всем мире никого не осталось. Они снова стали отгадывать кроссворд. Наконец, за девочкой пришли. Все напряглись в ожидании, но больше никого не вызвали. Потом они видели, как спящую девочку с безжизненным лицом отвезли в палату, а за ними все не шли. Кира продолжала отгадывать кроссворд. Отгадала почти весь, а по часам выхо-

дило, что прошло всего четыре минуты. Часы стали бесполезны, как весы-платформы для определения унций золота.

Наконец, вызвали одну из них и почти сразу же вторую.

— Вдвоем делают,— пояснила та, что служила здесь нянькой,— теперь скоро пойдет.

До них донесся высокий монотонный вой.

— Под маской,— сказала та же женщина,— в памяти так не кричат. Это не от боли, прежний страх выходит. Раз артистке делали, так та пела. Даже больные выходили в коридор послушать, так пела. Другие все больше говорят, а эта пела...

Наверное, «по медицинским показаниям» она была здесь единственной, потому что вызывали каждый раз других, а ее как будто и не видели. Она испугалась, что начнется перерыв на обед или кончится газ в баллонах и ее не вызовут совсем. Мысли были очень короткие и неупорядоченные. Если бы регистрировать сейчас работу ее мозга, возможно, длительность импульсов оказалась бы ниже пороговой чувствительности осциллографа. Так, например, она видела, что женщин уводят, и они не возвращаются. Хотя, собственно, куда им было возвращаться? На стулья в холл? Наверное, их отвозили на койки в палаты в другом конце коридора. Но такие длинные логические цепочки она уже не могла составлять. Просто видела, что они не возвращаются, и это было хуже, чем увидеть их бескровными, но живыми.

Без девочки они остались в нечетном числе, а вызывали парами, так что в конце концов она осталась в холле одна. Было очень холодно, и когда за ней пришли, она встала, но не смогла вполне овладеть застывшим телом и пошла на всякий случай поближе к стенам.

Первое, что отыскала она взглядом, войдя в операционную, были черные стальные баллоны рядом с креслами.

— Газ не кончился? — спросила Кира.

— Вы не волнуйтесь,— ответила врач,— у нас всегда есть запасные баллоны. Вы не волнуйтесь.

Кира вытерла ладони о халат, отдала его няньке. Не замечая на себе взглядов, подошла к креслу, забралась на него, оставляя мокрые следы ступней на подножке.

— Не спешите, не спешите,— сказала сестра и стала рядом.

Ее так трясло, что подумала: не прикусить бы язык, когда отключится сознание.

Врач на белом табурете прилаживалась начать:

— Ближе, еще ближе.

Кира задвигалась к краю.

— Так, хорошо. Постарайтесь расслабиться.

И сестре:

— Можешь давать.

Маска с резиновым шлангом приблизилась к ней, заслонив врача. Она впиалась двумя руками в черную мякоть каучука, прижала к губам, к носу, потянула в себя. Мелькнул за окном расколовшийся свод в сетке трещин черных веток. Время достигло нуля. Она закрыла глаза и растворилась в нем.

НА СНОС

Повесть

1

Дом был приговорен к сносу еще в незапамятные времена, долгие годы жильцы пребывали в постоянном ожидании отселения, но лишь нынешней весной, в марте, им стали выделять новые квартиры, кому где — в Ясеневе, в Матвеевской, а кому и за Кольцевой дорожкой, в каком-нибудь Солнцево, например. За тридевять земель, если взять в расчет, что почти все они родились и прожили жизнь тут, в старомосковской округе, очерченной Зубовской, Усачевкой и Хамовниками.

Дом и в самом деле дышал на ладан. Лет ему было наверняка за двести, старый барский особняк в полтора этажа: цокольный, с квадратными оконцами низко над тротуаром, и бельэтаж, да еще, над ним, мезонин об одну комнату с двухскатным потолком и — во всю стену по фасаду — арочным окном в частом «голландском» переплете. Очень может быть, что в первой молодости дом был и вовсе городской усадьбой — на эту мысль наводили старые, с замурованными цементом дуплами липы и вяза, высаженные вокруг в некоем парковом порядке. Впрочем, их сохранилось всего с десятков, так что это лишь предположение — парк и усадьба. К тому же дом не раз и не два перестраивался, обновлялся, перекраивался, и не только точно знать, но даже предположительно представить себе, каким он был в самом начале, едва ли кому теперь под силу.

**Юлиу
Эдлис**

— родился в 1929 году в г. Бендеры (Молдавия). Окончил молдавский государственный педагогический институт. Автор многих пьес, повестей и рассказов. Член редколлегии «Континента».

Наборный паркет в зале, занимавшей некогда почти весь бельэтаж и в ходе исторических судеб поделенной чисто символическими фанерными перегородками на коммунальные соты, рассохся и опасно скрипел при каждом шаге, рисунок его затоптан был до неузнаваемости, и только когда жильцов стали переселять и они вывезли мебель, из-под шифоньеров и комодов проглянула уже совершенно недостоверным воспоминанием строгая геометрия различных пород дерева: дуб, бук, орех. Жильцов понемногу переселяли, дом пустел, мыши, гнездившиеся в нем, надо думать, со дня закладки первого камня, стали, почуяв волю, размножаться с такой безнаказанностью, что по ночам писк их и шебуршение перекрывали ахи и охи потолочных балок, изъеденных древоточцем, и подвывание ветра в дымоходах, оставшихся от давно замурованных каминов, числом три: два — в торцовых стенах бывшей залы и третий — в мезонине; их мраморные каминные доски и кованые решетки были растащены еще первыми коммунальными поселенцами. А в передней с парадного входа, наглухо забитого толстенными гвоздями, поселился некий совслужащий в толстовке из сурового полотна, с наборной кавказской опояской...

И вот, когда большинство жильцов обрело новую, благоустроенную по последнему слову панельного домостроения жилплощадь и в доме — в своем мезонине, на который вела с черного хода узкая и крутая лестница, похожая на корабельный трап времен парусного флота, — остался один Матвей Валерианович, совершенно неожиданно всплыло в общественном мнении, будто дом, в котором он прожил, ничего не подзревая, мало не всю свою жизнь, не просто рядовая московская развалюха, а, представьте, памятник архитектуры и даже истории. И притом — вопреки его нынешнему жалкому состоянию — чуть ли не образец почти не сохранившегося после великого пожара раннего, да еще сугубо русского классицизма в его наиболее чистых, не тронутых иноземным влиянием формах и пропорциях. Что уже само по себе обязывало москвичей к святому долгу восстановить его в первоначальном виде и сохранить на веки вечные. И то ли отцы города пошли на попятную, отдавая дань модным веяниям, то ли еще по каким причинам, но Моссовет отменил постановление о сносе дома и вынес новое: передать дом на баланс какого-нибудь из городских музеев. Однако какого

именно — уточнено не было, и дом Матвея Валериановича оказался в двусмысленном положении.

Музеи присматривались к нему, прикидывали, во что встанет реставрация доживающей свой век усадьбы, набрасывали предварительные сметы, в дом приходили архитекторы, историки, искусствоведы, реставраторы и, в чрезвычайном изобилии, просто публика, но никто не набирался смелости сказать последнее слово.

Что же касается Матвея Валериановича, то поначалу власть предрешающие просто никак не могли подобрать для него достаточно отдаленную и тесную квартиру, которая соответствовала бы, с одной стороны, общепринятым скучным жилищно-санитарным нормам, а с другой — незначительности социального положения «секретаря-машинистки», какой — вернее, каковым — числился в академическом институте, где он работал, Матвей Валерианович. Когда же было принято решение дом не сносить, а «передать на баланс», Матвею Валериановичу и вовсе было объявлено, что городские власти уже не считают себя обязанными предоставить ему новую жилплощадь, и отныне эта забота падает на плечи музейного управления. Матвею Валериановичу стало ясно, что дело откладывается, как выражались раньше в академических кругах, к которым отчасти принадлежал и сам Матвей Валерианович, — «до греческих календ». Или, по-русски, до поры, когда рак на горе свистнет.

II

Да, Матвею Валериановичу было не позавидовать. Жить одному в пустом, покинутом жильцами доме было страшно-вато уже само по себе, хоть окна цокольного этажа и забили наглухо листами мятой жести, а в высокий бельэтаж с улицы было не забраться. Но черный-то ход стоял открытый настежь, входи кому не лень. Матвей Валерианович каждую ночь с тревогой прислушивался ко всякому стуку, к скрипучему голосу двери, раскачиваемой внизу на ржавых петлях ветром, ему чудились крадущиеся недобрые шаги на прогнивших ступенях, подывание ветра в старых, бесполезных дымоходах походило на человеческие стенания, по чердаку топотали обезумевшие от безнаказанности мыши, а в уборной в по-

луподвале мерно, китайской пыткой, били в фаянсовый умы-вальник тяжелые капли из плохо пригнанного крана.

Впрочем, поначалу ночи еще были короткие, летние, и бессонница не столь изнурительной — на дворе стоял июнь, солнце рано вставало, поздно садилось, и Матвей Валерианович жил надеждой, что к осени он все же удостоится новой квартиры и уедет отсюда. Собственно, ему ничего и не оставалось, как ждать лучших времен. И он ждал их с тем привычным и покорным долготерпением, которое выработала в нас вся наша жизнь. Хотя вполне может статься, что жертвенная эта покорность судьбе благоприобретена нами не только за три четверти века новейшей нашей истории, но являет собою нечто гораздо более древнее, из рода в род наследуемое и мало что способными понять в нас иноземцами именуемое «загадочной славянской душой».

Но лето в наших широтах так же коротко, как и летняя ночь, и уже к концу сентября зарядили на диво тоскливые дожди, листья на липах бывшего парка стали скукоживаться и облетать, из забитых жестяными полотнищами окон потянуло промозглыми сквозняками, — и вот в одно такое ненастное утро спешившему на работу Матвеем Валериановичу повстречался выходявший из подвала с деревянным самодельным ящичком для инструментов в руке слесарь-водопроводчик, известный всей округе под кличкой «Кудеяр». Настоящего его имени никто не знал, на Кудеяра же он откликался охотно и как бы даже с гордостью. А получил он это прозвище потому, что, напившись — трезвым он как-то умудрялся не слишком часто попадаться на глаза, — начинал распевать на весь околоток леденящим душу голосом первый куплет известной песни о двенадцати разбойниках и об их атамане.

— Все, — сказал он вместо приветствия Матвеем Валериановичу. — Перекрыли тебе, отец, кислород.

— Какой кислород?.. — не понял его Матвей Валерианович. Но под сердцем у него мигом захолонуло от недоброго предчувствия. — Ты о чем, Кудеяр?

— Водоснабжение горячее — с концами, — мастердохнул на него суточным перегаром. Дом с баланса — долой.

— Так ведь топить-то пока и рано вроде... — выдавил из себя жалкую и заискивающую улыбку Матвей Валерианович. — А там, глядишь, и предоставят мне...

— Держи карман шире, отец. Как же, разбежались! Да и холодное я тоже перекрою, вот только в двадцать восьмом, квартира пятая, течь исправлю.— разочаровал его Кудеяр.— К вечеру ты, если мыться, в баню сходи.

— Как же так?! — слабо возмущился Матвей Валерианович.— До холодов далеко, но вода-то, Кудеяр, вода?!

— И по нужде не сходить, это тоже, между прочим, учесть придется,— добавил Кудеяр. Но, не то пожалев, не то осененный нежданной, но вполне практической мыслью, покопился на Матвея Валериановича и надвинул засаленную кепку козырьком на самые глаза:

— Вообще-то...

Матвей Валерианович поймал кудеярову мысль на лету:

— Вечером ты зайди, сговоримся, за мной не пропадет, ты знаешь...

И сам почувствовал, как по лицу его опять расплылась угодливая улыбочка.

— Насчет горячей и не думай,— развеял его надежды Кудеяр,— это магистрально. А вот касаясь чего другого...

— Ты приходи, я дома буду! — прокричал с мольбой в удаляющуюся спину благодетеля Матвей Валерианович.— Я тебя ждать буду!..

Весь день, сидя за своей ширококаретной «Эрикой», Матвей Валерианович ни о чем другом и помыслить не мог, как о страшной перспективе остаться без воды и тепла, вполуха слушал, что диктуют ему сотрудники, и даже не единожды был ими уловлен на том, что забывал переложить чистые листы копиркой.

Вернувшись с работы домой и прежде чем подняться к себе в мезонин, он первым делом спустился в подвал: вода пока что из кранов и бачков текла, Но, как показалось Матвею Валериановичу, не так обильно и зычно, как обыкновенно.

Кудеяр не заставил себя долго ждать. Пришел он не один, а с Макарычем, дворником, и с порога объяснил:

— Я бы с тебя, отец, на одну бутылку взял, так ведь Макарыч тоже ответственность несет — дом пустой, а вода течет. Так что меньше, чем в две, не уложимся. С других я бы втрое взял, так про тебя всем известно — на зарплату живешь, один на весь ДЭЗ.

Но Матвей Валерианович готов был и не к тому еще, он протянул Кудеяру чуть не половину своего месячного жалования, заранее приготовленную во влажной от пота ладони.

— Бери,— и опять угадал в себе постыдную привычную угодливость и покорность.— Чего уж мелочиться... Вот если бы еще и отопление, я бы...

— Забудь,— отрезал Кудеяр, а дворник только развел руками: мол, кабы наша только воля... — И мечтать забудь. А помыться, по нужде сходить — это мы с Макарычем со всей душой, что от нас зависит. Для хорошего человека...

Матвей Валерианович был на седьмом небе от счастья и благодарности.

III

В институте, где работал Матвей Валерианович, его называли за глаза — да и в глаза тоже — не иначе, как Мотей. Причем еще и в женском роде: Мотя напечатала, Мотя пришла, Мотя ушла. Этому есть объяснение, о котором уже бегло упоминалось: Матвей Валерианович числился секретарем-машинисткой — так, куда денешься, именовалась его должность в штатном расписании. Да и как еще обозначить эту профессию, когда ею занимается не женщина, а, вопреки укоренившемуся обыкновению, мужчина? Не «машинист» же, в самом деле! Тем более, что в институте уже привыкли к этому и давно перестали острить на счет Матвея Валериановича.

Печатал он, в отличие от заправских машинисток, не всеми десятью пальцами, а всего двумя, но на диво бегло и практически без опечаток, так что после него можно было не считать напечатанное. И, что особенно нравилось научным сотрудникам, он аккуратно выправлял их описки и неизбежные для сегодняшнего гумманитария-грамматические ошибки.

Крохотная комнатка на первом — полуподвальном — этаже, в которой работал Матвей Валерианович и которую склонное к преувеличениям руководство института называло не иначе, как «машбюро», была обита ячеистой упаковкой из-под яиц, гасившей стук пишущей машинки, но не шум оживленного проспекта, на который «машбюро» выходило единственным оконцем под самым потолком, отчего приходилось весь день жечь электричество. В комнатке едва умещались стол, на котором стояла ширококаретная «Эрика», стул самого Матвея Валериановича, да сбоку, едва втиснувшись меж столом и стеной, еще один, на котором вечно сидел кто-нибудь из

сотрудников, диктуя размеренно и без выражения очередной отчет, обзор, справку или иную деловую бумагу.

Печатал Матвей Валерианович и статьи, и монографии, и диссертации, и авторефераты, но это была уже «левая» работа, за которую он брал постранично: когда-то — об этом сейчас и вспоминать смешно — по двадцать копеек, потом — тоже по-божески, но уже с учетом роста цен и дороговизны жизни, так что назвать его человеком не от мира сего никак было нельзя.

Некогда Мотя пришел в институт юношей совершенно рыжим, рыжее, казалось, и быть невозможно, и лицо у него было красное, как у альбиноса. Он и начал с годами походить на альбиноса — лицо осталось пунцовым, будто навсегда обожженным солнцем, а волосы поседели — как-то разом, годам, пожалуй, уже к тридцати пяти. Одним словом, Матвей Валерианович никогда не был красавцем-мужиной.

Тем не менее все институтские «синие чулки», на которых отечественная наука нынче только и держится, все эти перзрелые и чаще всего незамужние вянущие Мессалины или, напротив, невольные весталки «онорис кауза», не то что обожали Мотю, это было бы слишком сильно сказано, но явно отличали его среди прочих мужчин. Правда, последние, надо признаться, все были либо женаты, либо, кто не был женат, так непременно жил с ревнивой и тиранической старухой-матерью, на порог не пускавшей соискательниц руки и сердца ее дитяти, перевалившего за сорок. Так что проку от них всех было, что от козла молока. Короче, институтские девы часами просиживали в тесной комнатке Матвея Валериановича безо всякой служебной нужды. О чем именно они там, за закрытой дверью, под стук пишущей машинки, говорили, никто с уверенностью сказать не мог, но сослуживцы не единожды бывали свидетелями, как то одна, то другая выскакивала оттуда с красными от слез глазами, расставшись, по-видимому, с очередной иллюзией. Мотя безотказно служил поверенным их сокровенных чувств, сердечным их наперсником — одним словом, сосудом для излиятий. Может быть, он в их глазах был и не мужчина вовсе, просто добрый и отзывчивый человек: ведь это и одно уже — такая редкость в наш торопливый век, что вполне может составить утешение для женщин. Особенно в рабочее время.

Тут самое место хотя бы на полях отметить вот какое немаловажное обстоятельство: академический институт, в котором проработал едва не всю свою сознательную жизнь Матвей Валерианович, был лишь в сравнительно недавнюю пору переименован в Институт Истории Революций — вообще революций, во множественном числе — всех, что называется, времен и народов. Прежде, до известных событий, перевернувших вверх дном жизнь не одного Матвея Валериановича, но и всей страны (впрочем, правды ради надо согласиться, что до истории с домом на приватной его жизни эти стремительные и судьбоносные перемены никак не сказывались, а если и сказывались, так не уловимым для невооруженного глаза образом), институт, ставший ему родным домом, посвящал свои труды и дни лишь одной, само собою — отечественной революции. Ведь с нее, Великой и Единственной, в те времена вся история человечества как бы начиналась и на ней же замыкалась, а все прочие события и катаклизмы, как предшествовавшие ей, так и последующие, представлялись вокруг нее вращающимися, подобно планетам вокруг царственного светила. И для Матвея Валериановича, как и для миллионов его сограждан, то было несомненностью и данностью на все времена, неопровержимой, как чередование дня и ночи, как закон всемирного тяготения, доказуемый простым падением ньютонова яблока. Истина эта казалась ему не менее безусловной, чем крылатое тождество, выбитое на черном мраморе в самом центре Москвы: «Бессмертное, потому что верное».

Правда, в ранней юности у Матвея Валериановича однажды возникли все-таки некоторые недоумения, послужившие причиной целого ряда событий, которые, кстати говоря, и привели его, в конце концов, на стул секретаря-машинистки, а начались с того, что ему пришлось оставить обучение на историческом факультете Московского университета.

А именно: на втором курсе, когда Матвей Валерианович всею душою и сердцем принимал еще Марксову аксиому насчет истории как закономерного чередования социально-экономических формаций, он задал на семинаре по истмату невиннейший и, как ему казалось, сам собою напрашивавшийся вопрос: если за рабовладельческой, скажем, формацией неотменимо последовал феодализм, а за ним, в

неукоснительной последовательности от низшего к высшему, капитализм и потом социализм, за которым безусловно, как лето после весны, воспоследует коммунизм, и если этот порядок незыблем — то чего же следует ждать после коммунизма?

Ответом на этот простейший, казалось бы, вопрос было исключение любознательного Матвея Валериановича из университета, и ему потом ничего уже не осталось, как трудоустроиться в упомянутый институт в качестве секретаря-машинистки, каковой — вернее, каковым — он и остался на всю жизнь.

Но это случилось много позже, чуть ли не через год, потому что исключение из университета и, главное дело, предшествовавшее ему факультетское комсомольское собрание, на котором всенародно, в присутствии не только студентов и всего деканата «ин корпоре», но и самого проректора, обсуждалось недостойное поведение Матвея Валериановича, даром ему с рук не сошло. Он и с детства был мальчиком не слишком крепкого здоровья и телосложения, чрезвычайно впечатлительным и легкоранимым, как все рыжие — а уже было помянуто, что он был рыжим, рыжее не бывает, — и, как надо всеми рыжими, над ним вволю потешались товарищи его детских и, как принято думать, безмятежных годов, так что он с малолетства привык сторониться их шумных и небезопасных затей, постоянно испытывая опасливое ожидание их по-детски беспощадных очередных шуток. Он и на этом собрании чувствовал себя опять рыжим среди всех прочих, независимо от цвета волос, людей. Еще раз ему как бы преподали урок насчет того, что он — не как все. Особенно лютовали на собрании женщины — и декан была женщина, и проректор, и комсорг — юное существо с очаровательным лицом, ангельски не тронутым и тенью сомнений, а за нею и другие его товарки по курсу, — они не знали ни жалости, ни пощады.

Кончилось тем, что, не дожидаясь конца собрания, Матвей Валерианович как бы отключился от реальности, потерял ощущение времени и пространства, а затем с ним случился глубокий обморок, от которого он не сразу и очнулся, да к тому же не дома, а на койке в больнице на улице Восьмого марта, где и пролежал, медленно и муторно приходя в себя, без малого два месяца, а выписавшись, был прикреплен справокою с круглой печатью к неврологическому районному дис-

пансеру с диагнозом, из которого нельзя было с полной определенностью понять, вправду ли он болен или нет, а если болен, то надолго ли, — а может, не приведи Бог, и безнадежно? Впрочем, кроме этой справки ничто в нем вроде бы о болезни не свидетельствовало, да он и сам о ней со временем позабыл, разве что вышел из больницы еще тише, неприметнее и опасливее к людям, особенно же стал втайне побаиваться женщин, чем одним и можно объяснить тот печальный факт, что и к вполне почтенному возрасту, в котором мы застали его в мезонине обреченного на слом старинного особняка, он так и не женился и, более того, никогда ему и в голову не приходила мысль, а тем паче намерение связать свою судьбу с кем-нибудь из представительниц лучшей половины человечества. После приснопамятного собрания в последнем он уже не был так убежден, как прежде.

Впрочем, время все утишает, а с того судьбоносного для Матвея Валериановича собрания и исключения из университета прошло не просто четыре почти десятка лет, но — целая жизнь.

V

Лиха беда начало, и после первого эвместного визита Кудеяр с Макарычем зачастили в дом к Матвею Валериановичу. А вскоре общество и разрослось. Что ни вечер, стали заглядывать на огонек — именно что на огонек, поскольку электричество тоже отключили и теперь Матвею Валериановичу приходилось коротать вечера при свете дешевых стеариновых свечей, — еще и Оська, доселе Матвею Валериановичу знакомый грузчик из соседнего «Самообслуживания», кудеяров друг с печальными и вместе бойкими глазами навывкат, — а затем и Маня, женщина лет сорока, со следами полной превратностей прошлой жизни на относительно еще свежем и даже не без обаяния лице, операторша на диспетчерском пульте в ДЭЗе.

Да, собственно говоря, и грешно было бы не воспользоваться бесхозным, списанным на неведомо чей баланс домом для дружеских посиделок, тем более что для Макарыча, Мани и Кудеяра он как бы все еще продолжал оставаться подведомственным им владением. (Что же до Оськи, то он осуществлял торговые и меновые связи с внешним миром, поставляя по

вполне сходной, скажем прямо — до смехотворности низкой, имея в виду стихийно складывающуюся рыночную конъюнктуру, цене не только водку и портвейн из «Самообслуживания», а также и закуску из «Овощей-фруктов», где он работал по совместительству и где ему также была выделена законная, в соответствии с утвержденными Мосторгом нормативами, доля неизбежного «боя», утруски и усушки.

Когда денег не было ни гроша, свободный рынок уступал место натуральному обмену, и в дело шли краны, вентили и чешские «елочки» со склада ДЭЗа, которые выписывались Кудеяром для текущего ремонта сантехники. Но он слишком уважал себя как мастера, чтобы в голову ему могла придти шальная мысль поставить новый, скажем, кран вместо прохудившегося, если вполне можно было обойтись заменой резиновых прокладок или, того проще, наvertеть свежее мочало.

«Макарыч» — это, как и «Кудеяр», тоже было не имя, а прозвище, и о дворнике только и было доподлинно известно, с его же слов, что он отбыл положенные законом «десять и пять по рогам» — за то, что был в немецком плену. Когда его спрашивали, в каких-таких заполярных краях он загубил свою жизнь, дворник неизменно отвечал: «Там, куда Макар телят не гонял». Кроме того, в нечастые свои трезвые озарения он грозился бросить к чертовой матери проклятушую эту Москву и удалиться куда-нибудь, где нога человеческая не ступала, — в глушь и безлюдье. И на вопрос — куда именно, он так же хмуро называл единственное известное ему на земле место, где можно было обрести душевный покой: «Куда Макар телят не гонял». Отсюда и прозвище, лучше не придумаешь, — Макарыч.

Он давно привык к своей кличке, не обижался, был насуплен и не улыбочив, пил — не хмелел, «зря продукт переводит», — сердился на него Кудеяр, хмелевший быстро и шумно.

Кудеяр же и трезвым был хват и задира. Для него, казалось, выпивка была важна не сама по себе, а, главное, тем, что выпив, он как бы получал неоспоримое право куражиться и хамить, что сразу выделяло его в собственных глазах из ряда тихих и законопослушных обывателей. Выпив, он будто становился на ступеньку выше и их, и самого себя трезвого, будто вырывался из пут обыденности и скукоты, из которых, на его взгляд, только и состояла трезвая жизнь.

Поначалу ежевечерние их посиделки происходили в бельэтаже, в зале, расчлененной фанерными перегородками на коммунальное жилье. Съехавшие жильцы оставили по себе старую мебель — диваны с вылезавшими наружу пружинами, кресла на шатких ножках, дедовские из бамбуковых стволов этажерки, платяные шкафы с незакрывающимися дверками, сундуки, набитые всяческим, без надобности на новом месте, старьем, стопы третьегогодичных журналов, стоптанные башмаки и прочее рваньё — не тащить же этот хлам с собою в обновленную жизнь! Лучшего места для дружеских возлияний придумать было нельзя.

Да и Матвею Валериановичу не так боязно стало в долгие осенние вечера прислушиваться к вою ветра, зловещему скрипу флюгера на крыше и топоту мышей на чердаке. Он теперь умиротворенно засыпал под громкие голоса в бельэтаже, под вечное кудеярово «Жили двенадцать разбойников, жил Кудеяр-атаман...», и даже когда там, под ним, бранились, чего-то не поделив, и кричали, он благодарил судьбу — все лучше, чем полное одиночество в обреченном доме.

Тут самое место и время внести полную ясность и не замалчивать далее тот стыдливо скрывавшийся самим Матвеем Валериановичем от сослуживцев факт, что он тоже — ну, пил не пил, но попивал-таки, и уж никогда с ним не бывало, чтобы отказался от рюмки-другой. «Рюмку» в данном случае не следует понимать слишком буквально, поскольку пиршественной чашей у нас давненько уже служит не субтильная, с талией худосочной барышни, рюмка, или, как ее еще некогда называли, «лафитничек», а куда более близкий и понятный широким массам граненый стакан, в просторечии еще именуемый «банкой» или, реже, «фужером».

Одним словом, Матвей Валерианович был тоже не без греха, хотя пьяным его — не только, разумеется, на работе, но и в свободное от трудов время — никогда не видели и никто не мог догадаться о тайном, хоть и вполне простительном его пристрастии. Разве что попахивало от него неким укромным ароматом, точной идентификации не поддающимся.

А вскоре, глазом моргнуть не успели, закружила по перелуку первая ноябрьская поземка, на ступенях черного хода стало скользко от накипающего за ночь льда, на фанерных перегородках, оклеенных выцветшими, с неразличимым уже рисунком, обоями, по утрам заиграла самоцветами изморозь,

и Матвей Валериановича уже не могли спасти по ночам от холода ни свалявшееся комками стеганое ватное одеяло, ни, поверх него, старый, ручной работы ковер, ни даже то, что он ложился в ледяную постель не только в теплом белье, но и в безрукавке на собачьем меху. Приходя утром на работу в свое пусть и тесное, но зато отапливаемое «машбюро», он долго не мог унять ночной озноб, и окоченевшие, опухшие красные пальцы не слушались его, когда он садился за свою ширококадетную «Эрику».

Вот тогда-то компания и была поставлена перед необходимостью перебраться в мезонин, где было тоже холодно, но хоть как-то отдавало еще человеческого жильем.

VI

Ничего в тот вечер не предвещало события, которое бы разом изменило жизнь Матвея Валериановича. В бельэтаже ветер вольно гулял меж фанерных перегородок, и они, казалось, не могли унять дрожи, сиротливо поскрипывая и шурша полосами ободранных обоев. По черной лестнице ветер пробирался и в мезонин, и там тоже становилось все неприятнее, хоть костер разжигай. Как всегда, приходилось согреться единственно доступным способом.

Одним словом, сидели они и в тот вечер у Матвея Валериановича: хозяин — в старом, покосившемся креслице с вытертой до белесого испода обивкой, Оська и Кудеяр — у стола, покрытого ледящей ладони клеенкой, Маня — на диванчике, обложившись для тепла плоскими, как черствые оладьи, подушками, Макарыч же, по всегдашней своей, усвоенной в лагере привычке, на корточках, прислонившись спиной к пузатому, с оббитым лаком, комоду, за которым-то, как вскоре обнаружилось, и притаилось спасительное чудо.

Поначалу больше молчали, пока не согрели их изнутри две бутылки водки и полдюжины пива — их захрустывали мелкими мочеными яблоками и дунайским салатом, дарами Оськиного «Фрукты-Овощи». Распалившись, Кудеяр клял почему зря телевизионную метеослужбу и паразитов, которые там зря хлеб едят, и не потому, что они никак не изловчатся верно предсказывать погоду, а просто за то, что — холодно, слякотно и промозгло раньше всех законных сроков, мать их в растопырку!

Кудеяровы разглагольствования слушали без особой охоты — ну, холодно, ну, зима опередила свое время, с кого за это может быть спрос! — Матвей же Валерианович, мало привычный к светской и вообще людной жизни, и вовсе молчал.

К тому же — хотя едва ли он сам отдавал себе в том отчет, — его несколько смущало присутствие, да еще столь близкое, Мани. Даже не именно Мани, а вообще женщины в его холостяцком доме, сидящей на его одинокой постели.

Дело в том, что Матвей Валерианович не только никогда не был женат, но и более того, стыдно признаться, а еще труднее поверить, был невинен в самом прямом и непосредственном смысле слова. Попросту говоря, он никогда не знал женщин — в том библейском, не побоимся этого определения, смысле, в котором «познать» означает всего-навсего «переспать». Матвей Валерианович никогда не спал с женщиной. Может, этим-то и объяснялся тот вскользь упомянутый уже факт, что институтские дамы, тонко чувствуя разницу, чтоб не сказать пропасть между мужчиной невинным и мужчиной, так сказать, падшим, изо всех сотрудников именно Матвея Валериановича избрали, как уже было сказано, сосудом для излиятий.

Одним словом, любовь, как возвышенная, платоническая, так и грубая, плотская, обошла его стороной, и то была, разумеется, не вина Матвея Валериановича, а его беда, хотя сам он никогда над этим предметом не задумывался, не печалился и не чувствовал себя обделенным, не говоря уж — ущербным. Он и это обстоятельство принимал так же просто, покорно и с неприметным на сторонний взгляд достоинством, как принимал и все остальное, что приключалось с ним в жизни.

Да что там ходить вокруг да около! — Маня была первая и единственная женщина, которая, не придавая этому, правда, никакого значения, нарушила холостяцкую девственность его ложа, и именно этот несомненный и неожиданный факт он сейчас молчаливо и пытался осознать. Случившееся было столь удивительно и непривычно для Матвея Валериановича и столь многое для него означало, что он, как истинно порядочный человек даже услышал в себе нечто похожее на долг жениться на Мане. И, без всякой видимой связи с этими мыслями, Матвей Валерианович пробормотал про себя:

— Жизнь — вся, никуда не денешься...

Впрочем, не о смерти подумалось Матвею Валериановичу, так далеко его мудрствования не заходили, а о той последней минутке жизни, о том коротком, ни на одних часах не засеешь, мгновении, когда — плати по счетам, по закладным, по долговым распискам, которые не другим — себе же самому смолоду под горячую руку навывадал, размахался... А расплачиваться и нечем, кроме как несбывшимися обещаниями самому себе, которые лопнули мыльными пузырями и цена им оказалась — грош. А что уж там, за минуткой этой, — не нашего ума дело, уж в этот-то монастырь со своим уставом не суйся...

Но тут Макарыч прервал его размышления и послюнив палец, показал его им в подтверждение своих слов, чтобы они все могли убедиться:

— Не заложенный.

— Кто — не заложенный? — словно лошадь, остановленная на всем скаку, дернулся Кудеяр.

— Дымоход, — объяснил Макарыч и ткнул тем же пальцем себе за спину.

— Ему про Ивана, а он... — плюнул в сердцах Кудеяр. — Причем тут дымоход какой-то, мать его в переносицу?!

— Одной штукатуркой, видать, заставленный, — не обратил на него внимания Макарыч, — отколупнуть, всего и делов.

— Печка?! — не поверила Маня свалившемуся прямо-таки с неба решению их общей беды.

— Давай! — вскочил на ноги Кудеяр. — Где отдирать-то?! — и кинулся, обрадовавшись хоть какому-то развлечению, оттащить от стены комод. — Мигом!

Матвей Валерианович, огорошенный неожиданностью, забеспокоился:

— Без разрешения?! — но тут же устыдился собственного законопослушания: — С противопожарной стороны...

Но Кудеяр уже сдвинул с места комод, недвижно тут стоявший, сколько помнил свое житье в мезонине Матвей Валерианович, и твердыми, как клещи, ногтями начал искать зазор между листами сухой штукатурки под обоями.

— Сейчас мы его, мигом!.. — помогал он себе голосом, с веселой яростью отдирая задубелую шкуру обоев. — Счас мы его!..

Отодрал, нащупал ногтями край листа, потянул на себя, штукатурка с треском поддалась, и в образовавшемся квад-

ратном отверстии показался темный и глубокий, как пещера, черный от сажи зев старого камина, и разом оттуда потянуло стылым холодом, копившимся в нем долгими десятилетиями и будто только и дожидавшимся, чтоб его выпустили на волю.

Все глядели, как зачарованные, в черное это чрево, словно бы ждали от него еще чего-то.

А Манин ход мыслей был, как у всякой женщины, чисто практический:

— Топить-то — чем?..

У Кудеяра был и на это готовый ответ, будто он заранее все предвидел и продумал:

— Топор-то у тебя, отец, где?

— Топор?.. — не сразу сообразил Матвей Валерианович. — Откуда? И — зачем?..

— А-а!... — только махнул на него рукою Кудеяр и, ничего не объясняя, кинулся вон, затопал пудовыми бутсами по лестнице, и тут же из бельэтажа слышалось, как он сходу что-то крушит, что-то валится с грохотом на пол.

— Что он делает?! — перепугался Матвей Валерианович и слабо крикнул, не надеясь быть услышанным: — Не надо!..

Через десять минут Кудеяр ввалился в комнату и бросил себе под ноги груды выдернутых с мясом ножек и спинок от стульев.

— Давай, давай! — торопил он всех с едва сдерживаемым буйством. — Одному мне, что ли, греться, язви вас дед с клюшкой?! Тащи растопочку! Там этого добра — бери, не хочу! — выхватил у Оськи свечу, потопал обратно, и опять было слышно, как он смаху отдирает со стен, полосу за полосой, обои.

— Дом бы не разнес, орел какой! — крикнула Маня ему вдогонку.

Оська побежал вслед за ним вниз. Остальные продолжали терпеливо ждать в темноте.

Кудеяр и Оська вернулись, застряли в дверях, нагруженные охапками обоев.

— Ну нахлебники, ети вашу в рыло! — радостно кричал Кудеяр. — Дармоеды хреновы! А как греться — первые!

Он подошел к камину, бросил с размаха в его черную пасть обои, потребовал:

— Спички давай!

Оська поспешно протянул ему коробок, Кудеяр встал на колени перед устьем камина, чиркнул спичкой, и тут же,

словно только того дожидаясь и истосковавшись по огню, камин мощно и жадно потянул, глотнул в себя первое пламя, охнул от вдруг привалившего и давным-давно позабытого им счастья и протяжно загудел. Огонь плотоядно пробежался по сухой, в несколько слоев слипшейся бумаге, взметнулся ввысь, к самому горлу дымохода, упоенно заплясал пламенем.

Все неотрывно глядели на огонь, не смея мешать ему словом.

— Дрова клади! Клади дерево! — прервал Кудеяр их немое огнепоклонство. — Бумага-то враз сгорит, язвы ее в пасть!

Они стали поспешно, в пять пар рук, бросать в камин мгновенно занимавшееся порохом старое дерево, огонь с жадностью накинулся на него, вскипая снопами искр, загудел ниже и гуще, будто вновь поверив наконец-то в самого себя, в свое призвание и право пожирать красными, желтыми и лиловыми клыками все, чему от века назначено гореть и исходить теплом.

Багровые и золотые отблески разбежались по углам, по потолку, метнулись в оконное стекло, обгоняя друг дружку.

Казалось, само утлое жилище Матвея Валериановича пустилось в огненный пляс, и пол заходил ходуном у них под ногами.

И вдруг поверилось им всем, что — не все кончено, еще не вечер, и жизнь увиделась вновь если и не вполне счастливой, так, по крайности, не окончательно безнадежной...

VII

Меж тем время неумолимо шло, зима в том году была из суровых, что ни день метелило, через выбитые стекла бельэтажа стужа вползала в мезонин, окно в нем заиндевело и поросло узорчатой ледяной сорочкой, так что, глядя наружу, ничего было не разобрать, а в камине тяга, к несчастью, была преотличная, и все, что ни кинь в него, сгорало в мгновенье ока. Вскоре вся принадлежавшая бывшим владельцам старая мебель, вся брошенная ими рухлядь ушли в пламя и недолговечное тепло, вознеслись дымом, и теперь вооруженный топором и ломом Кудеяр принялся крушить в щепу фанерные перегородки, переверставшие во время оно бельэтаж. Фанера тоже сгорала быстро и торопливо, но зала была перегорожена

на такое количество коммунальных ячеек, что топлива, по расчетам Кудеяра, должно было с лихвою хватить до весны, а там, глядишь, дадут-таки Матвею Валериановичу новую квартиру, и делу конец.

Таким-то манером бельэтаж преображался и, странное дело, начинал понемногу походить на самое себя, каким он был задуман безвестным архитектором два столетия назад и каким его обживали первые владельцы усадьбы, чьи имена, как и имя зодчего, канули безвозвратно в небытие. Тесные комнатки-пеналы уступали место вольному простору, вальяжной широте бывшей залы, и вместе с нею словно бы возвращалась из того же небытия давно забытая и примирившаяся с забвением далекая, непонятная и потому как бы вещь прежняя жизнь.

Неожиданно на потолке обнаружилась не поддававшаяся раньше обозрению многофигурная алебастровая лепнина, правда, до неузнаваемости испоганенная многократными грубыми побелками: крылатые, с раздутыми от безделья щеками амурчики, дующие в призывные трубы любви, цветочные плетеные корзины и рога изобилия, из которых вываливалось поражающее воображение разнообразие всяческих продуктов питания, — бордюр по всему периметру залы; на потолке, в местах, где предположительно висели некогда шесть, попарно, люстр с множеством ярко пылавших свечей из чистого, надо полагать, воска, теперь лишь угадывались обглоданные временем розетки, и невольно воображению представлялось, как колебались язычки свечей и дрожали в лад с бравыми всплесками мазурки или с плавным, торжественно скользящим полонезом, дрожали и вздрагивали под серебристое тренканье шпор, томно мерцали от запыхавшегося дыхания танцующих, от ловкого пристука кавалергардских или гуссарских каблуков и нежного, робкого шуршания по полу атласных девичьих башмачков, от едва слышного, из уст в уста, шепота и любовных признаний меж двух фигур контрданса, или от шелеста атласных же карт на ломберных столах, за которыми сжились, вистуя и загибая угол, почтенные старцы; в зале пахло расплавленным воском, пачулями, летучими духами и негрубым, неоскорбительным для обоняния молодым и чистым потом, турецким табаком и рисовой пудрой. А на хорах играл крепостной оркестр, и музыканты были в белых

нитяных чулках и растоптанных лаковых туфлях с огромными латунными пряжками...

Вдруг обнажившийся в зале паркет, его благородный и строгий рисунок — дуб, орех, бук, — как бы тоже хранил и готов был поделиться воспоминаниями об этих каблуках и башмачках, о каждой щербинке, оставленной на дереве шпорой или выжженной упавшим на пол из длинного вишневого чубука угольком... Чего только не бывало в прежней жизни, нам и вообразить себе этого не дано, нам теперь уж не перешагнуть, не вернуться вспять в ту отлетевшую даль!

Уж не говорим об обоях! Поскольку все легко воспламеняющееся наследство съехавших жильцов — подшивки старых журналов, книги без переплетов и прочий бумажный хлам — пошло на растопку в первые же дни, Кудеяр принялся за обои в зале: стены были оклеены ими множество раз, и теперь, отдирая их, Кудеяр будто занимался археологическими раскопками, высвобождая один культурный слой из-под другого, в строгом порядке чередования эпох и стилей. Сверху — незатейливый, в полосочку или простенькими веночками, рисунок последних десятилетий, под ним — совершенно обесцвеченные, на грубой оберточной бумаге, неразборчивые пролетарские узоры довоенной выделки, затем — крупная, броская расцветка нэповского вкуса, ныне нареченного почему-то «шляпинским», еще дальше — томные, витиеватые, нежнокапризные извивы и блеклые, пастельные тона того, что называлось «бель эпок», и так далее, и тому подобное, пока не выступили наружу шелк, штоф и иные ткани, имени которых нам уже и не вспомнить, а уж под ними обнаружилась оштукатуренная поверх дранки стена и, еще глубже, сложенный из не знающих срока сосновых бревен сруб.

Дом можно было листать, как отечественную историю, как живую летопись невозвратных лиц, судеб, жизней. И Матвей Валерианович, спускаясь в залу и бродя со свечой в высоко поднятой руке по пустому, как бы вывернутому наизнанку дому, нисколько бы, кажется, не удивился, если бы вдруг услышал въявь чьи-то давно умолкшие голоса, чьи-то шаги по навощенному паркету, если бы в полутьме промелькнули перед ним чьи-то фижмы или роброны, чей-то расшитый галунами ментик, чья-то сабля чиркнула о дверную притолоку, чье-то лицо, глаза чьи-то, улыбка, усмешка, слеза вспыхнули

бы из дали забвения... Испугался бы до смерти, но — нет, не удивился.

Выпроваживая, — а кому из них была охота покидать насиженное, теплое жилье, ставшее им родным домом, да и куда им идти отсюда, кто и где их ждал?! — и светя честной компании свечою в кромешной тьме черной лестницы, Матвей Валерианович не сразу возвращался к себе, а шел сперва в бывшую залу. «Невольно к этим грустным берегам...» — усмехался он про себя, и эта усмешка как бы помогала ему преодолеть страх перед пустотой и теменью. Боялся, а все же шел, вышагивал там из угла в угол, спотыкаясь о гнезда вывороченных Кудеяром паркетин, с опаской вглядываясь в сгустившуюся по углам стылую темнотищу, колеблющуюся еще более черными угрожающими тенями, натываясь вслепую на остатки еще не пущенной на топливо бесхозной мебелировки.

И вот в одну из таких ночей Матвею Валериановичу почудилось почти вживе, будто тьма и тени оживают.

Он как бы внутренним, напуганным до оторопи и галлюцинаций взором увидел, потаенным чутким слухом услышал тех, кого давно тут и быть не могло, кого Бог весть когда и след простыл. То были, конечно же, не живые персоны и фигуры, а лишь колеблемая слабым пламенем свечи игра теней, не голоса, а всего-навсего слившиеся в некий не различимый простым ухом намек скрипы паркета и фанерных перегородок, невнятный шепот сквозняков, вздохи и пени рассыхающихся стропил, нежный лепет осыпающегося с лепнины на потолке алебаstra.

Но Матвею Валериановичу — он и наутро мог бы в том поклясться — почудилось, что эти вздохи, скрипы, шепот, шелест — неспроста, что в этом есть некий смысл, и что смысл этот обращен не к кому иному, как к нему, Матвею Валериановичу, и вся беда лишь в том, что он этот темный смысл не в состоянии уразуметь, эту не умещающуюся в обыкновенных словах мысль — понять, что просто ему неведом тайный язык, на котором говорит с ним старый дом...

И Матвей Валерианович в страхе, от которого его прошиб холодный пот, кинулся назад на лестницу и, оскользясь на обледенелых крутых ступенях, устремился в свой спасительный мезонин, в свою раковину.

VIII

Там было тихо, никаких голосов, только шипел и плевался искрами, догорая, огонь в камине, топотали, словно взбесившись, мыши на чердаке, да гляделась в окно чернильно-густая ночь.

Это наутро он попытается убедить себя, что то был всего-навсего дурной сон, просто, очень может быть, он угорел от угольев в камине или случилось какое неблагополучие с желудком, но убедить себя в этом так и не сможет, выше сил будет. А сейчас он лежал в постели, укрывшись одеялом и ковром, в меховой жилетке и шерстяных двойных носках, на голове, вместо ночного колпака, лыжная вязаная шапочка, — лежал, вспоминая давешнее наваждение, и невольно стал перебирать в воображении всех тех, кого молва поселила в прошлом в этом доме, из-за чего, собственно, дом и был объявлен историческим памятником.

Но, если подумать, с другой стороны, то с того дня, как Макарыч обнаружил камин, Матвей Валерианович стал почти счастлив — в мезонине теперь было тепло, и топлива в бельэтаже наверняка хватит на всю зиму, не говоря уж, что и одиночества прежнего, которым он так тяготился, как не бывало, — что ни вечер у огня собираются новые его друзья, Кудеяр и Ося принесут снизу порубленную на дрова старую мебель, разожгут камин, набегут и Маня с Макарычем, все усядутся перед огнем, разопьют бутылку-другую, и пусть их потом ссорятся и кричат с полупьяна, все равно, что ни говори, лучше, чем если бы он оставался один-одинешенек.

Собственно, для счастья человеку очень немного нужно, рассуждал про себя, заглушая в себе недавние страхи, Матвей Валерианович. А в его положении — и того меньше, и незачем желать большего, чем у тебя есть, только-то и всего. Не надо себя жалеть, не надо примерять свою жизнь к тому, что есть у других, более удачливых и расторопных, совершенно неизвестно, может быть они, со всеми своими удачами и добычами, несчастливее тебя: им-то всегда надо больше того, что у них есть, на одни проценты от своих удач они жить не умеют...

Хоть и книжная и, со стороны, мало убедительная, эта мудрость утешала однако Матвея Валериановича и направляла его мысли не вдаль, в перспективу, а, так сказать, в ретрос-

пективу, вспять, особенно к детским его безмятежным годам, когда он был счастлив одним тем, что — был.

Приходили на ум обрывки, тени воспоминаний, собирались в целое — подобно тому, как из детских кубиков с нарисованными на них частями картинки, если их терпеливо сложить, возникает вся сказка. Вернулось из тайников детской памяти, как гудел, в каждой на свой особый голос, огонь в пузатых белых кафельных печках, их сухой, покойный жар, если прислониться к кафелю грудью и лицом, придя в каникулы домой с катка на бульваре; и само ощущение дома вернулось, покоя, простого и устойчивого мирного счастья, когда ничего не грозит, не пугает, ничего не переменится ни завтра, ни послезавтра, всегда будет дом, и печное верное тепло, и прочное это ощущение незыблемости жизни...

Обогретая воспоминаниями мысль плела неторопливую свою пряжу, воспаряла к высотам прямо-таки метафизическим, можно даже сказать, трансцендентным, и Матвей Валерианович, противореча самому себе, неожиданно пришел к умозаключению, и вовсе уже дерзкому по смелости: жизнь есть не что иное, как бесконечное и вечное ожидание чуда...

А тут еще — Маня.

IX

Проснулся Матвей Валерианович в полночь, в страшном жару, и догадался, что занемог — то ли от навязчивых пустых мыслей и дурных предчувствий, а то и просто-напросто простудившись на стылых сквозняках в зале.

Дождавшись света в обмерзшем окне, он поставил себе градусник, и юркий столбик ртути мгновенно взмыл до предельной отметки. Пересиливая слабость и головокружение, Матвей Валерианович оделся, кое-как доплелся до автомата на углу переулка, чтобы позвонить в институт и сообщить, что не выйдет — чуть ли не впервые за всю свою биографию секретаря-машинистки — на работу. И в поликлинику — вызвать врача.

Хорошо, забежала в полдень Маня, заохала, разожгла камин и напоила Матвея Валериановича горячим чаем.

Пришедший врач наскоро осмотрел и выслушал больного, но определить причину заболевания затруднился — то ли авитаминоз, переутомление и нервное истощение, то ли глу-

бокая простуда, и, не мудрствуя лукаво, поставил годный на все случаи медицинской практики диагноз: ОРЗ. Оглядевши сирое жилище Матвея Валериановича и продрогши в нем до самых костей, он подумал было, не поместить ли незамедлительно больного в стационар. Но, взяв в соображение, что в самый разгар охватившей Москву раньше всех ежегодных сроков эпидемии гонконгского гриппа в больнице его наверняка положат в продуваемом сквозняками коридоре, где он, глядишь, протянет ноги скорее, чем даже в этом полуразрушенном доме, а главное, вняв клятвенным обещаниям Мани быть при больном круглосуточной сиделкой, врач оставил Матвея Валериановича там, где его настигла болезнь.

Маня сбегала в аптеку, купила лекарства и витамины, а с помощью Оськиных обширных торговых связей приобрела впрок импортных куриц для бульона, в целебные свойства которого — именно бульоном ее больную отпаивала в детстве бабка, которую одну только из родственников Маня и помнила, — она свято верила.

Больной то бредил, покрываясь липкой, жаркой испариной, и нес какую-то невнятицу, в которую сколько ни вслушайся, сколько ни строй догадок, ничего разобрать было нельзя, то бил его жестокий озноб, хоть и укрывали его поверх одеяла и ковра еще и пахнущим псиной тулупом Макарыча.

Все время, пока Матвей Валерианович не приходил в себя, Маня только и знала, что строго по часам давала ему лекарства, наловчилась сама и уколы делать, меняла полотенце со льдом на лбу, подставляла судно, оставалась и ночью, не доверяя никому больного, так и спала, прикорнув калачиком у него в ногах.

Впервые со смерти бабки, за которой, уже безнадежно больной и тяжело, долго умиравшей, надо было ходить как за маленькой, Мане выпало заботиться не об одной себе, и она с безотчетной готовностью ухватилась за эти заботы, как за последнюю спасительную соломинку.

Она отнеслась к своей нежданной заботливости о Матвее Валериановиче как к чему-то, что и должно было рано или поздно случиться, чего она, как ей теперь казалось, только и ждала и вот дождалась-таки, чтобы истратить наконец ненужные прежде силы и доброту души, и даже была благодарна судьбе, что такое в ее жизни наконец случилось. А уж чья-чья, а ее-то жизнь без просвета сложилась, — не жаловалась Маня,

а просто вспоминала, сидя в ногах у больного Матвея Валериановича, — уволокла ее на самое дно, откуда, как ни бейся, не выбраться, в такую мусть и безнадегу... А уж когда по дурости забеременела неизвестно от кого, и аборт поздно делать, все сроки просрочила, — хоть в петлю...

В женской консультации ей уже и точное время напророчили — в начале мая, и докторша без стеснения намекнула, что при ее-то, Манином, образе жизни, как бы ребеночек не родился неполноценным, с врожденной болезнью какой-нибудь, безвинной расплатой за грехи родителей, настырно допытывалась, кто отец, не пьющий ли тоже. Да ее это ребеночек, одной ее, она об отце и гадать забыла, и родится, будьте покойны, здоровым и крепеньким, не хуже, чем у людей!

В невнятном бормотании бредящего Матвея Валериановича она искала и находила — и чем невнятнее, тем для нее убедительнее — обещание и зарок, что все будет хорошо, ребеночек родится не в нее, а в бабку, и матерью она станет не хуже, чем другие, поставит на ноги, вытянет...

И от этих своих неотвязных мыслей она проникалась еще большей благодарностью и даже ее самое удивлявшей и пугающей нежностью к Матвею Валериановичу и еще заботливее выхаживала его.

Х

В одну из первых же ночей своей болезни, мучимый обесиливающим жаром, весь в липком поту, Матвей Валерианович нежданно проснулся — он и назавтра, и после, уже вовсе выздоровевши, в здравом уме и твердой памяти, мог бы поклясться, что то с ним было не во сне, не в болезненности жара, а в самой что ни есть яви, — Матвей Валерианович очнулся как бы совершенно здоровым и невредимым, и будто чарами какими-то неотступными, сильнее воли и здравого смысла, потянуло его вновь в бывшую залу с населяющими ее зыбкими тенями.

Что его неволило, прямо-таки толкало под локоть вопреки рассудку и страху, от которого похолодел лоб, а под мышками стало влажно и жарко — этого он так никогда и не смог объяснить себе. Несомненно лишь то, что как только он шагнул с промерзшей лестницы в стылую темень залы, вновь ставшей

самой собою, словно бы воротившейся вспять, к родовым, ко-ренным своим началам, — не успел он шагнуть в залу, как от группы господ, сидевших в креслах с высокими прямыми спинками и на сдвоенных, лицом друг к другу, козетках у ярко пылавшего огня в большом, устьем чуть ли под потолок, камине в торцовой стене, отделился и пошел ему навстречу рослый офицер — по белому колету Матвей Валерианович сразу определил в нем кавалергарда, — широко развел руки, обнял и крепко поцеловал в губы:

— А мы вас заждались, любезный Матвей Валериано-вич! — и взяв Матвея Валериановича под локоть, повел к ка-мину.

По пути Матвей Валерианович успел кивнуть нескольким другим лицам, военным и статским, сидевшим вокруг лом-берного стола, крытого зеленым сукном, которое все было ис-писано мелкими, и ничуть не удивился тому, что, пожалуй, со всеми знаком, хоть и не с каждым, разумеется, на короткой ноге.

Не удивился! — вот чего он и наутро, и до конца дней никак не мог не только истолковать, но и вообще объять умом. Ни-сколько не удивился! И, вспоминая впоследствии об этом бо-лее чем странном происшествии, разводил руками не по поводу самого пассажа, а именно оттого, что ничуть тогда не поразился случившемуся — но случившемуся ли, не приме-рившемуся ли ему, не привидевшемуся ли в миражном, хотя и смахивающем на несомненную явь сне?!

Сидевшие у камина поднялись ему навстречу, и было ясно Матвею Валериановичу, что они давно и с нетерпением его ждут, и что все тут — добрые его знакомцы, а то и друзья.

Сел в услужливо подвинутое ему кресло и Матвей Вале-рианович, ловко откинув фалды фрака — фрак-то откуда взялся, узкие панталоны и шелковые чулки, не говоря уж о том, как он ловко, будто всю жизнь ничего-то, кроме фрака и не нашивал, откинул фалды?! — только и мелькнуло у него в голове и тут же улетучилось.

— Прошу простить великодушно, господа, — как ни в чем не бывало, да еще с сановитостью какой-то, которую Матвей Валерианович никогда прежде в себе не подозревал, сказал он, садясь, — уж не обессудьте — делал некоторые распоря-жения по дому. Смее думать, вы не откажетесь отужинать у меня, чем Бог послал?

При этих собственных своих словах у Матвея Валериановича захолонуло под сердцем: фрак-то — шут с ним, но вот кормить чем он станет этих невесть откуда свалившихся на его голову гостей?! В мезонине, меж двойных рам окна, где он, поскольку электричество отключено и холодильник не работает, хранил скоропортящиеся съестные припасы, хоть шаром покати!..

Матвей Валерианович успел лишь краем воображения представить себе кефир в бумажной упаковке, «микояновские» котлеты и мороженые пельмени, которыми он обычно питался, как двери широко распахнулись и лакей в пунцовой ливрее и пудренном парике оповестил:

— Кушать подано!

И гости потянулись толпою к столу. Матвей Валерианович первым налил себе порядочную рюмку, всю в хрустальной тонкой резьбе, поднял кавалерственно на уровень лба и провозгласил недогнущим, словно это было для него дело обыкновеннейшее, голосом:

— Ваше здоровье, милостивые государи!

И тут, словно того только и дожидаясь, громовым салютом выстрелили отверзаемые жерла шампанского, пробки серебрянными всполохами взлетели под самый потолок. И тут же хлопнул от ветра жестяной щит на разбитом окне, эхо громоподобно усилило и умножило хлопок, свечи в одночасье погасли, навалились темь и пустота, только вой ветра снаружи, скрип разбитого паркета под ногами, мертвое шуршание обоев по стенам, да мерное падение капель из плохо завернутого крана в подвале...

И ничего не уразумев из того, что с ним только что приключилось или что привиделось ему во тьме и стуже, от которых еще не то может примерещиться, Матвей Валерианович кинулся что было ног к себе в мезонин, улегся в постель и, наваливши на себя все, что было под рукой, укрылся с головою...

XI

Итак, Матвей Валерианович юркнул под одеяло и, спасаясь от наваждения, вновь погрузился в спасительное забытие жара, слыша и сквозь него, как старые бревна, из которых был сложен дом, пропитанные вековой сыростью, изнемогают от зимней стужи, лопаются под напором смерзшейся в лед влаги, и треск их подобен выстрелам дуэльных пистолетов.

Он и во сне мучился — что это было с ним: явь или бред, так неопровержимо смахивающий на явь? И в забытьи болезни ему вновь и вновь явственно мнились обретшие жизнь и голос тени тех, кто жил до него в старом доме, и тем самым как бы имеющих неоспоримую власть над ним, живущим в нем сейчас, а стало быть — их наследником и душеприказчиком. И совершенно не важно, признает ли он за ними это право или нет, — оно у них есть.

Пережившая же всех своих обитателей зала в бельэтаже словно бы вживе раздвигалась и раздвигалась перед его внутренним взором, ширилась до необъятности, залегшие по углам ее немые тени уходили, казалось, за пределы обозримого бранным человеческим взором пространства, она как бы медленно и неуклонно уплывала назад, вспять, в даль, не измеряемую мимолетностью взятой в отдельности человеческой жизни. И Матвей Валерианович и впоследствии, окончательно выздоровевши, мог бы поклясться, что то был не один оптический обман, не одна абберация одичалого от долгой болезни воображения, — в зале, казалось ему, уместается вся Россия со всем отданным на поток и разграбление прошлым ее и будущим...

Тени тяжело колыхались на пронзительных сквозняках, клубились, сплетались и пожирали одна другую, ветер уныло гудел в давно остывших дымоходах, мышцы торопливо догрызали то, что еще сохранило всеядное время, стужа превращала все в ледяное надгробие.

И вместе с тем — и в том-то и заключалась загадка, недоступная пониманию Матвея Валериановича, — вместе с тем дом не умирал, напротив, как бы возвращался в естественное свое состояние, как бы вновь, вопреки всему, становился самим собою.

Дом все еще стоял посреди Москвы, в самом ее сердце, и никакими рескриптами власть преержащих нельзя было отменить его противостояние — чему? кому? в надежде на что?..

ХII

Болезнь накинута на него с новым ожесточением, и Матвей Валериановича опять сотрясал озноб, и температура держалась дальше некуда, так что и у врача, второпях и наспех навещавшего больного, и у Мани, и у всех прочих надежды на благополучный исход таяли день ото дня.

Бессильным, вялым слухом Матвей Валерианович угадывал, как колют топором внизу, в зале, Кудеяр и Оська остатки мебели и перегородок, как булькает на каминном огне бульон в казанке, висящем на скобах, приспособленных тем же, золотые руки, Кудеяром.

Не только сердобольная Маня — от нее, как от всякой женщины ничего иного и ожидать было нельзя, но и суетливый и вечно ерничавший Оська, и озлившийся в полпьяна на весь белый свет Кудеяр, и угрюмый, неразговорчивый Макарыч, день-деньской занятый колкой льда с тротуаров и крыш, — одним словом, весь экипаж неотвратно идущего ко дну корабля только и жил, что заботами о Матвее Валериановиче.

Заботами простыми, повседневными, — не дать погаснуть огню в камине, добыть денег на лекарства, достать и приготовить еду, а на это опять же нужны были деньги, — приходилось искитряться, ломать голову, ловчить.

Маня, сидя на корточках у его кровати, кормила Матвея Валериановича с ложечки бульоном и, хоть и знала, что едва ли он ее слышит, разговаривала с ним, как с маленьким, утешала, горячая жидкость стекала у него с подбородка, но он этого не чувствовал, и Маня свободной рукой утирала его несвежим полотенцем.

Потом она убирала и мыла внизу посуду, возвращалась и, если ей не надо было на дежурство в ДЭЗ, гасила свечу и вновь говорила с ним, не ожидая, что он ее поймет и ответит, рассказывала — скорее самой себе, чем Матвеем Валериановичу — о себе и своей жизни или о каких-нибудь и вовсе ничего не значащих малостях.

Но и не в одной только болезни Матвея Валериановича было дело, а в том — догадывалась Маня, — что, выхаживая его и кормя с ложечки, она о собственных бедах думала все реже и как бы вчуже. Все ее прежние мысли о неустроенности собственной жизни и полной неизвестности, что ее ждет впереди, поглотили заботы и мысли о Матвее Валериановиче и ее будущем ребенке. И, странным образом, это было для нее как бы одно — ребенок и Матвей Валерианович. Ее теперешняя жизнь как бы и состояла из двух этих ожиданий — выздоровления Матвея Валериановича и рождения ребенка. И вместе с тем, она тревожилась — не признаваясь, разумеется, в том самой себе, — что в день, когда Матвей Валерианович окончательно выздоровеет и не будет больше нуждаться в ее

уходе, она опять останется наедине с мыслями и страхами насчет собственного будущего. Тревога же за Матвея Валериановича как бы уравновешивала, как бы делала не такими страшными ее собственные тревоги.

Одним словом, Матвей Валерианович, сам того не ведая, стал частью Маниной жизни. Скажи ей кто, что это походит не на одну только жалость к больному, она бы рассмеялась ему в лицо, а то бы и грубо выматерила. Если Маня и тянулась к Матвею Валериановичу, то отнюдь не как к мужчине. Он и не был для нее мужчиной. Хотя, с другой стороны, она и не называла его в глаза «отец», а за глаза — «старик», как Кудеяр или Оьска, какой он старик! Но он не был для нее и мужиком, какими были все остальные мужчины, а их по Маниной жизни прошло-проехало — не сочтешь. Мужики все для нее были — скоты, козлы, кобели, которых она люто ненавидела, презирала, но и боялась. Но еще злее она ненавидела и презирала себя, когда, помимо воли, с гадливостью пыталась вспомнить и вычислить, кто же был тот кобель, скот, козел, от которого зачала она ребенка, бившегося уже ножками в ее живот и просившегося на волю. «Оттого и бьется, оттого и торопится, — думала про себя с тоскою Маня, — что не знает еще, какво на воле на этой, как еще не миновать ему пожалеть, что родился, никто его согласия не спрашивал, на эту поганую волю...» — и виноват в том был тот скот и козел, от вонючего семени которого завязалась у нее в животе эта ни в чем не повинная жизнь.

Матвей же Валерианович был совсем другое дело. И дом его — тесноватый мезонин над отданной на расправу времени бывшей залой — тоже был совсем другой, чем весь остальной мир. Тут Маня чувствовала себя в безопасности, как мышь в норе. И этот огонь в камине, и полуслепая свеча на столе, и скрипы и стоны рассыхающихся стропил, и даже вой ветра в дымоходах — все это мнилось ей защитой от стылых, пронизывающих сквозняков жизни, лютующей за стенами дома. И все это было связано с Матвеем Валериановичем, хотя и простой благодарностью то, что она испытывала к нему, тоже нельзя было назвать.

Но с другой стороны, что Матвей Валерианович?.. Какой от него прок, какая корысть?

Над этим она не задумывалась. Она вообще никогда и ничего не загадывала наперед — будет день, будет и пища. Даже

мысли о ребенке, который вот-вот у нее родится, были не мысли о том, как к этому подготовиться, что предпринять и о чем озаботиться, а просто — страхи. Бояться боялась, а как избежать, как превозмочь то, чего боится, — об этом она не задумывалась. И, странное дело — хотя она и самой себе в том и под пыткой не призналась бы, — все потому, что — Матвей Валерианович.

Матвей Валерианович был, и этого — поди растолкуй, пойми, отчего и с какой-то стати, — Мане было довольно.

XIII

В одну из таких ночей, когда Маня спала у него в ногах, Матвей Валерианович, проснувшись, вдруг совершенно явственно почувствовал и тут же поверил, что выздоравливает, а то, глядишь, уже и вовсе оправился. Он ощущал тепло и тяжесть Маниного тела, и неожиданно с поразительной отчетливостью понял, прямо-таки осенило его, что имя всему, что с ним происходит и что неотступно мытарит его, чему он никак не найдет объяснения и из чего не видит выхода, вовсе не холод, болезнь и безнадега, а — одиночество. Простейшее, обыкновеннейшее, если смотреть с точки зрения высоких материй, которыми мучает его бред и в которых он тонет, как мышь в сметане, человеческое одиночество, и спасение из него единственное — вот это тепло и тяжесть Мани, которые он сейчас ощущает.

Матвей Валерианович до сей поры не только не знал любви к женщине и близости с нею, но как бы испытывал некоторые пугливые сомнения насчет самого этого чувства, некоторую даже неловкость, примеряя — что с ним, впрочем, случалось крайне редко, — это недоступное ему и если уж начистоту, несколько, на его взгляд, книжное чувство, на себя. А тут он вдруг опять, как в тот памятный вечер, когда был обнаружен в стене спасительный камин, и с новой настойчивостью услышал в себе не только умозрительный долг, но и несомненное желание жениться на Мане. Он внезапно — среди ночи, весь в испарине благополучно, по всему видать, миновавшего кризиса, — яснее ясного уразумел, что выбираться из обложившего его одиночества можно не в одиночку, а только и единственно вдвоем, по крайней мере, так сподручнее и есть больше надежды на успех. Не более того — никаких мыслей

о чем либо ином, тем паче, смешно даже подумать, о любви, он не посмел себе позволить.

А вот решение жениться на Мане, вернее, даже не решение, а сама неизбежность, неотвратимость женитьбы пришла так же кротко и естественно, ни мало даже не удивив его, как принимал он все в своей жизни. Это осознанная им сейчас неизбежность была одновременно и долгом, и желанием, и мало не счастьем. Так тому и быть, — решил про себя с облегчением Матвей Валерианович, — раз уже не миновать, и очень просто и хорошо.

Но для этого надо было прежде спросить согласие самой Мани, объяснить с ней, убедить, что иначе для них обоих и быть не может. Матвей Валерианович призадумался, как бы это сделать ловчее, и в этот момент вдруг опять увидел себя как бы со стороны — в галстук, подпирающем подбородок, сидящим перед Маней в той приличествующей обстоятельствам позе, в которой обычно сидят в любовных сценах лирические тенора в опере: ноги согнуты в коленках под острым углом и чуть втянуты под кресло, на самом краешке которого покоится туловище, готовое вот-вот сорваться с него и пасть на колени перед предметом страсти. В руках Матвей Валерианович теребил батистовый платок, тем свою страсть как бы невольно выдавая...

— Я вполне отдаю себе отчет, милая Мария Трофимовна, — говорил он не без трепета в голосе и сам же при этом, как бы наблюдая себя без пощады со стороны, пошел пятнами от нелепости своей позы и неловкости слов, — я более чем отдаю себе отчет в разнице лет, разделяющей нас, и ваше «нет» приму с покорностью и смирением. Но поверьте сердцу благородного человека, чувства, которые я издавна испытываю к вам, столь почтительны и возвышенны, что никак оскорбить вас не могут, и усомниться в них у вас нет ни малейшего основания...

Маня же сидела в креслах напротив него, и язычки свечей в высоком шандале отражались в гладкой коже ее открытых по самые груди плеч, а черная бархатная мушка лишь подчеркивала выражение юного целомудрия в ее устремленных на него глазах. Гелиотропового оттенка ее платье было тоже сама скромность и невинность.

— Я стар, вы — молоды, но я вам буду другом, Мария Трофимовна, опорой и защитой, — Матвей Валерианович при-

крыл веками глаза, чтобы не слепили их ни ее молодость и красота, ни серебристый блеск невинности в ее взоре, ни бархатная мушка на щеке, от которых у него перехватывало дыхание.— До сей поры я только науками и жил, полагая в них одних спасение и счастье человечества. То есть,— испугался он слишком уж откровенного своего бахвальства,— я всего навсего перепечатывал то, что писали другие, но, знаете ли, когда печатаешь изо дня в день все одно и то же, невольно и сам проникаешься если и не мыслями этими, так хотя бы словами... Опасная вещь — слова, Мария Трофимовна, ужасно опасная, если их тебе день за днем талдычат над ухом!..— И пренебрежительно даже высокомерно отмахнулся в знак того, что все человеческие слова, розно и купно, не стоят и одной минутки, одного мгновения того, что было сейчас у него на душе.— И ведь умные же люди, Мария Трофимовна, хоть возьмите наш институт, профессора, сплошь доктора и кандидаты, цвет, можно сказать, нации, а того понять не могут, в голову им не взбредет, что счастье-то, спасенье-то совсем, совсем в другом! В том, что в тебе самом, вот тут, вот тут! — вскричал Матвей Валерианович, приложивши руку к левой стороне груди, и вдруг почувствовал ладонью не тонкое сукно фрака, а мятую, пропотевшую свою ночную рубашку, что его несколько удивило, но, представьте, не сбило с мысли.— Да я и сам только что это понял, проснулся и разом все понял: не то, не то! Все не то!.. И сразу все стало ясно, все! Да так просто, так, поверите ли, непреложно!...

— Ах!..- воскликнула Маня и прикрыла стыдливо лицо веером из страусовых перьев.— Ах!..— и в глазах ее, отражавших серебристыми искрами пламя свечи, Матвеем Валериановичу почудилось нетерпение и поощрение.— Да не тяните же вы резину, Матвей Валерианович!

Матвеем Валериановичу не оставалось ничего, как смело перескочить через это несколько, согласитесь, странное замечание Мани, а заодно и через долгие годы своего с ней счастливого брака, поскольку теперь — он и глазом моргнуть не успел — она уже сидела перед ним чуть погрузневшая и не столь юная — годы, годы, от них не скроешься! — но все равно прекрасная, в просторном, обнимавшем ее мягкими складками кашемировом домашнем платье, гладко зачесанные к ушам волосы матово отражали огонь в камине, и негромким, ровным голосом читала ему уютную французскую

книгу в потемневшей от времени коже, и Матвей Валерианович нимало не был удивлен, что преотлично все понимает, хотя сроду не знал французского, даже в школе не учил.

Маня время от времени поднимала на Матвея Валериановича темные, глубокие глаза, чтобы убедиться, слушает ли он ее, и от этих ее глаз, гладкости и блеска туго зачесанных волос и негромкого голоса на Матвея Валериановича дышало таким покоем и прочной, на века, престодушной устроенностью жизни, что он чувствовал, как наворачиваются ему на глаза непрошенные легкие слезы. «Вот это оно и есть, — думал он с облегчением и умилением про себя, — то самое, чего я до сей поры не знал и не ведал, да что там, уже было и рукой махнул — нет его, и ладно, проживу и без. А без-то и нельзя, что и за жизнь такая — без?! Никакая это не жизнь!»

Он сидел напротив Мани в глубоком кресле, и хотя трезвым краешком памяти преотлично знал и помнил, что над ним один потолок в подтеках, вымораживается подчистую его утлый, сырой мезонин, а за стенами по переулку торопятся, пряча носы в воротник, продрогшие, хмурые прохожие, и вот-вот нагрянут Кудеяр с Оськой и Макарычем и заколготят громкими голосами, заглушая и Манин французский, и треск и шипение пламени в камине, и мир на душе, и мигом, стоит только поддаться и смалодушничать, испарится, будто ее и не бывало, вся покойная, неторопливая картина его семейного счастья и все вновь привычно встанет на свои обыденные, повседневные места, — все это, однако, необъяснимым образом нимало не мешало Матвею Валериановичу быть бесстрашно-счастливым и нисколько не нарушало стройности и достоверности самой этой картины. Более даже того — как бы сообщало ей дополнительную подлинность и несомненность, подобно тому, как, просыпаясь поутру, мы не можем с полной уверенностью утверждать, что унылая, набившая оскомину и знакомая до самых мелочей утренняя явь достовернее и несомненнее недавнего сна.

Впрочем, Матвей Валерианович и не был убежден, что то, что с ним сейчас происходит, что он так явственно и отчетливо видит, слышит и осязает — турецкие шлепанцы на ногах, чубук трубки меж пальцев, не говоря уж о голосе, глазах и гладкой прическе Мани, как и самое Маню в кашемировом домашнем платье, как и собственную свою нежность и уми-

ление этой нежностью, имя которой — и в этом самое было время и место признаться самому себе — любовь, — Матвей Валерианович отнюдь не был в глубине души убежден, что все это — лишь сон. То была лишь попросту — и он мог в том клятвенно себе поклясться — другая, еще одна его жизнь, не менее реальная и несомненная, чем эта, здешняя. Он уже попривык к странностям и лишь на первый взгляд несообразностям жизни в этом доме, в этой забытой Богом — или отмеченной им — хамовнической усадьбе. А очень может быть, что то и была именно что первая, настоящая, устойчивая вопреки всему на свете, его жизнь, а та, в промерзшем мезонине, как раз и была-то ненастоящей, навязанной ему и принимаемой им на веру отнюдь не по доброй воле...

Он сомкнул веки, чтобы незаметно смахнуть ими слезы умиления, а когда открыл глаза, Маня уже проснулась, зашевелилась, потягиваясь, у него в ногах, встала, пошла к камину раздуть погасший огонь.

Тут на изнемогшего от непосильной мечтательной раздвоенности души Матвея Валериановича вновь душевной, пропахшей кислой овчиной Макарычева дворницкого тулупа навалилось огорчительное, но уже и привычное забытье. Но и укрывшись в нем, как гусеница в кокон, он продолжал чувствовать себя счастливым и неуязвимым.

XIV

Проболел Матвей Валерианович мало не всю зиму, то выныривая на время из изматывающего жара, то вновь погружаясь в него на самое дно, откуда, казалось всем, возврата уже не будет. Районная поликлиника, так и не сумев установить окончательный и недвусмысленный диагноз, махнула было уже на него рукой, но к концу зимы Маниными заботами он помаленьку пошел на поправку, а там, ко всеобщему облегчению, но и удивлению, выкарабкался-таки целехоньким и невредимым и даже стал прямо-таки на глазах нагуливать жирок на Маниных бульонах.

Февральские морозы миновали, разом пришел непривычно тароватый на тепло март, загредел оползнями льда в водосточных трубах, за городом на вербах проклюнулся первый пушок, похожий на крошечных утят, в воздухе, перешибая

бензиновую гарь, победно носились обгоняющие весну резкие, пьянящие запахи.

Матвей Валерианович окончательно оправился, его и на работу уже выписали, но он не торопился, взял вперед отпуск за год, набирал силы в мечтательном, неспешном ничегонеделании.

Впрочем, в самом его выздоровлении была и обратная, в известном смысле даже обидная сторона — Мане стало уже незачем выхаживать его, улаживать, кормить с ложечки, спать у него в ногах, и это несказанно печалило его. Теперь он вновь проводил свои дни и ночи в горестном одиночестве, Маня, да и то не каждый день, появлялась в мезонине только по вечерам, вместе со всеми прочими.

Разумеется же, Матвей Валерианович не осмелился открыться ей, объяснить, не говоря уж, упаси Бог, поведать ей о привидевшемся — привидевшемся? приснившемся? примерещившемся ли? — Матвей Валерианович и по сей час ни в чем не был уверен, так все смахивало на сущую явь!

Правда, в глазах Мани, в ее ненароком оброненных словах, особенно же в ее молчании Матвею Валериановичу вновь и вновь чудилось как бы некое ожидание, нетерпение некое и даже поощрение, понукание, но заговорить, произнести вслух роковые в смысле гипотетической перемены всей его жизни слова было выше сил Матвея Валериановича.

Всякое утро, просыпаясь с ясной и легкой головой, с бодрящим чувством, что если и не вся жизнь впереди, так уж по крайней мере сегодняшний день до самого вечера, когда он увидит Маню и пересилит сомнения и позорную нерешительность, он давал себе слово все ей сказать без обиняков, но с приходом ранних сумерек, решимость его улетучивалась, увядала вместе с закатом, вновь им овладевала робость: глупо, смешно, нелепо!..

«Опоздал я на свой поезд, — уговаривал себя Матвей Валерианович, утверждаясь насильно в тоскливых своих сомнениях, — очень я кому нужен! Молодая, ловкая, самостоятельная — на кой я ей?! Еще обижу ее ненароком. Старый, одинокий, песок сыплется, никому не нужный старик!.. — И чтобы уж и вовсе унижить, больнее уязвить себя, добавлял, грозя самому себе пальцем: — Секретарь-машинистка! Мотыка!..

Встречаясь с Маней взглядом, поспешно прятал от нее глаза и вместе с тем исподтишка, воровски искал ее глаз — что там

в них: серебристый ли давешний блеск нетерпения и поощрения, либо же одно далекое равнодушие, насмешка и недоступность?..

Однако сомнения и шарахания эти из огня да в полымя как бы заполняли жизнь Матвея Валериановича, давали ей смысл ожидания неведомо чего и делали ее почти счастливой.

Между тем ежевечерние посиделки в мезонине — да, по правде говоря, и не всякий день собирались они теперь у камина, а вразброс, от случая к случаю, — почему-то стали уже не такими безмятежно-дружескими, как раньше, но как бы натужными, словно выцвели краски и износились слова, даже водка вроде бы потеряла вкус и крепость: Оська хмуро и замкнуто думал о чем-то своем, не делясь ни намеком, черт ногу сломит, что у него копилось на душе; Кудеяр стал появляться, уже набравшись по самую завязку и, мигом переругавшись со всеми и не допев до конца даже своего куплета о двенадцати разбойниках, засыпал и храпел мощно и угрожающе; Макарыч был угрюмо и немо сосредоточен все на тех же безнадежных поисках счастливого царства, «куда Макар телят не гонял» и где он мог бы найти тихое пристанище и безгрешный покой. Одна Маня, как казалось Матвеем Валериановичу, была такая же, как и всегда — деятельная, хлопотливая, хозяйственная, хотя и в ее глазах чудились Матвеем Валериановичу растущая тревога и растерянность.

Одним словом, что-то переменялось, что-то такое носилось в воздухе, отчего на душе у Матвея Валериановича становилось неприятно. Что-то — мнилось ему, — должно было произойти, от чего-то было не увернуться, а — от чего?.. И Матвей Валерианович покорно ждал того, чего не миновать.

Первым предвестием этих ожидаемых им, но и неожиданных, из-за угла и из темноты, перемен дохнуло на него в теплый, ясный и ветренный мартовский денек, хотя, казалось бы, ничего такого и не произошло. Но, как выяснилось вскоре, чутье не обмануло его.

Матвей Валерианович, укутанный в Макарычев овчинный тулуп, сидел на ступеньках черного хода и, закрыв в беззаботной истоме глаза, подставлял совсем уже по-весеннему настойчивому солнцу лицо, на волосах его и на отросшей за время болезни бороде играли серебряные искры.

Из-за дома, ступая прямо по талым лужам, вышел Ося, не поздоровавшись, молча уселся на нижнюю ступеньку.

— Что так рано, Ося, сегодня? — спросил его без особого интереса Матвей Валерианович. — А я вот совсем разомлел на солнышке. Да и грешно в такой-то день сидеть в доме, тем более Кудеяр протопить не успел, а Маня на дежурстве, там холодина стоит, как в пещере...

Ося не ответил, даже не повернулся, выставив Матвею Валериановичу одну свою сутулую спину.

— Я с вами после болезни-то ни разу толком и не поговорил, — сказал тем не менее соскучившийся по людям Матвей Валерианович, — как вы, что вы...

Ося ответил только много погодя, все не оборачиваясь, куда-то в пространство:

— Тошно...

На что Матвей Валерианович подумал, что в такой-то сияющий день тошно может быть только тому, кто и впрямь угодил в беду.

И, вдруг повернувшись к нему так резко, что Матвей Валерианович услышал, как хрустнула у него шея, Ося спросил в упор и с какой-то недоброй усмешкой:

— А вот зачем я в алкаши подался, не интересуешься, отец?

— Не понял?.. — удивился Матвей Валерианович.

— А чтоб не высовываться, — кратко пояснил Ося.

На это Матвею Валериановичу сказать было нечего, да и неясно было, куда Ося гнет.

— Чтоб — как все, чтоб за своего держали... — упрямо, словно убеждая в чем-то самого себя, проговорил Ося. Тут его будто прорвало, и он заторопился, захлебываясь: — Я только человеком-то и делаюсь, если нажрусь на троих до потери пульса, грамм в грамм...

— Ну это вы прямо, — не нашелся Матвей Валерианович, — в огороде бузина, в Киеве дядька!

— И дядька был в Киеве, угадал, отец, жидяра, — криво умехнулся Ося, верхняя губа ушла куда-то вбок, влево. — Только вовремя догадался смотать удочки... — И повторил то, с чего и начал: — тошно, аж... — Умолк, снова отвернувшись от Матвея Валериановича, и только много погодя сказал так, словно не к нему обращаясь, а к кому-то еще, кто незримо был при их разговоре третьим: — А алкаш, он алкаш и есть, поди отличи — кто-кто. Равноправие, все на одно рыло. Хотя врач один мне когда еще сказал: алкоголь для тебя, Оська,

смерть, печень — одно название. — И опять криво усмехнулся, оборотясь к Матвею Валериановичу. — Алкаш — это звучит гордо, со школы запомнил. Алкаш там или Челкаш, без разницы, сто лет прошло. — И снова заторопился, брызгая слюною: — Не то слово — тошно! Жизнь — через пень-колоду! Была, а вроде ее и не было! Вспомнить что путное, небидное — все равно, что воду решетом черпать! Профукал ее!

— Но ведь могли же вы, Ося, — не очень уверенно возразил Матвей Валерианович, — прожить ее как-то иначе, согласитесь, никто не неволил... Стать, например, врачом, как ваш отец, сами мне рассказывали, а то, чем черт не шутит, профессором, вы что думаете, у нас, скажем, в институте все семи пядей во лбу? Семью завели бы, детишек...

— Ты еще скажи, отец, — зло оборвал его на полуслове Ося, — кенаря в клетке!.. — И вновь пожалел себя: — Полтинник еще не разменял, а жизнь — корова языком слизала! Меченый я, вот что. Навечно! Мне всего и надо-то — коптить небо, как все другие, наравне. Ни грамма больше! А мне — шаг влево, шаг вправо, считается побег. А бежать — куда? Нет, ты скажи, отец, куда?!

Как ни хотел Матвей Валерианович утешить Осю, сказать что-нибудь от души, слов таких, как на беду, не находил. Только и подумалось про себя самого: а его ли жизнь не профукана, ищи-свищи ее?..

— А тут еще дядька этот самый, киевский, материн родной брат, зовет к себе, письма шлет, фотографии цветные, хоть он меня разве что с соской во рту запомнил...

— Это куда же? — не сообразил Матвей Валерианович.

— Куда Макар телят не гонял, — ответил Ося Макарычевой присказкой и заключил, как бабки печальные подбил: — Я и пить-то стал через раз, в горло не лезет...

Может быть, Матвей Валерианович, подумавши, и нашелся бы, как помочь Осе, как объяснить ему, что не один он в этой жизни изгой изгоем, стоит оглядеться вокруг, да не успел — перед ними как из-под земли вырос Кудеяр. Был он до крайности пьян и доволен собою, а из кармана его ватника выглядывала серебряная «бескозырка» непочатой бутылки, и его прямо-таки распирало предвкушение собственной широты и щедрости — разделить удачу с друзьями.

— Откуда?! — поразился Оська — хоть и в тоске, а бутылку-таки углядел.

— От верблюда, — отрубил Кудеяр. — От населения, народ меня уважает.

— Ври больше! — не поверил Оська. — Скажи — плохо лежала.

— Но-но! — оскорбился Кудеяр. — Сапогом в душу — не обожаю!

— Затосковал он, — вмешался Матвей Валерианович. — Черные мысли одолели.

— С жиру бесится, вот что, — отмахнулся Кудеяр и чуть было не потерял равновесие, но устоял на ногах. — Говна-пи-рога!

— Его нехорошо обозвали, — неожиданно догадался Матвей Валерианович и тут же, будто сам произнес мерзкое слово, виновато поглядел в Осину спину.

— Жидом, что ли?.. Делов-то! — оборвал его Кудеяр. — Меня, можно подумать, всяко не обзывали! Так еще обзывали, что... Да вас развелось пруд пруди! Вашему брату хуже всех, как же! Вот это, обижайся, не обижайся, самое-то поганое в вас и есть. Вам рай на блюдечке подавай за страдания ваши еврейские. А в живую очередь — не хочешь?! Умные больно, вот что я тебе скажу!

— Ну, что ты так, Кудеяр! — всполошился Матвей Валерианович. — За что ты его?..

— А меня — за что?.. — зашелся криком Кудеяр. — И все по темечку, по темечку! Отец смертным боем бил, ночью на мороз выгонял с матерью — за что? В тюрьгу — за что? За то что с пацанами в табачный ларек забрались, на столик всего и взяли-то, а меня — на семь лет да еще за сто первый километр, в Москву ни ногой, «лимитой» в родном городе припечатали! Нет, ты скажи, за что?! На похороны матери и то не пустили!.. — Отдышался, длинно выматерился и добавил неожиданно трезво и печально: — Поровну, так поровну...

И не столько от крика надсадного, сколько вот от этой неожиданной трезвой его печали стало Матвею Валериановичу так сиро и грустно на душе, так Кудеяра, и всех, и самого себя жаль, что хоть в голос плачь.

Сунув сжатые от гнева кулаки в карманы, Кудеяр наткнулся в одном из них на бутылку и тут же вспомнил о главном. И гнева его как не бывало, один хмель:

— Прямо сейчас ее кончать будем, или вечером? Меня заявка еще с позавчерашнего дожидается, хорошо, вспом-

нил..— Поскольку никто ему не ответил, он обиженно сунул бутылку обратно в карман, заторопился и стал опять мертвецки пьян.— Пока с вами зря лясы точу, жалоб настрочат — всю зиму, Валерьяныч, твою печку топить хватит! — И только его и видели.

Погодя Ося тоже поднялся со ступеньки и, сутуля больше обычного круглую свою спину грузчика, ушел не оглядываясь.

Матвея же Валериановича не радовали уже ни весеннее солнце, ни ясное, без облачка небо.

XV

А Манин живот меж тем все рос и рос, разбухал не по дням, а по часам и уже не вмещался ни в одну юбку, и сроки приближались.

Мальчишечка — а Маня несколько не сомневалась, что родится непременно мальчик, о девочке она и думать не хотела, страшно было даже помыслить об этом, уже она-то знала, на себе испытала, что такое женская доля, не дай-то Бог, родится девчонка, что жизнь ей посулит и уготовит?! — мальчишечка уже больно стучался ножками, особенно по ночам, и тогда Маня с ним разговаривала вслух.

Она и уснуть-то не могла, пока не засучит ножками мальчишечка у нее внутри и она не наговорится с ним всласть. Засыпала лишь под утро — спокойная, умиротворенная, и кроме как о нем, о мальчишке, — никаких ни мыслей, ни снов. Не говоря уж — о Матвее Валериановиче.

Если раньше мысли и тревоги о ребенке, который завязывался и зрел в ней, и тревоги и заботы о больном Матвее Валериановиче были для нее как бы одно, как бы уравнивали и утишали друг друга, то теперь, по мере того, как мальчишечка все чаще напоминал о себе, Матвей Валерианович все больше отодвигался в тень, блекнул и растворялся в ее любви и тревогах о ребенке, который вот-вот, осталось ждать самую малость, станет для нее всем, и ни для чего другого и вовсе уже места не будет.

Но все же — хотя она, конечно же, не только не думала об этом, но даже и не подозревала, — именно месяцы, когда она денно и ночью выхаживала Матвея Валериановича, научили ее главному, самому сейчас насущному: заботе о другом. Собственно, не кто иной, как Матвей Валерианович и

пробудил в ней бескорыстие, щедрость и преданность материнства.

При этом она, тоже помимо воли и не строя никаких трезвых, от головы, планов, вовсе не сбрасывала Матвея Валериановича со счетов, задумывалась, как она будет управляться с ребенком. Ну, например: родит, выпишут ее из декретного, пойдет на работу, кто в ее вечерние и дневные смены на диспетчерском пульте будет сидеть с ним? Матвей Валерианович, больше некому, неужели она доверит ребеночка Кудеяру или Макарычу! А на Матвея Валериановича можно положиться, объяснишь ему, что и как, он все поймет и сделает, как надо, нет вопросов. Или, скажем, послать его в детскую кухню за питанием, перехватить у него десятку-другую, постоять, надо будет, в очереди, мало ли что. Не говоря уж — поговорить по душам, посоветоваться, пожаловаться, сбросить ношу с сердца — лучше Матвея Валериановича, хоть днем с огнем ищи, не найдешь, спасибо, что он тут, рядом.

И хотя эти мысли — не мысли даже, а так, догадки впрок, что никто, кроме Матвея Валериановича не поможет и не утешит, — должны были привести к, казалось бы, само собою напрашивающемуся, много ума не надо, выводу, что он-то и мог бы быть ей именно что верной опорой и каменной стеной, за которой не так страшно, не так опасно жить, — вывод этот на ум ей никогда не приходил. То есть приходил, конечно, но как некая зыбкость, без цвета и запаха утешительная туманность, а не как шаг, на который она могла бы, сложись обстоятельства, решиться. На такое у Мани ни расчета, ни корысти за душу не было.

XVI

Недели через три весна в Москве разгулялась уже вовсю, омертвелые, казалось, навеки липы в бывшем парке дерзко зазеленели, из-под зимнего мусора и влажных, словно бы лайковых, прошлогодних листьев полезла с превеликим любопытством на свет Божий трава, ночами в небе, не проливаясь дождем, погромыхивал шалый гром.

Матвей Валерианович, вернувшись с работы, присел на шаткие ступени черного хода и глядел, как Макарыч сгребает метлою в кучу гнилые листья. От листьев шибал в нос спиртовой, как из винного погреба, резкий запах, и от этого за-

паха, как и от травы, выпрастывающейся из-под разбухшей после недавних снегов земли, хотелось улыбаться без мыслей и тревог.

— Мальчишкой был,— вспомнил Матвей Валерианович, не слишком заботясь, слышит ли его Макарыч,— любил, когда на бульварах жгут листья, запах еще такой сладковатый...

— Подсохнут на солнце,— отозвался безразлично Макарыч,— сожгу.

— Сто лет прошло...

— Памятливый...

— Еще войну помню... В войну это и было...

Макарыч ответил не сразу, и по тому, как метла в его руках шибче заскребла по оттаявшей и успевшей подсохнуть земле, было ясно, что слова Матвея Валериановича задели его за живое.

— Война... С нее-то хоть — или живой, или мертвый...

— Каждому свое,— опять согласился Матвей Валерианович.

— Это на лагерях немецких было написано,— разговорился вдруг Макарыч,— «каждому свое». Понимай, как хочешь. А по-нашему будет — поминай, как звали.

— Хорошо,— заметил Матвей Валерианович,— хоть вернулся живым,

— Живым?! — неожиданно обернулся к нему всем телом Макарыч и, перестав грести метлой, оперся на нее подбородком, уставился в Матвея Валериановича тяжелыми глазами, утонувшими в сине-лиловых подглазьях.— Уверен, Валерьяныч?..

— Ну, невредимым...— смешался от этого его взгляда Матвей Валерианович, не уловив полнейшей несуразицы своих слов.

— А это не одно и то же! — оборвал его резко Макарыч.— Невредимым оттуда, худо-бедно, еще можно воротиться, но — живым... Если ты, конечно, не про руки-ноги ... Вот потеплеет хорошенько, уеду я от вас,— добавил он вдруг.— Там-то и воскресну, куда я денусь.

— В каком же это смысле? — поддержал Матвей Валерианович разговор, который Макарыч не впервой с ним заводил.

— А в том самом,— кратко пояснил тот.— Как все воскресают, очень даже просто... В зверосовхоз надумал,— помедлив, открыл он свою тайну,— уже сговорился, ждут. Одни

зверюшки, твари бессловесные вокруг, лисички чернубрые, песцы, выдры разные, мало ли кто еще... Лес — за тыщу лет не исходишь. Ты себе, Мотя, и вообразить не можешь, как подумаю про это про все, так... так... — подобрал наконец нужное слово: — так — опять живой... — Вновь помрачнел: — Зря выболтал, все одно вам этого не понять никому.

— Хорошо тебе там будет, Макарыч! — искренне порадовался за него Матвей Валерианович.

— Хорошо там, где нас нет, — отрезал Макарыч. И добавил с удивлением, словно сделал неожиданное открытие: — Только мы — везде, вот в чем беда-то...

И пошел в сарай за новой метлой. И — как в воду канул, пропал.

А Матвею Валериановичу пришла на ум давняя, только вот додумать ее до конца, без пут, как-то все недосуг было, мысль: есть же где-то, не может не быть, кроме повседневной нашей земной юдоли, которая, как учили его в университете, — правда, слава Богу, недолго — дается нам в одних грубых ощущениях, в грубой вещной действительности, — не может не быть и чего-то другого, о чем и он, и все успели позабыть, но признавали не нам чета мудрецы и провидцы... И, может быть, он даже додумал бы свою мысль до конца, до полного озарения истиной, если бы не вспомнил опять о Мане и не опустил на грешную землю.

Матвея Валериановича все это последнее время не оставляло беспокойство, не проговорился ли он и на самом деле той ночью, не услышала ли Маня его признаний. И вообще — смешно: он — и Маня!

И еще мучила неизвестность — очередное ли наваждение то было или нечно иное?.. Впрочем, — приходило ему на ум, — где она, разделительная четкая черта между былью и воображением, меж явью и вымыслом? Укажите, сделайте милость, такого человека, который бы не напридумал про самого себя, притом совершенно бескорыстно, безо всякой видимой пользы, не наплел бы самому себе такое, что потом ему же будет казаться явнее яви, живее и достовернее того, что было с ним на самом деле! Который бы не верил в игру собственного воображения, в эту сотворенную им самим действительность так же свято и непререкаемо, как ребенок — в Красную шапочку! Да если и обнаружится такой человек, то он достоин

одной лишь жалости и сострадания, и никому, по чести говоря, интересен быть не может...

О том, чтоб открыться Мане, Матвей Валерианович уже и мысли допустить не мог, он бы лучше вырвал себе язык. Но в воображении он все же прикидывал про себя, как можно переставить в мезонине мебель и что надо бы из нее прикупить, чтобы можно было с какими-никакими удобствами расположиться втроем: он, Маня и ее будущий ребенок, пока Моссовет не даст ему новую квартиру. Пока добиться бы только, чтобы включили свет и отопление, и на том спасибо, потому что без отопления ребеночек может и простуду какую-нибудь, не приведи Бог, подхватить.

О неродившемся еще Манином ребенке Матвей Валерианович думал не меньше и не реже, чем о самой Мане. Честно говоря, на нем-то, на ребенке, и строил Матвей Валерианович весь свой корыстный — он не мог не признаться в этом самому себе — расчет: куда Маня денется с ним, как одна, без его, Матвея Валериановича, помощи обойдется, как прокормит, воспитает?.. В мыслях и мечтах своих Матвею Валериановичу было проще и легче видеть себя отцом ребенка, нежели мужем Мани. Отцом он ему будет хорошим, в этом Матвей Валерианович ничуть не сомневался. Пусть он уже не может, опоздал быть мужем, но отцом — отчего же?! И ни разу перед ним не возникал вопрос — кто настоящий отец? Он так свыкся про себя с мыслью о своем будущем отцовстве, что стал о себе думать, как о настоящем отце. Пусть он и не имеет в этом смысле никакого касательства к ребенку — это для него не имело никакого значения. И, проходя в мезонине мимо окна, он всякий раз брал себе на заметку: детскую кроватку придется поставить подальше — дует.

Он стал брать больше «левой» работы, засиживался в своем машбюро до позднего вечера и очень радовался, что постраничное его вознаграждение день ото дня растет и растет, и даже завел первую в жизни сберегательную книжку, на которую стал откладывать «левые» эти деньги на покупку всего, что вскоре понадобится младенцу, а возвращаясь с работы, стал заглядывать в Детский мир и прицениваться к коляске, пеленкам и ползункам, чтобы рождение ребенка не застало его врасплох. Правда, к великой его растерянности, цены на все — не в магазине, разумеется, а рядом, на улице, где и происходила бойкая торговля всем, что было потребно мла-

денцу, — становились такие, что нынешних его сбережений ни на что не хватало. Но Матвей Валерианович не унывал — в надежде, что одновременно с ценами будет расти и гонорар за каждую отпечатанную на «Эрике» страницу, хотя паритета тут, отдавал он себе печальный отчет, едва ли можно было ожидать...

XVII

Оська открылся Матвеем Валериановичу и Кудеяру только накануне, поздним вечером, самолет улетал на рассвете, так что они и проститься-то по-людски не успели.

Поначалу Матвей Валерианович не то что не в состоянии был уразуметь, о чем толкует Оська, но и сама мысль эта не умещалась в голове: Оська — и уезжает!.. И — куда?! В страну, которая была для Матвея Валериановича не столько географической реальностью на перекрестке каких-то там долгот и широт, а лишь предметом долголетней брани по телевизору, навязшей в зубах, как ежедневные и никогда не сбывающиеся предсказания погоды на завтра.

— Ты охренел, Оська! — только и мог выжать из себя Кудеяр, когда первейший в незадавшейся его жизни друг объявил о своем решении и, сверх того, что лететь ему уже завтра. Больнее всего Кудеяру был не самый отъезд, а то, что Оська ни словом с ним загодя не поделился, не посоветовался, застиг его врасплох, что хватило у него подлючего хитрованства таить про себя то, о чем узнай Кудеяр вовремя, никогда бы ему и помыслить не позволил. — Нет, ты на хрен охренел, Оська, мать твою в свиное рыло! Да знал бы я, врезал, ты и думать бы забыл!

— Что ж, врежь, — покорно согласился Оська.

— А вот и врежу! — не находил других аргументов Кудеяр.

А Матвей Валерианович, слушая их перепалку, затосковал, и в тоске не только не находил в себе нужных слов, которые надо бы в этих обстоятельствах сказать Осе, но и не мог взять в толк: что же это, скажите на милость, делается в мире — был Макарыч, и нет его, а теперь вот и Оська...

Стояла теплая, звездная ночь поздней весны, полная луна зависла низко в небе, они сидели на крыльце и печально раскивали — тризна, подумалось Матвеем Валериановичу, — принесенные Оськой две прощальные бутылки, и хотя до са-

молета оставалось всего-ничего, торопиться — куда?.. И водка тоже была не в радость, а в горечь.

— Я и сам очухаться не могу, — признался Оська, — будто то не я, а кто-то другой...

— Вот то-то и оно, — говорил чуть уже захмелевший Матвей Валерианович, — это кому же удавалось доплыть до одного берега, не отплыв от другого?.. А вы, Ося, на этом берегу прописаны, можно сказать, бессрочно, и не в паспорте эта печать, а... Просто не ведаете, что творите! — и подумал не про одного Оську, но и про себя, про всех: чистая это правда — не ведаем, что творим.

— Чего ты там потерял в Израиле-то, мать его в синагогу?! — горячился Кудеяр. — Мало тебе евреев в Москве?

— Да видал я их в гробу, что мне до них, Гришка! — отмахнулся Ося, не заметив и сам, что назвал друга старым его, давно позабытым ими обоими именем, на которое тот откликался в бесследно канувшем их детстве во дворе дома в Языковском переулке, в двух шагах отсюда, где теперь — ни дома, ни двора, все застроено каменными спичечными коробками.

Но Кудеяр то ли не расслышал, то ли не пожелал откликаться на прежнее свое имя. Оська вытащил из мятой пачки сигарету, сунул в рот не тем концом, прикурил, задохнулся от бумжного дыма.

— Вот! — нашел Кудеяр неопровержимое доказательство полной Оськиной недееспособности. — Прикурить не умеешь, а туда же, в Израиль!

— А я там курить брошу, — нашелся Оська.

— Тогда уж — и пить заодно, — нацелился в самое больное место Кудеяр.

— И пить, — не стал спорить Осьма, — вы тут, я там, с кем же?..

— Ну ты даешь! — возмутился до глубины души Кудеяр, — Кашпировского насмотрелся, точно! Говорил, продай телик, до добра не доведет!

— А ведь уезжаете, Ося, с долгами не расплатившись... — выпитая водка настроила Мавея Валериановича на философский лад, и печаль его, хоть и совершенно искренняя, была какая-то отстраненная, словно он видел и слышал Осю, и Кудеяра, и себя самого с некоего птичьего полета. — А долги не миновать платить...

— Это кому же?! — удивился Оська.

— А хоть мне,— вспомнил Кудеяр,— третьего дня трешку брал, забыл?

Оська полез было в карман нашарить последнюю захватанную бумажку, но завершение мысли Матвея Валериановича так его поразило, что он позабыл о долге.

— Кому?..— задумался Матвей Валерианович и, напомним о своем давнишнем, на крыльце под конец зимы, разговоре с Осей, досказал с глубокой убежденностью: — А хоть девушке, на которой так и не женились, Ося, детям, которые у вас так и не родились, больным, которых вылечили бы, стань вы врачом, как отец...

Они сидели на шатких, прогнивших ступенях, лунные лужицы и изломанные тени еще не до конца оперившихся ветвей лип колыхались у их ног, и казалось, что то ходуном ходит сама земля.

Водка вся была выпита, пустые бутылки отбрасывали лунные зайчики, Матвей Валерианович давно молчал, и было похоже, что он дремлет.

— Может, оно и вправду — конец света?..— задал неизвестно кому вопрос Кудеяр.

— Вообще-то похоже...— согласился Оська. Поглядел на начинающее светлеть на востоке небо, всполошился.— Времени-то сколько?

— Я свои серебряные не захватил,— невесело сострил Кудеяр.

— А мои встали,— посетовал Оська, снял с руки часы, отдал Кудеяру.— На. На память. А так ходят замечательно. Снеси в мастерскую, часы стоящие.

— А ты как же?

— Так все равно разница во времени, небось, часа четыре. Зачем мне?

Они поднялись со ступенек, и Ося поглядел на задремавшего Матвея Валериановича, не решаясь — то ли будить его, то ли уехать так, не попрощавшись.

Но Матвей Валерианович открыл, словно вовсе и не задремывал, глаза, встал на ноги, хотел было обнять Осю на прощание, но раздумал.— Я вас провожу.

Небо над переулком уже нежно зазеленело, они пошли втроем к Пироговке, молчали.

— На «тачке» поедем,— неожиданно решил Кудеяр,— угощаю напоследок.

— Так это ж три поллитра, не меньше! — не поверил неожиданной Кудеяровой щедрости Оська.

— А ты же пить бросил,— и уж на этот довод Оське возразить было нечего.

Такси на проспекте им попало тут же, словно их-то и дожидалось, но, потянув на себя дверку, Кудеяр задал совсем другой вопрос, чем за секунду до того намеревался: — Бутылка, шеф, найдется?

— Зачем?..— не слишком твердо запротестовал Оська, а таксист оглядел их с головы до пят и ответил неопределенно, но и не лишая окончательно надежды:

— По себестоимости с двух до семи, в порядке живой очереди.

— Об чем разговор! — не стал сквалыжничать Кудеяр, и Оська с Матвеем Валериановичем глазом моргнуть не успели, как оказались на скамейке в скверике у Первой градской, под негустой еще сенью распускающегося тополя, а меж ними — целехонькая, в серебрянной «бескозырке», прозрачная, как совесть младенца, бутылка.

— Опоздаю,— сделал было последнюю попытку начать новую жизнь с нуля Оська, но у Кудеяра на все был сегодня ответ:

— Спешить — людей смешить. Ты много слышал, чтоб Аэрофлот летал по расписанию?

И на это возразить Оське тоже было нечего, к тому же душа его по привычке сладко вздрогнула при виде, может быть, последней в жизни, будто высеченной из чистейшего горного хрусталя бутылки.

— Вот только дядька ждет,— вспомнил он, срывая «бескозырку» и оцарапав при этом до крови палец.

— Ждать да догонять — последнее дело,— посочувствовал дядьке Кудеяр и вытащил из кармана недоодеженный на крыльце, слежавшийся в теплый ком плавленый сырок.— За дядьку, сволочь эту твою сионистскую, мать его вдоль и поперек, и выпьем, чтоб ему подавиться.

Они выпили по очереди из горлышка бутылки, Оська, хлебнув, слизнул кровь, сочившуюся из пораненного пальца.

— Закусываешь? — покосился на него без насмешки Кудеяр.— Приехали, собственной кровушкой закусываем, мать его туда и обратно!

Матвей же Валерианович, осоловев и окончательно сникши от последнего и, видать, излишнего глотка, на этот раз и взаправду уснул и проспал легким и ясным сном на скамейке в скверике, пока настойчивый луч полуденного солнца не пробился сквозь тополиную листву и не разбудил его.

Так и не узнав — ему этого было теперь уже не узнать никогда, — как добрались до Шереметьева Ося с Кудеяром и поспели ли к самолету, Матвей Валерианович вернулся домой, весь в растревоженных невеселых мыслях.

Он не сразу поднялся к себе в мезонин, а, впервые после своей болезни, преодолевая давешний привычный страх, сначала пошел в залу.

Зала была такая же просторная и вальяжная, что и в те прошлые разы, когда Матвей Валерианович — въевъ ли, в воображении ли — прозревал в ней то, что обыденному взгляду недоступно. И опять померещилось ему прежнее — разве что блеску поубавилось, не горели жарко и празднично люстры, окна были плотно зашторены, и лишь усталый огонь в каминах да скудные свечи рассеивали печальный, наперекор солнечному полудню снаружи, сумрак... Тут Матвей Валерианович уловил чутким от тревоги слухом едва слышимый треск с потолка, поднял голову — оттуда сыпалась алебастровая пыль, и по потолку, из угла в угол, пошла неторопливой змеей, минуя розетки и амуров лепнины, трещина, навстречу ей другая, третья. Пыль не сразу оседала, долго стояла в воздухе, и казалось, что залу заполняет до краев белесый туман...

Матвей Валерианович стоял один-одинешенек посреди бельэтажа, туман все не рассеивался, и, сквозь него, прямо на его глазах как бы вершило свой ход неумолимое время — Матвей Валерианович как бы слышал его ничем не отменяемую поступь, видел бесстрастную, разрушительную его работу: потолок бороздили молниеобразные, хоть и немые глубокие трещины, сходясь и расходясь в перекрестьях, обесцвечивались и вспучивались гнилыми пузырями обои, затуманивались венецианские зеркала и облезала с их испода шелушащейся кожей амальгама, вместо сосновых и березовых поленьев в камине догорал напоследок пахнувший кисло и чадно каменный уголь, бархат, парча, атлас и шелк платьев и мундиров на портретах сменялись затрапезным сукном и тиком сюртуков, рединготов и пиджаков, оббивался прямо на

глазах лак столов и козеток, истлевали и расползались ковры и шпалеры, без причины стонали пружины кресел...

Дом ветшал, дряхлел, клонился устало и покорно долу, краски тускнели, увядали, запахи грубели и надсадно хрипели удушенные звуки. Свечи оплывали, и некому было снять серебрянными щипцами с них нагар, некому было раздвинуть шторы и впустить в залу дневной свет, некому было остричь кусты в парке и обрезать липы и вязы, ржаво скрипел флюгер на коньке крыши и ни на что уже не указывал, исписанные во время оно мелкими ломберные столы напрасно ждали игроков и веселого звона золотых имперялов, и ничьей шпоре уже было не звякнуть в бравой мазурке, ничьему атласному башмачку развязаться с тем, чтобы гусар какой-нибудь или конногвардеец, встав прилюдно на колени, завязал шелковые ленточки, ничьему уже шепоту не дано было быть услышанну меж двух фигур контрданса, ничей чубук не уронит на пол — дуб, бук, орех — рубиновый уголек, ничье сердце не вздрогнет в сладкой истоме, не разорвется от любви и счастья...

И, как и в те приснопамятные вещице свои посещения залы, ничего Матвею Валериановичу не оставалось, как улизнуть, укрыться в сон, подобно раку отшельнику — в чужую раковину.

XVIII

Кудеяр же с Оськой просидели на скамейке, пока не усидели бутылку, не будя Матвея Валериановича и даже про себя радуясь, что он на свою долю претендовать не в состоянии, никуда не торопясь и словно обо всем на свете забыв, изредка перемолвливаясь ничего не значащими и ничего уже не могущими переменить словами, ни к чему это было теперь, если уж они за всю свою долгую и, на поверку, такую короткую, оглянуться не успели, жизнь так и не удосужились сказать друг другу те самые главные, нужные слова.

В Шереметьеве на них обрушилась сумасшедшая суета двунадесятиязычного, на перефлутях дорог и судеб, Вавилона, до отлета Оськиного самолета оставались считанные минуты, он кинулся к турникету таможенного контроля, едва держась на ногах и не в состоянии вспомнить и объяснить, на какой рейс ему нужно, его не пускали, он сцепился с таможенниками, те махнули, в конце концов, на него рукой и пропу-

стили, и он пошел, растворяясь в толпе отъезжающих, не обращившись, сгорбленный, как побитая собака — именно так подумал о нем, глотая бесполезные слезы, Кудеяр — к кабинетам паспортного контроля и, прежде чем перешагнуть роковую черту, откуда возврата нет, обернулся, и они с Кудеяром долго, целую вечность, смотрели друг на друга, но уже было поздно, не сказать и не услышать тех последних, истовых слов, без которых прощание — грех.

Кудеяр кинулся, нечленораздельно матерясь и расталкивая локтями потных, очумелых пассажиров, так безобразно и нагло ведя себя на виду у иностранной публики, что тут же мигом набежали менты, взяли его в железные свои объятия, двинули разок-другой поддых, и в тот самый миг, когда Оськин самолет взлетел навстречу заре на обетованную, но и чужую, не по зубам ему землю, за Кудеяром щелкнули, замкнувшись, двери милицейского «воронка».

— Козлы, мать вашу в кобуру и обойму! — орал надорвавшимся голосом Кудеяр, тщетно пытаясь угадать сквозь решетку недоступный уже Оськин самолет в нежно голубеющем небе. — Жидоморы вонючие!

Потом свалился, вконец обессилив, на железный пол «воронка» и тут же уснул непробудным сном, перекатываясь бесчувственным бревном на рытвинах и ухабах.

И больше никто и никогда не видал ни его, ни, естественно, Оську в Хамовниках, как и Макарыча, которого еще с ранней весны и след простыл.

XIX

Маня почувствовала первые схватки во время дежурства, и поняла: вот оно, началось. Никого, кроме дежурного слесаря в конторе уже не было, и она испугалась не столько тупой, раздирающей нутро боли, сколько того, что помощи ждать не от кого. Преодолевая боль, страх и слабость, она побежала к Матвею Валериановичу, хотя он-то чем мог ей помочь?

Он и растерялся со сна еще больше, чем она, засуетился, не зная, что в таких случаях надо делать, так что Мане же еще и пришлось его успокаивать.

Они остановили попутную машину, и Матвей Валерианович отвез Маню на Арбат, в родильный дом Грауэрмана, в

котором некогда, шесть с лишком десятков лет назад, родился и сам.

По пути Маня не жаловалась на боль, старалась не стонать, чтобы и вовсе не перепугать до смерти Матвея Валериановича, и только когда машину встряхивало на ухабах, тихонько вскрикивала.

В приемном покое она терпеливо ждала, пока найдется свободная койка в палате. Матвей же Валерианович молчал, теряясь, о чем говорят и как утешают в подобных обстоятельствах.

Ждать пришлось долго, дежурная сестра все не шла, и Матвей Валерианович корил себя за свою беспомощность и маялся необъяснимой какой-то своей виною перед Маней.

— Ничего, Манечка,— приговаривал он время от времени,— ничего, ничего, вот увидите...

— Я знаю,— пыталась она улыбаться,— ты сам-то, Матвей Валерианович, не бойся, не я первая рожать собралась.

И опять замолкали в ожидании сестры.

— Я знаю...— повторила она, прерывая молчание,— и ребеночек непременно родится крепенький, вон как стучится ножками, нейметса ему, хулигану...

— Да,— поддержал ее Матвей Валерианович, догадываясь, чего она больше всего сейчас страшится,— озорник будет, задаст он нам перцу...

— Нам?...— она быстро взглянула на него и снова уставилась на дверь, откуда должна была выйти медсестра.— Это все на мне — мой грех, мой и ответ...

— Какой на вас грех, Маня?!. На матери греха не бывает.— И даже осмелился, взял ее за руку, рука была грубой, шершавой, липкой от пота. «Если не сейчас,— подумал он и сам испугался своей дерзости,— то когда же?!.» — И решился, прямо как с обрыва вниз головой: — Я что хочу сказать, давно собирался, да вот все...

Но она его не слышала.

— Бабка, живая была, все учила: побойся Бога, побойся Бога. А чего его бояться? С иконы не сойдет, с неба не спустится. Вот жизни — боязно! Так боязно, что..— И сжала его руку своей.— Страх глаза застит! Какой там еще Бог... Но он-то в чем виноватый, верно? — взяла его руку, приложила к своему вздувшемуся живым колоколом животу, ему и правда послышалось ладонью, как там, в темноте и тайне, бьется

чья-то жизнь, кто-то оттуда зовет — не дозвется. — Его-то за что? Его-то не имеет права виноватить! — и все прижимала с силой ладонь Матвея Валериановича к своему животу. — По справедливости это будет, по-божески?!.

— Вот родится он у вас благополучненько, — вставил-таки слово вовсе не о том, о чем намеревался Матвей Валерианович, — вернемся домой, все пойдет по-другому, я обо всем хорошенько подумал...

— Нет! — решительно отказалась она. — Я его в деревню увезу, куда подальше. Молоко парное, чистый воздух, речка непременно, лесок, малину собирать... Ночи не спала — придумала! Верно?

И Матвею Валериановичу ничего не оставалось, как, скрепя сердце, распрощаться со своими мечтаниями. Спросить, упрощить: «А я как же? А мне одному куда?..» — опоздал уже, видно, раз она все так твердо и верно уже решила. До него ли ей, у нее-то теперь другая бессонная забота будет...

Вышла сестра, увела Маню с собою. Уходя, Маня на пороге улыбнулась ему напоследок просительной и жалкой улыбкой.

Сестра на ходу спросила Матвея Валериановича:

— Ждать будешь?

— Буду... — смутился Матвей Валерианович, он не знал, как в таких случаях надо поступать.

— Отец? — словно бы уличила его в чем-то сестра, но ответа ждать не стала, ушла, прикрыв за собою дверь.

Он остался один в приемном покое и стал размышлять о Мане, о том, как она управится одна с ребенком в деревне, где никаких удобств и одни чужие люди вокруг, но и утешаясь невеселой мыслью, что и в мезонине много ли удобней, да и он Мане — не чужой ли?..

И гнал от себя постыдную, корыстную жалость к самому себе.

Прислушиваясь к громким крикам и стонам рожениц на верхнем этаже, он пытался узнать среди их голосов голос Мани, но не мог, и ему казалось, что всеми этими голосами кричит в муках родов Маня. С каждым воплем, с каждым стоном, доносившимся до него, ему становилось все страшнее и боязнее за нее, и росло чувство своей вины перед нею и ее рождающимся ребенком. Будто он один был виноват в том, что человек в таких нечеловеческих муках приходит на свет и в муках же уходит из мира. И еще — вопросом без ответа: зачем? В чем смысл? Что там — до рождения и после смерти?..

Раза два наведывалась в приемный покой дежурная сестра, уговаривала:

— Шел бы ты отсюда, это не скоро кончится. Это ваша мужская работа — уделать ребенка, раз-раз и готово, а бабье дело долгое. А твоя-то — и вовсе не в миг разрешится, в ее-то возрасте — первые роды... Припозднился ты слишком, раньше о детях надо было озаботиться!

Но он упрямо не шел, сидел на жесткой деревянной лавке, мучаясь угрызениями ни в чем не повинной совести. Уже стала сочиться в окна белесая, будто прореженная сквозь марлю синева утра, потом одним бесконечным мигом промелькнул день, вечер, и опять за окном стало темно. Крики и стоны, похожие на животный вой, слились, чудилось Матвею Валериановичу, в одну сплошную мольбу о милосердии или, может быть, в проклятие небу за то, что небом же и назначено: плодитесь и размножайтесь. Стоны надрывали Матвею Валериановичу душу, слышать их и не мочь ничем придти Мане на помощь было не в состоянии, и он, кляня и презирая себя за свое бессилие, позорно бежал, вышел на крыльцо, где ничего не было слышно, и присел на холодные каменные ступени.

XX

Ночь была такая тихая и просторная, месяц в небе такой молодой, и так все в природе не вязалось со стонами и болью, от которых трусливо бежал Матвей Валерианович, что не верилось, что одно и другое, покой и муки могут соседствовать так близко, так неразрывно. Манин ребенок, — думал, бессильно ища оправдание своему бегству, Матвей Валерианович, — родится этой тихой весенней ночью, может быть, в этом и есть некое утешение, обещание некое, кто-то же должен быть счастлив на этом свете! Кого-то же должна осенить в кои-то веки благодать! Ну, не благодать, так хоть милость, жалость, прощение за грехи отцов!..

Разбегались, куда глаза глядят, хитросплетения арбатских переулков, ни живой души в них, дома с погашенными окнами давно отошли ко сну, вокруг уличных фонарей дрожало округлое, бледное свечение, похожее на нимб над головами святых на старых, обесцвеченных иконах.

Когда занялось утро второго дня, Матвей Валерианович вернулся в приемный покой и вновь уселся на жесткую лавку.

Теперь тут сидели и другие отцы, дожидавшиеся с бледными от тревоги лицами счастливых вестей, из дверей в двери то-ропливо пробегали медицинские сестры, и Матвею Валериановичу вдруг показалось, что, прошмыгивая мимо, они украдкой поглядывают на него с сочувствием и жалостью, словно бы зная и утаивая от него какую-то недобрую тайну. Солнце за окном поднималось все выше, заливая больничный покой веселым плотным светом, ожидающих в нем становилось все меньше, и когда Матвей Валерианович остался совсем один на своей лавке, к нему вышла давешняя, ночная, сестра, ничего не сказала, молча уселась рядом.

Но и ее молчания было довольно, Матвей Валерианович разом все понял. Но — ни слов, ни слез не нашлось в нем, словно душа обмелела и высохла, одни обточенные течением тяжелые, невподъем, каменные валуны на сухом, обезвоженном дне. Ни гнева, ни проклятий небу, ни злого, жаждущего запоздалой справедливости и отмщения отчаяния, — лишь одна вечная его, вьевшаяся в кровь и плоть, покорность и безропотность. Разве что еще мгновенная, резкой и острой вспышкой, боль, будто разорвалось и перестало биться сердце. Потом отошло и вновь заходило ходуном, забарабанило в виски.

Сестра сидела рядом и молчала, и Матвей Валерианович не знал, сколько прошло времени, как они сидят и молчат.

— Припозднились вы с ребеночком... — сказала наконец сестра и положила тяжелую, с широкой плоской ладонью, натруженную руку ему на колено. — Виданное ли дело — в ее-то годы! Это ж какую смелость надо иметь! Да и здоровье свое, видать, не жалела, спалила на корню... Отмаялась, отмучилась, а ведь — ни крику от нее, ни стола, все рассказывала, как она мальчонку увезет в деревню, как жить они вдвоем будут...

— Мальчик? — только и спросил Матвей Валерианович, и в том, что родился, как Маня и хотела, именно мальчик, слышалось ему, что все же по Маниному вышло, все же есть справедливость, пусть и поздняя, пусть и горькая и безжалостная, а есть она на свете.

— Мальчик, а как же, — подтвердила сестра и спросила: — Как же ты один с ним управишься? Один-то?!

— Когда мне его у вас взять? — словно бы решив для себя все наперед, раз и навсегда, спросил Матвей Валерианович. — Прямо сейчас?

— Ты его, что ли, грудью будешь кормить?! — невесело усмехнулась сестра. — Его теперь перво-наперво — в дом младенца, а уж как подрастет, как от груди откажется, тогда уж... Тут еще как врачи решат, тут одних комиссий на твою голову свалится — отдадут ли еще...

— Отдадут, — неожиданно для себя твердо решил Матвей Валерианович, — кому же, как не отцу... — и почувствовал на себе недоверчивый взгляд сестры.

Но сказать на это она ему ничего не сказала, только напомнила:

— Тебе сейчас первое о похоронах бы подумать, похоронить по-христиански. Небось, кроме тебя у нее никого-то и нет...

И опять долго сидели и молчали, и Матвей Валерианович, как себя за то ни казнил, думал не о Мане, а о мальчонке, о том, что и у него он — один на всем белом свете.

Потом сестру позвали, она ушла, дожидаться ее Матвей Валерианович не стал, подумал — надо принести мальчику пеленки и ползунки, которые он ему загодя накопил, и пошел домой.

XXI

Когда Матвей Валерианович дошел до своего переулка, дом уже полыхал вовсю. Горело все — и старый сруб под лопающейся от жары и кусками отваливающейся штукатуркой, и слипшиеся в плотный пласт обои саморазличнейших рисунков и окраса, и остатки фанерных перегородок, и бывшая лепнина на потолке бывшей залы, и нехитрый скарб самого Матвея Валериановича...

Дом полыхал, веселый огонь пожирал его, жадно и сладострастно переваривая в огненной своей утробе, жаркое пламя с черной подпушкой карабкалось все выше, длинные, размашистые языки его, обсыпая округу черным снегом сажи, рвались к небу, и Матвею Валериановичу, зачарованно глядевшему на этот огненный шабаш, пришло на ум, что то не пламя, не бешеные языки его рвутся в поднебесье, а не прощенные души тех, кто жил под этим кровом: дерзко пламенели мундиры, ментики и доломаны, искрами вспыхивало и рассыпалось золото эполет, парчею и шелком лоснились крылья торопливого огня; съживалась, чернела и с треском лопалась тисненная кожа переплетов старых книг, с нее осы-

пались и уносились ветром никому уже не нужные и не ведомые «яти» и «фиты»; обугливались бархатные обложки альбомов с написанными легкомысленной девичьей рукою на плотных желтоватых листах стихами, где «кровь» непринотливо рифмовалась с «любовью», а «грезы» со «слезами»; бродили меж пламени и тлеющих головешек кавалергарды в серебряных колетах, статские лица в узких фраках с ласточьими фалдами, а меж ними, оплакивая скудное имущество и сиротские надежды, мыкался, опасно оглядываясь через плечо, печальный совслужащий в толстовке из сурового полотна с опояской с кавказским набором, — и теперь их всех уже не разделяло ни пространство времени, ни краткость отпущенного каждому срока, ибо всем им пепелище это было дом родной, да вот — сгорело, по ветру развеяно, вознеслось и пропало.

Зачарованно и очумело глядел Матвей Валерианович на это роковое пиршество, и почудилось ему, что и ему бы, может быть, самое время легко, словно по ступенькам к себе в мезонин, тоже шагнуть в огонь, в роскошное, обдающее шелковистой прохладной нежностью пламя, где бы гостеприимно и ласково улыбались ему кавалергарды, гусары, приват-доценты, юноши с горящими нетерпением и самоотвержением глазами и прелестные дамы в робронах и фижмах и с черной бархатной мушкой на розовых ланитах, и взмыть, воспарить, вознестись безо всяких усилий со своей стороны и увидеть целехоньким и невредимым дом, старинную усадобку как бы с птичьего полета, с каждой минуткой все удаляясь и удаляясь, и вот уже затеряться голубой звездочкой среди тьмы и тьмы таких же погасших звезд...

Но он знал, что не вправе уйти этой короткой и верной дорожкой, что то был бы не уход, а позорное, своекорыстное бегство, потому что теперь он не один и прикован не только домом этим к канувшему невесть куда прошлому, но еще и мальчонкой — к неведомому, зыбкому, но и неотвратимому будущему...

Что же до старого дома, то, похоже, никто в округе его исчезновения и не заметил.

На месте, где он стоял, сейчас, в ожидании застройки согласно генеральному плану, не то скверик с чахлыми, на ладан дышащими липами с замурованными цементом вековыми дуллами, не то обыкновенный городской пустырь...

Декабрь 1992 г.

Валентина Ботева

НЕ ПОРУКОЙ ДОБРА, НЕ ЛЮБОВЬЮ

х х х

Прозрачны восковые соты,
и чуть горчит гречишный мед.
Пять лет глядят в окошко: кто ты?
Что ждет тебя и что не ждет?

А сад в цвету Преображенья
от блеска света изнемог,
и варит бабушка варенье,
и в небо тянется дымок.

С вишневой пенкой выпьешь чаю,
и кто-то скажет: спать пора...
Подернется ночной печалью
твоя Кудыкина гора,

где в зарослях сухой полыни
тайком зарыт бесценный клад:
две пуговицы жаркой сини
и фотография котят.

**Валентина
БОТЕВА**

— родилась в с. Ивня Белгородской области. Окончила Донецкий университет. Живет в Донецке (Украина). Публикуется впервые.

И смежишь веки наконец-то,
и уплывешь в заливы сна,
куда впадают реки детства —
Псел, Ворскла, Тихая Сосна.

х х х

А.Б.

Все в мире задумано просто:
вот домик с трубою и сад,
и ангелы детского роста
по круглому небу летят.

Летят они в стройном порядке
на свет уходящего дня
и видят мой домик и грядки
и, может быть, даже меня.

х х х

Полет фанеры над Парижем —
наш миф. Мы — щепки.
Мы и в мечтах летаем ниже
под небом крепким.

Пусть недалек наш горизонт —
сапог и лужа.
Но мы летим, и нам полет,
как воздух, нужен.

Лес рубят, падают дубы,
хоть корни щепки,
а мы велением судьбы
летим, мы — щепки.

Хозяин прочен и востер,
из лучшей стали, —
желает батюшка-топор,
чтоб мы летали.

Чем станем — пеплом ли, огнем, —
неважно, веруй:
когда-нибудь и мы махнем
вслед за фанерой...

БРЕЙГЕЛЬ

I

Еще один день уплывет
и там, за горой, перемелется.
Кровав и загадочен год,
заверчена зимняя мельница.

Не в этом ли крошewe дней,
разбитых часов горловиною,
становится нам все трудней
плясать под волынку старинную...

Как брейгелевский музыкант, —
в усердьи лицо перекошено,
проеден и пропит талант, —
играет нам век про хорошее:

охотники снова идут,
добыча по-прежнему прячется,
спешат конькобежцы на пруд,
и в погреб за пивом — кабатчица.

Пронзительна музыки власть,
хоть звуки наивны до одури...
Давайте напляшемся всласть
на Рейне, на Волге и Одере, —

на грубом зерне полотна,
на палехском лаке шкатулочном, —
пока еще светит луна,
и зелено в мире полуночном.

Уродец на волынке и калека
на скрипке, — даже уши в канифоли, —
наигрывают в середине века,
а, может быть, в конце, не все равно ли...

Не все равно ли, если жар от печки
доносит запах скорого обеда,
и воздух завивается в колечки,
и зазывает музыка соседа.

Идет вино по кругу, пересуды
смолкают, — что за музыка такая?
Звенит на полках медная посуда,
волынка плачет, скрипке помогая, —

о чем, о чем... О том, что все пропало,
что есть душа, и ей легко без тела,
и дымом — дом, и времени так мало! —
хоть свечку бы поставить, да сгорела...

Как-будто вьюга закружила в поле,
чепцы мелькают в белой пене кружев.
О чем, о чем... О нашей тайной боли,
что никогда не вырвется наружу.

...А утром будут старые заботы.
— Прощай, урод! Где твой костыль, калека? —
и снова — в путь, до будущей субботы,
а, может быть, до будущего века.

х х х

Не порукой добра, не любовью, —
еле живы единой виной,
платим сердца запекшейся кровью
и захлопнувшейся глубиной.

Как тростник, шелестим на болоте, —
плачь, Гекуба, безумная мать...
Бог не хочет измученной плоти,
ну, а что еще можем мы дать?

Наши души исчезли в пространстве,
над путями, солгавшими — в Рим...
Кто мы? Где мы? — в каком государстве
снова сладким покажется дым?

х х х

Пиши до востребованья, в туман
будущих или прошлых
дней. Колышется океан,
и нет ни границ, ни пошлин,

ни виз... Что до флоры, — она проста,
навряд ли бывает проще:
терновник и облако на кустах —
дым соловьиной рощи.

Пиши до востребованья... А вдруг
встретимся? — что ж, откроюсь:
пиши по адресу — седьмой круг,
второй пояс...

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ РОССИИ

Форум «Континента». Публикация вторая.

Интервью главного редактора «Континента» И.И.Виноградова
с М.С.Горбачевым, Е.Т.Гайдаром, В.В.Виноградовым,
Л.И.Пияшевой и Т.И.Трояновым

В 77-м номере «Континента» уже была напечатана подборка материалов под названием «Настоящее и будущее России». В нее вошли предоставленные нам авторами полные стенограммы выступлений ряда видных деятелей нынешнего русского Зарубежья, вчерашних диссидентов В.Аксенова, В.Буковского, А.Зиновьева, Э.Лозанского и В.Максимова, которые были приглашены Российской Академией Наук в Москву летом 1993 года для участия в международной встрече, посвященной сегодняшней России. Мы посчитали важным познакомить наших читателей с их выступлениями не только потому, что каждый из них издавна был так или иначе связан с «Континентом». Но прежде всего потому, что все они говорили не о частностях, не о нашей быстротекущей экономической или политической конъюнктуре, а пытались разобраться прежде всего в тех глубинных, поистине судьбоносных для России процессах, которые происходят в ней сегодня и определяют сам тип и облик формирующегося в ней общества,— разобраться в их исторических истоках, в их сегодняшних причинах, в тенденциях и перспективах их развития в будущем и, главное, в самом смысле того исторического вызова, который обращен сегодня ко всем нам — к нашей активности, к нашей свободной воле. А именно эта тема с самого начала и была в центре внимания нового — «русского» — «Континента», из номера в номер публикующего под рубрикой «Россия» статьи именно такого характера.

Напечатать выступления наших бывших диссидентов единой подборкой, чтобы можно было прочесть их подряд, одно за другим, и сопоставить друг с другом, нас подвигло, однако, еще и следующее обстоятельство. Дело в том, что при всем отличии высказанных в них взглядов, иногда резко, собранные вместе, они с особенной очевидностью позволяют, на наш взгляд, уловить тем не менее и некую общую логику их авторов. Ту весьма показательную, по нашему мнению, логику, которая

обусловлена самим ТИПОМ диссидентской мысли, самим «диссидентским» способом видеть проблемы России. И мы посчитали достаточно важным разобраться в этой логике, которая — в применении к нынешнему историческому этапу — обнаруживает, как нам кажется, своего рода печальный конец диссидентской эпохи, ее исчерпанность. В частности, в какой-то мере и с этой точки зрения мы планировали тогда в следующем же номере журнала подвести некоторые предварительные итоги состоявшемуся обсуждению. Высказав при этом, разумеется, и наше редакционное мнение — совокупное, но тоже отнюдь не единообразное.

Готовя такую публикацию, мы пришли, однако, к выводу, что гораздо полезнее и продуктивнее будет не спешить с «итогами», хотя бы и «предварительными», а сначала предоставить самому читателю возможности для более широких сопоставлений — той же, скажем, «диссидентской» логики, что выказала себя в опубликованной нами подборке, с логикой тех, кто наблюдает российскую жизнь не со стороны, из своего далека, пусть для них и не прекрасного, а непосредственно в ней варится и даже сам ее делает. Например, — с логикой тех, кто в перестроечные и постперестроечные годы реально руководил реформированием страны. Или с логикой ведущих представителей сегодняшнего российского предпринимательства, видных российских экономистов — или даже деловых людей того же Запада, непосредственно участвующих, однако, в нынешней жизни России.

Именно в этих целях главный редактор «Континента» обратился с просьбой дать интервью к бывшему Президенту СССР М.С.ГОРБАЧЕВУ, к фактическому — до недавней поры — руководителю ельцинского «правительства реформ» Е.Т.ГАЙДАРУ, к одному из самых, судя по рейтинговым опросам, влиятельных в нашем российском деловом мире людей, председателю правления «Инкомбанка» (генерального спонсора «Континента») В.В.ВИНОГРАДОВУ, к известному экономисту, директору Института экономики и права Л.И.ПИЯШЕВОЙ и к видному жене-адвокату, несколько лет уже имеющему свой офис в Москве, швейцарскому подданному русского происхождения Т.И.ТРОЯНОВУ, родившемуся в семье старых русских эмигрантов уже за границей, но сохранившему не только язык, но и культуру, и духовные приоритеты русского интеллигента. Все они дали журналу свое согласие, и в течение марта — мая этого года все интервью были получены, хотя и не в том порядке, в каком они ниже располагаются в интересах более удобной для читателя логики восприятия и сопоставления.

Перед читателем, таким образом, как бы еще одна, следующая после публикаций 77-го номера, «сессия» того своеобразного «форума», контурами которого можно объединить выступления теперь уже десяти его участников на страницах «Континента»

и продолжение которого мы намерены предложить читателю в одном из очередных номеров журнала. Воспользовавшись для этого той же, что и в 77-м номере, формой «многоголосной» подборки (которая подсказала идею и публикуемой ниже нынешней серии интервью), мы намерены попросить высказаться по материалам этих двух первых обсуждений наиболее тесно сотрудничающих с «Континентом» авторов наших «интеллектуальных» рубрик, организовав для этого своего рода «круглый стол» «Континента», в котором примет участие, естественно, и редакция журнала. Таким образом, вслед за зарубежными наблюдателями «диссидентского извода» и непосредственными участниками здешней преобразовательной российской практики в обсуждении будет вовлечен и круг отечественных гуманистариев, озабоченных прежде всего духовными векторами происходящих перемен. Закончится ли на этом форум «Континента» «Настоящее и будущее России» в той «сессионной» форме, какая объединит эти три публикации, покажет время — возможно, она исчерпает себя. Но сама его тема — Россия — надолго еще, полагаем, останется центральной темой «Континента», и именно с нею прежде всего и будут всегда связаны все основные материалы его рубрик, какие бы формы они ни принимали.

Знакомясь с печатаемыми ниже текстами интервью, читатель обратит внимание на то, что все они ориентированы на один и тот же, в сущности, круг проблем и потому похожи по внутренней структуре. Это было запрограммировано изначально — именно для того, чтобы предоставить читателю возможность более отчетливого сопоставления взглядов интервьюируемых на настоящее и будущее России — как между собой, так и со взглядами участников предыдущего «обсуждения» в 77-м номере. Отсюда же и известная повторяемость в формулировках заданных вопросов, специально предусмотренная в тех же целях.

Со всеми интервьюируемыми было особо оговорено и то, что наш журнал, выходящий всего четыре раза в год и не имеющий даже той возможности угнаться за быстротекущей злобой дня, которая доступна «толстым» ежемесячникам, будет интересоваться прежде всего именно масштабно-обобщающий подход к происходящему сегодня в России, а не те или иные подробности нынешней политической или экономической жизни, сами по себе, может быть, весьма примечательные и выразительные. Отсюда и общий характер бесед, почти лишенных, как правило, обращения ко всякого рода загадочным, интригующим и особенно остро привлекающим обычно журналистов пикантным эпизодам из жизни столь заметных, как наши собеседники, персонажей разыгрываемой ныне в России исторической драмы.

Наконец, несколько специальных предваряющих слов к интервью с М.С.Горбачевым. Главный редактор «Континента» имел возможность задать ему свои вопросы дважды — частично во

время общей беседы бывшего Президента СССР с группой журналистов в связи со столетием со дня рождения Хрущева, а в основном — в ходе того «эксклюзивного», как принято выражаться ныне, интервью, которое М.С.Горбачев дал специально для «Континента» в мае этого года. Отсюда разбивка публикуемого ниже текста беседы с ним на две части, соответствующие этой последовательности.

І. ИНТЕРВЬЮ С М.С.ГОРБАЧЕВЫМ

І.

— Михаил Сергеевич, как Вы считаете — успех хрущевской «оттепели», крушение Хрущева, его отставка — все это результат каких-то его просчетов тактического характера, или здесь были допущены им и какие-то более крупные, стратегического, так сказать, уровня ошибки?

— Нет, я бы не сводил к этому. Я думаю, для такого общества, как наше, для такого режима, такой страны идеальных схем, идеального варианта реформ просто нет. Это должно было проходить именно так, как проходило. Оно и идет так, и будет так... Так что я не думаю, что это просчеты стратегические, нет. Ну как Вы можете обвинить Хрущева, который был продуктом этой эпохи, всего этого сталинского периода, но тем не менее все-таки встал на путь реформ, — как вы можете обвинить Хрущева в том, что у него не было стратегии? Да как он мог ее сформировать? И с кем? Если бы он только первый семинар на эту тему провел, утром бы его уже не было с его семинаром. Это вот мы с вами сидим, рассуждаем и знаем, что, в конце концов, с нами ничего такого не должно случиться. Поэтому мне даже трудно требовать от него, чтобы у него была стратегия. Точно также я должен сказать, вы даже от Горбачева этого не можете потребовать. Да не нужно нам никакое расписание поездов. Нам нужны предпосылки: свобода, вот этот плюрализм, духовная, интеллектуальная деятельность — вот все то, что включает мысль человека, поиск, делает его человеком. Это может нам дать в конечном счете результат; это трудно, это долгий путь, но это даст то, что необходимо. А все остальное — это насаждение той или иной модели, опять насилие над человеком. Я как раз не противник самотека, стихийных процессов...

(Следующий вопрос был задан в связи с затронутой в ходе беседы темой распада СССР.)

— Михаил Сергеевич, я хочу все-таки вернуться к той же постановке вопроса, что и в случае с неудачей хрущевской оттепели. Вы считаете, что распад Союза, распад страны не был процессом объективно неизбежным, и я склонен придержи-

ваться Вашей точки зрения — я тоже не думаю, что это было что-то такое, чего просто не могло не произойти. Но в таком случае снова встает вопрос — не были ли здесь допущены ошибки какого-то очень глубокого, стратегического плана, которые и позволили совершиться тому, что не было объективно неизбежным? Поясню, что когда я говорю о стратегии и т.п., я имею в виду вовсе не какие-то конкретные «программы» и «расписания поездов», рассчитанные на более длительный срок пользования, чем данный, текущий политический день. Я имею в виду прежде всего понимание самой сути происходящего сегодня в стране исторического процесса. Ведь если суть этого исторического процесса все-таки не может быть однозначно сведена к тому, что совершенно необходимо должен был произойти распад Союза, а реально он все-таки произошел, то не значит ли это, что здесь и были допущены не просто какие-то просчеты в той же, например, политической борьбе с Ельциным и т.п., но имел место какой-то куда более крупный просчет именно в понимании самой этой сути нынешнего исторического процесса, его объективных запросов и перспектив? То есть, не значит ли это, что как раз и не были задействованы какие-то объективные возможности и силы нашего сегодняшнего исторического развития, которые могли и должны были не допустить распада страны? Не видите ли Вы именно здесь свою главную ошибку, которую Вы совершили как главный тогдашний охранитель единства того историко-географического пространства, которое мы называли Советским Союзом или, Россией, — как кому угодно?..

— Я хочу прежде всего согласиться с Вами — и это мое глубокое убеждение, — что распад Союза — не объективная историческая необходимость. Потому что если брать все то, что формирует ту или иную закономерность, ту или иную необходимость, то все работало как раз в пользу интеграции, сохранения ее. Экономика — раз, безопасность общая — два, расселение людей, когда 75 миллионов людей так разбросаны по всей стране, что при разьединении их надо рвать и кромсать, — три, наука сформировалась так, что она вся очень взаимосвязана, придется разрывать и разрушать школы и научные центры, — четыре... То есть, возьмите любую область — все это факторы, которые объективно действовали на сохранение интеграции, на сохранение этой общности, на сохранение этой целостности.

Но точно так же были факторы, не менее важные, которые диктовали необходимость реформирования старой структуры Союза. А именно: нельзя, чтобы строительство общественного туалета в Ставрополье зависело от решения Москвы. Я это, конечно, заостряю, но суть в том, что необходимость децентрализации тоже была очевидна. И факторы, которые питали и подталкивали реформирование Союза, стимулировали децентрализацию, большую самостоятельность, большую независимость республик, были не ме-

нее сильными. Но кроме прибалтийского анклава, который был когда-то вот так, ну, скажем, припаян или приклепан к Союзу, все остальное все-таки очень долго формировалось и приняло такой облик, который нужно было реформировать, но не рвать. Ведь вспомните, как действовал Ленин, когда под ударами затрещала Российская империя. И тогда начали возникать наши национальные государства, которых как таковых раньше не было,— та же Белоруссия, да и в Средней Азии и в Закавказье. Говорят: вот Ленин — он, собственно и виноват; еще тогда Империи должны были закончиться, а он... Да нет, я думаю, он тоже уловил эту объективную необходимость — то, что должны реализоваться, сформироваться нации, национальные государства,— и он предложил этот Союз. Другое дело, что при этом столько было тоже там наклепано этими походами, всякими этими комиссарами, что это тогда уже создало в союзной конструкции очень много опасных элементов и взрывоопасных мин. Вот это все и сработало, да еще Сталин наворочал,— это все наслоилось...

[Здесь подал реплику Юрий Щечокчихин («Литературная газета»):

— Михаил Сергеевич, а может быть все проще?.. Как только лидеры новых республик, элита, которую вы не поломали, почувствовали, что они сами могут стать президентами,— они поняли, что пришел их час: у них теперь будет огромная охрана, они могут ездить по миру, они президенты — они будут сами большими. То же самое и парламенты...]

— Нет, нет, нет! Вот тут, Юрий, никогда не соглашайся на простые решения. Я все-таки не закончил свой ответ. А итог моих размышлений такой. Я думаю, все было бы иначе, если бы мы не руководствовались тем, что у нас национальный вопрос отрегулирован, все прекрасно, остается только тосты произносить. Помните, Андропов в связи с 60-летием Союза в 1982 году, в декабре, сказал, что национальный вопрос у нас решен окончательно? Мы пребывали, я должен прямо об этом сказать, вот в этом состоянии. И в голову никому не приходило, что Советского Союза не будет, что он развалится. И не только в правительстве. Ну, скажите, кому в голову это приходило? *[реплики: Амальрику, на Западе]* Мне каждый день кладут письма от наших людей, я их читаю: самый главный вопрос — этот. Никому и в голову не приходило. Так вот, я считаю, мы осознали необходимость модернизации Союза, обновления национальной политики с опозданием,— когда уже развернулись и народные фронты, и сепаратистские эти движения, и уже оседлали процесс националистические силы, которые начали набирать авторитет. Поэтому здесь был просчет тактического плана большой. Я пишу в своих мемуарах: запоздалый Пленум по национальному вопросу. Дело конечно, не в самом Пленуме — это же состояние общества. Мы

о многом судили-рядили, забывая, что все эти процессы мы развернули в сложном многонациональном государстве. Мы по-настоящему все не просчитали и не осуществили превентивные шаги по модернизации. Можно было перехватить эту тенденцию к распаду, если бы мы предложили опережающую политику по национальному вопросу. Ведь сначала даже прибалты не ставили вопроса об отъединении, хотя думаю, что они хитрили, я им не верю, они все равно бы его поставили. Но на том этапе и они — только за децентрализацию были, за радикальное перераспределение полномочий...

2

— Михаил Сергеевич, в прошлый раз, во время общей Вашей встречи с журналистами, я задал Вам, если помните, вопрос о том, какие ошибки стратегического, если можно так выразиться, плана Вы видите у Хрущева. И Вы ответили тогда, что вообще не сторонник «идеальных планов» и для Вас, в частности, когда начиналась Перестройка, важнее было создать те исходные предпосылки, которые должны были развязать инициативу людей, разбудить энергию реформирования общества. И вот в связи с этим у меня такой вопрос. Предпосылки, о которых Вы говорили, действительно были созданы в самом начале Перестройки. Это все то, что обнимается обычно понятием «политика гласности» и в чем, я считаю, Ваша величайшая заслуга и перед страной, и перед миром. Эта политика действительно развязала творческую инициативу, дала свободу мысли, способствовала становлению демократических свобод и т.д. Словом, — развязала как раз те самые как будто бы силы, которые Вы и имели в виду, говоря о необходимости создания условий для демократизации страны. И вот, стало быть, предпосылки были как будто бы созданы, люди смогли говорить то, что они думают, и на митинги ходить полюбили, и свою точку зрения отстаивать, и инициативу проявлять, а что в результате? В результате развал страны и все то, что мы сейчас имеем. Значит, видимо, предпосылки эти все-таки почему-то не сработали так, как Вы на них рассчитывали. Почему же? Вопрос представляется мне очень важным. Может быть, даже самым важным, если только мы действительно хотим разобраться в том, что произошло.

— Да, это так. Но я бы не ставил под сомнение, что это были предпосылки, которые действительно давали возможность вывести общество из состояния социальной апатии, безразличия, духовной подавленности, — всего того, что было характерно для времени застоя. Ведь это был застой не только в экономике — он же был и

в политике, и в формах жизни, и, самое главное, он вообще подавлял ищущую, беспокойную мысль. С этой точки зрения, это и были именно те предпосылки, которые привели общество в движение. Но ведь дальше появились новые проблемы, возникли свои закономерности, вернее, своя логика развития. Я не люблю говорить о закономерностях, потому что это всегда попытка загнать жизнь в какую-то схему, а вот логика — это другое.

Вот, например, мы наметили предоставить самостоятельность хозяйственным предприятиям, сделать их новыми субъектами экономики.

Но что значит самостоятельность предприятий? Это значит — не командуй уже больше, министерство. А не командуй министерство — это значит, что уже не в главах министерских, не в управленческой номенклатуре решаются вопросы, а там, в основной ячейке производства, где и должен появиться главный реальный субъект нашей экономики — первичный производственный коллектив предприятия. И номенклатура очень быстро это почувствовала, это был первый для нее звонок. Дальше. Мы видели, что в результате дело не очень продвигается. Тогда что же мы сделали? Мы пошли на то, чтобы специальный закон о предприятии принять, законом закрепить эту новую ситуацию, а не только разными решениями правительства. А вслед за этим начали готовить июльский Пленум 87-го года о радикальной экономической реформе, которая должна была охватить все — и ценовые отношения, и сферу собственности, словом, все, что должно было дать стимул такой реформе. Но, поняв, какая угроза идет от самостоятельности предприятий, поднялась номенклатура — вплоть до правительства, где особенно воевали кураторы отраслей, эти технократы-отраслевники. Ведь если отбираются права у министерств, то тогда зачем весь этот громоздкий аппарат? Вот это первое. Это была могучая сила. Она съела не одного, она поглотила, задушила в зародыше не одно предложение. И тут она ошестинилась. Но ведь дело не в одной только управленческой хозяйственной номенклатуре — и местной, на уровне краев и особенно на уровне республик, и союзной. Ведь и для партийной номенклатуры: раз дается такая самостоятельность и колхозу, и предприятию, значит, тогда нельзя будет командовать на бюро райкома или обкома партии, нельзя ни к чему обязывать — это все будет уже противоречить закону! Вот так появилась логика борьбы, появились явно антиреформаторские настроения, и проявились они сначала в форме саботажа. Тогда типична была для всех этих центров номенклатуры негласная установка — не торопитесь, идет просто очередная кампания, были у нас Хрущевы, Косыгины, теперь Горбачев, но и это пройдет. Поэтому не рыпайтесь, вам с нами иметь дело, сидите и молчите.

Вот так и получилось: предпосылки есть, общество проснулось, но общественные интересы столкнулись с групповыми, эгоисти-

ческими интересами номенклатуры. И началась тяжелая, изнурительная борьба, которая все время нарастала и дальше вышла на уровень требований — «Долой!» Но мы ведь не сидели сложа руки. Я не кочу сказать, что мы были так уж безгрешны, так идеальны, все понимали и т.д. Чепуха! Я вам скажу, кто бы что ни делал, без ошибок не бывает. Но есть ошибки и ошибки. Так вот,— как мы решили перехватить инициативу? Мы увидели, что наш союзник — не номенклатура. Разве лишь часть номенклатуры — она тоже была, она стала развиваться — новая, реформаторская. А союзник — граждане наши, вот наши союзники. Как их включить в этот процесс? Вот тогда и возник вопрос о политической реформе. Это ответ всем, кто говорит — зачем была нужна политическая реформа, зачем нужны были свободные выборы? А иначе уже в 87 году с нами было бы покончено. Судьба Хрущева нам была уготована. Вы помните, какие схватки были накануне партконференции? Февральский пленум 88 года о перестройке в идеологии, где я сказал о плакальщиках по социализму — и только я отлучился на неделю, уехал в Югославию, как тут же появилась Нина Андреева с ее манифестом. А причем тут Нина Андреева? Это же ясно, где все это делалось. Вот эта борьба стала нарастать. Поэтому моя задача была — продвигать политическую реформу, используя эти предпосылки, сориентировав их на демократическое гуманное общество. Тогда мы его обязательно называли социалистическим, мыслили в рамках социалистического выбора, потому что общество, в котором мы тогда жили, несло в себе какие-то элементы социализма. Но это был отнюдь еще не социализм. Больше того, в результате долгих раздумий я сейчас вообще считаю, что ставить вопрос о создании социалистического общества как формации — это абсурд. Надо создавать прежде всего демократические предпосылки, а общество, используя их, само делает выбор. И я думаю, в таком обществе будут и либеральные, и социалистические, и консервативные, и демо-христианские, и общечеловеческие ценности. Поэтому самое главное и было — свободы закрепить, демократические институты создать, права человека превыше всего поставить и создать для этого прочный режим в смысле законности — диктатуру права, а бы сказал.

Теперь еще и о другом — о том, что в нашем государстве не могла успешно произойти Перестройка без реформирования Союза как многонационального государства. Это понятно. Но что тут произошло? Мы очень были самоуверенны и опоздали с решением этой проблемы колоссально. Я даже в своих мемуарах назвал главу, посвященную этой проблеме, «Запоздалый пленум». Мы провели его только в 89 году, только тогда осознали эту проблему. И вот Вы можете спросить, объективный это был процесс — распад Союза?..

— Да, мы уже говорили об этом в прошлый раз, и я вернусь в таком случае к тому же вопросу, что задал тогда. Вот возьмем это противостояние, о котором Вы только что сказали и которое так быстро обнаружилось — номенклатуры, которая, в сущности, не понимала даже своих собственных долгосрочных интересов, и общества. Но ведь если в результате получилось так, что номенклатура оказалась все же сильнее и своим сопротивлением реформам — в том числе и Союза — довела дело до августовского путча, то это значит, наверное, что именно те силы общества, на которые Вы рассчитывали — а общество ведь поначалу шло Вам навстречу, это несомненно! — именно эти силы и не были по-настоящему задействованы!..

— Да, Вы правы, они не то что не были задействованы — они не были по-настоящему даже готовы, чтобы их использовать... Тут уже нам глубже надо копать...

— «Человеческий материал»?..

— Ну, я не хочу употреблять такие выражения, а то меня уже на этот счет пытались перетолковывать. Но вообще идея верная — человеческий фактор, реальное состояние нашего общества. Оно ведь так было замордовано, так было задавлено, что мы в этом отношении всей глубины того, что со страной произошло в результате вот этих семидесяти лет, наверное, даже не сознавали. Мы о себе думали лучше, а оказалось, что последствия этого так сильны, что мы этого даже не понимали. Ведь подумайте, когда мы начали Перестройку, 90 процентов населения — это были люди, которые родились уже после революции, при советской власти. Это значит — три поколения! То есть, они уже с детского возраста пропускались через все эти структуры тоталитарной системы, а система была хорошо отработана! И трудно было ожидать, что все будет хорошо, все пойдет гладко. Предпосылки были, ориентиры выставлены были благородные, люди как бы и хотели перемен, но вот включиться по-настоящему в процесс они не смогли. И тут еще и такой фактор, как КПСС. КПСС... Сколько надо было приложить сил, чтобы ... Ведь если бы так поставить вопрос — ребром: КПСС долой со сцены! — то я скажу Вам, скорее бы было наоборот — долой Горбачева и группу реформаторов. Поэтому, значит, нужно было и эту силу другой сделать...

— Тем более, что в большой своей части она тоже шла ведь на реформы, готова была их проводить?..

— Да, шла. Без этого вообще было бы невозможно что-либо начинать... Но вместе с тем в целом, как таковая, она очень трудно поддавалась воздействию, процесс шел сложный. Вот все это вместе, конечно, очень затруднило процесс реализации тех шансов, которые открыла политика демократизации общества, свободы и гласности...

— Понятно. Ваше видение ситуации Вы обозначили очень четко — особенно в отношении сил, противодействовавших демократизации страны. Но мне все-таки кажется более важным — и трудным — вопрос о тех силах, которые, казалось бы, должны были поддержать демократическое преобразование страны. И не допустить конечной победы номенклатуры. Вы говорили в связи с этим о степени готовности самого общества к переменам, о его состоянии. И признали даже, что реформаторы плохо представляли себе это состояние, не сознавали всей глубины того, что произошло со страной за семьдесят лет тоталитаризма. Но, мне кажется, здесь важно рассматривать этот «материал» совсем не только с точки зрения той г о т о в н о с т и общества к восприятию и к поддержке реформ, о которой Вы сказали. Еще важнее, мне кажется, отдавать себе отчет в самом характере его внутреннего запроса к властям, проводящим реформы, — того запроса, которым задаются «реформаторам сверху» как бы некие условия, на которых общество будет с ними сотрудничать и лишь при соблюдении которых они и могут рассчитывать на какой-либо успех. Понять такие условия — это главная, мне кажется, задача всякого реформатора. А вот этого-то как раз, на мой взгляд, не было и нет. И именно отсюда прежде всего — фактический провал и Перестройки, и постперестроечных реформ...

— Да, но все-таки, Игорь Иванович, я не могу это полностью на себя принять. Почему? Потому что я все время отстаивал эволюционный путь. Именно исходя из того, что слишком сложно наше общество. Во-первых, это те семьдесят лет, о которых мы уже говорили. Во-вторых, это общество, где говорят на 220 языках, где существовали так или иначе национальные государства — пусть подавленные, не в том положении, как Конституция наша провозглашала, изображая их суверенными государствами. Нет, страна была унитарным государством, да еще каким! Но, тем не менее, эта разнородность тоже была. Наконец, экономика, построенная на одном виде собственности, — командно управляемая, переутраченная сырьевыми, тяжелыми отраслями и сверхмилитаризованная. Мне это было ясно, и я всегда выступал за то, что мы не можем действовать в реформах как лихие наездники, нужно подводить людей к их пониманию шаг за шагом. И если Вы вернетесь ко всем моим выступлениям, Вы увидите, что эта мысль все время в них присутствует. Но вместе с тем даже и при понимании всего этого мы действовали, я бы сказал, все же относительно быстро. И даже порой слишком быстро — когда мы забегали вперед, база нас не понимала, у нас все время возникало ощущение отрыва, и мы должны были притормаживать. Вот тогда «демократы» особенно Горбачева, так сказать, бомбили, что он куда-то «не туда» пошел.

Но если все вместе суммировать, то, пожалуй, Вы правы. Действительно — предложить такие преобразования, такого масштаба, такой глубины — всесторонние, охватывающие все сферы, — профессора не могут переварить, ваш брат-интеллектуал не может переварить, друг другу в горло вцепились и даже рассорились кое-кто навсегда и не сошлись до сих пор, — а как же обществу при всей его сложности все это понять? Это же глупость. Правда, есть и такая точка зрения, что вовсе и не требуется, чтобы в обществе все все понимали; есть его активная, сознательная часть, которая всегда берет на себя бремя ответственности за реформы, принимает вызов времени. Тут есть доля истины, — на этой базе и существует ведь демократия. Но решает ведь не меньшинство. Поэтому я все это учитывал, поэтому темп преобразований даже самых радикальных по глубине, должен был быть, я считал, эволюционным. И поэтому, если помните, я рискнул сказать даже, что отказываюсь от революции в том смысле, что главное решают все-таки реформы, а не толчок какой-то, взрыв, который может быть только первоначальным.

— *Это я помню, но все же позволю себе продолжить свой вопрос, уточнить его. Вот Вы сказали, что реальное состояние нашего общества, только что вышедшего из семидесяти лет тоталитаризма, — действительно важнейший фактор, и его необходимо было учитывать, начиная реформы. Но если конкретнее — в чем именно видели Вы тогда и в чем видите, может быть, сейчас, когда прошло уже достаточно времени с момента Вашего ухода, главные, определяющие черты той духовной ситуации, в какой оказалось наше общество после крушения тоталитаризма? С какими особенностями его духовного состояния нужно было, на Ваш взгляд, считаться, прежде чем вообще что-либо планировать? И тем более — рассчитывать на какой-то успех, который ведь просто невозможен, если люди почему-либо не захотят поддержать реформаторов, какие бы правильные — вообще говоря, «по теории» — программы и механизмы они ни запускали? Что здесь, на Ваш взгляд, самое важное — и тогда, в Ваше время, и, может быть, сейчас?...*

— Да, Вы знаете, хотим мы этого или нет, но в условиях Советской власти, особенно в последние доперестроечные годы, общество так или иначе имело определенные гарантии и определенную уверенность. Это были гарантии на достаточно низком уровне, но они были — дети могли учиться, медицинское обслуживание — пусть недостаточное, плохое, но оно было. И я должен сказать, во многих других, совсем не социалистических, странах восприняли этот наш опыт — те же японцы, например. Или возьмите Канаду, — когда я там спросил, а чем уж так отличается канадское общество от американского, они сказали: нет, знаете, отличие есть и очень существенное. У нас бесплатное, доступное

всем слоям независимо от дохода образование, — а раз человек образован, он получает равный шанс с другими, и дальше от него зависит, как он этот шанс использует. И у нас государственное здравоохранение...

— *То есть, Вы имеете в виду не просто чисто материальную сторону дела, а то, что создает прежде всего нравственный климат в обществе, отвечает чаяниям социальной справедливости?..*

— Да, абсолютно. Ведь даже не закрывая глаза на то, в каких целях эксплуатировала тоталитарная власть свои лозунги, надо же понимать, что сами эти лозунги шли от надежды, которая прозвучала еще и в Октябре 17-го, — от тяги к справедливости, которая у людей неистребима. Возьмите историю, — ведь это стремление по времени может соревноваться с христианством. Вот это-то как раз и не учитывается, особенно в последнее время. А без этого ничего не получится. Ведь даже стабильные современные государства недаром имеют социально ориентированную экономику. Возьмите, например, Голландию — там нет очень богатых, и нет очень бедных. То есть, нет разрывов, нет такой социальной дифференциации, которая ведет к расколу общества, к «Северу» и «Югу» в одной стране, на базе чего рождается и классовая ненависть, которая в конце концов находит лидеров и выводит людей на площади. И часто приобретает формы разносные, так сказать. Там этого нет, и нам не уйти от этих проблем. Ведь я сначала, как и все мы, бывшие члены КПСС, а особенно кто был в номенклатуре и действовал в политике, — ведь все мы рассматривали политику социального партнерства как, вообще говоря, происки буржуазии, как способ закабаления трудящихся, как предательство социалистов и социал-демократов, которые стали наймитами буржуазии и т.д. А сейчас я вижу, что социальное партнерство — это условие стабильности любого общества. Это когда и предприниматель, и власти понимают, что если не обеспечить определенный уровень жизни людей, который позволяет каждому чувствовать себя человеком, растить детей и открывать им будущее, то тогда начинается борьба, начинается свалка, которая сделает бессмысленными любые расчеты того же предпринимателя на прибыль, он вообще может лишиться и собственности.

Но это не все. У нас, россиян, всегда было сознание, что мы принадлежим огромной, великой стране. А сейчас мы унижены. Россию, которая занемогла, чуть ли не пенками уже начинают... Людей это задевает, человек, знает, о колбасе забудет, о чем угодно, но с этим не смирится. У нас это в крови, это наш менталитет... Ну, и, наконец, что же говорить — своя великая культура, свои традиции. А мы бездумно берем заемные модели, навязываем их людям, это огромный просчет...

— *Да, мне кажется даже, что именно здесь, в духовной области, и лежат главные, решающие просчеты и перестроечной,*

и постперестроечной политики. Ведь у нас, в нашей ситуации, духовные факторы приобретают не просто важное значение. Они приобретают совершенно исключительный, в сущности, в несколько раз более острый и серьезный характер, чем в любых других странах. Именно потому, что страна только что вышла из семидесятилетнего тоталитаризма — духовно обобранной, растерянной, опустошенной. И вот это-то, мне кажется, придает в нашей ситуации тоже совершенно особый характер и той проблеме, к которой я все время, как видите, возвращаюсь с того или другого конца — «Власть и общество». Это, я думаю, понятно — ведь здесь сегодня узел узлов. И от того, каковы будут взаимоотношения власти и общества, в огромной степени зависит и то, какая у нас будет Россия, и каким будет само общество, как оно будет меняться, и станем ли мы еще одной «колониальной демократией» или нет, и какие стимулы и «инстинкты» будут развязываться в людях условиями общественной жизни, формируя соответствующий нравственный климат в стране.

Но, повторю, эта зависимость, мне кажется, упирается не только в то, какие программы предлагает власть обществу и как учитывает она степень его готовности к восприятию этих программ. В нашей ситуации, когда общество растеряно и духовно раздроблено, дезориентировано, существует еще и особая нравственная ответственность сегодняшней власти перед сегодняшней и завтрашней Россией за то, как она, власть, помогает обществу — и помогает ли вообще — преодолеть этот духовный кризис хотя бы в той области, которая непосредственно зависит от ее воздействий, — в области гражданского самосознания. Помогает ли и как помогает она людям обрести это гражданское самосознание, без которого не будет в стране ни достойного гражданского общества, ни, вообще говоря, народа, одно только население, раздробленное на социальные касты. И здесь проблема упирается, мне кажется, прежде всего в то, как власть обращается с народом, с обществом — видит ли она (по традиции, въезжая в ее менталитет еще во времена тоталитаризма) в обществе всего лишь некий «материал», некий «фактор», состоящие «готовности» которого следует, конечно, учитывать, но лишь для того, чтобы более или менее правильно им манипулировать, проводя те или иные задуманные реформы. Или народ, люди, общество — это для нее и в самом деле та высшая «инстанция», перед которой она чувствует себя обязанной постоянно и во всем отчитываться и не может позволить себе хоть что-то делать за его спиной. Во всяком случае, именно в этой области, мне кажется, прежде всего и произошла та утрата ДОВЕРИЯ людей к власти, которая стала сегодня едва ли не центральной проблемой всей нашей общественной

жизни, не только политической. И вот в связи с этим я хотел бы задать Вам такой вопрос — несколько как бы условный, гипотетический. Если бы Вы сегодня оказались вдруг снова у руководства страны — чем бы Вы попытались вернуть или завоевать, а потом и укрепить это утраченное доверие людей к государственной власти? На что бы Вы сделали главную ставку, стремясь вызвать в обществе хотя бы — для начала — некоторое устойчивое заинтересованное внимание к предлагаемым Вами политическим, экономическим и прочим программам?

— Вы знаете, я сохраняю и сегодня приверженность тому выбору, который был сделан мною. Вне утверждения демократических принципов, институтов, вне утверждения свобод, прав человека я не мыслю себе глубоких реформ, которые привели бы к стабильной демократической России с социально ориентированной экономикой и сильной правовой и государственной защитой свободы и прав человека. Я не могу поэтому принять никакие лозунги и призывы вернуться назад. Это безответственно...

— Это понятно. Но я имею в виду не столько даже само содержание Ваших возможных будущих программ и целей, — цели у всех ведь хорошие, кто ставит плохие? Я имею в виду, повторяю, прежде всего сам способ общения власти с обществом, характер ее диалога со страной. Скажите, — какие-то уроки именно на этот счет Вы извлекли для себя и из своего прошлого, и из опыта нынешней власти? На чем бы Вы построили сегодня Ваши некосредственные взаимоотношения с обществом?..

— Ну, я думаю, для меня трудно будет выйти на такое согласование интересов власти и общества без того, чтобы решительно не изменить ту политику, которая проводится с начала 92-го года. Я уже говорил об этом и еще хочу сказать: я уже не могу называть сегодняшние власти демократическими, хотя они и говорят, что они проводят демократические реформы. Я вижу сползание к авторитаризму, и главное то, что в реформах, которые проводятся, в том, как они проводятся, нет совестливого отношения к людям, переживания за них. Эта политика отдает каким-то цинизмом. То есть, вот макрозадачи — да, а что там с людьми происходит на всех уровнях, куда их отбрасывает — и стариков, и интеллигенцию, да и тех же рабочих, и товаропроизводителей, — все это неважно. Я не думаю, что такая политика без моральных ориентиров, со ставкой только на какие-то принципы макроэкономики может называться демократической. Эту политику нужно менять. Я думал, что нынешняя власть получила серьезный сигнал на этот счет после декабрьских выборов и этот сигнал уловила. Когда выступил Президент, мне показалось, что да — надежда есть, сигнал принят. И я ждал, что это найдет свое отражение в программе правительства. Но — ничего подобного. Мы наблюдаем полное отсутствие такой политики, которая приняла бы эти сигналы и внесла

серьезные коррективы и в плане большей поддержки бизнеса, и в плане изменения налоговой политики, и всего того, что необходимо, чтобы не произошла деиндустриализация страны, развал той основы, на которой любое развитое государство только и может строить какие-то планы. И наконец, чтобы мы не просто получали какие-то социальные послабления под давлением всякого рода забастовок и т.п., а увидели, что создается система социальных страховок, поддержки людей. Ну и, наконец, мне совершенно непонятно, такое это, по-моему, глубокое заблуждение, уничтожающее, вообще говоря, нацию, — это то, как обращаются с наукой, культурой и образованием. Я не знаю ни одной страны, сделавшей в последние десятилетия прорыв, которая не начинала бы с того, что всячески стимулировала отечественную науку, образование, культуру поддерживала. Так что пока я вижу пожарные дела, пожарные методы правительства, но отнюдь не продуманную политику. Если же под этим скрывается продуманная политика, а именно — переделить собственность и через эту приватизацию взять командные высоты в новой ситуации, похоронив тем самым демократическое содержание реформ, то это уже не демократия, это прихватизация самая настоящая...

— *Михаил Сергеевич, если уж говорить о сигналах, посланных власти выборами 12 декабря, то, мне кажется, есть и еще один сигнал, и самый важный, который правительство тем не менее вообще, как выражается современная молодежь, не «усекло». На мой взгляд, один из самых главных уроков этих выборов заключается даже не в том, что люди потеряли экономическое терпение, больше не могут материально выносить тяжкое бремя реформ, не удовлетворены мерами социальной защиты и т.д. Все это, конечно, очень важно, жизнь есть жизнь. Но ведь народ у нас очень терпеливый, и он, я уверен, снес бы еще очень многое, если бы верил в необходимость этого, верил в этом властям. Но в том-то и дело, что никто уже, кажется, ни в такую необходимость, ни вообще властям не верит. И не верит потому более всего, что людям надоело постоянное вранье, люди не могут и не хотят чувствовать себя больше болванами, которыми политики манипулируют, как хотят, обещают одно, делают другое, отменяют то, чем облагодетельствовали вчера, вводят то, от чего зарекались — словом, врут на каждом шагу и прямо в глаза...*

— Ну, я могу только подтвердить то, что Вы сказали. Вот я только что был в Санкт-Петербурге. Там были разные встречи — на предприятиях, в акционерных компаниях, просто в городе — с предпринимателями, банкирами, со студентами и т.д. Словом, широкий контакт. И вот я был на акционерном объединении «Алмаз». И я там говорил с рабочими — их никто, знаете, там не созывал, но вдруг я оказался в их окружении. Начался разговор,

они спрашивают: когда, наконец, начнем выбираться из этой пропасти? А я их спросил — это к Вашему вопросу о вранье, — почему Вы на выборы не ходите? Там ведь, знаете, городское собрание даже не выбрали — избрали всего 25 депутатов, а надо выбрать хотя бы — минимально — 36 из 50-ти. Выборы не состоялись. Ответ: надоело слушать эту болтовню. Мы не верим ни здесь, местным властям, ни российским властям. Вот и все... Я спросил, когда собрались руководители предприятия — уже после беседы: это что — отторжение политики, безразличие, инертность? Нет, говорят, это позиция. Причем — острая позиция.

— *Но чем же все-таки можно вернуть в таком случае доверие? Просто изменить нынешнюю экономическую и политическую программу на какие-то другие? Да кто в них теперь поверит? И почему, собственно, в них нужно верить?..*

— Ну, знаете, я думаю — как бы это странно ни прозвучало сейчас — без соединения политики тех, кто стоит у власти, с нравственностью, с совестью, с порядочностью, ничего не получится. А что сегодняшнее руководство страны? Оно же пришло к власти на волне борьбы с привилегиями, с аппаратом, его засильем, а теперь у нас для одного российского аппарата не хватает помещения, в котором располагался раньше и российский, и союзный. А привилегии, которые учредили себе сегодня власть имущие на всех уровнях, коммунистам в их времена и не снились...

— *Михаил Сергеевич, в таком случае — последний вопрос, и я не буду больше отнимать у Вас время, отпущу, как говорится, Вашу душу на покаяние. Все, о чем мы сегодня говорили с Вами, сводится в общем к тому, что без какой-то внутренней нравственной связи и доверия между обществом и властью, без каких-то объединяющих их общих духовных ориентиров, без созидательной идеи, стимулирующей самоорганизацию общества, надеяться на его активное участие в любых реформаторских начинаниях любых властей невозможно. Так вот, если говорить о нашем ближайшем будущем, как Вы представляете себе — какая объединяющая, общенациональная идея — общенациональная в широком, не узко-этническом смысле — могла бы стать сегодня таким духовным стержнем и стимулом самоорганизации общества, способствовала бы началу его активной жизнедеятельности?*

— Ну, я думаю, что это все-таки становление новой демократической России. Это если говорить о больших целях. Сегодня у нас главная задача и ближайшая цель — народ из беды вытянуть, стабилизировать ситуацию. А движение дальше — это все-таки становление новой демократической России, где бы торжествовали свободы и человек чувствовал себя человеком... По-настоящему.

— *«Демократическая Россия» — это, конечно, прекрасно звучит. Но не слишком ли все же отвлеченно? Это годится в ка-*

честве общего обозначения того типа общества, к которому мы идем, но вряд ли в качестве формулы того, что же нам делать для этого сегодня, на чем, так сказать, согласиться и объединиться, какие ориентиры строительства этой новой России, учитывающие именно специфику нашего сегодняшнего состояния, выставить... И на Западе ведь — тоже все сплошь демократические общества. Что-то, мне кажется, явно требует здесь какого-то особого дополнения, учитывающего, может быть, как раз вот ту самую потребность в честности, порядочности, справедливости и создаваемого общественного устройства, и самой в нем жизни, которая так особенно остра у нас сегодня и из-за резкого социального расслоения, и из-за утраты доверия к изолгавшимся властям...

— Ну, это уже конкретизация. Но, конечно, я для себя не мыслю новую Россию без этой вот идеи солидарности и справедливости. У нас это не получится иначе. Все народы искали такую справедливость и будут ее искать, для нас это сегодня — особенно остро...

— Ну хорошо, не буду Вас больше мучить. Спасибо Вам, Михаил Сергеевич, за беседу.

2. ИНТЕРВЬЮ С Е.Т.ГАЙДАРОМ

— Егор Тимурович, я хотел бы начать вот с какого вопроса. Когда перед Вами впервые открылась возможность реально и по крупному счету сделать что-то в России, с какими надеждами и целями Вы решились на это? Я понимаю, что как профессионалу-экономисту Вам, наверно, помимо всяких иных соображений просто хотелось поскорее попробовать применить на деле свои знания, свое понимание ситуации, проверить свои теории и т.п. Но ведь эти теории и программы были же ориентированы, выражаясь высоким стилем, какими-то более общими идеями, целями, задачами, наконец — идеалами, связанными прежде всего с представлением о том, какую страну в результате всех реформ Вам хотелось бы построить, какой тип общества утвердить? С чем в этом смысле Вы шли на то место, которое вам судьба предвляла, ставя вас фактически во главе страны? Как предвляла себе, что именно Вы хотите для нее сделать, какой образ ее будущего перед Вами стоял, о чем Вы в этом плане думали и, может быть, мечтали? Простите, я возьму для начала именно такой вот, как бы несколько идеалистический ракурс...

— Вы знаете, путь к реальному принятию решений был длинным, неодномоментным. И на самом деле на разных этапах доминировали разные соображения. Разные образы будущего, разные образы принципиальных задач и разные образы принципиальных

угроз. Ну, в какой-то степени какие-то первые возможности пусть слабо, но хоть как-то соприкоснуться с реальным механизмом принятия решений у меня появились в середине восьмидесятых годов, когда старая партийная элита в очередной раз начала тур работ и обсуждений, связанных с так называемой перестройкой хозяйства. Это давно было, я был тогда молодым человеком, и подавляющее число моих друзей и единомышленников были в это время глубоко убеждены в устойчивой стабильности той социально-экономической системы, которая сложилась тогда в Советском Союзе. Считалось, что она, разумеется, в долгосрочном плане в общем неэффективна, где-то даже маразматична, но при этом на редкость стабильна. И для меня два было главных соображения — главное профессиональное было связано с желанием внести хотя бы какие-то элементы здравого смысла в экономически происходящее, попытаться сообщить некоторые изменения экономической политике в том направлении, которое мне казалось разумным. А политически я был среди немногих моих друзей этаким как бы чуть розовым оптимистом: мне казалось, что стабильность системы не столь высока, как кажется, что неизбежное столкновение с нарастающими экономическими трудностями — а они уже вырисовывались впереди — непременно приведет к социальным напряжениям, которые скажутся и на политических процессах. И для меня предельно важной была надежда на то, что эти политические изменения рано или поздно раскачают, размоют основы этого склеротического тоталитаризма, который сложился в России.

Вот это было в самом начале. А если говорить о том, что было в самом конце, то есть осенью 1991 года, там все было иначе. В это время перед нами была абсолютно ясно видимая картина рухнувшего государства, неработающей государственной машины, армии, которая отдает оружие первому, кто попросит, Комитета государственной безопасности, который отдает центры управления тем, кто туда постучится; противоречивое законодательство, отсутствующие границы, неработающие таможи, неработающие пятнадцать центральных банков, конвертирующих общую валюту, — общая картина хаоса и анархии при парализованном механизме управления экономикой, более всего напоминающая, если искать аналогии в русской истории, ситуацию в 17 году. И для нас в это время принципиально важным было не допустить, чтобы развитие событий еще раз пошло бы по тому же сценарию, по которому оно пошло в 17 году.

— *Понятно. И методы, которые Вы тогда решили задействовать, это, на Ваш взгляд, были именно те методы, которые в этой ситуации и были необходимы?*

— Да, на самом деле в этой ситуации иначе было нельзя. Если проанализировать тот же 17-ый год с социально-экономи-

ческой точки зрения, — то, в общем, там тоже ведь были две довольно жесткие альтернативы, мягкие не работали. Если говорить о политике, то нужно было срочно, на любых условиях заключать мир, спасения уже другого не было. И тогда на этой основе нужно было резко сокращать военные расходы, стабилизировать внутреннее денежное обращение, чтобы можно было открыть рынки, которые к 17-му году уже закрылись, отсутствовали в связи с кризисом. Либо надо было энергично, жестко объявлять войну крестьянству, вводить продразверстку и ее осуществлять. Шансы уцелеть имела на самом деле только партия, способная сделать или первое, или второе.

Существовавшая в 1991 году альтернатива была на самом деле абсолютно та же самая. Ситуация с инфляцией, со снабжением городов абсолютно напоминала осень 17-го, и точно так же в этой ситуации могли работать только радикальные решения, мягкие полумеры были бы слишком слабы, чтобы оказать какое-то воздействие на страну в такой экстремальной ситуации...

— *Тогда я вот какой вопрос задам. Теперь Вы практически вышли из правительственных структур, из действующего руководства страны. Как сейчас Вы сами, оглядываясь назад, на путь, который Вы прошли, на то, что Вы сделали, и что не сделали, — как Вы оцениваете этот путь сегодня? В чем Вы видите свои главные ошибки и главные достижения, которых все-таки удалось добиться?*

— Вы знаете, если говорить о главном, что удалось сделать, то я считаю, что главное все-таки было то, что рынок в России стал реальностью.

— *Вы считаете, что это реальность?*

— Без всякого сомнения, это реальность.

— *Несмотря на то, что он такой вот дикий?*

— А что, разве я спорю с тем, что он дикий, нецивилизованный?

Но вот то, что он при этом реальность — это совершенно очевидно. В 91-м году он не был реальностью, а сегодня, какой он ни есть, он реальность. Соответственно появились нормальные, настоящие деньги, не очень устойчивые, но настоящие. Проблема дефицита, которая была стержнем социальной организации экономики социалистического типа, отошла на периферию общественной жизни, экономика стала открытой, валюта неустойчиво, но конвертируемой, частный сектор, естественно, еще очень молодой и диковатый, стал реальностью, удалось впервые за долгие годы провести демилитаризацию нашей экономики, многократно сократив производство вооружения, удалось создать какие-то основы, маленькие еще, правда, но все же основы частно-крестьянского сектора в сельском хозяйстве, удалось создать рынок жилья, который тоже стал реальностью в России, удалось создать все-таки достаточно широкие возможности для свободного предпринимательства... И

все это удалось сделать, сохранив основы демократических свобод. Вот то главное, что, мне кажется, удалось. Из того же, что, на мой взгляд, было наиболее серьезными ошибками... Ну, было довольно много всяких технических ошибок, а если говорить о принципиальных, то главное, я думаю, это то, что наша политика не была — по крайней мере сознательно — отцентрована на создание социально-политической базы, обеспечивающей устойчивость проводимых преобразований. То есть, нельзя сказать, что мы об этом не думали, — думали, естественно, и поэтому пытались максимально ускорить приватизацию, понимая, что это база необратимости реформ, ускорить формирование частного сектора в крестьянстве. Но всерьез все-таки эта политика не была систематической, не была последовательной, а по многим направлениям то, что мы делали в экономике, наиболее серьезно и резко было именно по тем как раз социальным группам, которые должны были быть и были объективно главным источником нашей политической победы. Вот это, на мой взгляд из всего, что было сделано, наиболее серьезная ошибка, которую мы допустили...

— *С пониманием именно этого обстоятельства и связан ваш нынешний активный выход в собственно политическую сферу — в качестве лидера «Выбора России»?*

— Да, Вы знаете, после того как экономика сыграла в какой-то мере свою роль — а что бы там ни говорить, жизнь сегодня в России, вы не станете ведь отрицать, стала все-таки поспокойнее, чем осенью 91 года, когда все боялись голода и холода... И это было вполне реально. Но сыграв в какой-то мере такую вот собственную роль, экономика с течением времени и довольно быстро стала в полной мере заложницей политики. Стало ясно, что дальнейшее развитие экономических процессов является функцией не такой вот собственно технико-экономической перцепции и будет зависеть не от тех, кто умеет наиболее точно прогнозировать динамику инфляции и владеет методами управления свободным спросом, а от тех, кто имеет возможность подкрепить свои экономические предложения наиболее весомыми политическими аргументами. Когда мне это стало ясно, тогда вот, собственно, мне и пришлось перенести значительную часть моей деятельности из сферы технико-экономической в сферу политическую.

— *И на какие общественно-политические стимулы более всего Вы теперь рассчитываете, на что собираетесь делать главную ставку в работе Вашей партии?*

— Самый главный политический стимул, объективно работающий на нас, это стимул реальности угрозы. Так или иначе, но нам удалось довольно существенно изменить социально-экономическую жизнь в России. Появилась как бы травка такая — травка новых социальных укладов, новых привычек, новых обретенных и, кажется, устойчивых социальных явлений — ну, скажем, право

не бегать в партком за разрешением поехать за границу, право открыть собственное дело, право за свои деньги купить продукты, право не кланяться всякому встречному начальнику, право читать, что ты хочешь, — ну, и много, много других прав, включая право частной собственности, право иметь свои деньги, право зарабатывать и т.д. Вот, на мой взгляд, эта вот слабенькая социальная травка гражданского общества, — это и есть главная наша социальная опора именно потому, что она очень еще уязвима. Она очень хорошо помнит, как недавно еще ее не было, и понимает, как легко по ней проехать бульдозером. Вот страх этого бульдозера, реальное опасение такого развития событий, при котором все это окажется всего лишь краткосрочным эпизодом, — это и есть, на мой взгляд, наиболее серьезный стимул политической самоорганизации тех групп, тех слоев, которые нас должны поддерживать.

— *И как вы оцениваете — хотя бы приблизительно — весомость этих слоев?*

— Вы знаете, это очень сложный вопрос. Дело в том, что тут разные слои и с разными приоритетами. Скажем, если мы будем оценивать тех, кто экономически выиграл...

— *Ну да, это понятно — коммерсанты, частично предприниматели...*

— Да, да, — ну и какая-то часть рабочих, — по опросам, примерно процентов двадцать. Ну, а вот, скажем, интеллигенция, социальный слой, экономическое положение которого, к сожалению, во многом ухудшилось, — ее социальный статус оказался под угрозой. Но для этого слоя очень важен целый ряд других свобод, которые пришли вместе с этими преобразованиями. Именно этим объясняется, что этот слой оказывает нам поддержку, хотя, казалось бы (и это было бы справедливо), он должен был бы очень многое не принимать из того, что у нас в экономике. То есть, очень многое зависит все-таки от реальности угрозы. Вот, скажем, в марте-апреле 93 года эта угроза была реальной, и образовалась широкая коалиция во время проведения референдума. А осенью ведь что было поразительно — возникло некое ложное ощущение покоя, коммунисты и т.п. — все это как бы отошло в прошлое. А оказалось все не так. И оказалось все не так именно потому, что угроза ушла — и ушла база для социальной мобилизации потенциальных сторонников стабильного развития России...

— *Значит, для реальности у нас демократии нужна реальная угроза?..*

— Я бы сказал так: не для реальности, а для политической мобилизации демократии сегодня. Это неприятно, но это факт. Сегодня это является прямой функцией от осознания реальности угрозы, которая ожидает демократию...

— *Хорошо...*

— Плохо, но это факт!

— Нет, я в том смысле, что очень четко отвечено на вопрос. Теперь я позволю себе повернуть нашу беседу немного в другую сторону. В одном из последних номеров нашего журнала была напечатана статья философа А.Арсеньева, на которую, в свою очередь, откликнулся публицист А.Стреляный. Ему не нравится, что А.Арсеньев верит в возможность для России какого-то особого, третьего, не по схеме классического капитализма пути, на котором хозяйственные формы жизни могли бы быть подчинены духовным критериям. А.Стреляный считает, что эта тема вообще должна быть исключена среди серьезных людей и статьи на эту тему серьезная журналистика должна перестать печатать — подобно статьям об устройстве вечного двигателя. Хотя, замечу я, точка зрения, высказанная А.Арсеньевым, — весьма распространена. Но Вы, если я правильно Вас понимаю, ближе скорее к точке зрения А.Стреляного, не так ли?

— Ну, я плюралист, я не сторонник ограничения свободы мнений...

— Нет, нет, я не об этом спрашиваю, я понимаю, что Вы за свободу мнений. Я спрашиваю по существу.

— А если по существу, то в общем — да. Я, слава Богу, хорошо себе представляю бесконечное количество реальных путей капиталистического развития, и они все очень сложные, они все очень тесно завязаны на национальную специфику. В этом отношении проблемы капиталистического развития России не представляют исключения. Они в некотором смысле типичны для стран, которые называют странами догоняющего капитализма, хотя имеют и чисто российские компоненты. И проблемы постсоциалистических стран — они тоже имеют некоторую общую основу, что, кстати, заметно облегчает анализ, прогнозирование, оценки, неплохо позволяет видеть проблемы, которые в этих странах неизбежно встают. Но, конечно, есть и набор сугубо специфических российских проблем, которые всегда будут требовать учета при анализе того, что происходит в нашей стране. Я сторонник какой позиции? Я абсолютно не верю...

— В какой-то особый, третий, путь?..

— Да, в особый третий путь, но абсолютно не верю, с другой стороны, и в марксову схему, в соответствии с которой наиболее развитые страны показывают отставшим от них их будущее. Это неверно в отношении и капиталистической, и социалистической модели видения мира. Я просто вижу, что вперед ушедшие страны бросают некий вызов, а то, в какой степени другие страны способны принять этот вызов и как конкретно будет принят этот вызов, — это во многом вопрос внутреннего развития социальной структуры в каждой данной стране.

— Ну, а если в таком случае поставить вопрос так: какие же национальные особенности России нужно, по вашему мнению, учитывать, говоря о перспективах общего — капиталистического — ее развития? Что для Вас является наиболее существенным в российском варианте?

— Вы знаете, это всегда носит конкретно-исторический характер...

— Нет, нет, я имею в виду не историю вообще, а данный, конкретный момент. Вот сегодня, сейчас — что, с Вашей точки зрения, настолько специфично для России, что требует обязательного учета при «планировании» и прогнозировании ее «догоняющего» развития?

— А-а,— сейчас? Сейчас... Я бы сказал так. Если говорить о вещах, типологических для постсоциалистических экономик, то я бы назвал здесь отсутствие исторической легитимации отношений собственности, сравнительно высокую для их уровня развития базовую государственную нагрузку на экономику, относительно низкую долю добровольных сбережений, отсутствие исторических традиций в существовании стабильных демократических институтов, слабость правовой базы частно-хозяйственных отношений. Из того же, что я бы отметил как специфическое для России, я бы выделил очень большую историческую протяженность периода коммунистического эксперимента, который длился не одно, а три поколения, в результате чего традиции частной собственности, частного предпринимательства оказались в еще гораздо большей степени новыми, отсутствие устойчивых традиций частной собственности вообще в истории России. Я бы выделил традиционно высокую роль государства в экономическом развитии и вообще в регулировании общественной жизни России, выходящую за рамки социалистического эксперимента. Я бы отметил относительно закрытый характер экономики России, в том числе и в силу транспортных факторов. Словом — целостность долгосрочно некапиталистического закрытого мира, я бы так сказал...

— Но вы сейчас все время рассуждаете как профессионал-экономист, рассматривающий структуру общества, социально-исторические тенденции, обстоятельства и т.д. с точки зрения действия тех экономических механизмов, которыми Вы надеетесь, так сказать, запустить страну в нормальное для нее путешествие по пути «догоняющего» развития. Это понятно. Но если поставить вопрос так, несколько иначе — я специально к этой проблеме обращаюсь, потому что тут существуют разные точки зрения, и мне интересно, насколько Вы как профессионал-экономист считаете эту проблему вообще существенной. Вот если поставить вопрос так: Достоевский в свое время говорил, что без великой одушевляющей идеи не может быть ни великой личности, ни великой нации. И сегодня часто можно

слышать, что без какой-то новой великой общенациональной идеи создать новое общество, новую Россию невозможно. Как Вы считаете — имеет эта позиция под собой какую-то действительно реальную, серьезную основу или это больше, ну, красивая мифология, что ли, а экономические механизмы, с которыми Вы имеете дело, вполне самодостаточны в этой ситуации и не требуют для себя еще и такой вот подпорки в качестве обязательного условия? То есть, могут ли они действовать и без обращения к этому фактору: есть он — хорошо, нет — сработают и без него?..

— Да, в общем я сторонник скорее второго взгляда: это хорошо, но не обязательно. Прекрасно, когда у страны есть большая национальная идея: это существенно повышает — действительно повышает — скажем, шанс на устойчивость рыночной демократии. Шумпетер был абсолютно прав: что и говорить, капитализм действительно негероичен, он лишен романтической прелести, идеологически всегда слишком прозаичен. Большая национальная идея — это, конечно, существенно стабилизирующий элемент для укрепления демократических и рыночных институтов. Они всегда под угрозой действия мощных социальных сил, которые пытаются искать решения вне рамок допустимых значений устойчивости демократии — острых конфликтов между различными социальными группами, национальных конфликтов и т.д. Поэтому, конечно, блестяще и замечательно, если существует такой широкий национальный консенсус...

— *Что ж, ответ совершенно понятен, все очень ясно и четко. Скажите, а Вы сами думали на тему о том, какая идея в наше время могла бы стать таким вот объединяющим духовным фактором?.. Я понимаю, что это просто так с потолка не берется, из пальца не высасывается, но что-то иногда как бы носится в самом воздухе. У Вас нет ощущения, что настала пора рождения чего-то в этом смысле, что уже предчувствуется в посткоммунистической России, которая все еще не обрела своего лица? Потому что такая общая формула, как «демократическое лицо» — это, может быть, конечно, и хорошо, но пока народ, похоже, не очень и понимает, что это такое...*

— Вы знаете, я профессионально плохой творец качественных идеологем. Для меня вот лично — для меня — такой вдохновляющей идеей является идея русского экономического чуда, как — я это абсолютно точно знаю — абсолютно возможной реальности, от которой нас почти ничего не отделяет кроме четырех-пяти лет социально-политического мира и стабильности. Для меня вот этого вполне достаточно — я вижу, как это может быть, как в принципе Россия может стать самой динамичной, развивающейся страной XXI века, как она может наверстать отставание, как она может стать экономической восходящей звездой. Мне этого достаточно. Ну, а достаточно ли этого для общества — это вопрос другой...

— Понятно, понятно. Мне и интересна как раз именно Ваша парадигма. И здесь у меня только еще один уточняющий вопрос такого рода: все эти экономические механизмы, которые действуют на определенной общей типологической основе посткоммунистического общества, — они ведь все-таки все обращаются к какому-то, скажем так, «человеческому материалу». Так вот: «человеческий материал», который предлагает сегодня Россия после семидесяти лет тоталитаризма, — не является ли он все-таки благодаря всем тем специфическим для России моментам, о которых Вы только что сами говорили, принципиально в чем-то уникальным, не отличается ли он качественно от того, что предлагают в этом отношении те же, скажем, страны Восточной Европы? Или здесь можно моделировать, Вы считаете, именно по типологическому принципу?..

— Я думаю, что все-таки скорее да. Ну, конечно, есть отличия, но принципиальные проблемы во многом общие.

— Хорошо, мне совершенно Ваша позиция ясна. Теперь два последних вопроса. Один вопрос традиционный: как Вы прогнозируете все-таки в ближайшие год-два развитие России? Вы видите какое-то, что называется, для нее спасение, или у Вас ощущение, что надвигается все-таки катастрофа?

— Я скажу так в двух словах: положение тяжелое, но не катастрофическое.

— И надежда у Вас именно на те факторы, о которых Вы говорили, — на то, что удалось уже сделать? Что это будет работать, да?

— Да.

— Понятно. И в заключение, если можно, ответьте мне, пожалуйста, и на такой вопрос. Существует, Вы, наверно, знаете, такой мифологизированный образ Гайдара: сын богатых, престижных родителей, который ездил на машине в школу и вообще не знал, так сказать, никаких бед, и все такое прочее. Я хочу спросить не о том, в какой мере это так или не так, — но мне вот что интересно: существовала ли для Вас внутренне, психологически проблема какой-то адекватности Вашего личного опыта, который Вы имели в жизни, тем задачам, которые Вы на себя взвалили, взяв тем самым на себя в огромной мере ответственность за людей, жизнь которых нужно, по крайней мере, реально себе представлять, чтобы быть способным более или менее адекватно ответить на их запросы, понять их?

— Ну, знаете, во-первых, надо учитывать специфику нашей семьи. Я не ездил никогда на машине, даже когда я учился в четвертом классе и мне надо было ездить в школу в чужой стране через весь чужой город. У отца машина, разумеется, была, но я все равно ездил в школу через весь город на двух автобусах — ну, просто потому, что иначе было неприлично. Я довольно быстро

перестал что бы то ни было брать у родителей, когда стал студентом и женился, зарабатывал и подрабатывал сам — консультациями, репетировал и т.д. У меня довольно рано родились дети, а зарплата была небольшая. Поэтому я ведь в общем не из...

— Не из «золотой молодежи»?

— Да, не из золотой молодежи. Я хорошо знаю, как живут студенты. Так что у меня тут нет каких-то комплексов. Я прекрасно понимаю, что есть, конечно, люди, которым приходилось всегда намного тяжелее, чем мне, но я знаю, что есть много людей, которым жилось и неизмеримо легче...

— Спасибо, Егор Тимурович.

3. ИНТЕРВЬЮ С В.В.ВИНОГРАДОВЫМ

— Владимир Викторович, я начну с вопроса, ответ на который мне интересно было бы услышать от Вас как от человека, который принадлежит к совсем другому поколению, чем мое. Вам ведь, наверное, еще и сорока нет?.. А, тридцать восемь? Значит, Вы начинали тогда, когда мы, кого сейчас называют шестидесятниками, уже, как говорится, стали спускаться под горку. Насколько я понимаю, Вы были экономистом, финансистом и до того, как затеяли создание Инкомбанка...

— Да, до этого я работал в Промстройбанке СССР...

— Так вот, когда пять лет назад у Вас появилась возможность начать свое дело и Вы с коллегами основали Инкомбанк, у Вас, я думаю, наверное, просто чесались руки от нетерпения взяться, наконец, за какое-то свое, собственное дело. И это, наверное, и были те самые первые стимулы, которые Вами руководили — стимулы профессиональные, творческие. Это мне понятно. И все-таки, мне интересно — а какие-то иные, более широкие — ну, если выразиться высоким штилем, гражданские, патриотические, например, стимулы имели для Вас при этом значение, играли какую-то роль, когда Вы принимали свое решение? Ваша предстоящая работа, то, что Вы будете делать, — Вы как-то сопрягали это, скажем, с образом России, которую Вам хотелось бы построить? Или Вы об этом тогда не думали и Вам просто поскорее хотелось взяться за настоящее дело, попробовать свои силы, по-настоящему, наконец, профессионально поработать, что называется?..

— Вопрос не простой. Мне трудно сейчас конкретно вспомнить, что я тогда думал — в 86 или в 88 году. Я тогда действительно очень много размышлял об экономике России, читал книжки, изучал прошлое банковской системы России. Я имею в виду конец XIX — начало XX века. Это было как раз в русле моей диссертационной работы, которую я тогда писал. Я сидел подолгу в

Ленинке — это было в 85-86 годах; в 86-м я уже пошел работать в Промстройбанк. Но, конечно, прежде всего мною двигал тогда чисто профессиональный и материальный интерес. Все-таки де-душка Маркс, как его ни ругают, прав: бытие определяет сознание. Жить было очень тяжело, платили очень мало денег, я был старшим экономистом, зарплата была 180 рублей, а у меня был маленький ребенок, жена в декрете, и, учитывая, что я платил тогда еще и алименты своей бывшей жене, на руки я получал совсем ничего. Это было первое, если честно признаться, хотя все время в глубине присутствовало и чувство какой-то очень большой обиды за страну — не за ЭТУ страну, как пишет уважаемый В.Буковский, а за НАШУ страну. Люди мы были тогда уже взрослые, нам было по тридцать с небольшим, мы уже успели посмотреть страну, познакомиться с ней, понять, какая она большая и богатая, мы уже прочитали, какая богатая она была в прошлом, и мы прекрасно понимали, что, конечно, она живет плохо, не по возможностям, что народ может жить намного интереснее, намного более ярко. Было очень обидно за то, что мы не умеем делать элементарные вещи. У меня жизнь сложилась так, что я с самого начала, после того как закончил школу, не был окружен слишком уж идеальными условиями. Первые три курса института я отучился в Уфе, институт был в одной части города, а жил я в другой, и все время приходилось ездить на автобусе, который то ломался, то горел, и нужно было проехать двадцать километров, чтобы учиться. Утром приходилось вставать в семь часов утра, выходить и стоять с полутора сотнями таких же граждан, как и я, на остановке, драться за место, потом ехать, и было очень досадно, что нет возможности или приобрести квартиру рядом с местом учебы, или взять ее в аренду — тогда просто рынка такого не существовало. Я не говорю уж о том, что и думать было нечего, что кто-то создаст нормальные условия, что запустят, например, скоростную электричку или скоростной трамвай. Потом, когда я закончил институт и приехал работать в Волгоград, я увидел, как мы плохо умеем строить заводы и города. Это же ужас, как мы строим. Все эти Братски, все эти наши комсомольские патристические песни о подъеме Сибири, — все же это слезы и сплошное горе людей. И это было очень тяжело, морально тяжело, сознавать, тем более что мы тогда еще верили в какие-то идеалы, были своего рода идеалисты, понимаете. Хотелось сделать что-то хорошее для страны, полезное для всех, а для этого научиться делу, стать менеджерами. И вот мы окунулись в это болото под названием Атоммаш. Сейчас это нормальный завод, но тогда это было действительно болото, потому что в стране тогда уже было достаточно заводов, и все стоящие кадры, специалисты были привязаны к своим заводам — тогда неплохо платили квалифицированным токарям, слесарям, фрезеровщикам. А на новые заводы стекалось все отребье. Единицы только умели

по-настоящему работать. И вот с этими жуликами нам, молодым специалистам, приходилось начинать работать, зубастость приобретать, дома, которые рушились, и завод, который тонул в глиняных пластах, обживать — Вы же знаете историю Атоммаша. Было очень обидно, что мы плохо умеем считать, плохо умеем думать, плохо такие колоссальные финансовые ресурсы, которые были у страны, используем. Ведь то, что построено под Волгодонском, можно было построить чуть-чуть в другом месте, с большим расчетом и с затратами раза в два меньше. А все это так, такой большой ценой делалось, я подозреваю, начиная с 1917 года. Было просто ужасно себе представить, сколько же за это время душ погублено, жизнью, денег, возможностей, природы, не знаю чего еще. Вот за это было обидно. Я как-то очень рано это осознал. Рано осознал, что завод очень плохо управляется, а там тогда очень быстро люди росли, я через полтора года стал старшим мастером, начал уже мыслить в масштабах цеха, а цех был такой большой, что он составлял третью часть производства. И мне было хорошо видно, что на заводе не предусмотрены элементарные стандартные схемы, да и вообще чувствовалось, никому это не было нужно, когда создавали проект. Поэтому все приходилось заново изобретать эксплуатационщикам, которым недосуг это делать. А так называемое Цимлянское море? Совершенно бессмысленное мероприятие, были загроблены очень хорошие земли, заливные, они могли бы кормить сегодня весь юг России. А потом я застал и период, когда вырубали виноградники в 1985 году...

— Да, было тогда такое игривое Цимлянское, помните?

— Сейчас вы его не найдете... А я помню, потому что я тогда уже работал в комсомоле, и приходилось людям, приезжавшим из ЦК ВЛКСМ, «ставить», как это у нас было принято... Тоже очень интересная сторона жизни, которую я хорошо изучил за два своих без малого года работы в комсомоле. И просто это отвращение внутреннее меня почти уничтожило как личность и даже, по-моему, здоровье мое физическое почти подорвало — я все время испытывал, знаете, отвращение к этой системе отношений, партийно-комсомольской. И я бросил все это дело и ушел, как принято говорить в комсомоле, не очень «хорошо». Уйти «хорошо» — это считалось, когда человек ушел на место, где можно немножко красть. Или, наоборот, ушел в партийные органы на повышение. А я ушел в конструкторское бюро заниматься экономическими расчетами, собирался работать в финансовом отделе, потом поехал учиться в аспирантуру в Москву... В общем так вот все и получилось, что когда мы создавали свой банк, хотелось сделать все-таки что-то настоящее, большое, красивое. Если бы хотелось только, понимаете, хорошо заработать или украсть, наверное, такой большой банк не получился бы. Потому что сейчас, я скажу, от такого большого банка кроме морального удовлетво-

рения и раза в три большей ответственности, нагрузки и работы я ничего, в сущности, по большому счету не имею. И если я стал там или стану миллионером, так я этими миллионами все равно не пользуюсь, мне некогда ими пользоваться, потому что в этой стране просто нет инфраструктуры, чтобы ими пользоваться. А чтобы создавать такую инфраструктуру за рубежом, нужно бросить тогда банк, поехать туда жить и работать, понимаете? А я не могу его бросить, потому что, мне кажется, и мне будет плохо без него, и ему не очень хорошо. Поэтому я пожизненно, может быть, если не кандалной, то золотой цепью привязан к этому детищу. Вот такая ситуация, понимаете...

— Спасибо, очень интересный ответ. А теперь сразу, может быть, несколько неожиданно, задам такой общий вопрос. Сегодня мы переживаем ситуацию, которую называют часто Возрождением России. Во всяком случае, это, несомненно, какое-то движение России по какому-то новому пути, становление какой-то новой России, процесс глубинного исторического характера. Так вот, я вспоминаю в связи с этим мысль Достоевского, который утверждал, что без великой идеи не может быть ни великой личности, ни великой нации. Как Вы считаете — актуальна вот эта проблема — проблема обретения некой общей для нации, объединяющей ее великой идеи — для сегодняшней России?

Реальность ведь совсем иная: со всех сторон предлагаются какие-то реформы — экономические, политические, юридические, составляются соответствующие программы, призванные вывести страну из экономического краха, идут споры о том, какую строить политику, как быть с Содружеством и т.д. А вот о том, что можно назвать национальной идеей — национальной в широком смысле, не в узко-этническом; о том, что могло бы и должно было бы быть каким-то сплачивающим духовным цементом в обществе, которое находится в состоянии духовного разброда, хаоса, потерянности, что-то не очень заботятся. Как-то не видно, чтобы об этом думали и именно вокруг такой идеи строили все свои конкретные экономические и политические программы те, кто претендует направлять страну, руководить ею. Может быть, для этого просто не время сейчас, когда нас элементарный политический беспорядок и экономическая разруха губят? Или, наоборот, это все-таки какой-то очень серьезный просчет, какой-то глубинный изъян исторического государственного мышления тех, кто претендует мыслить именно на таком уровне?..

— Личности не выросли. Понимаете, личности не выросли! Те, кто начали вот этот процесс под названием «Перестройка», они просто не соответствовали уровню исторических требований, которые стояли перед такими личностями. Они просто не успели вырасти такими личностями. Может быть, они только еще растут,

может быть, вот в каком-то соседнем банке сидит человек, который сумеет сформулировать и выдвинуть такую идею...

— Но какую? Вот смотрите: раньше, скажем, это была идея национальной независимости православного русского государства — освобождения от татаро-монгольской власти. Это была ведь именно национальная идея, объединившая всю нацию, как такая же национальная идея оказалась могучим духовным фактором и в Смутное время. Или возьмите, скажем, то, что было в эти последние семьдесят лет — при всей даже отрицательности того, что тогда происходило. Тогда тоже была некая объединяющая идея — идея первого в мире социалистического государства, государства подлинной социальной справедливости, народовластия и т.д. и т.п. И, что ни говори, этим достаточно большое количество людей в стране вдохновлялось...

— Она очень успешно эксплуатировалась...

— Да, она очень успешно эксплуатировалась. Короче говоря, в эти эпохи был какой-то духовный цемент, который объединял страну. Вот я и спрашиваю: как Вы считаете — возможна ли и необходима ли идея такого рода, такого характера сейчас? И в чем она может состоять? Что может сегодня объединить людей и создать какую-то возможность действительной, а не на словах, не демагогически провозглашаемой прямой и обратной связи между теми, кто пытается сейчас как-то руководить страной, и населением, которое, похоже, смотрит на все это как бы со стороны? Ведь такое ощущение, что «демократия», которая у нас сейчас вроде бы строится, — она, может быть, строится, как, вероятно, искренне считают те, кто ее строит, и для народа, но ведь явно же — без народа. А, может быть, так и нужно сейчас? Может быть, сейчас такая ситуация, что достаточно каких-то чисто практических усилий, чтобы вывести страну из экономической разрухи, или политических, законодательных мер по укреплению порядка в общедемократическом направлении? Мне интересно здесь Ваше мнение именно как мнение специалиста, практика, который варится в самой гуще этой сегодняшней экономической и политической конкретики...

— Сейчас я попрошу, чтобы принесли один документ, я Вам покажу...

— Понятно ли я поставил вопрос?

— Очень хорошая постановка вопроса, глубокая. Я отвечу Вам так: у всякой серьезной организации, есть по международным стандартам, такая вещь, как **КОРПОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ**. Это позволяет организации устанавливать помимо командных, административных, экономических отношений со своими подчиненными, со своим персоналом какие-то духовные отношения и связи. В этом документе провозглашаются основные цели, задачи, лозунги и т.п. организации и основная идея ее развития, для

чего она существует, понимаете? И после того, как появляется корпоративный профиль, ему уделяется очень большое внимание, его пропаганде. Мы тоже создали такой корпоративный профиль — где-то чуть больше года назад — вот он, перед Вами...

— *То есть, только через четыре года после основания банка?*

— Да, через четыре года. Я думаю, то, что определяло политическую пропаганду в нашем бывшем Союзе,— это и было своеобразным корпоративным профилем социалистического государства, который активно рекламировался. Может быть, порою навязчиво, неумело, глупо, не в соответствии с требованиями времени, особенно в конце, когда лозунг «Правильной дорогой идем, товарищи!» с указателем на кладбище был уже просто смешон. Мне кажется, просто не созрели руководители этой страны, руководители политических партий, общественных движений, способные выработать такой общий «профиль» для страны. И мне кажется, что ничего такого уж особенного в этом «профиле» не должно быть, тем более каких-то лозунгов в два-три слова — типа, например, «Даешь самодержавие!» или что-то в этом роде. Там должны быть идеи, ориентированные на международный путь развития, но идеи, отражающие нашу национальную специфику,— идеи, которые будут близки каждому из нас. А что для нас близко? Для нас тоже важно благосостояние и счастье, но оно выражается для нас, русских, может быть, не столько в деньгах, как для американцев, сколько в процветании, ну, может быть, твоих близких, твоего микрообщества в целом, твоей деревни, наконец,— не развал, а процветание. Все же мы живем в каком-то микромире. Трудно, конечно, сформулировать этот «профиль» будущей России, но я бы сказал так: мы все работаем в России для того, чтобы создать своеобразное социально-рыночное государство, в котором общественные интересы будут очень хорошо сочетаться с личными интересами наиболее умело и прогрессивно работающих людей. И в результате роста общественного богатства будут очень хорошо удовлетворяться наши национальные интересы — развитие языка, культуры, религии, возможность восстановления русской деревни. Даже не в целях налаживания производства продуктов питания. Я более, чем уверен, что через десять-пятнадцать лет их научатся производить искусственно, не нужно будет землю для этого портить. А чтобы просто иметь наш национальный слой, связанный с землей... Может быть, на эту тему нужно провести большую общенародную дискуссию, не обязательно же этот «профиль» президент или премьер-министр должны разрабатывать, не их это функция. Это функция народа, он сам должен такую идею выработать...

— *Скажите, а вот если оценивать прошедший период — перестроечный, постперестроечный, не буду сейчас их делить,— с точки зрения исторических задач, стоящих перед Россией,—*

в чем Вы видите основные, главные, не говоря о разного рода частных и тактических, просчеты или ошибки, допущенные руководством страны? Что бы Вы поставили им — и Горбачеву, и Ельцину — в вину, за что предъявили бы им прежде всего счет — именно с этой точки зрения — Возрождения России?

— Понимаете, Горбачеву, мне кажется, просто нечего даже поставить в счет. Просто он такой уж человек, недостаточно решительный и очень доверчивый — поэтому он и привлекал к себе людей, которые потом очень быстро стали его противниками. Или привлекал слишком слабых людей. Может быть, он сам слабый человек, потому что по-настоящему сильные люди из слабых делают сильных или, в противном случае, не привлекают их. Он неудачно подобрал команду. Я не говорю о том, что его окружали старые кадры типа Лигачева, я говорю про новых, которых он сам привлек. Он же привел к нам, кстати, и Бориса Николаевича, это была его главная ошибка. Для тех целей, которые он ставил перед собой — большие, великие, — адекватных людей он просто не смог найти. И поэтому дело и рухнуло. Ведь совсем немного нужно было, и если бы удалось удержать Союз, не подписали бы эти беловежские соглашения, то было бы тяжело, может быть, вот столько же времени, как сейчас, но сегодня было бы уже легче, пошло бы лучше, потому что когда мы вместе, вся наша кооперация вместе, мы бы быстрее выбирались из этой клоаки. А в силу того, что его ближайшие помощники, друг даже, такой же, как он, выпускник МГУ, председатель Верховного Совета... забыл фамилию...

— Лукьянов...

— Да, Лукьянов. Он же стал противником, причем очень быстро, за два года сотрудничества, и я так подозреваю, что он вообще был идеологом всего этого путча. Не несчастный же наш руководитель КГБ, который был, наверное, хорошим помощником у Андропова, но и только. А Лукьянов, его друг бывший...

— Значит Вы считаете, — а так Вас понимаю? — что Горбачев ничего еще такого и не сделал, о чем можно было бы говорить и за что можно было бы его так или иначе судить? Ну, разве лишь кроме политики гласности?..

— Нет, политика гласности — за нее не надо судить. Почему? Это хорошая политика...

— Так я и говорю, что это единственное, что можно как-то оценивать...

— Да, по-существу ничего другого он и не сделал... А судить его — я ему это, кстати, сказал прямо в глаза, — судить его нужно прежде всего за то, что когда у него были в руках денежные ресурсы и власть, он не настоял на том, чтобы массово молодежь направить учиться за рубеж. Ну, и что, если бы от них, скажем, третья часть или половина осталась за рубежом? Во-первых, не

навсегда, кто-то и вернулся бы через пять или десять лет, но ведь основная масса сразу бы вернулась в Россию. Да, они не были бы на полную катушку востребованы той Россией, которая была тогда. Но они бы сейчас нам очень понадобились, понимаете. И не было бы, может, Гайдаров: ведь Гайдар — это же, в сущности, тот рак, который только на безрыбье рыба, его не от хорошей жизни откопали и вытащили на свет. Просто не было никого, абсолютно никого не было, и я представляю себе ситуацию, когда Бурбулис искал такого «Гайдара» и был очень рад, что его нашел. А если бы было хотя бы десять Гайдаров, то, может, хоть у одного была бы, например, бедная бабушка или он сам был из бедной семьи и если не через свои монетаристские теории, то хотя бы здравым смыслом понял, что нельзя — и ему просто жалко было бы — людей в такое обнищание погружать, так банкротить в результате падения рубля. Просто он представлял бы себе, что это значит, и никогда таких заявлений, какие делал порой в узком кругу, себе не позволил бы. Гайдар ведь говорил, что ему все равно, что они будут нищие... Но нельзя же так, для кого же тогда делается все это?..

Вот это было большое очень упущение. То есть, когда еще коммунистическая партия была крепкая, финансов было достаточно, в Российском государстве еще и не пахло разореньем, можно было отщипнуть десятую или даже двадцатую часть этих финансов, направить сотни две тысяч специалистов с заводов, уже прошедших стажировку, за рубеж и сделать из них резерв. Ведь всякая революция начинается с того, что власть опирается на новый какой-то социальный слой. А Горбачев ничего даже и подготовить не захотел, начал переливать из пустого в порожнее с этими партийными кадрами — да кому они нужны?.. Нужно было промышленников, производственников отправить туда учиться, как сделал это Петр, а он не сделал. И, может быть, еще при нем эти люди через год-полтора или два успели бы вернуться и ему опору составить. И не было бы у него тогда проблем с людьми, а то ведь его же друзья уже начали предавать, проблемы с людьми начались на каждом шагу... Но он до сих пор, кажется, не осознает, какая это была ошибка — когда я ему сказал об этом, он, по-моему, даже не понял. Во всяком случае, на челе его «не отразилось ничего». Он живет в том мире своих категорий, в котором вырос...

— Ну, а у нового руководства какая главная ошибка?... Вот если взять период после августовских событий.

— Вопрос трудный, двумя словами не выразишь...

— И все-таки, — вот, знаете, как дети говорят: если бы я был царь. Вот если бы Вы были Президент, если бы, ну, не знаю, Борис Николаевич Ельцин сказал бы Вам: Владимир Викторович, что с Вашей точки зрения нужно сейчас принципиально менять?

— Нельзя было отпускать цены на все товары. Тем более, когда нет законов, нет механизмов регулирования цен, когда совсем нет связи с внешним рынком. Ведь почему можно отпустить цены на все товары в Штатах или в ФРГ? Потому что это поддерживает механизм конкуренции, и как только ты отпустил цены, то сразу твои товары, если они окажутся плохими или слишком дорогими, будут вытеснены с рынка. Как бы при этом государство ни защищало интересы местного производства, хоть до последнего. Наглядный пример — конфликт между Францией и США по поводу цен на сельско-хозяйственные продукты. Или такой пример: США против автомобилей японских стояли до последнего, но после того, как выяснилось, что все в Америке должны японцам и если дальше Америка будет себя так вести, долги с них будут взыскивать, они вынуждены были уступить свой автомобильный рынок японцам... Цены нельзя было отпускать, потому что в результате пропорции цен не приблизились к мировым, они исказились еще больше, и сейчас, мне кажется, как бы это ни было тяжело и ужасно, нужно разработать серьезную программу исправления пропорций цен.

— *Административными методами?*

— Да, административными методами. На какой-то короткий период. Может быть, сделать какую-то регулируемую ценовую группу товаров, которые совершенно точно и открыто дотируются из бюджета. Нефть, например, — то есть то, что лежит в основе всего. Транспортные услуги. Но нельзя же так, чтобы сначала цены на ширпотреб так здорово обгоняли эти базовые ценообразующие товары, потом ценообразующие отрасли долго терпят и наконец прорывают этот барьер, прорывают не рыночным путем, а государственным и захлестывают цены на потребительские товары... И опять виток инфляции... На уровне экономическом это была большая ошибка. Потом в результате стали до бесконечности повышать процентные ставки Центрального Банка, загнали ее до двухсот десяти. Ну, разве можно для такой страны, как наша, учетную ставку ЦБ в 210? Просто уму непостижимо. Рублем сейчас никто не пользуется, все финансируется в долларах. Тем самым резко сократили денежную массу, которая необходима для инвестиционных процессов. Когда Федеральный резервный банк США во время рецессии 30-х годов поднял учетную ставку до 20 с лишним, там же все хваталось за голову, помирали, а у нас 210...

— *Ну, и как вы смотрите в связи с этим на ближайшее будущее России? Есть у Вас какие-то надежды, что дело постепенно будет улучшаться? Со всех точек зрения. С точки зрения возможности прихода к руководству каких-то новых людей, способных понять нужды страны, сформулировать действенную политику и реализовать ее. С точки зрения того реального экономического положения, в котором живет большинство населения страны — я не говорю о тех «новых русских», которые превос-*

ходно преуспевают, их все-таки очень мало... Есть ли у Вас какие-то надежды в этом отношении? На кого и на что Вы, если так, рассчитываете?

— Во-первых, пусть с нарушениями, пусть с хищничеством, но создается все же класс собственников. При этом я говорю не вообще про всех, кто хорошо чувствует бизнес, я говорю прежде всего о директорском корпусе предприятий. Его чествуют на каждом шагу, а я, в общем, считаю, что это в большинстве люди, которые раньше бесплатно, за спасибо, несли на своих плечах очень большую ответственность, ничего за это в сущности не имея. Сейчас они будут совершенно официально иметь реальное право собственности на своих предприятиях. И значительное право — кто будет три процента иметь, а кто и тридцать три, контрольный пакет. И поверьте мне, эти люди найдут, где взять деньги — у Инкомбанка или, не знаю, у какого-нибудь там немецкого банка. Эти люди уже начали формировать государство и чем дальше, тем больше будут его практически формировать. Они будут своих людей посылать в представительную власть, чтобы те их защищали. Собственность — ведь это же все, понимаете, она определяет и цели, и смысл жизни для этих людей, они ведь хотят еще получить что-то от жизни, а осталось им жить, может, тридцать, двадцать или десять лет. И они хотят обеспечить своих потомков. Они будут бороться за это, их интересы будут интегрироваться, и они обеспечат прогресс общества, они будут помогать создаваться вокруг себя социально-культурным институтам... Вот если бы такой спад, какой произошел у нас при Гайдаре, произошел бы в Штатах — в Штатах же он произошел на тридцать процентов, а у нас уже на сорок с лишним по отношению к 85 году, — если бы он произошел в Штатах, так там, наверное, вообще все заводы просто бы встали, и все бы превратились в безработных. А у нас еще до сих пор работают! Понимаете?! То есть, у нас парадоксальная ситуация. Если бы у нас предприятия были полностью частными, а их руководители — с идеологией и психологией американских предпринимателей, то они давно уже все свои капиталы увели бы за границу и давно бы уже где-нибудь отсиживались в своих Швейцариях или на каких-нибудь островах. А эти люди — в стране, они кормят своих рабочих, которые ничего не делают почти, потому что производство останавливается. Ну, кто-то какую-то продукцию небольшую, но не окупающую предприятие, производит, но и только. Раньше эти люди держали рабочих, потому что им жалко их — они же сами были все когда-то такими же слесарями. А после того, как они стали собственниками, они их держат в надежде, что им удастся восстановить предприятие. Вот я сегодня встречался с очень большим нефтяным руководителем, у которого в компании работает сто тысяч человек. И они с ноября зарплату не получают. Я так понял, что этот человек недавно

стал одним из собственников этой суперкомпании. И вот он говорит: мы пошли на экстремальный шаг — сняли из своих резервов двадцать миллионов долларов, проконвертировали их в рубли, чтобы заплатить людям зарплату. Потому что если они из этих северных необжитых краев уедут, они долго потом туда ни за какие коврижки не вернуться. Но ведь эти двадцать миллионов долларов — это ведь как бы и его уже собственность. То есть, эти люди не очень долго будут терпеть. И если у нового правительства, которое сформировалось после ухода Гайдара, не хватит глубины мышления, чтобы понять, что же надо делать, то я думаю, что они просто сами придут в это правительство, оставив за себя руководить отраслью своих помощников. У них неплохая, наверное, есть уже замена, у них нет такой сейчас проблемы, которая была у Бориса Николаевича, когда он искал на место премьера какого-нибудь человека, не связанного с ВПК. Они оставят замену и сами придут в это правительство. Вот в эти выборы таких очень мощных людей на такой решительный шаг не нашлось достаточного количества. Но Вы думаете, у нас нет таких людей — и куда более ярких, чем какой-нибудь Жириновский? Есть. Просто они сидели, молчали и смотрели. Но если еще и дальше будут ставиться на смертельную грань их личные интересы, я думаю, что они используют последнее средство, которое у них есть, — просто себя поставят, закроют собою эту амбразуру, для того чтобы через три, через пять там лет, когда все успокоится в стране, подберутся новые люди, курс выработается, стабильность появится, вернуться к своему делу. Человек, о котором я говорю, еще не старый, ему сорок пять лет, ему в промышленности еще работать и работать лет пятнадцать по меньшей мере. Так что следующий шаг — это придут такие вот серьезные люди к власти, и они будут более передовыми, более энергичными и больше знающими, чем поколение Черномырдиных и Сосковцов. В общем, я считаю, что хотя всем нам очень плохо и просвет очень плохо просматривается, нужно честно жить и не бежать за границу. Делать свое дело.

— Да, это-то безусловно. Я желаю Вам и это свое дело делать, и политику новой России формировать. А мы с вашей помощью будем свое дело делать. Спасибо Вам за беседу.

4. ИНТЕРВЬЮ С Л.И.ПИЯШЕВОЙ

— Лариса Ивановна, я хотел бы начать вот с какого вопроса. Я думаю, всем ясно, что то, что происходит с Россией со времен провозглашения так называемой Перестройки, и то, что будет происходить с нею в ближайшее время, — это процесс глубинного исторического характера. Кардинальная — в сущности, революционная если не по форме, то по содержанию — переделка

всего общественного организма. Выход на какой-то совсем иной путь исторического развития. Как вы представляете себе характер этого исторического процесса, характер тех объективных запросов истории, которые вызвали этот процесс? И каковы, на ваш взгляд, самые главные, стратегические, если можно так выразиться, ошибки или упущения, которые были сделаны и в горбачевский, и в ельцинский период со стороны власти, направившей и осуществлявшей реформу? Я говорю, понятно, не о технологии, не о том, монетарная там или не монетарная политика была бы правильной, такие-то, а не такие-то конкретные меры, а именно с точки зрения глубинного исторического процесса, его фундаментальных задач и запросов. В какой мере политика наших властей в течение обоих периодов была адекватна этим запросам?

— Как мне представляется, Горбачев начал перестройку под влиянием все более очевидного отставания России от Запада, ухудшения экономической ситуации, невозможности обеспечить экономический рост страны, необходимости ввести некоторые очень существенные коррективы в механизмы общественной жизни, связанные прежде всего с экономической ее стороной. С точки зрения той цели, которую ставил перед собой Горбачев, вовсе не хотевший отменять прежнюю социалистическую систему, а лишь ее модернизировать, он начал делать все абсолютно грамотно. Он сразу же запустил в Союзе все политические свободы, он даровал народу политическую демократию, он ввел — и, в общем, без крови, если говорить в целом, в масштабе именно колоссального исторического процесса — политические права и свободы — свободу слова, печати, митингов, собраний, демонстраций, многопартийность и т.д. Как живущие в стране люди смогли воспользоваться этими свободами — за это Горбачев ответственности уже не несет...

— Вы так думаете?

— Да, он не отвечает за то, какие, например, возникли партии, и не несет ответственности за то, какова теперь у нас свобода слова. Вот этот процесс политической демократизации страны был запущен, на мой взгляд, правильно и на полную катушку. И — без крови. Это первое. Второе: поскольку Горбачев не ставил перед собой цели перехода от социалистической системы к капиталистической, он задал очень узкую систему координат для экономической реформы. В сущности, экономическую реформу он и не продумывал. Он исходил из того, что если государственным предприятиям дать большую экономическую свободу в рамках общественной собственности и при этом запустить еще и частный сектор, который у нас всегда подавлялся, то этого будет достаточно, чтобы экономическая жизнь тоже начала работать в нормальном режиме. И надо сказать, что вот теперь, глядя из 94-го в 85-89 годы, видно: Горбачев дал и экономическую свободу, и недаром

сразу же стало возникать тогда большое количество кооперативов. Это было легко начинать, даже регистрировать — препятствий не было. Начала очень быстро разворачиваться служба быта — тот второй сектор экономики, который при большей свободе государственных предприятий начинал как бы конкурировать с ним — и притом в одинаковых юридически условиях. И это все могло бы иметь нормальное продолжение и дать такой же эффект, какой дала политическая демократия. Тем самым Горбачев положил начало экономической демократии, хотя и не собирался проводить реформу по переходу к рыночной экономике. Вот это был один исторический этап.

Второй исторический этап — это приход Ельцина с его очень активным намерением провести экономическую реформу. Для этого и был приглашен Гайдар. И вот здесь начинается другая история. Делать реформу по переходу к совершенно новому типу экономики — к рыночной экономике — пригласили социалиста. Потому что здесь никаких других экономистов тогда не было. Я говорю о самом менталитете: люди, которые обучались здесь, — их менталитет все равно, чему бы они ни обучались, был социалистический, и недаром все они были членами КПСС. Гайдар тоже был членом КПСС. Более того, они были очень приближены к власти: «Правда», «Коммунист» — это все ведь не случайные вехи в биографии Гайдара. Представьте себе, например, — вот Буковский залетел бы на месяц поработать в журнале «Коммунист» — каково, а? Это была определенная группа людей, которые выросли в определенной среде, и их пригласили делать реформу. Они не поняли — они, в сущности, даже не думали о конечном результате того, что они должны были делать. Они не поняли исторической задачи, которая была перед ними поставлена. Потому что задача эта состояла в следующем: нужно было решить вопрос с экономической демократией. А вопрос экономической демократии — это прежде всего вопрос собственности и никакой другой. Этот только один вопрос — вопрос собственности.

— *Но сама задача перехода России к рыночной экономике была поставлена правильно?*

— Да, я считаю, это был единственный путь для России.

— *А какая была — и была ли? — в этом внутренняя потребность после первого этапа, когда все, как Вы говорите, было правильно — переходить все-таки к кардинальной экономической реформе? Или можно было продолжать потихоньку действовать так, как это было на этапе Горбачева?*

— Я считаю так: если оценивать то, что Горбачев сделал, начало, которое он заложил, то с точки зрения медленного, поэтапного, эволюционного реформирования экономики там все было сделано грамотно. Но возникал вопрос: возможно ли вот такое медленное, поэтапное, эволюционное реформирование? Я на этот

вопрос однозначно ответить не могу. Это процесс, возможность которого проверяется только исторически. Но мне думается, что такой путь был возможен. Если бы кооперативы, которые возникли при Горбачеве, не были бы на следующем этапе ликвидированы налоговой политикой Гайдара; если бы те структуры коммерческие, которые стали возникать в тот период, тоже не были бы ликвидированы или мафиозированы, криминализированы, а продолжили свое существование при нормальном режиме поддержки, то, я думаю, мы получили бы тогда процесс именно эволюционного характера в сторону рыночной экономики. Но к тому моменту, когда пришел Гайдар, то есть, в 91 году, стало ясно, что период 85-91 годов уже свое сделал — так же, как и в области политической реформы. Свободу уже дали — теперь надо было правильно направлять жизнь в условиях этих свобод. И здесь-то — в 91 году — и встал основной и главный вопрос, вопрос о собственности. Вопрос о том — переходим ли мы действительно к рынку, то есть, возвращаем ли мы обратно людям национализированную собственность или не возвращаем. И вот этот исторический вопрос Гайдар не решил. И он не решил его умышленно.

— *Вы так думаете?*

— Да. И поэтому этот второй этап реформирования я бы обозначила так: прекращение реформ, начатых Горбачевым. В том смысле, что на этом новом этапе стояли уже иные, следующие задачи — прежде всего вопрос о собственности. Другого вопроса не было. Вопрос финансовой стабилизации, о котором говорил Гайдар, — этого вопроса не было. Финансовая стабилизация — это лечить деньги, а лечить деньги не надо. Достаточно было не печатать их так много, достаточно, чтобы была умеренность в кредитной политике, умеренность в обещаниях, которое раздавало государство, достаточно было сократить государственные расходы, прижать аппетиты аппарата — и все это было в возможностях Гайдара и Ельцина, все это не нуждалось в кровопролитиях, не влекло за собой ни путча, ничего другого, потому что это были бы нормальные экономические меры, которые постепенно переводили бы общество в новый режим. Но Гайдар и его команда ничего этого не сделали — они сделали антиреформу.

На мой взгляд, как это ни парадоксально, Гайдар просто прервал экономическую реформу, которую начал Горбачев. Одним простым способом: при Горбачеве налоги на кооперативы были 7%, три первых года они вообще почти ничего не платили, потом должны были платить 20, а Гайдар сразу ввел 80% — по совокупности. 80% — это налог, который задушил все. Со всем коммерческим сектором, со всеми кооперативами, со всеми честными частниками, которые хотели трудиться, было покончено. Это первый момент. Второй момент — он стал поддерживать кредитами военно-промышленные предприятия, ВПК. Это значит, что от мелких опять все

забирали, все, что могли, а этим — отдавали в виде субсидий. Это значит, что он продлевал жизнь тех структур, которые, если бы нормально реформа шла, сами постепенно перестроились бы — кто-то разорился бы, кто-то менял профиль, словом, началась бы уже в 91 году структурная перестройка, если бы Гайдар не предпринял вот эти совершенно неправильные, неадекватные шаги...

— *Эти неправильные, неадекватные меры заключались в том, что он ввел такие налоги, и в том, что предпринял либерализацию цен?*

— Самое основное — это то, что он отложил приватизацию. В 91 году он сказал, что мы год будем только ее готовить, эту программу приватизации, и начнем осуществлять ее только через год. И год ее не проводили, в то же время выпустив цены, что было совершенно неадекватно положению дел. И сама программа приватизации была рассчитана на три года, и носила многошаговый характер: сначала отдаем ваучеры, потом формируем инвестиционные фонды (теперь их укрупняют и делают суперфонды), потом эти ваучерные аукционы, которых люди вообще не понимают — что там делается. В общем, начался процесс не по приватизации собственности, а началось что-то такое, что по фантастичности было похоже на строительство социализма. То же самое начал Гайдар по переходу к рынку — у него была программа, рассчитанная на десятилетия: кого-то куда-то по кусочку отпускать. И главное, что все это будут делать чиновники — они будут определять, какое предприятие подлежит приватизации, какое не подлежит, кого нужно разорить, кого поддержать. То есть, так же, как в этой стране строили социализм, так же намечалось и строительство капитализма: решая все вопросы за людей. Совершенно социалистический менталитет! И дальнейшее только подтвердило это. Ну, вот, скажем, идея постепенного выпуска цен: это все равно, что делать человеку операцию не за четыре часа, а за две недели: вначале разрежали — он полежал, потом посмотрели — он все лежит, давай дальше... Так же нельзя, человек же умрет! А у нас сначала выпустили цены на потребительские товары — это то, что касается нас всех лично, нашей жизни, а на все инвестиционные товары цены оставили прежние. А инвестиционные товары — это как раз та сфера, которая и есть сфера приватизации по преимуществу — средства производства, сырье, материалы. Надо было сразу все вместе выпускать, а у нас на потребительские товары выпустили, на сырье оставили, на часть сырьевых потом выпустили, на энергоносители оставили. В результате самая наша мощная отрасль — нефтяная, нефтеперерабатывающая промышленность, вообще энергетика — оказалась сейчас в глубочайшем кризисе. Вторая отрасль, которая всегда была в России важнейшей — сельское хозяйство, — тоже в результате сегодня в тяжелом кризисе. Гайдар и не занимался сельским хозяйством

как таковым, там реформа даже и не начиналась еще. То же самое и в промышленности. Слово «приватизация» — самое модное, оно всюду, и по ТВ, и в газетах, приватизация идет уже с 91 года, сейчас 94, а я все время спрашиваю у всех людей, которых встречаю: «Вы — собственник? Что Вы получили за этот период, что Вам отдало обратно государство, которое всегда только забирало?» Ничего. Возврата собственности не произошло. Политические свободы вернули, а экономические — нет. Можно сколько угодно уверять людей, что они собственники, потому что у них есть ваучеры. Но ведь каждый знает: этот ваучер у него либо дома, либо он отнес его в посреднический инвестиционный фонд, который тоже является фактически аналогом государственной структуры. И кто-то — не исходный владелец ваучера — играет на этих ваучерах, имеет прибыль, чуть-чуть отдает тебе, кусочек этой прибыли, за то, что дал им ее получать, вложил сюда, а не в другое место. Но ведь собственниками от этого люди не стали!

Это со стороны человека. А со стороны предприятия? Вся чубайсовская приватизация заключалась в том, что в каждом предприятии создавалась доля государственной собственности — это, как правило, контрольные пакеты акций. Другая часть собственности была отдана администрации предприятий, и это была достаточная доля. Еще одна часть была передана коллективам, причем в ряде случаев это была часть даже не голосующих акций, а просто вот — дали всем по акции, сказали — вы совладельцы предприятия, хоть это и смешно — какие это совладельцы? И, наконец, часть этих акций продается через эти пресловутые ваучерные аукционы, где совершенно непонятно, что происходит, но ясно, что если кто-то хочет скупить эту часть, то созданная система, в которой те же самые ваучерные фонды сегодня так энергично укрупняются и контролируются, как раз и позволяет им это сделать. И получается на предприятии: государство — собственник, администрация — собственник, какой-то еще третий собственник и остальная распыленная часть. Меня интересует здесь вопрос только экономический: кому же все-таки принадлежит такое предприятие, кто проводит в нем инвестиционную деятельность, кто несет финансовую ответственность, кто распоряжается прибылью и каким образом, в соответствии с какими критериями? Ведь у государственного предприятия — одни критерии были: там большую часть прибыли забирала, маленькую оставляли, чтобы работники предприятия распределяли ее между собой, получали тринадцатую зарплату и т.п. стимулы к тому, чтобы работать лучше. А вся инвестиционная политика проводилась сверху, всю финансовую политику проводили сверху. Такова была прежняя структура. А в новой структуре, когда предприятие не принадлежит, в сущности, никому, стимулы разные. Стимул государственного чиновника сейчас — это стимул как можно больше

получить за то или иное государственное содействие предприятию, а приобретенный капитал либо проесть, либо в заграничный банк положить. Стимул директора — тот же самый. Это не его предприятие, он знает, что он здесь все равно временщик. Стимулы третьего, стороннего участника? Ну, он заинтересован, разумеется, в получении дивидендов, но и только. Таким образом, получается, что все предприятия, приватизированные таким образом, — экономические импотенты. Они обречены на проедание самих себя, на уничтожение. У нас теперь самоедская экономика — раньше мы говорили, что вся наша прежняя государственная экономика тоже была самоедская. Но там было распределение такое: науке — даем, культуре — даем, образованию — даем, здравоохранению даем, и вам, работающим, даем. Как-то все делилось. Сегодня происходит другое: они, может, и хотели бы давать всем остальным, но не хватает самим — им самим хочется покупать себе «Вольво», еще что-нибудь, и инвестировать тоже. В результате получается так, что вся страна стала криминогенной, каждый директор такого предприятия — он потенциально или фактически вор, он потенциально или фактически уклоняется от налогов, он все время нарушает все нормальные правила экономической игры, которые в результате должны вести к росту экономического благосостояния — каждого человека и страны в целом. А у нас, повторяю, теперь возникла экономика самоедская, где все проедается. Скажем, сырье, которое добывается — а его добывается больше, чем раньше, — вывозится за границу, продается, а деньги остаются в швейцарских банках, сюда не возвращаются ни как инвестиционный капитал, ни как социальное благо для развития, например, нашей науки, образования и культуры. Получается, таким образом, что страна пошла в полный разнос. И инициировано это было как раз гайдаровской командой. Ответственность за это полностью лежит на тех людях, которые взялись осуществлять такую реформу. Получается, что они оказались не подготовлены к той исторической роли, которую сами согласились и захотели играть. Поэтому произошла трагедия, Россия оказалась в страшной ситуации. И то, что их оставили — это стопроцентно правильно, но похоже, что больной, которому они делали такую глубокую операцию, уже скончался, понимаете? Поэтому у людей и возникла ностальгия по старым временам, по той стабильности, которая была все же в том обществе — ностальгия по зарплате в 130 рублей, которая означала, однако, гарантированное рабочее место. И главное, что была гарантирована жизнь: если ребенок заболел, его будут лечить в районной поликлинике, когда маленький ребенок — ясли, детский садик; можно пойти в театр, заплатив три рубля, кино — 25 копеек. Значит, есть лечение, есть работа, есть развлечения, есть социальная поддержка, если случилась беда, и есть маленький заработок. Так что сегодня люди начинают вспоминать — в чем-то тогда было лучше. Поэтому-то

такой откат в настроениях рядовых людей. А что касается тех, кто у власти, то здесь просто ничего не изменилось — это та же номенклатура, те же люди, которые занимали посты тогда, и что же спрашивать с этих людей, если в головах экономистов-академиков за эти восемь лет ничего не изменилось? Вы читали их материалы? Для меня это была просто трагедия — прочитать их предложения. Эти люди восемь лет провели в заграничных поездках, они столько книг за это время прочитали, побывали на стольких конференциях, могли столько всего продумать, понять, осмыслить за это время, а впечатление такое, что для них время заморозилось, не было этих восьми лет — они ничего не поняли, они написали такую программу, какую писали восемь лет назад. И что тогда требовать с таких людей, как Черномырдин, которые просто воспитанники той системы? Не желая ничего дурного сказать о них, как о людях, нельзя же закрывать глаза на то, что и сознание их, и образование, и картина мира, как они себе его представляют, — все это было сформировано под влиянием той жизни, которой они жили. Они ничего другого сделать не могут и не смогут...

— Но Гайдар, оправдывая свою программу, говорит о том, что до его прихода в магазинах ничего не было, а теперь все есть. Проблема дефицита ликвидирована. И это ведь правда, не так ли?

— Да, но я скажу так: проблема дефицита — это проблема цен и только. Никакой другой проблемы здесь нет. Если цены фиксированы — экономика дефицита. Если цены свободные — экономика потребительского достатка. В смысле достатка товаров...

— Но не обязательно возможностей их покупать?..

— Да, это так. И вот цены Гайдар выпустил — это действие, которое было совершено 1 января 92 года, это действительно было сделано, это действительно великий шаг — теоретически, абстрактно говоря. И это было бы и фактически так при условии, если бы сразу началась структурная перестройка и, следовательно, начало промышленной стабилизации и роста. А структурная перестройка — это реформа собственности. Здесь была допущена та же самая ошибка, которую совершили поляки. Там тоже выпустили цены, причем финансовая стабилизация там была настоящая, не псевдо, как у нас. Там не разбрасывались деньгами, там сразу же очень жестко зажали, сразу добились конвертируемости национальной валюты. Но — чего не было сделано в Польше? Они считали, что приватизация — это долгий исторический процесс, спешить с нею не нужно, и они ее не начали. В результате что произошло с польской экономикой? Товары со всего света мгновенно хлынули в страну, купить в Польше сразу стало можно все, а местная национальная промышленность пошла вниз — начался экономический кризис.

— То же самое, что сейчас у нас?

— Ну, конечно же. Польская промышленность оказалась перед фактом неконкурентоспособности и под угрозой банкротства. И чем дальше оттягивали реформу по приватизации, тем хуже становилось местной промышленности. И тем лучше было западным фирмам, которые снабжали Польшу товарами и услугами. То же самое произошло в России. Можно сказать так: гайдаровские реформаторы принесли в жертву национальную промышленность. Гайдар и его команда поставили перед собой задачу наполнить прилавки товарами. И для этого они хорошо знали рецепт — достаточно было выпустить цены и не мешать ввозить в страну товары из других стран. Это они и сделали — открыли рынки для Европы, Америки, Китая, Тайваня, Турции — смотрите, ведь вся Россия заполнена иностранным продовольствием, ширпотребом, теперь уже электроникой, новый этап начался, машинами. И одновременно российский рынок оказался практически закрыт для собственной промышленности. Почему закрыт? Потому что предприятия были поставлены в такие условия, когда они, с одной стороны, уже не государственные, работающие по жестким программам — выпустил столько-то телевизоров, и государство их забирает, как это было раньше, с другой — они и не частные, когда частный стимул работает на выживание...

— Не поймешь, кому они принадлежат, да?

— Да. Теперь дальше. Частное предприятие всегда стремится, как это обычно в рыночной экономике, к минимизации затрат, чтобы понизить цену и тем самым победить в конкуренции, как это вначале было. Если наш телевизор стоил 20 тысяч, а японский — 200, то естественно, что большинство людей покупало именно наши телевизоры. Я сама в период гайдаровской реформы купила два «Рубина», домой и на дачу, потому что разница была разительная: 20 и 200. У меня 200 не было, а 20 было.

Но в результате всей этой неразберихи с правом собственности наша промышленность так и не воспользовалась тем огромным преимуществом, которое она имела — даже не дешевой, а просто даровой рабочей силой. В результате невероятного роста цен и инфляции, людей, чтобы они могли выжить, пришлось практически брать на содержание, на пособие. Все это произошло именно потому, что не решились быстро провести процесс приватизации и вследствие этого сразу же реорганизации промышленности. Если бы, напротив, решились, что приватизация — это не эволюционно-исторический процесс, а просто отдали бы людям то, что было национализировано — отдали практически, на деле — то дальше они уже стали бы крутиться, как белки в колесе, все выжимать из собственности. Тут разные могли быть формы, и соответствующие программы разрабатывались, но суть в том, что отдача должна была произойти именно реальной собственностью, а не

условная, как сейчас. И это должно было произойти до выпуска цен, потому что либерализация цен практически конфисковала у людей те сбережения, которые у них были и которые они могли употребить в ходе приватизации на приобретение той же собственности — через те же аукционы. Они могли начать что-то новое — свое дело. Это бы выросло как грибы....

— *А почему все-таки Вы сказали, что Гайдар умышленно не решил проблему собственности и прервал реформы, начатые Горбачевым?*

— Потому что здесь возможны только два ответа, третьего я не вижу. Либо это полный непрофессионализм тех людей, которые такую программу придумали, и просто глупость. Либо они были — я не хочу говорить в категориях «заговора», но либо они были очень сильно ангажированы кем-то, выполняли какой-то социальный заказ, который не имел отношения к экономическому возрождению России. Потому что они создали превосходные условия для того, чтобы ситуацией воспользовался западный капитал, — они держали своих и давали заработать тем. И не понимать этого, если у них хоть что-то есть в голове, они не могли. Еще раз: я не принадлежу к тем людям, которые говорят, что это был «заговор»...

— *Западный? В интересах Международного валютного фонда?*

— Да... Но я Вам хочу сказать, что они просто как бы приняли те правила игры и те идеи, которые были предложены, скажем, и Международным валютным фондом тоже. Но при этом я хочу поставить вопрос и так: а Международный валютный фонд — это что, он сам, что ли, без всякой стратегии работал? Или существует все-таки, скажем, ЦРУ, существует стратегическая политика США и Западной Европы?..

— *Может быть, это был просто просчет гайдаровской команды, хотя и очень серьезный?*

— Нет, не думаю. Они сделали то, что хотели. Действительно: что нужно для Соединенных Штатов и для Европы с точки зрения промышленного капитала? Им нужны рынки сбыта. Ведь их основная проблема — у них четыре года экономических неурядиц, депрессия, кризис. Во всем мире происходит спад. А что такое западный спад — по сравнению с нашим? У нас просто не производят товары, падает промышленность. А у них — перепроизводство, некуда девать товары. И что мы имеем? Все, что у них перепроизведено, вплоть до какого-нибудь канцерогенного кофе — все это здесь, все это продается за доллары, за нашу нефть. И все это — запущено нами. И вот я задаю вопрос — умышленно это сделал Гайдар, что я должна покупать китайские майки или трусики, а не трикотажной подмосковной фабрики? Умышленно это или не умышленно? Злой это умысел или глупость? Но сделано это так, и я вынуждена покупать хлопок из Китая. Фактически

мы работаем на то, чтобы создавать рабочие места в Китае. А что такое миллиарды долларов, переведенных из России на Запад и лежащих на их счетах? Это тоже наши рабочие места, на создание которых там эти деньги работают — вместо того, чтобы работать на создание рабочих мест у нас. Тем самым мы помогаем Западу выйти из их кризиса, мы решаем для них проблему сбыта перепроизведенных товаров, мы решаем им проблему занятости за счет самих себя. К Черномырдину у меня этих вопросов нет, он этих проблем просто не знает. Гайдар эти проблемы знает, отдает в них отчет — он учился, потом стажировался на Западе, читал западные учебники, он знает мировую экономику, понимаете? Поэтому я имею право предъявлять ему эти претензии и задавать такие вопросы. Я имею право предъявлять эти претензии к Чубайсу в отношении приватизации. Я считаю, что он умышленно не проводит приватизацию и только морочит голову всей стране, что он проводит ее. Не могу же я считать, что этому человеку место в психиатрической больнице, а не в Госкомимуществе, я не имею права так мыслить. Значит, он понимает, что он делает. А раз он понимает, что он делает, значит, он выполняет чей-то социальный заказ. Или вот еще пример — недавно прочитала в газете «Сегодня» — или, может быть, в «Независимой газете»? — что разрабатывается такая программа привлечения западных инвестиций: в случае, если будут какие-то политические катаклизмы и т.д. — то, чего все время боятся западные инвесторы — и от этого нарушатся правила нормальной экономической жизни и инвесторы пострадают не по своей вине, мы берем на себя обязательство расплачиваться недвижимостью или землей. То есть — собственностью. Не знаю, принята эта программа или нет, в газете было написано вроде бы так, что чуть ли уже не принята. А что это значит? Псевдоприватизация по Чубайсу прошла, собственника у предприятий как такового нету, инвестиционные фонды, которые создавались и курируются чубайсовским ведомством, имеют контрольные пакеты акций, Госкомимущество, его структуры имеют большие пакеты акций, которыми они могут торговать...

— *Причем ко всему прочему приватизировалось ведь всего 15% государственной собственности?..*

— Да, об этом уж я пока и не говорю. Я говорю только о том, что приватизировано. А здесь будет происходить следующее — по этим новым правилам игры, если они будут приняты. Теперь Чубайс готов будет продавать за доллары государственные доли собственности на предприятиях — и начнется окончательное разворовывание России... Поверьте, я никакого отношения ни к красно-коричневым, ни к прочим «патриотам» такого же толка, которые все время кричат об этом, не имею. Но трудно не согласиться с ними: действительно, созданы все условия для такого грабежа...

— Да, картину Вы нарисовали страшноватую. И никакого просвета Вы в ближайшем будущем не видите?..

— Нет. Придется, наверное, пройти через очень тяжкие времена, пока наконец, такой просвет появится...

— Ну что ж, Лариса Ивановна, остановимся пока на этой констатации. А о том, какой выход Вы все-таки могли бы предложить из этой ситуации хотя бы гипотетически, мы поговорим еще раз, специально, если не возражаете. Спасибо Вам за беседу.

5. ИНТЕРВЬЮ С Т.И.ТРОЯНОВЫМ

— Тихон Игоревич, Вы наблюдаете нашу жизнь давно и активно включились в нее после тех сдвигов, которые связаны с Перестройкой. И Вы, как я знаю, горячо заинтересованы в том, что мы называем духовным, национальным, государственным, культурным возрождением России — в том, чтобы она выбралась из той ямы, в которой оказалась в результате последних семидесяти лет. Так вот, если говорить об этих великих целях российского возрождения, — какие, на Ваш взгляд — то есть на взгляд человека Запада, практически участвовавшего, однако, в нашей перестроечной и постперестроечной жизни, и притом человека русского, патриота, — какие, на Ваш взгляд, были допущены с этой точки зрения самые главные, самые серьезные ошибки на обоих этих этапах нашей «послезастойной» истории? То есть, и во времена Горбачева, и во времена Ельцина?

— Видите ли, при Горбачеве власть имущие и в первую очередь сам Горбачев пытались прежде всего сохранить, спасти и по возможности укрепить существовавшую систему. Им было ясно, что для этого нужно идти на какие-то серьезные и достаточно рискованные реформы, и они были готовы на них пойти. Но их целеполагание было совершенно другое, чем то, о котором мы будем с Вами говорить применительно, скажем, ко второму периоду. И так же, как в свое время Людовик XVI, пытавшийся спасти монархию и даже, может быть, ее укрепить, созывая Генеральные Штаты, они просчитались. С той, правда, разницей, что Людовика XVI казнили, а Горбачева не казнили. Система рухнула, реформы оказались слишком рискованны, хотя без них обойтись тоже, по-видимому, было нельзя. То есть, ситуация была такая, что режим должен был рухнуть либо без реформ, либо через эти реформы. Поэтому тут трудно даже говорить о каких-то ошибках — положение было, я думаю, довольно безвыходное, спасти режим было уже невозможно.

Если же говорить о втором периоде, который начался после августа 1991 года, то здесь трудность заключается в том, что никто толком не знает, как вылезти из этого болота. Один анг-

ло-саксонский юморист сказал, что все знают, как сделать из яиц яичницу, но никто не знает, как из яичницы сделать яйца. Так и тут — и я меньше других знаю, как вылезти из этих трудностей. Потому что, с одной стороны, совершенно очевидно, что необходимо, видимо, идти по пути установления рыночной экономики, и просто трудно себе представить, что здесь возможен какой-то другой путь. С другой стороны, идти по этому пути — значит (во всяком случае, на первом этапе) привести к обнищанию населения и, может быть, даже к каким-то социальным взрывам, что в какой-то степени и назревало осенью 93 года и что может еще произойти. Таким образом, правительство стоит перед дилеммой, как в русских сказках: пойдешь направо — голову потеряешь, налево — коня. Опять-таки и средний какой-то путь очень трудно найти, потому что рыночная экономика предполагает именно определенный риск, определенную динамику. Видимо, в течение довольно долгого периода вот это развитие будет происходить скачкообразно, методом проб и ошибок, с большими трудностями и даже, может быть, социальными потрясениями, пока обрисуеться какая-то приемлемая стратегия. Ее очень трудно теоретически найти. И надо при этом помнить, что все крупные исторические процессы всегда протекали очень медленно. Если Вы возьмете французскую революцию, обозначившую начало перехода от монархии к республике, то она началась в конце XVIII века, а кончилась, в сущности, только с отставкой Мак-Магона. Это примерно сто лет. В России, можно сказать, этот процесс начался в начале XX века, и, видимо, нужно будет еще какое-то время, чтобы он завершился. И здесь нужно очень осторожно относиться к различным точкам зрения на этот процесс, ибо в русском характере считать сторонников каких-то других экономических и политических школ и идей в лучшем случае дураками, в худшем — мерзавцами. А вот что, мне кажется, надо сказать людям, так это то, что здесь нет какого-то чудотворного метода и что кто бы ни пришел к власти, он будет стоять перед теми же трудностями и проблемами, перед той же дилеммой. И нужно поэтому осторожно, я бы сказал, с уважением относиться даже к представителям противоположных тенденций, потому что единственный путь — как-то вместе стараться найти практический выход из этих общих для всех трудностей...

— Да, это понятно. И понятно, что, конечно же, нужно устанавливать рыночную экономику, потому что возможности какого-то другого экономического пути просто трудно себе представить, прежняя система уже достаточно показала себя. Я вообще считаю, что истинным автором Перестройки был не Горбачев, а Рейган. Своей жесткой позицией, предложенной нам гонкой вооружений, которую мы уже не могли выдержать на уровне «звездных» программ, — помните? — Рейган, в сущности,

вынудил нас начинать какие-то перемены — и экономические, и политические, как мы поначалу ни блефовали. Заслуга Горбачева и перед страной, и перед всем миром в том, что он сумел-таки это осознать и взять на себя нелегкое бремя первого шага. Но вернемся к нынешней экономике, вокруг которой сегодня все споры. Как Вы думаете, существуют ли все-таки какие-то особые российские обстоятельства, которые необходимо учитывать при решении наших экономических проблем? Ведь в так называемой посткоммунистической ситуации оказались не только мы — в ней оказалась и вся Восточная Европа. Так, может быть, и возможные модели выхода из этой ситуации тоже носят общий, типологический характер, а каких-то слишком уж специфических, особых российских условий просто не существует, и все это просто чистый миф, чистый бред каких-нибудь наших «патриотов», которые все время кричат об этом? Есть ли все-таки здесь — в положении России и в положении той же Польши или Чехии, например, — какая-то существенная, принципиальная разница, или ее нет — как Вы думаете?

— Я думаю, что разница существует. И она существует вот почему. Фактически в таких странах, как Польша или Чехословакия, произошел в основном один кризис — экономический. То есть, одна экономика полностью провалилась, ее надо было чем-то заменять. В России произошел гораздо более обширный кризис, не только экономический. Развалилась Империя. Если вспомнить, какие трудности переживала Франция после потери Алжира (а с потерей всей Империи сравнить это нельзя), то понятно, что одно это уже значительно осложняет положение в России. Разрушились связи, и не только экономические; появилось большое количество беженцев, появилось ощущение, что великая держава перестала существовать и т.д. Это очень серьезный кризис сам по себе. И, наконец, третий кризис — мне кажется, самый серьезный. Это, я бы сказал, идеологический вакуум. Россия всегда — или, во всяком случае, очень долгое время — была страной теократического типа, абсолютно не либеральной. Россия всегда строилась на какой-то идеологии, на какой-то доктрине. Ну, скажем, идея «Третьего Рима» или идея «Мировой революции». Я, конечно, очень схематизирую, упрощаю, но в каком-то смысле эта страна всегда жила либо служением какой-то идее, доктрине, религии, либо борьбой, отрицанием какой-то идеи, доктрины — то есть тоже идеологией. Всегда была какая-то поляризация — за или против. В либеральной системе этого абсолютно нет или это значительно смягчено. Государство не строится на какой-то основополагающей идее, идеологии. И вот сейчас в России — впервые, может быть, за тысячелетие — сложилось так, что по всему своему психологическому складу она инерционно остается пока еще идеологической страной, а идеологии больше нет. И ее не видно, собственно говоря.

Не видно, какая может быть сейчас «русская идея». Может быть, она и есть, я не знаю. Но при первом приближении к проблеме не совсем понятно, в чем она может быть. И этот кризис абсолютно не наблюдается в других странах Восточной Европы. А здесь из под страны как бы вывернут фундамент — психологический фундамент. И народ, который привык жить служением какой-то доктрине, продолжает, я повторяю, быть психологически настроенным на это, и человек, приезжающий с Запада, это очень чувствует...

— Действительно это чувствуется?...

— Ну, конечно. Потому что здесь есть какое-то ощущение иерархии, даже иерархии ценностей, какое-то ожидание, обращенное к людям, что нужно жить в каком-то направлении. А само направление утеряно... Психологическая схема осталась, а содержание исчезло. И вот это, мне кажется, очень важный момент, хотя многие его, может быть, и не осознают. Потому что в либерально построенном государстве все это довольно второстепенно...

— То есть, там это переходит как бы в сферу индивидуального решения и выбора?

— В общем, да. А здесь это не так, и многим поэтому просто трудно примириться с мыслью, что Россия может стать просто каким-то «обычным» капиталистическим государством.

— А как Вы считаете, такая психология — это что, некий атавизм как бы, что-то отживающее? Понятно, что это реальность, и поэтому с нею нужно считаться. Но в каком смысле? Как с неким историческим анахронизмом, пока устойчивым, но обреченным все-таки на исчезновение, или эта психология таит в себе возможности и какой-то новой, живой, полнокровной жизни?

— Хотелось бы верить, что Россия не станет просто капиталистическим государством, что в ней сохранится — ну, скажем так, что-то большее. Но, с другой стороны, искренне говоря, я не совсем сейчас вижу, что это может быть. Потому что искусственно придумать какую-то идеологию, которая должна стать стержнем великой державы, невозможно, а откуда ей тогда взяться? Церковь, скажем, играет и будет играть, конечно, важную роль в жизни России, но я не думаю, что она способна внедрить в страну какую-то духовную доктрину, которая ее мобилизует. Я думаю, что ее воздействие будет происходить больше в личном плане, в плане личного спасения...

— Да, как бы ни велика была роль церкви, понятно, что мы строим и будем строить все-таки секулярное государство, а его «идеей» не может быть идея религиозная. Время религиозных государств уже ушло в Европе...

— Но трудность в том, что решающая на секулярном Западе идея либерализма, предполагающая, что каждый может решать

за себя, а какой-то центральной, общей для всех доктрины не требуется— эта идея России чужда — во всяком случае, старшим поколениям.

— А молодежи?

— А молодежь, я думаю, как раз это воспринимает и не стремится к какой-то объединяющей «идее». Да, собственно, и старшее поколение редко к этому стремится осознанно, но просто оно настолько привыкло жить в этих измерениях психологии и мышления, что ему трудно от них отказаться. Это, конечно, атавизм, но люди привыкли жить так, что кто-то им говорит, что хорошо, а что плохо — они потом могут даже и оспаривать это, но нужно, чтобы было что оспаривать, был какой-то авторитет...

— Тихон Игоревич, и все-таки от проблемы необходимости для сегодняшней России какой-то общей, «скрепляющей» идеи нам не уйти. И это подтверждается, кстати сказать, историей того же Запада. Да, на Западе этой проблемы сегодня как будто бы не существует, во всяком случае в каком-то явном виде. Но не существует только потому, что к сегодняшнему либеральному гражданскому обществу Запад пришел в результате нескольких веков органического развития, начатого эпохой Реформации. Религиозный фундамент Реформации и стал основанием для постепенного построения современного западного общества, которое становилось все более секулярным, но наследовало те нравственные скрепы, что были «встроены» в этот фундамент, и презратило их в принципы секулярного «общественного договора». Так что это понятно, почему современному западному человеку кажутся странными наши проблемы — зачем это, в самом деле, нужна еще какая-то «русская идея», когда все современные развитые страны так спокойно существуют как будто бы и без такого рода скрепляющих «общегосударственных» идей? Но ведь в том-то и дело, что это только видимость. Современное либеральное западное общество, западная демократия — это и есть та самая, но уже материализованная скрепляющая идея, которая была рождена Реформацией и на которой все и строилось — идея либерализма, положенного в основу современного «общественного договора», ставшего воплощенной формой общества. Это не создается только потому, что дело уже сделано, идея — идеология, доктрина — уже материализовалась и уже не присутствует в сознании в качестве именно ИДЕИ, к чему-то зовущей. Но когда-то это было именно так, и иначе быть просто не могло. Возьмите ту же французскую революцию, когда перед страной встала историческая задача построить на развалинах монархии какой-то новый тип общества, — разве не появились тогда сразу же «идеи», «доктрины», «идеология», сплотившие нацию перед лицом этой исторической задачи? А «Свобода, Равенство, Братство» — что же это такое

и было, если не та же идея либерализма, заложенная Реформацией, — не идеология, формировавшая эпоху? Другой вопрос, что из всего этого получилось. Но всякий раз, как люди оказываются перед необходимостью построения какой-то новой общественной структуры, какой-то новой модели человеческого общества, их должна, их просто не может не объединять та или иная идея этого общества, какой-то его образ. Это диктуется именно объективным характером подобного рода ситуаций, а вовсе не профессиональной жадой идеологов производить какие-то идеи.

Но ведь именно в такой исторической ситуации и оказалась сегодня Россия. Ведь в России рухнуло сегодня действительно все — целая система. И сейчас перед нами — перед страной в целом, перед властями, перед обществом — стоит задача, от которой просто не уйти. Задача что-то вместо рухнувшего здания построить — построить все, фактически от начала до конца — экономику, гражданский социум, государственные структуры, законодательство — все, все. Другими словами, нужно построить какой-то иной, чем прежде, тип общества, какую-то новую его модель. Так какую же именно? Ведь нельзя же думать, что люди охотно включатся в строительство, а не будут мешать ему, если они хотя бы приблизительно, хотя бы в общем плане не будут себе представлять, что именно они строят, и не зажгутся, не вдохновятся этой идеей, этим образом. Иначе ведь никакого исторического строительства не получится, начнется раздор и хаос. Вот почему я и говорю, что нам от этой проблемы все же не уйти. И вот почему мне кажется, что та потребность россиян в «идеологии», в «доктринах», о которой Вы говорили как о своего рода атавизме, это вовсе не атавизм, а некая живая, насущная потребность, диктуемая самим характером переживаемой нами исторической ситуации.

И вот вопрос — что же может удовлетворить такую потребность? Просто сказать, что давайте построим такое же либеральное общество, как на Западе? Это русскому человеку мало еще что сказать. Он этого опыта не имеет, он этого не знает, у него нет за плечами ни Реформации, ни воспоминаний о веках экономического и политического либерализма. А по тому опыту, который он имеет здесь, у себя, общаясь с нашим диким рынком и хищническим капитализмом, он только все больше отвращается и от «либерализма», и от «демократии», все крепче ассоциируемых именно с таким беспределом. Так что проблема существует, и она требует очень ответственного обсуждения. И вот если говорить о том, что здесь, мне кажется, сегодня актуально, то я вспомнил бы одну формулу, которую дал когда-то в «Раковом корпусе» А.Солженицын. Там есть такое место, где герои романа спорят о социализме, и один из них говорит

о НРАВСТВЕННОМ СОЦИАЛИЗМЕ, — о том, что какой же еще может быть социализм, если не нравственный? Это, кстати, многих тогда сбило с толку — Солженицына посчитали социалистом, каким он вовсе не был. И вот Вы знаете, сейчас та общественная потребность в положительном идеале создаваемого общества, без удовлетворения которой вряд ли в России что-то получится, требует, мне кажется, чего-то сходного именно с этой солженицынской формулой. Я бы даже рискнул употребить здесь — не в качестве какого-то лозунга или итоговой формулы, конечно, а просто как ориентир — что-то вроде такого словосочетания — «НРАВСТВЕННАЯ ДЕМОКРАТИЯ», как это ни странно и даже ни парадоксально, может быть, звучит. С акцентом на слове «нравственная». Новая великая нравственная демократия России. Ведь в том-то и дело, что именно эта проблема стоит сейчас перед нами поистине как центральная на всех уровнях — и на уровне власти, и в экономической жизни, и в культуре, и в нравах, и в политике, и в законодательстве...

— Видите ли, основная трудность заключается здесь в том, что демократия на Западе была построена на совершенно другой исторической основе. Демократия была построена в основном в протестантских странах, главным образом — в англо-саксонских, хотя не только в них. И это соответствовало определенному духовному мировоззрению, в конечном счете — самой религии, утверждавшей ценность человеческой личности и право человека самому решать основные проблемы своего бытия — даже религиозного порядка. А в Православной церкви положение, как Вы знаете, иное. В Православии — особенно в том Православии, какое я наблюдаю здесь сейчас, — чаще подчеркивается, наоборот, ничтожество человека, необходимость для него отречься от своей воли и подчиниться — ну, конечно же, воле Божьей, но эта воля Божья проявляется в воле высшей иерархии, а потом уже и в воле мелкой иерархии, а потом и вообще власть имущих и т.п. Тут, таким образом, два совершенно разных подхода к свободе. В западной системе мышления пафос свободы является чем-то духовно положительным, а в русском мышлении — народном — свобода часто отождествляется с анархией, даже с разбоем, со своеволием и в конечном счете чуть ли не с грабежом. И даже в русской церкви свобода, в общем, не рассматривается как положительное явление, хотя я считаю, что это глубокое заблуждение. Потому что если почитать того же апостола Павла, то совершенно ясно, я думаю, что он все время говорит об этом пафосе свободы...

— *Пафос свободы и в протестантизме — это тоже ведь пафос свободы в Боге...*

— Да, хотя надо сказать, что это тоже не надо идеализировать — посмотрите, что происходит сейчас на Западе, к чему эта свобода привела...

— Но начиналось не с этого ведь, а со свободы в Боге...

— Да, да. Но просто я хочу сказать, что демократия — это в какой-то мере для России явление чуждое — просто исторически чуждое. Демократия была взлелеяна в другом, так сказать, историческом климате. И сейчас приходится в силу обстоятельств ее сюда пересаживать. Причем альтернативы, видимо, нету — во всяком случае, ее трудно найти. Потому что мне трудно себе представить возрождение здесь, скажем, монархии, или скажем, тоталитарного строя. Конечно, можно себе представить демократию с несколько другой окраской и т.п., но демократия есть, в конечном итоге, демократия, как рыночная экономика есть рыночная экономика. Тут одно из двух — либо это рыночная экономика, либо это дирижизм, либо это демократия, либо это авторитарный режим — в лучшем случае. И вот перенести сюда это явление, которое явно исторически чуждо России, трудно, и последние выборы это показали: люди, в общем, толком не понимают, что делать с демократией. Демократия — это отнюдь не анархия, демократия — это требование большой ответственности от каждого гражданина. Так что внезапно перейти ко всему этому невозможно, и здесь будут, естественно, большие трудности. Вообще, я думаю, что в России демократию нужно было бы развивать прежде всего снизу, потому что это гораздо понятнее — демократия на уровне села, на уровне городка, где вы выбираете людей, которых вы знаете, и более или менее понимаете, что происходит. А когда нужно голосовать за какие-то партии, которые могут заниматься демагогией, это другое. Во всяком случае, это долгий и болезненный процесс, на это уйдет много времени...

— Скажите, Тихон Игоревич, а вот по общему Вашему впечатлению от живого общения с русскими партнерами — все-таки какое у Вас общее предощущение в отношении ближайшего будущего России — оптимистическое, или Вас одолевают сомнения?

— Ну, видите ли, я Вам скажу так: во-первых, я по природе оптимист, и если бы я не был оптимистом, я, вероятно, просто не работал бы здесь. А во-вторых, я наблюдаю все-таки, ну, скажем так, многих молодых моих клиентов, их очень активное развитие в новой экономике. Да и вообще — если даже Вы просто погуляете по Москве, Вы увидите, сколько здесь за последние месяцы открылось новых магазинов, ресторанов, гостиниц, кафе, киосков, ларьков. Все это, может быть, иногда очень дико, и не всегда добросовестно, и раздражает, но это свидетельствует о динамизме народа, чего не наблюдается, может быть, сейчас на Украине. И этот динамизм должен, в конечном итоге, к чему-то привести. Молодежь здесь явно, скажем так, хорошая — и динамичная, и с ней можно работать, тогда как со старшим поколением гораздо труднее. Но я и вообще нашел, работая здесь, очень много хороших людей, с которыми мы как-то очень быстро сошлись, даже доверяем

друг другу, даже порой подружились. И это тоже соответствует, в конце концов, какому-то качеству общества, потому что если бы народ был уничтожен духовно, таких людей бы не было, были бы исключения. А это не исключения, хотя есть, конечно, много и отрицательных элементов. Но в общем, повторяю, люди хорошие — честные, часто очень, просто очень добросовестные, даже идеалисты, хотя и растерянные при этом, но это соответствует ситуации. Да, выдраться из нее будет трудно, но после того, что Россия пережила с начала века, иначе просто и не может быть. Было бы странно, если бы она за какие-то, скажем, пять лет стала нормальной страной. Я считаю, что это невозможно, на это нужно какое-то время, и тут важно искать пути, важно приучаться к согласию и терпению и не считать, что человек, с которым Вы не согласны, обязательно глупец или негодяй. Ну, скажем, Гайдар шел по определенному пути, который, может быть, был слишком рискованным, но он явно пытался сделать что-то положительное. Сейчас Черномырдин пытается несколько скорректировать, и, видимо, и у него есть для этого резоны, делает он это, наверное, тоже искренне. Я думаю, что в какой-то степени и те люди, которые пытались защитить уходящую идеологию, не обязательно советскую, а, например, связанную с ностальгией по той же идее третьего Рима, — их тоже, в конце концов, надо понять, и в чем-то они, может быть, тоже правы.

Вот это как раз трудно русскому человеку — принять различные точки зрения. И в этом сейчас, наверное, и заключается основная трудность...

— *То есть, необходимо движение именно к либерализму, к либеральному типу отношения к окружающему миру, да?*

— Ну, да. И если это не будет движение к либерализму — пусть умеренному, разумному, то я просто не представляю, куда еще можно идти. Повторю, я не вижу каких-то чудодейственных формул для России, которые коренным образом отличались бы от формул других систем... И вот здесь я хотел бы несколько слов сказать и о том, каким может быть в этом процессе место русской эмиграции. Во-первых, я должен сказать, что я несколько разочарован тем, что русская эмиграция, которая так много говорила о своей верности России, о своей тяге и, в общем, о своем желании вернуться в Россию, так мало в нее возвращается. Я думаю, что во многом это объясняется тем — когда это не диктуется просто практическими соображениями, — что у эмиграции, прежде всего старой, постепенно выработалась целая мифология относительно России, своего рода легенда о Граде Китеже. И она часто боится, что если она встретится с реальной Россией, то она потеряет все эти иллюзии, потому что Россия — это, конечно, совсем не Град Китеж. Россия никогда и не была идеальным государством, идеальных государств вообще не существует. Но, тем не менее, не-

которые эмигранты как-то пытаются вернуться или работать на Россию, и мне кажется, что это очень важно, потому что они, безусловно, могут многое принести сюда — с одной стороны, какие-то старые русские традиции, с другой — западный опыт. Но мне кажется, самое главное при этом — приходить сюда с чувством любви к России, дружбы к народу, ни в коем случае не вносить каких-то дополнительных расколов, не пытаться чему-то учить, а стараться скромно участвовать в процессе возрождения России. И в таком случае эмиграция может, я думаю, сыграть свою скромную, но положительную роль.

— *С этой точки зрения Вы своей работой довольны?*

— Я доволен по двум причинам. Во-первых, потому, что это дает мне возможность жить в России, участвовать в ее жизни, во всех ее процессах, не говоря уже о культурном общении. Во-вторых, я думаю, что наша работа помогает, ну, скажем, развитию экономических связей между Россией и Западом, и в какой-то степени мы передаем свой опыт нашим молодым русским сотрудникам... Мы ведь адвокаты не в том понимании, которое распространено в России: адвокат — это тот, кто выступает в судах. Мы как раз этого не делаем. Мы то, что называют на Западе «деловые адвокаты», то есть мы помогаем в организации экономического процесса, в создании компаний, разработке контрактов и т.д.

— *И таких адвокатских фирм много сейчас у нас?*

— В Москве — около пятидесяти таких иностранных фирм, и это, между прочим, тоже свидетельствует о развитии экономики, потому что если бы этого не было, то не было бы и этих фирм.

— *А многие ли из этих фирм возглавляют русские эмигранты?*

— Нет, мало. Но иногда в некоторых из них работают и эмигранты. И не только в таких фирмах — здесь же масса и других иностранных фирм, наверное, тысячи, и в них тоже довольно часто работают русские эмигранты...

— *Ну, что ж, я задал Вам все свои вопросы, которые хотел Вам задать, получил на них ответы, — спасибо Вам, Тихон Игоревич, за беседу. И удачи Вам в Вашей работе, такой нужной сейчас для России.*

ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА, ДОКУМЕНТЫ

Публикуемый очерк В.Г.Короленко, впервые увидевший свет в 1911 г. в журнале «Русское богатство» (№ 2. сс.113-140), в советское время не переиздавался (даже не вошел в собрание сочинений В.Г.Короленко). Между тем, он представляет несомненный интерес. Главный герой очерка — А.Н.Муравьев (1792-1863) — декабрист, основатель ранних декабристских организаций, впоследствии отошедший от движения, был осужден к ссылке в Сибирь без лишения чинов и дворянства. В Иркутске началась его служба в «чиновничьих дебрях», продолжавшаяся практически до смерти. Последние годы жизни А.Н.Муравьев был нижегородским военным губернатором, много способствовал проведению крестьянской реформы в крае. Главное, что заинтересовало В.Г.Короленко, и что он хотел передать: «...мечта юности, которую человек осуществляет стариком..., юношей член общества или точнее «Союза благоденствия», потом... ~~городничий~~, наконец, губернатор, остающийся в душе членом «Союза благоденствия». Очерк представляет интерес и как образец творчества В.Г.Короленко, мало известного современному читателю. По справедливому замечанию советского литературоведа Л.Г.Фризмана, «в большом и многогранном творчестве Короленко немного найдется вещей, которые так отразили бы кристальную чистоту его облика, его этический максимализм, цельность убеждений этого рыцаря в жизни и литературе».

В.Г. Короленко

ЛЕГЕНДА О ЦАРЕ И ДЕКАБРИСТЕ

(Страничка из истории освобождения)¹

10 сентября 1856 года губернатором в Нижний Новгород был назначен генерал-майор Александр Николаевич Муравьев.

Послужной список нового губернатора был не совсем обыкновенный. Родился он в 1792 году, девятнадцати лет участвовал в Отечественной войне, получил знак отличия за Кульмское сражение. Двадцати четырех лет был уже полковником², но в 1816 году, заразившись заграничными идеями, внезапно бросил службу и вместе с Никитой Муравьевым основал первое в России тайное

общество «Союз благоденствия». Еще шаг — и он очутился в среде декабристов.³

В «Росписи государственным преступникам, приговором Верховного уголовного суда осуждаемым к разным казням и наказаниям» по делу о восстании 14 декабря, А.Муравьев значится в разряде VI, где о нем сказано так:

«Полковник Александр Муравьев. Участвовал в умысле царевубийства согласием, в 1817 году изъявленным, равно как участвовал в учреждении тайного общества, хотя потом от онаго совершенно удалился, но о цели онаго не донес».

По приговору суда государственные преступники этого разряда (которых, впрочем, было только двое: полковник Муравьев и дворянин Люблинский) подлежали ссылке в каторжные работы на шесть лет и поселению в Сибири. Но, в виду «чистосердечного раскаяния», участь А.Н.Муравьева была смягчена. Он был сослан в Восточную Сибирь без лишения чинов и орденов⁵, а через два года получил право определиться на государственную службу. Бывший полковник, основатель «Союза благоденствия» и декабрист, стал в 1828 году иркутским городничим.

С этих пор он проходил разные ступени чиновничьей иерархии, был последовательно председателем — сначала иркутского, потом тобольского губернского правления, исправлял временно должность тобольского губернатора, затем в 1834 году возвратился в Европейскую Россию в качестве председателя вятской уголовной палаты. Потом занимал ту же должность в губернии Таврической, потом стал губернатором в Архангельске. В 1854 году опять поступил на военную службу и участвовал в Севастопольской кампании. Здесь застала его перемена царствования.

Молодой император не скрывал своего желания приступить к освобождению крестьян. Искренность этих его тогдашних намерений обнаружилась, между прочим, в том, что он окружил себя людьми, настроенными освободительно: параллельно с оживлением в обществе и народе, в бюрократии тоже происходили соответственные перемещения и перемены. Муравьев решил опять бросить военную службу и отдать великому делу свою административную опытность, приобретенную в сибирских, вятских и архангельских чиновничьих дебрях.

Таким-то образом, в тревожные, как грозное весеннее утро, годы накануне реформы, когда в воздухе уже реяли всевозможные слухи и превратные толкования, когда в народе разносились крамольные вести о предстоящей свободе, а дворянство и власти растерялись и не знали, как отнестись ко всему происходящему, — Нижний Новгород был осчастливлен вестью о назначении губернатором основателя первого в России тайного общества, бывшего участника «в замысле царевубийства», декабриста, приговоренного некогда к каторге.

Что же представлял он на самом деле, и каково то «искреннее раскаяние», которое позволило «каторжнику» подвигаться по ступеням службы и занять, наконец, один из важнейших после Петербурга и Москвы губернаторских постов? Да еще в такое тревожное время?

Естественно, что этот вопрос, очень важный, пожалуй, трагический для тогдашних «командующих классов» нижегородского губернского мира, занимал всех при этом назначении. Ждать его разрешения пришлось недолго. Губернатор-крамольник обнаружил свою личность выразительно и ярко, надолго оставив по себе память в Нижегородском крае.

II.

В то время, когда я поселился в Нижнем, то есть в половине 80-х годов прошлого столетия, там еще сохранялись кое у кого списки многочисленных сатир и пасквилей, в которых поэты, главным образом дворянского сословия, пытались воспроизвести фигуру Муравьева в том виде, как она представлялась с дворянской точки зрения. Летописец Нижегородского края, известный в свое время «областник», А.С.Гациский⁶ тщательно собрал и сохранил от забвения эту рукописную литературу, передав ее в местную архивную комиссию. В 1897 году некто г.Юдин извлек из архивных недр и напечатал в «Русской старине» (сентябрь) самое объемистое из произведений этого «муравьевского цикла», так и озаглавленное: «Муравиада».⁷ Нужно сказать с некоторым прискорбием, что это поэма очень грязная, написанная неуклюжим стихом и вообще бездарная до оскорбления вкуса. Но для характеристики Муравьева в ней все-таки есть интересные черты. Г.Юдину показалось даже, что она выражает отрицательное отношение к Муравьеву всего населения. Это — наивность тем большая, что «всего населения» тогда, пожалуй, вовсе и не было. Были мужики, нетерпеливо ждавшие свободы и глухо волновавшиеся в этом своем нетерпении; было образованное общество, с восторгом встречавшее всякий шаг на пути освобождения, и было большинство дворян, растерянных и испуганных реформой. И у каждого из этих элементов было свое отношение ко всему, в том числе, конечно, и к Муравьеву. Не трудно было разглядеть, что «Муравиада» отражала губернатора-декабриста в крепостническом зеркале. Вся она проникнута острой, но бессильной враждой, вынужденной питаться пошловатыми мелкими сплетнями, направленными вдобавок (не совсем поджентельменски) не столько даже против самого Муравьева, сколько против жившей у него племянницы, фрейлины Муравьевой⁸.

Надо, однако, отдать справедливость дворянской музе. Она не ограничилась одной «Муравиадой», в некоторых, не столь объе-

мистых ее произведениях видны, пожалуй, и искренность, и одушевление. Искренность вражды, одушевление ненависти, но все же эти чувства поднимают тон, диктуют порой яркие, гневные, иной раз даже слишком выразительные эпитеты.

Например:

И от злости ты ревел,
Лиходей лукавый,
Что в крестьянах не успел
Бунт возжечь кровавый.

Или:

Ты хитрейший санкюлот,
Хуже всех французских.
Девяносто третий год
Готовил для русских.

Самые мягкие из этих отзывов обвиняют Муравьева в том, что он

...популярности искал,
Свободы дух распространял,
Прогрессом бредил и народ
На бунт подталкивал вперед.

Особенно часто и злобно дворянская сатира останавливается на так называемой «Муравьевской башне»⁹. В 80-х и даже девятидесятых годах остатки ее еще можно было видеть на высоком берегу Оки, против ярмарки, и нужно признать, что сооружение вышло не из удачных. Предполагалось водрузить на ней огромный циферблат, видный «со стрелки», который, по-видимому, должен был напоминать всероссийскому купечеству обязательные часы открытия и закрытия лавок, во избежание законного штрафования. Оказалось, однако, что часы видны плохо. Башня, кроме того, дала трещины, и верхний ее этаж пришлось для безопасности проходящих снять. Дворянская сатира нашла в этом предмете обильную пищу, и около «муравьевской дылды» зародились стишки, остроты, обвинения, как грачи около старой колокольни. Много неуклюжих строк посвящено этой башне в «Муравиаде». Другой поэт видит в ее постройке скрытую цель:

— Ты башню здесь соорудил...
— Чтоб поколения земли
Ввиду ея с почтеньем шли,
Вспоминая каждый раз,
Как ты господствовал у нас,
Как вольность здесь восстановил,
Вопрос крестьянский в ход пустил.

Здесь дворянская муза непосредственно простодушна и искренна: она ставит вопрос прямо, не прибегая к мелкой сплетне.

Для нее преступление Муравьева состоит в том, что он «восстановил вольность» и «пустил в ход крестьянский вопрос», что и было на самом деле.

Однако, много было на Руси губернаторов, которые по приказу свыше и по долгу службы, «восстанавливали вольность» и содействовали, по мере сил и усердия, решению крестьянского вопроса, однако, сколько известно, ни один не вдохновлял в такой степени и такое количество дворянских сатириков, как Муравьев. Вероятно, потому, что в них видели просто исполнителей; на Муравьева же смотрели иначе: — старый мечтатель и заговорщик:

Тайным действуя путем,
С молотком масона,
Он хотел быть палачом
И дворян, и трона.

Крепостническое дворянство чувствовало в Муравьеве не просто, хотя бы даже энергичного и умелого исполнителя реформы. В его лице, в тревожное время, перед испуганными взглядами явился настоящий представитель того духа, который с самого начала столетия призывал, предчувствовал, втайне творил реформу и, наконец, накликал ее. Старый крамольник, мечтавший «о вольности» еще в «Союзе благоденствия» в молодые годы, пронес эту мечту через крепостные казематы, через ссылку, через иркутское городничество, через тобольские и вятские губернские правления и, наконец, на склоне дней стал опять лицом к лицу с этой «преступной» мечтой своей юности. Только теперь, — с горечью говорит дворянский поэт, —

— все изменилось:
За что он погибал,
За то теперь возвысился,
В чести и славе стал.

И был это уже не мечтатель из романтического «Союза благоденствия», а старый администратор, прошедший все ступени до-реформенного строя, не примирившийся с ним, изучивший взглядом врага все его извороты, вооруженный огромным опытом. Вообще противник убежденный, страстный и — страшный!.. Научившийся выжидать, притаиваться, скрывать свою веру и выбирать время для удара. Когда, — говорит автор «Муравиады», —

— на губернаторство
К нам прибыл Муравьев,
Скрывал свое он варварство,
Покуда здесь был нов.

Скоро, однако, он выпустил когти и, прежде всего, по свидетельству того же поэта, «верхушки стал ломать». Поэма с нескрываемым сочувствием называет (инициалами) нескольких

крупных деятелей откупного и чиновничьего мира, которых «сло- мал» сбросивший маску декабрист, и затем продолжает с негодо- ванием:

Да разве мы причиною,
Что с некоторых пор
Идет здесь под сурдиною
Всем людям перебор.
Помещиков, сановников
Всех гонит наш кашей
И душит он чиновников,
Как жирный кот мышей¹⁰.

К статье А.А.Савельева («Р.Старина», июнь 1898 г.)¹¹, из ко- торой я заимствовал некоторые из цитированных фрагментов дво- рянской сатиры, приложен и портрет Муравьева. В широком, несколько скуластом лице седого человека в генеральском мундире сразу можно уловить типичные муравьевские черты; близкое род- ственное сходство с его печально знаменитым виленским братом¹² сказывается ясно: та же энергия, тот же властный, только более спокойный взгляд, тот же отпечаток суровой угрюмости, только более одухотворенный и благородный. Губы энергического склада, густые брови над выразительными молодыми глазами. И мне ка- жется теперь, когда я знаю основные черты этого характера, что, спокойные на портрете, эти глаза должны легко вспыхивать, а около губ ютится предчувствие угрюмо насмешливой улыбки...

Еще характерная черточка бывшего заговорщика.

В 80-х годах в одном из журналов (кажется, в «Вестнике Европы») печатались записки крестьянина кустарного села Пав- лова, Сорокина. Это был мечтатель, человек беспокойный, ти- пический «ходок», много и безуспешно воевавший с господствовавшей тогда партией павловского старшины Вары- паева. Дело это было сложное и запутанное. Несомненно только, что Сорокин был человек убежденный, и что противник у него был опасный. Варыпаева знали при дворе, жаловали кафтанами; в консервативной прессе писали о нем статьи, как о патрио- те-самородке, и начальство его всячески поддерживало. Соро- кина, наоборот, гнали, преследовали и разоряли. Идти против знаменитого павловского старшины — значило тогда восставать против «устоев». Когда однажды Сорокин явился со своим делом к Муравьеву, тот принял его, выслушал очень внимательно, а затем подвел к иконе и заставил поклясться, что он действи- тельно стоит только за интересы мира и не отступит перед гонениями. После этого до конца своей (недолговременной, впро- чем) службы Муравьев горячо поддерживал Сорокина¹³.

Мне известен и другой случай. В Нижнем я был знаком с Василием Михайловичем Ворониным (о котором мне еще придется

говорить дальше). В годы своей юности он служил при Муравьеве чиновником особых поручений, и тоже был приведен старым декабристом к такой сепаратной присяге. Муравьев некоторое время присматривался к нему, давал разные поручения. Однажды, оставшись с ним наедине в своей канцелярии, он посмотрел на него особенным, глубоким, и, как показалось Воронину, растроганным взглядом и затем сказал:

— Молодой человек. Вот вы только начинаете жизнь, прямо со школьной скамьи. Вы — не из дворян. Ваши отцы были мужики. Хотите вы действительно послужить делу народа?

Удивленный и озадаченный этим необычным обращением сурового начальника, внушающего всем трепет, молодой чиновник ответил утвердительно. Муравьев поднялся с кресла, взял его за руку, подвел к иконе и заставил поклясться, что он будет служить народу, не отступая ни перед приманками, ни перед угрозами.

Воронин был уже старик, когда я с ним познакомился, но и по прошествии четверти века об этой минуте вспомнил с волнением... Старый декабрист, очевидно, не вполне доверял устойчивости реформаторских течений, знал, что старое еще постоит за себя, и, кроме официальных сотрудников, вербовал для предстоящей борьбы своего рода членов тайного союза благоденствия.

К таким своим присяжным приближенным Муравьев и относился особенно. Для остального чиновничьего мира это была гроза. «При проклятом Мураше», — говорил А.С.Гацискому один из тогдашних чиновников, — «никто покоен не был. Того и гляди, бывало, ляжешь спать судьей, а проснешься свиньей»^{*14}.

III

— Да, страшный был, — говорил тот же В.М.Воронин. — Хватка, понимаете, мертвая. Все в нем было необычайное какое-то, непривычное, приноровиться было трудно. Мужикам был доступ к губернатору чуть не во всякое время. В важных случаях — уводил ходоков в канцелярию и тут опрашивал часами. Потом, обдумав, начинает действовать.

Для характеристики муравьевской «мертвой хватки» Воронин очень одушевленно, почти художественно рассказывал разные эпизоды, которые я тогда же, к сожалению, слишком краткими чертами, набросал на клочках. Постараюсь восстановить здесь один такой случай.

Являются однажды ходоки от Н-ской волости (Воронин назвал одну из волостей, кажется, Семеновского уезда). Волость заволжская, богатая, промышленная. Завелись в ней издавна крупные злоупотребления. Застарелые, так сказать, освященные обычаем...

* А.С.Гациский. Люди Нижегородского Поволжья.

традиции! При назначении в уезд, так и считалось: жалованья столько-то, ну, там, квартирные, разъездные, да еще с Н-ской волости. Кроме уездных властей, перепадало и губернским чиновникам, и так эта традиция укрепилась, что никому и в голову не приходило посягать на нее. Куда там! Твердыня и только. Мужичишки и жаловались, особенно новым губернаторам, на всякие сверхъестественные поборы и растраты, да сами же всегда оставались виновны. Прослышав о Муравьеве, не в долгом времени по его назначению, опять послали ходоков. Служили молебны, снаряжали, точно на войну. Знали уже по опыту, что дело это опасное.

Принял их «Мураш», долго и секретно беседовали. Потом зовет меня:

— Займитесь, молодой человек, рассмотрением дел по прежде бывшим жалобам мужиков Н-ской волости. Потребуйте из канцелярии делопроизводство. Через несколько дней спрашивает: — Ну, что? Разобрались? Поняли, в чем дело? — Нет, ничего не понял, ваше превосходительство. По документам, как будто, все правильно. — Ну, конечно, говорит, конечно.

Через несколько дней, так уже перед вечером, прибегает за мной курьер. — Пожалуйте, спешно требует губернатор. — Бегу во дворец, у крыльца стоит уже тройка, запряженная в простой крытый тарантас. Являюсь. — Ну, молодой человек, собирайтесь в дорогу.

— Когда прикажете? — Сейчас прикажу. Видели: лошади уже поданы. Со мной поедете. Сбегайте домой, захватите важнейшие бумаги по Н-ской волости и через двадцать минут чтоб уже были здесь. — Слушаю! Повернулся я, бегом пустился на квартиру, захватил кое-какие бумаги и оделся. Прибежал раньше, чем через двадцать минут. Смотрю: старик уже готов. Ни дать, ни взять — сибирский прасол.¹⁵ Ничего сановного.

Сели в тарантас. — Куда прикажете ехать? — К перевозу через Волгу. — Подъехали к Борскому перевозу. Темнеет уже, дождь моросит, дело осенью. Паром на той стороне. Я было засуетился, хотел прикрикнуть: — Не знаете, дескать, кто дожидается! Но старик остановил: «Ничего, молодой человек. Подождем, люди небольшие!».. Сидим в тарантасе, дождик на реку падает, паромщики не торопятся. Не узнали или прикидываются, каналы, что не узнали, кто их там разберет. А только вернее, что прикидываются. Исправник орел был, молодчина. Давно уже прослышал, что и мужичишки-то нажаловались, и бумаги затребованы... Все бросил. Днюет и ночует на той стороне у перевоза, чтобы встретить, если командируют какую-нибудь внезапную ревизию. Сидим мы, вдруг

* Губернаторский дом в Нижнем принадлежит дворцовому ведомству и называется «дворцом».

эта лодочка от берега шасть... Через минуту уже и не видно — на середине реки! Я внимания не обратил, а старик высунул голову, смотрит вслед. Понимаете, молодой человек? — Никак нет, ваше-ство... Не понимаюю. — Скоро поймете. Учитесь все понимать. Простота, молодой человек, хуже воровства!..

Подошел, наконец, и паром. Так же, не торопясь, ввели наш тарантас, двинулись мы за Волгу. Это был первый выезд не то и самого Муравьева, не то мой с Муравьевым. Не помню. Холодно, дождь под навес забивает, река черная. Тихо. Пароходов тогда было еще мало, да и время глухое. Подошел паром к берегу, свели нашу тройку. — Трогай! Только согласно приказу от такого-то числа, потрудитесь отправиться в свою канцелярию и ждать приказаний. Щелкнул бедняга каблуками в грязи, откозырял, повернулся и пошел. Скоро и колокольцы забрякали.

— Уехал? — говорит мой старик. — Ну, слава те Господи! Садитесь, молодой человек. Поедем и мы. Ямщик, валяй в Н-ское село...

Зевнул, перекрестился и, кажется, заснул...

Поздно ночью подъехали к волости. Соскочил я, стучу в запертую ставню. Долго не мог добудиться... Спят себе крепким деревенским сном, и не снится им, что гроза на носу. Наконец, засветили огонь. Кого, дескать, Бог принес?

— Отворяйте.

— Кто там?

— Губернатор!

Ну, легко представить, какой это произвело эффект. Писарь не знает, одеваться ему или так выскочить. Глаза безумные — все еще не проснулся, и душит его кошмар. Однако, ничего. Вошли мы. Старик поздоровался. Видит писарь, что тот на него не кидается, и даже на губернатора не похож. Ободрился. Самоварчик поставил, обогрелись мы. А уж тут и старшина явился. Стоит у двери, глядит непонимающими этакими глазами, вздыхает.

После чаю, разумеется, предлагают его превосходительству отдохнуть: постели готовы. Утро, дескать, вечера мудренее. Я было, признаться, уже и потянулся. Хорошо ведь это, после долгой дороги, да по грязи, да в слякоть. А старик, как будто, и не замечает. — Ну, — говорит, — теперь, молодой человек, приступим к ревизии. — Господи, — думаю, — что это такое? Не прикажете ли, — говорю, — ваше превосходительство, отложить до завтра? — Нет, — говорит, — не прикажу. Приступайте к обозрению делопроизводства. Делать нечего. Разложил я на столе бумаги — принялся обозревать. Тут и днем-то черт ногу сломит, а тут не угодно ли: ночью. Спать хочется. Сижу, хлопаю глазами, делаю вид, что читаю, листы переворачиваю. А он, злодей, закурил трубку. С длинным этаким чубуком трубку все, бывало, курит... И ходит

из угла в угол, как ни в чем ни бывало... Еще посмеивается. Остановился, показывает на меня чубуком:

— Видите? — говорит. — Те вскинули на меня глазами и говорят: — Видим, ваше-ство. — Вот ведь, и молодой, а дока! Сквозь бумагу и то все досмотрит.

И опять ходит... Вы только представьте, господа, эту картинку. У порога писарь и старшина стоят, поднятые со дна, точно трубой архангела. Я за столом, уткнулся в дела и строчек не вижу. Только бы носом не клонуть. На дворе дождь все шумит этак томительно, часы тикают, сверчок свистит... Вздохнет кто-нибудь... А он все ходит. Остановится, посмотрит на писаря и старшину и опять зашагает.

И вдруг... точно промчалось что-то среди этой томительной тишины... Прокинулся я — сна как не бывало. Гляжу, стоит мой старик против двери, даже ростом выше стал. Глаза как свечки. Голос резкий, точно по железу ударяет:

— Ну, будет! Что тут играть. Все равно разберем. Говори прямо: воровали?

Писарь-бедняга, до сих пор как с креста снятый, тут вдруг будто даже обрадовался.

— Так точно, — говорит, — ваше-ство. Воровали. Искони-бе...

— Ну, вот и отлично. Поди, показывай, в чем дело.

Кинулся писарь к столу, сам листы переворачивает, показывает мне, разъясняет... И даже старшина нет-нет, слово вставит. С меня и сон долой... Рука так и бегаёт по бумаге... Часа в три вся суть этих долголетних махинаций была как на ладонке.

К вечеру следующего дня, не заезжая в уездный город, опять были мы на перевозе. А там пошло: «Потребовать исправника! Потребовать того, другого...» Началась переборка, пошел по губернии трезвон: новый губернатор в один день раскопал всю Н-скую твердыню, стоявшую, можно сказать, с незапамятных времен... Да, вот какой был наш старик. Резвый... Одно, два, понимаете, таких дела — по канцеляриям пошла паника. Ужас почти суеверный. «От проклятого Мураша», дескать, не скроешься. Все видит насквозь... Ну, а так как, известно, кто Богу не грешен, царю не виноват, то всякий только молит Господа: помилуй и заступи! Все, дескать, под Мурашом ходим. Зато уж — приказал... из кожи вылезут. Мы, молодые чиновники, за совесть, по клятвенному обещанию. Старые служаки — из страха. Знают, что Мураш своими зоркими глазами видит их насквозь и, значит, чуть что... Кончено!»

Образ, который рисуется в этом рассказе современника, выступает в таком же виде и в «Муравиаде». Автор дворянской сатиры свидетельствует, что ненавистный Мураш действовал так же неожиданно и в других случаях, когда приходилось иметь дело не с одними писарями. Вскоре, ознакомившись с положением дел, он

— по всем ведомствам
Верхушки стал ломать
И камуфлеты ловкие
Сюрпризом задавать...
— Помещиков, сановников
Всех гонит наш кашей
И душит он чиновников,
Как жирный кот мышей.

Но, разумеется, старый крамольник, которому, вероятно, надоело гоняться за хищниками в Сибири и Архангельске, не затем попросился опять на гражданскую службу, чтобы играть роль кота в чиновничьем подполье. Он только готовился таким образом к предстоящей реформе, которая должна была повернуть в корне самые устои дореформенного порядка... Ему нужно было укрепиться, сосредоточить в своих руках всю власть. И скоро это было достигнуто. — То диво ль, — с горечью спрашивает автор «Муравиады», —

— что полицию,
Имущества, удел,
Финансы и юстицию
Дед все к себе поддел.

И далее:

... к несчастью, — это так:
Давно уж всю губернию
Зажал наш дед в кулак.

Теперь у старого заговорщика все уже было готово для генеральной битвы...

IV

Известно, что император Александр II, готовясь нанести удар главнейшей из дворянских привелегий — владению людьми — в то же время желал непременно, чтобы дворянство само потребовало этой реформы. Так порой родители, придя к убеждению, что любимому ребенку необходима операция, стараются убедить его, что, в сущности, и сам он желает, чтобы ему сделали больно. Дворянство не очень-то желало, чтобы ему сделали больно, и дворянская Россия молчала, не понимая очень ясных намеков.

Наконец, в октябре 1857 года в Петербург прибыл виленский ген.-губернатор Назимов и привез довольно скромное по существу ходатайство дворян трех литовских губерний: виленской, гродненской и ковенской. Хотя по этому проекту освобождение предполагалось без земли, и заявление исходило от поляков, но все же в Петербурге схватились за него, как за первое открытое выражение «дворянских желаний». Последовал исторический рескрипт на имя Назимова, разосланный затем при циркуляре министра внутренних

дел Ланского через губернаторов всем предводителям дворянства русских губерний.¹⁶ Ждали, что великорусское дворянство, в свою очередь, поддастся патриотическому порыву...

От этого зависело многое. Если бы это не удалось, кто знает, решился бы Александр II на эту тяжелую операцию.

«Первоначальное впечатление циркулятора от 24 ноября,— писал Муравьев Ланскому, с которым состоял в деятельной переписке,— заключалось в общем недоумении. Дело было слишком новое, никто его не ожидал в такой скорости.»¹⁷ Пока большинство пребывало в этих недоуменных чувствах, дело, как это бывает часто, решил героический порыв небольшой кучки. В Нижнем в то время была либеральная группа дворян-ополченцев, вернувшихся из похода, наслушавшихся в Москве пылких речей славянофилов. На губернском собрании 17 декабря эта молодежь, выслушав прочитанный предводителем рескрипт Назимову, закричала, что дворяне «желают не только улучшить, но и покончить навсегда с крепостным правом». Эти же ополченцы-дворяне, не дав опомниться другим, тотчас же составили постановление, заставили подписать его и избрали А.Х.Штевена для поднесения своего акта отречения государю.¹⁸

Так рассказывает об этом моменте в своих воспоминаниях один из участников, дворянин Н.И.Русинов. «Все это,— продолжает он,— было делом чуть не минуты». Прямо из собрания восторженно настроенная молодежь явилась с копией адреса к Муравьеву. Это было в три часа ночи. Русинов говорит, что «старый революционер, как его втихомолку называли, громко зарыдал». В ту же ночь, с 17 на 18 декабря, он экстренно отправил правителя канцелярии Разумова в Москву, чтобы сообщить о событии телеграммой (в Нижнем телеграфа еще не было). А на следующий день спешно выдал Штевену курьерскую подорожную и всеми мерами спешил отправить его в Петербург с подлинным постановлением. «Тогда только,— прибавляет Русинов (то есть, увидев радость «старого революционера» и его торопливость),— многие и многие почесали свои затылки, но было уже поздно».¹⁹

Дело было сделано. В Петербурге тоже торопились ковать железо, пока горячо, и уже 24 декабря, т.е. накануне Рождества, в Сочельник, был подписан высочайший рескрипт нижегородскому дворянству на имя губернатора. Он пришел в Нижний на святках, и 1-го января нового 1858 года губернатор препроводил его губернскому предводителю, разумеется, со всякими поздравлениями. Таким образом, в виде новогоднего подарка, старый декабрист поднес дворянству приятное признание, что оно первое заявило же-

* А.С.Гациский. Люди Нижегородского Поволжья.— Действия Нижегород. Арх. Комиссии. Т 111 Ст. Спехневского.²²

вание не только улучшить, «но и совсем уничтожить» крепостное право:

Плотина была прорвана, пауза кончилась. За нижегородским адресом последовали другие... Во исполнение этих «горячих желаний» самого дворянства, стали один за другим возникать «комитеты».

И вместе с этим патриотическое одушевление склынуло, уступая место отрезвлению. Едва начались заседания нижегородского губ.комитета под председательством либерального предводителя Болтина,²⁰ едва комитет, так сказать, по инерции, составил несколько пунктов своего проекта, более или менее «согласно с видами правительства», как поднялась резкая оппозиция большинства. Все предложения «либералов» были отвергнуты, и Болтин увидел себя вынужденным уступить председательство представителю реакционного большинства Я.И.Пятову.²¹

Таким образом, дворянство, «первым откликнувшееся на великодушный призыв монарха», теперь первое ударило отбой, и к нему обратились взоры всех крепостников России. С Пятовым заодно оказались теперь многие, радостно кричавшие «ура» и украсившие своими подписями первый адрес. Впоследствии те же подписи стояли под проектом контрадреса, где «отречение» объяснялось непониманием значения реформы и зложелательностью некоторых дворян к своему сословию.

V

Положение Муравьева стало очень трудным. Пятов в дворянстве был человек новый, выскочка, до тех пор не пользовавшийся особым значением. Но за ним стояла фигура, гораздо более значительная и опасная: Сергей Васильевич Шереметев.²³

Это имя памятно еще и до сих пор в Нижегородском крае. Спускаясь на пароходе вниз по Волге от Нижнего к Василь-Сурску, на левой луговой стороне можно видеть издали грузные постройки довольно мрачного вида. Это шереметевское имение Юрино. Если вы спросите о нем какого-нибудь старого лоцмана, он расскажет вам, что это место называлось в старину «Шереметевской Сибирью». Дом, который теперь виднеется над заволжскими лугами, сравнительно новый. Прежде здесь было нечто вроде феодального замка, впоследствии сгоревшего. Над этим пепелищем носят еще до сих пор мрачные рассказы о казематах и даже подземельях, в которых томились шереметевские слушники. Полиция едва смела показываться в шереметевских владениях, и никто не мог вмешиваться в отношения Шереметева к его рабам.

Главные имения С.В.Шереметева были в другом месте — село Богородское с прилегающими 28-ю деревнями. Богородское и теперь славится кожевным производством, которое повелось там

исстари, и шереметевские крепостные, народ предприимчивый, промышленный, жили зажиточно. Они купили, на имя помещика (еще отца или деда Сергея Васильевича), собственную землю, некоторые из них гоняли по Волге баржи, торговали кожами, хлебом и лесом. Большая часть из них жила на оброке, выплачивая помещику огромные платежи за право торговли и промыслов. В делах нижегородской архивной комиссии есть окладные книги села Богородского за 1858 год, из которых видно, что девять таких крепостных платили в год оброка от 500 до 1500 рублей, 24 человека от 200 до 375, сто человек до 95 рублей... Устанавливалось это понемногу, и можно думать, что при прежних Шереметевых суровый режим казался все-таки переносимым. Это было настоящее царство патриархального феодализма. Получая огромные доходы, владельцы проявляли некоторую заботу о своих «оброчниках»: в Богородском был доктор, аптека, богадельня для престарелых с отделением для рожениц, три школы.²⁴

В переходное время отношения всегда обостряются. Мрак часто сгущается перед рассветом, привидения снуют перед криком пуга. Сергей Васильевич Шереметев под влиянием толков о воле, которая, конечно, должна была прекратить эти источники небывалых доходов, задумал сразу выжать из своего владельческого права все, что возможно, хотя бы и путем полного разорения крестьян. Он выработал план «добровольного выкупа», назначив за каждый рубль оброка по 25 рублей выкупной суммы. По этому плану с одного, например, богатого крестьянина помещик должен был получить 38.250 рублей. Совершенно понятно, что крестьяне «оказали упорство» и от добровольной сделки отказались. Тогда Шереметев созвал выборных, которые в шереметевских вотчинах назывались «думчимами», и потребовал, чтобы они подписали акт соглашения от лица всех. Думчие тоже отказались. Шереметев пришел в совершенное неистовство: он лично избивал упрямцев, отсылал их на расправу к становым, сажал в тюрьмы, сдавал в рекруты и ссылал в свою Сибирь, Юрино, захватывая на месте дома и усадьбы ссыльных.

Призрак умирающего крепостного строя встал перед зарей над шереметевскими владениями, кидая свою мрачную тень на весь край, наводя ужас на одних и ободряя других. Губерния наполнилась чудовищными рассказами, воплями, жалобами. Было известно, что Шереметев «лично известен», что при дворе у него огромные связи, близкая дружба с Адлербергами²⁵ и другими высокопоставленными противниками реформы. Его пример ободрил остальных. Пошли слухи, что «правительство переменяло намерение, и все останется по-старому». Члены губернского комитета перестали собираться, надеясь сбить все эти проекты измором. Когда же Муравьев объявил, что постановления комитета будут считаться действительными при наличии хотя бы трех членов,

то комитет возобновил свои заседания, но вскоре принял решение — «уничтожить все доселе сделанное и начать всю работу снова на началах выкупа личности...»

Муравьев почувствовал, что наступает решительная минута, и выступил против Шереметева. Понятно, с каким захватывающим вниманием все следили за исходом этой борьбы бывшего декабриста с властным крепостником. Молва еще усиливала драматизм этой схватки. Говорили, будто 14 декабря, когда Муравьев стоял на площади вместе с бунтовщиками и, когда исход восстания был еще сомнителен, Шереметев, тогда еще молодой артиллерист, первый направил в бунтовщиков пушечный выстрел, решивший дело. Это, разумеется, была фантастическая легенда, но она придавала борьбе особую окраску: верный царский слуга и усмиритель бунта отстаивал интересы крепостнического дворянства; бывший заговорщик, участвовавший в умысле на цареубийство и бунтовщик стоял за дело крестьян и реформы²⁶... Легко представить себе, что было бы с Муравьевым при такой постановке вопроса в наше время.

Тогда не так боялись страшных слов, но все же положение Муравьева поколебалось. Ланской, человек убежденный и искренно связавший свою судьбу с делом реформы, находил все-таки, что декабрист-губернатор действует слишком круто. Муравьеву все казалось просто: он принимал крестьян, выслушивал их жалобы и обещал защиту. Большинству комитета грозил даже народной мстью. «Прошу размыслить о том, — писал он, — что укор в сопротивлении высочайшей воле может быть произнесен тем сословием, над устройством быта которого дворянство трудится. Страшно может выразиться приговор и пробуждение народа, признавшего себя по произволу лишенным права и надежды выкупом приобрести то, что ему всенародно обещано словом монаршим».²⁷ Что же касается Шереметева, который все усиливал свои жестокости и к этому времени затеял захватить в свои руки все вотчинные бумаги, то губернатор послал в Шереметевскую столицу своих чиновников, и они (дело небывалое) в центре его владений опечатали бумаги. У Ланского Муравьев требовал немедленного назначения формального следствия над Шереметевым, чтобы сразу сломить центр крепостнического упорства, причем указывал даже и следователя, вице-губернатора, «на которого одного можно положиться».²⁸

Противники тоже не остались в долгу. Комитет составил постановление, в котором жаловался, что бумага губернатора «есть не что иное, как "слово и дело, официальной властью пущенное в народ» и угрожающее страшными последствиями. Шереметев прямо обвинял губернатора в подстрекательстве к бунту. Жалуясь на опечатанье вотчинных бумаг, он писал ядовито, что «это, как известно, делается только с государственными преступниками, к числу которых я не могу быть причислен... В роде Шереметевых

(мы все гордимся этим) изменников никогда не бывало и, с Божьей помощью, не будет», а «подстрекание крестьян к бунту вряд ли может обеспечить общественное спокойствие... В таком случае строгой ответственности должны подвергаться не крестьяне, а те, которые их поджигают»... Еще яснее: «те злоумышленные люди..., которые, пользуясь своим влиянием и властью, побуждают их к противозаконным действиям». ²⁹

Влияние Шереметева в высших кругах было так сильно, что Ланской не посмел своей властью поддержать губернатора. Он доложил обо всем Государю, и 28 марта Муравьев получил извещение: по высочайшему повелению в Нижегородскую губернию командировается флигель-адъютант гр. Бобринский, ³⁰ который должен истребовать у Шереметева объяснений и, «если окажется нужным, убедить его к прекращению неблагоприятных действий».

Граф Бобринский и понял, и исполнил поручение очень своеобразно. На свою миссию он посмотрел, как на командировку для приведения шереметевских крестьян к повиновению. Приехав в Богородское, он вскоре известил Муравьева, что крестьяне к повиновению приведены, «чему лучшим доказательством служит то, что перед отъездом моим они служили молебен за милости, оказанные им помещиком» Сами милости состояли в том, что Шереметев обещал сбавить по 25 копеек с оброчного рубля.

Игра старого декабриста казалась проигранной. Шереметев торжествовал, и, конечно, вскоре крестьяне почувствовали, что его рука стала еще тяжелее. Дворянство шумно ликовало, и демонстративно проводило Бобринского обедом, на котором произносились тосты и речи со всякими намеками. Надежды на то, что правительство «переменило намерения», росли. Могло казаться, что и вся реформа сведется к «шереметевской милости».

VI

Все, что я написал до сих пор, основано на достоверных письменных материалах и документах. Теперь, при описании заключительных актов борьбы крамольного губернатора с его противниками, мне придется прибегнуть к рассказу уже упоминавшегося раньше В.М.Воронина.

Должен сказать, к сожалению, что в некоторых чертах рассказ этот имеет характер почти легендарный, и я не решился бы стоять за его историческую точность во всех деталях. Но все же это, во-первых, рассказ современника и очевидца, а, во-вторых, сам по себе он чрезвычайно характеристичен и рисует во весь рост фигуру Муравьева. Если кое-что и было бы опровергнуто фактически, то легенде нельзя отказать в большой колоритности и своего рода художественной правде.

Несколько слов о самом рассказчике. Я познакомился с ним в 80-х годах истекшего столетия, поселившись в Нижнем после своей ссылки, и сначала он казался мне самой заурядной, неинтересной обывательской фигурой.

Происходил из мещан. Отец — мелкий доверенный по откупу; сына определили в гимназию, где тот учился с А.С.Гациским и П.Д.Боборыкиным.³¹ Затем юноша поступил в Демидовский лицей, по окончании которого определился на службу чиновником особых поручений³². .. После этого, в конце шестидесятых и в семидесятых годах, служил на разных должностях, в том числе даже и по полиции. Как исправник считался полицейским старого типа: рукоприкладствовал и по уезду возил с собой верзилу десятского, известного чисто физическими дарованиями: огромным ростом и пудовыми кулаками. Взятки, кажется, не брал или, если и касался, то без излишества, ниже, так сказать, среднего исправнического положения. По крайней мере, когда умер, то имущество оставил умеренное. Отличился на службе поимкой некоего Рузаева, долгое время свирепо и дерзко разбойничавшего в окрестностях Нижнего, и считавшегося неуловимым. Рузаева расстреляли в поле за острогом — происшествие тогда редкое и страшное, о котором долго вспоминали старожилы, соединяя имя расстрелянного с именем удалого исправника Воронина. Рузаева зарыли там же, в поле, над оврагом. А Воронин подвинулся по службе. Получив чин статского советника и орден Владимира, сын бывшего доверенного по откупу стал и сам нижегородским дворянином, чем очень гордился.

Выйдя в отставку, служил по выборам мировым судьей, был гласным, вступал на этой почве в разные союзы и конфликты. Особую идейную руководящую нить в этих земско-политических комеражах³³ Воронина заметить было трудно. Одни и те же лица бывали попеременно то его союзниками, то врагами. Выдвинул его некто Андреев,³⁴ человек сильный, ловкий, бессовестный, по убеждениям крепостник, по нравственному складу хищник и растратчик. Одно время Воронину показалось, что Андреев зарвался слишком неосторожно, и он попытался свалить его на выборах, нацелившись на его председательство. Расчет оказался ошибочным. Времена не назрели, хищническая звезда уездного гения стояла высоко. Андреев уцелел еще на несколько лет, и сильной хваткой выбил заговорщика из позиции, провалив на все выборные должности. После этого бывший исправник перешел в оппозицию, выступал, где мог, против своего бывшего покровителя. Дворянская ретроградная партия его ненавидела. Либералы принимали: это был все таки «выборный голос» и притом человек ловкий, знавший отлично слабые стороны противников. Бывал он и на предвыборных совещаниях, и запросто на карточных вечерах. Рассказывал разные любопытные случаи из дворянского и мещанского быта, которые собрал за время своей полицейской службы, ненавидел дворян

двойной ненавистью: как бывший мещанин, и как новый дворянин, выскочка, отвергнутый дворянской средой. Однажды, получив афронт на каком-то торжественном дворянском обеде (где для него «случайно» не поставили прибора), довольно громко назвал губернского предводителя «жбанной затычкой». Вообще фрондировал.

В этот период я с ним и познакомился в среде, которая мне в Нижнем была наиболее близкой. Мои нижегородские знакомые, хотя и водились с Ворониным, как с бывшим школьным товарищем и нынешним союзником, но «своим» его не считали, памятуя и его исправническое прошлое, и десятого с природными физическими дарованиями, и то, что на земской службе он дебютировал под покровительством Андреева... Вообще это были отношения «тонкие», такие, при которых чувствуется, что могут встретиться всякие новые перевероты, и неизвестно еще, какая сторона этой «сложной натуры» определится, как коренная и настоящая. Будет ли это демократ, ненавидящий нынешних вершителей губернских судеб (это несомненно в нем было), или же, наоборот, воспрянет бывший полицейский, обогащенный опытом за время своего пребывания в либеральном стане.

Наружности Воронин был довольно типичной. Среднего роста, с расположением к округленности, но не рыхлый, волосы стриг ежом, подстригал седую бороду и отпускал усы. Костюмы носил широкие, из солидного материала, по большей части в крупную клетку. Был подвижен, говорил оживленно, либеральничал желчно и несколько беспокожно: желчь была настоящая, беспокойство истекало из инстинктивного сознания, что искренности его либерализма, быть может, не все верят.

Одним словом, фигура, каких и в «затишные» восьмидесятые годы, и в наше время можно встретить немало, т.е. полинявшая и неинтересная. Однако...

В жизни почти каждого человека есть свой героический период. И, как бы далеко впоследствии превратности жизни или, еще чаще, ее тихое течение не унесли его от прежних путей, он будет постоянно возвращаться мыслью к этому периоду. Будет вспоминать о нем, будет о нем рассказывать, будет, может быть, слегка украшать его и расцвечивать. И в такие минуты такой человек преобразается: из-под будничного житейского налета просвечивает что-то далекое, необычное, точно отсвет далеких праздничных огней.

Был такой именно период героический и в жизни Воронина, и относился он к тому времени, когда прямо со школьной скамьи он попал в чиновники особых поручений к губернатору-декабристу. К сожалению, он не писал мемуаров, а только по временам рассказывал разные эпизоды этой своей ранней службы. Рассказывал с любовью, с увлечением, вспыхивая и вдохновляясь. И каждый раз это было не простое повторение, а своего рода творчество;

он постепенно обрабатывал детали, как поэт совершенствует черновые наброски поэмы, пока она не приобретет художественной законченности. В такие минуты Воронина можно было заслушаться. Забывалось и последующее исправничество, и десятынский с природными дарованиями, и сомнительные земско-дворянские союзы. Полинявший человек становился поэтом, воспевавшим свою молодость и своего героя. Правда, быть может, именно вследствие этого одушевления некоторые детали этой поэмы не вполне совпадают с официальными реляциями о тех же событиях. Впрочем, кому неизвестно, что официальные реляции часто тоже являются продуктом творчества, только в направлении обратном: там, где поэзия стремится расцвести и украсить жизненную правду, реляция иссушает ее, превращая в сухой острок. И очень может быть, что поэма Воронина о царе и декабристе не дальше от исторической истины, чем официальные отчеты Правительственных Вестников... Я постараюсь, как могу, восстановить ее, без всякой, впрочем, надежды сравняться с устным оригиналом...

VII

Однажды, прийдя к своим знакомым, я застал там целое общество, центром которого был опять В.М.Воронин со своими рассказами о Муравьеве. Он был особенно в ударе: рассказы касались побед его героя в трудной борьбе.

В августе 1858 года Александр, как известно, предпринял поездку по губерниям средней России, чтобы оживить движение реформы. В различных городах, принимая представителей дворянства, он произносил речи, в которых призывал дворян к содействию.³⁵

Появлению государя в Нижнем предшествовали самые противоречивые толки. В конце июля получено было предписание Ланского, в котором сообщалось высочайшее повеление, неблагоприятное для реакционного большинства комитета: Пятову, позволившему себе в изложении своего отзыва неуместные выражения, оставить строгий выговор. Меньшинству изъявлялось высочайшее благоволение. «Дворянам же, подписавшим ни с чем не сообразное мнение Пятова, сделать строгое замечание». Эти последние слова Государь на докладе Ланского написал собственноручно.³⁶

По-видимому, ни эта резолюция, ни речи, которые Государь произносил в разных городах, направляясь к Нижнему, не могли обещать ничего хорошего реакционерам. Но вместе с тем было известно, что крепостническая партия при дворе не сдавалась, и Ланской уже просил у Государя отставки по вопросу о введении генерал-губернаторов. Отставка не была принята, но Государь сделал на докладе Ланского несколько гневных замечаний. Шереметев и нижегородские крепостники получали ободряющие письма. Му-

равьев, по словам Воронина, одно время стал мрачен. Потом, получив письма Ланского, переменялся. Для посторонних эта перемена не сказалась ни в чем, но мы-то, близкие, говорил Воронин, видим: в глазах у старика забегали какие-то огоньки... Значит, можно думать, готовится какая-нибудь неожиданность.

А все-таки... положение было сомнительное. Все время носились, как вихри, самые различные слухи, и каждый день могло повернуться по-иному... Газет тогда было мало, известия о высочайших приемах и речах сначала печатались в официальных органах и потом уже развозились в провинцию. Частные письма и приезжие, как это бывает всегда, распространяли самые противоречивые слухи.

Наконец, 18 августа царский поезд появился в виду Нижнего и переправился через Оку. «Дворец» наполнился блестящей придворной свитой. Утром 19-го предстоял в большом дворцовом зале прием дворянства.

Зал уже заранее стал наполняться: кто только мог приехать из самых дальних уездов — все, конечно, явились: случай увидеть Государя, да еще в такую историческую минуту, представляется нечасто. Скоро в зале стало тесно от дворянских мундиров. Особенно выделялась фигура Шереметева. К нему подходили, жали руки, с тревогой или надеждой смотрели ему в глаза. Вид у Шереметева в это утро был самоуверенный и великолепный.

— Потом вышел и «старик», — рассказывал Воронин. — Посмотрел я на него — сердце так и упало: узнать нельзя, сгорбился, опустился весь, даже ростом стал меньше. Точно его в эту ночь расшибло параличом, и он едва поднялся, чтобы встретить Государя. А после, дескать, хоть в могилу. Идет, на палочку опирается. Велел поставить себе стул к стенке, недалеко от входа, сел, опустил голову на посошок... Чисто сирота казанская. Мы, муравьевцы, стали около него, как отверженные. Что будет? Только раз подозревал меня старик распорядиться о чем-то, по надобности, и встретился я с его глазами. Лицо удрученное, а в глазах огонь бегаёт...

Нет, думаю, что-нибудь не так. Что-то, должно быть, знает.

Вернулся я — в зале становится тише. Скоро Государь должен выйти. Один за другим входят светские. И как войдет, взглянет кругом — сейчас к Шереметеву. Все ведь друзья старинные, приятели — всякий прежде всего к нему и подходит. Губернатора на стульчике у двери никто не замечает. Адлерберг,³⁷ великолепная тоже фигура, огромного роста, весь в регалиях, кажется, им заметил, но посмотрел этак вскользь сверху и тоже прошел к Шереметеву. Кругом Сергея Васильевича сразу точно цветущий остров образовался: эполеты, ленты, звезды, живой, веселый разговор, французские фразы, со всеми почти на ты. Одним словом, потентат,³⁸ так сказать, олицетворение силы... Ну, а вокруг нашего старика — пустота. Подойдет кто-нибудь из «либералов», подо-

ровается с озабоченным этаким видом и отходит... Вдруг все затихло. «Государь!»..

Стал в дверях. Молодой, красивый, точно в сиянии каком-то. Бросил быстрый взгляд и увидел «старика». Тот — все так же, расслабленный, незначительный, при самом уже входе Государя, поднялся со стула. Царь сделал несколько шагов и, остановившись против него, спросил:

— Это у вас крест за что?

— За сражение при Кульме, Ваше Величество.

— Вы были ранены? Вам трудно стоять? Пожалуйста, садитесь.

И потом повторил опять милостивым, но настойчивым голосом: «Садитесь!» Старик с таким же убитым и покорным видом сел. В зале наступила такая тишина, что можно было слышать полет мухи. Государь повернулся и начал речь...

VIII

Речь Александра II в Нижнем Новгороде, как она напечатана в официальных изданиях, теперь звучит довольно бледно.

«Господа. Я рад, что могу лично благодарить вас за усердие, которым нижегородское дворянство всегда отличалось. Где отечество призывало, там оно было из первых. И в минувшую тяжкую войну вы откликнулись первыми и поступали добросовестно: ополчение ваше было из лучших. И ныне благодарю вас за то, что вы первые отозвались на мой призыв в важном деле улучшения крестьянского быта. По этому самому я хотел вас отличить и принял ваших депутатов... Вы знаете цель мою — общее благо. Ваше дело — согласить в этом важном деле частные выгоды с общей пользой. Но я слышу с сожалением, что между вами возникли личности. А личности всякое дело портят. Это — жаль. Устраните их. Я надеюсь на вас, надеюсь, что их больше не будет, и тогда это общее дело пойдет... Я полагаюсь на вас, я верю вам, вы меня не обманите... Путь указан, не отступайте от начал, изложенных в моем рескрипте...»³⁹

И затем — несколько заключительных фраз в том же роде...

Так передана эта речь в официальных отчетах, но в изложении Воронина она звучала совершенно иначе.

— Да, что тут говорить, — горячо отмахнулся он, когда кто-то из присутствующих напомнил, что речь была напечатана в Губернских Ведомостях, и текст ее есть у А.С.Гациского. — Что там официальные отчеты! Небо и земля. Напечатано, как было заранее заготовлено, а Царь говорил не по их бумажкам. До сих пор вот... Закрою глаза — вижу эту фигуру. Прямой этаким, голова откинута, брови сжаты, и каждый звук летает в затихшем зале, точно в колокол бьет.

Дойдя до того места, что вот шло хорошо, царь остановился. Стало еще тише, не дохнет никто. Точно вот всем сейчас с крутой горы спускаться. Ждут, что-то будет за этой паузой. Прошла, может, секунда, другая, а поверите, мне показалось, что прошел час...

Вдруг, выпрямился еще больше, брови сдвинулись...

— Теперь узнаю, что среди вас завелась... изме-на...

Пролетело это слово, как гром среди ясного неба... И весь зал, все музирное и расшитое дворянство повалилось сразу на колени... А над коленопреклоненной толпой неслись слова царской речи, возбужденные, гневные...

Кончил, повернулся и вышел...

И как только вышел, дворяне, как один человек, кинулись к Муравьеву, который под конец речи встал со своего стула, даже роль свою забыл. Кругом поднялся гул: — Ваше сиятельство! Верните Государя! Уверте его: здесь нет изменников... Мы все готовы... Ваше сиятельство... Дворянство вас умоляет...

Но старик опять опустился, одряхлел и стал меньше ростом. Махнул рукой. Помолчал минутку, потом покачал этак прискорбно головой и говорит:

— Нет, господа. Не могу. Не решаюсь... Подумайте сами: как мне теперь явиться к государю на глаза? У меня... в губернии... измена! Господи Боже!

Опять поднялись крики и просьбы. Старик опять махнул рукой... Гляжу, в глазах искорки так и бегают, бегают...

— Ну, что делать... Для вас, господа, попробую.

Посмотрел в толпу, наметил несколько «своих» из меньшинства разгромленного комитета, и говорит:

— Прошу вас, господа, ко мне, надо посоветоваться. А вы, господа, погодите. Я сейчас...

Через несколько минут возвращается, совсем убитый, еще более сторбившийся, чем прежде, и говорит почти шепотом:

— Нет... Не м-могу. Государь в страшном гневе... У себя... Может быть, отдыхает. Скоро депутация от горожан и крестьян. Теперь вам всего лучше на время уйти. Поезжайте в свое собрание, ждите там, а я, может быть, осмелюсь... Сделаю, что могу.

Потом повернулся ко мне глазами и говорит:

— А пока, чтоб не тревожить Государя, молодой человек! Проводите, пожалуйста, господ дворянство по другой лестнице... Знаете?

У меня по спине даже мурашки прошли... Ведь это, значит, мне придется проводить их черным ходом. Посмотрел я на старика умоляющим этаким взглядом: дескать, что вы со мною-то делаете?... Но встретился с его глазами: вижу — ничего не поделаешь — встал. Повернулся я, ни жив ни мертв: «Пожалуйте, господа».

И повел. Вы, господа, знаете этот ход? Дворец — постройка довольно старая: с лица — парад, широкая лестница, колонны, а с изнанки — теснота, темнота, вообще весьма непривлекательно. Иду впереди, дворяне, ошеломленные, еще ничего не соображающие — за мной. Поверите, как стал спускаться с лестницы впереди этой толпы — ощущение такое, будто валится на меня обвал какой-то, лавина. Сейчас вот хлынет и задавит. И прямо за собой слышу грузные шаги... Шереметев. Дошли до половины лестницы — смотрю чья-то рука, большая, сильная схватилась за перила... Дрожит, и перила дрожат. Оглянулся я: Шереметев стоит, покачивается. Вот-вот — кондрашка. И говорит сквозь стиснутые зубы: — Кат-торжник... Проклятый!..

В этом месте своего рассказа Воронин, иллюстрировавший его очень выразительными жестами, остановился в волнении. Было ли это волнение от воспоминания действительно пережитой минуты, или это было волнение «творчества» — сказать трудно. Никогда больше я не слышал подтверждения этой драматической легенды, изображающей как бы апофеоз «демократического самодержавия». И нигде она не встречается в письменных мемуарах. Несомненно только, что Воронин в ту минуту верил в свои видения или воспоминания, и мы, его слушатели, верили тоже. Все было здесь закончено, цельно, согласованно. Вопрос о Кульмском кресте, забвение освободительных увлечений из-за освободительных заслуг есть указание, что настоящая измена — в кознях против великого дела свободы...

В конце концов, более чем вероятно, что этого не было, по крайней мере, в такой полноте... Что, загораясь воспоминаниями о героическом периоде своей жизни, Воронин черта за чертой создавал свою легенду и, в конце концов, завершил ее апофеозом самодержавия, твердой рукой, в сознании своей силы и власти, направлявшего дело освобождения через рифы сословных и иных препятствий... Хотя несомненно также, что в период великой реформы еще мелькали эти черты измечтанного славянофилами самодержавия... И что без них колесо истории повернулось бы иначе... К худшему или к лучшему, но — иначе...

IX

То, что Воронин рассказывал дальше, опять может быть слегка приукрашено фантазией, но в основном совпадает с фактами, установленными местной историей. Комитет был восстановлен, либеральное меньшинство вновь приобрело значение в союзе с прогрессивной администрацией. Но в жизни продолжалась борьба упорная, страстная. Шереметев не сдавался. Надежды остановить ход надвигающейся катастрофы не умирали. В народе росло нетерпение и глухие темные вспышки. Исправники и становые почти

не жили в своих квартирах, то и дело вызываемые жалобами помещиков на непокорство и бунты. Нет сомнения, что если бы в то время существовало могучее орудие нынешних ретроградов — провокация, то вскоре на место освобождения с землей выступил бы лозунг: «прежде успокоение»...

Но провокации не было, а народное нетерпение, глухое и темное, сдерживалось надеждой. Несмотря на жалобы помещиков, недвусмысленно обвинявших декабриста-губернатора в подстрекательстве, в Нижегородском крае народных вспышек и бунтов было менее, чем где бы то ни было... Особенно жестоких помещиков начали удалять из имений...

Однажды, уже в 1859 году, Муравьев опять перед вечером позвал Воронина. У крыльца стояла наготове почтовая тройка. Губернатор ждал в своем кабинете и при входе Воронина запер дверь.

— Ну, молодой человек, послужите. Садитесь к столу. Вот подорожная. Впишите в нее свою фамилию... с будущим. Теперь возьмите вот этот приказ. Впишите фамилию: «тайный советник Сергей Васильевич Шереметев».

Это был приказ губернскому секретарю Воронину отправиться немедленно в село Богородское и, предъявив тайному советнику Сергею Васильевичу Шереметеву, на основании ст. такой-то, распоряжение министра внутренних дел за номером таким-то, предложить немедленно с ним же, Ворониним, прибыть в Нижний Новгород, где и проживать безвыездно.

Воронин дрожащей рукой вписал грозную фамилию и спросил:

— С кем прикажете мне отправиться?

— Одному.

— Ваше превосходительство...— взмолился бедняга.

— Ну, что?

— Как же это... Кто он, а кто я?

— Он — тайный советник Шереметев, а вы — чиновник, исполняющий поручение.

В глазах его засверкал огонек, и он прибавил:

— Вы поедете один, чтобы не огорчать его превосходительство излишней оглаской. Не бойтесь, молодой человек, не бойтесь. Я вам говорю: поедет Ну,а...

И глаза Мураша загорелись...

— Поезжайте с Богом. Надо служить, молодой человек. Я на вас надеюсь.

По правилам следовало сообщить жандармской власти и требовать содействия. Но, так как были примеры, что жандармский полковник затягивал свой отъезд, а под рукой предупреждал приятелей-помещиков, то Мураш приказал своему чиновнику выехать немедленно, не дожидаясь «содействия». Извещение жандарму было послано уже перед утром.

— Никогда не забуду этой ночи,— говорил Воронин.

— Струсили? — спросил один из слушателей.

— Подите вы! Как тут не струсить... Правду сказать: проклинал Мураша. Ему что. Игра у него крупная, и козыри в руках... А мне каково! Вот, думал в клуб сходить, в картишки переметнуться, потом в постель. А тут — не угодно ли. Ночь, темнота, колокольчик. И как подумаю, что придется одному, с мужиком-старостой явиться перед грозным взглядом магната... Брр... пропал ты, думаю себе, Василий Михайлов ни за грош. Где тебе, губернскому секретаришке, этакий дуб голыми руками вырвать... Ну, а все-таки не ослушаешься. Не доезжая до села, велел колокольцы подвязать, потом разбудил старосту, подъезжаем к барскому дому. — Кто такой? Что нужно? — По указу его императорского величества! Сначала не смели и подумать будить барина, но я настоял. Самому, положим, страшновато, но за спиной чувствую Мураша. Подняли. Семья уже поднялась, дворня... точно муравейник, растревоженный среди ночи... Вышел мрачный, осмотрел меня с ног до головы. Жутко, но все-таки взгляд выдержал, подаю бумаги. Взял он, распечатал пакет и опять, как тогда, на лестнице, схватился рукой за стол. Закрыв глаза, лицо то краснеет, то бледнеет. И опять слышу: «кат-торжник проклятый»... Так прошло с минутой... Я стараюсь храбриться, вспоминаю про Мураша, а чувствую, точно надо мной скала повисла. Вот-вот обрушится. Вдруг Шереметев раскрыл глаза, точно от сна очнулся... «Едем!» И сразу опустился, как Мураш перед царской речью. Мешок мешком! Собираться даже не стал, сам торопит. Снарядили его домашние наскоро, одели... Вышли мы, сели в тарантас. «Гони!» Взвилась наша тройка!.. Еду я обратно, шевельнуться не смею: сам себе не верю, что это рядом со мной сидит сам Шереметев. А на душе все-таки гордое чувство... Завтра по всему Нижнему грянет, как гром. И кто это исполнил? Воронин! Перед самым городом совсем рассвело — глядим: мчится, сломя голову, жандармский полковник. Запоздал бадняга. До сих пор еще перед глазами стоят его выпученные глаза и испуганная физиономия, когда мы с громом и звоном пронесли мимо...

После этого Шереметев выхлопотал разрешение выехать за границу, и столп нижегородского крепостничества исчез с горизонта.⁴⁰

Х

Теперь, после этой нелепой, конечно, характеристики губернатора-декабриста, читателям понятны причины той глубокой ненависти, которая так вдохновляла крепостную музу. Понятно также, с какой жадностью большинство дворян ловило всякий слух об удалении Муравьева.

Вот новость первоклассная,
Вот новость на расхват,
Газетная, прекрасная,
И кто же ей не рад.

Так начинается «Муравиада».

Конец долготерпению!
Наш префект, наш тиран,
По царскому велению
Переведен в Рязань.

Оказалось, что ликование было преждевременно: переведен был другой Муравьев, племянник Александра Николаевича, вятский губернатор. Вскоре, однако, пришла очередь и декабриста.⁴¹

В апреле 1861 года Ланской увидел себя вынужденным подать в отставку, уступая место Валуеву.⁴² Это был первый удар начинавшейся реакции. Муравьев понял, что и его роль кончена, написал Валуеву замечательное по откровенной прямоте письмо и в октябре тоже подал в отставку.⁴³ Либеральная часть дворянства и общества провожала его торжественным обедом. Губернский предводитель Болтин отметил твердость и такт, с которым якобинец и заговорщик сумел предупредить обычные в то время крестьянские волнения. Он достиг этого, внушив крестьянству, что и для тех, «кто в течение двух столетий терпел притеснения и насилия, есть правосудие, есть закон». Благодаря только этому, «в то самое время, как в большинстве других губерний потребовалось содействие войск для прекращения беспорядков, в Нижегородской губернии для этого было достаточно личного появления и устных разъяснений губернатора.»*

В ответной речи Муравьев сказал, между прочим, что в этом «много содействовали ему сами крестьяне, которые с глубокой благодарностью к великим милостям императора приняли новое положение и в совершенном порядке, тишине и спокойствии исполнили все требования онаго... Тем самым,— закончил расстроенный декабрист,— равно, как и дарованными им правами гражданства, они удостоились участия в настоящем обеде».

Действительно, за столом среди дворянских и чиновничьих мундиров, виднелись мужичьи кафтаны. Как они чувствовали себя в этом положении — вопрос другой, но в газетных статьях по поводу знаменательного обеда указывалось на это «явление», как на символ нового строя, воплощение наступившего равенства и братства...

С этих пор о Муравьеве ничего уже не слышно. За праздником освобождения наступили будни. Вверху на месте Ланских и Милютиных водворились Валуевы и Толстые.⁴⁴ Внизу — пережившие свой героический период Воронины становились исправниками обычного типа. И только порой, в глухие восьмидесятые годы,

* А. С. Савельев, Р. Старина. Июнь, июль 1898 г.

проносились воспоминания о героическом подъеме освободительной эпохи...

А.С.Гациский, историк и знаток Нижегородского края, в статье, посвященной Муравьеву, находит, что он ушел вовремя. Это, может быть, правда. Революционер и мечтатель в юности, прошедший долгую школу дореформенного режима, сам он стоял на грани двух периодов русской жизни. Свободолюбец мечтой, всеми привычками и приемами, он принадлежал к старому типу самовластного дореформенного чиновничества. Необыкновенно даровитая натура, он в совершенстве овладел этими приемами и направил их, как новый Валленрод,⁴⁵ на разрушение основ этого строя.

Но, когда стена векового рабства, наконец, рухнула, увлекая за собой и многое другое, старый декабрист и бывший городничий очутился лицом к лицу с новыми требованиями жизни, к которым применить ему уже было трудно. Мы видели приемы его борьбы. Они были старые и годились только в применении к старому...

А стремился он к новому до конца. И через все человеческие недостатки, тоже, может быть, крупные в этой богатой, сложной и независимой натуре, светится все-таки редкая красота ранней мечты и борьбы за нее на закате жизни.

¹ Владимир Галлактионович Короленко более 10 лет прожил в Нижегородском крае. Он поселился в Нижнем Новгороде в январе 1885 года, когда после долгих скитаний получил разрешение вернуться в Европейскую Россию, и жил здесь под надзором полиции.

² А.Н.Муравьев стал полковником в 23 года — 7 марта 1816 г., что было удивительно даже для того времени, когда в результате продолжительных войн офицерский корпус русской армии значительно помолодел.

³ А.Н.Муравьев был членом преддекабристской организации «Священная артель», основателем «Союза Спасения», членом Военного общества и «Союза Благоденствия» до мая 1819 г. За успехи на военном поприще товарищи звали его «Маршал де Сакс» в честь знаменитого полководца н. XVIII ст. Морица Саксонского. Но в 1818 г. карьера его была внезапно прервана. В октябре он вышел в отставку, но не «по семейным обстоятельствам», как было записано в формуляре, а в знак протеста против «незаслуженного обращения» — ареста по распоряжению Александра I за ошибки, допущенные унтер-офицерами на крещенском параде. В сентябре 1818 г. А.Н.Муравьев женился на княжне П.М.Шаховской (1788-1835) и поселился в деревне, а в мае 1819 г. он объявил о своем решении покинуть тайное общество и вернул все хранившиеся у него документы Союза Благоденствия.

⁴ Люблинский Юлиан Казимирович (1798-1873) — настоящая фамилия Мотошнович. Из обедневшего шляхетского рода.

⁵ По конфронтации 10 июля 1826 г. А.Н.Муравьев был сослан в Сибирь без лишения чинов и дворянства.

⁶Гациский (Гацисский) Александр Серафимович (1838-1893) — видный деятель земского и городского самоуправления, историк, статистик и исследователь Нижегородского края.

⁷ См. Русская старина (далее — РС) 1897 №9. С.539-559.

⁸ Дворянские сочинители обвиняли живших в доме нижегородского губернатора сестер покойной жены — М.М.Муравьеву, Е.М. и К.М.Шаховских, их племянницу Прасковью Михайловну Гольнскую (1822-1893) — действительно получившую звание фрейлины благодаря хлопотам Муравьева — в том, что они вмешиваются в служебные дела, раздают родственникам «доходные места», принимают подношения.

⁹ Нижегородская ярмарка была любимым детищем А.Н.Муравьева. На время ее проведения он передавал управление губернией в руки вице-губернатора, а сам перебирался в Главный ярмарочный дом, давая объявление в «Справочном листе Нижегородской ярмарки», что он принимает всех, «имеющих до него надобность... без различия чина, звания, состояния,.. во всякий час для ежедневно...»

¹⁰ А.Н.Муравьев боролся не с отдельными людьми, а со злоупотреблениями, которые этими людьми допускались.

¹¹ Савельев Александр Александрович (1848-1916) — видный общественный деятель, председатель Нижегородских (губернской и уездной) земских управ (1890-1908), член первых трех Государственных Дум.

¹² Муравьев Михаил Николаевич (1796-1866) — брат А.Н.Муравьева, с 1865 г. граф, известен как Муравьев-Виленский.

¹³ Оба они, и Сорокин, и Варыпаев; в молодости были членами кружка Ивана Петровича Елагина, тоже крепостного крестьянина, читавшего Руссо, Вольтера и преклонявшегося перед Р.Оуэном.

¹⁴ Слова эти принадлежат Михаилу Ивановичу Попову — судье нижегородского уездного суда, коллежскому секретарю, о котором известно, что он очень неприязненно относился к А.Н.Муравьеву.

¹⁵ Прасол (устар.) — оптовый скупщик скота и разных припасов (обычно — мяса, рыбы) для перепродажи.

¹⁶ Рескрипт на имя В.И.Назимова был дан 20 ноября 1857 г., а циркулярное письмо министра внутренних дел С.С.Ланского — 24 ноября 1857 г.

Назимов Владимир Иванович (1802-1874) — генерал-адъютант.

Ланской Сергей Степанович (1787-1862) — граф, известный деятель крестьянской реформы, обер-камергер.

¹⁷ См. письмо А.Н.Муравьева от 32 декабря 1857 г. — Савельев А.А. Указ. соч.//РС. 1896. №6. С.616.

¹⁸ Штевен (Стивен) Алексей Христианович (? ?) — дворянин Нижегородской губернии, принадлежал роду, вышедшему из Швеции; действительный статский советник.

¹⁹ Русинов Николай Иванович (1820-1886) — из дворян Нижегородской губернии.

²⁰ Болтин Николай Петрович (1816 — ?) — из дворян Нижегородской губернии.

²¹ Пятов Яков Иванович (? — ?) — дворянин Балахнинского уезда Нижегородской губернии. Происходил из купеческой среды.

²² Видимо, это опечатка — автор статьи Снежневский В.И.

²³ Шереметев Сергей Васильевич (1792-1866) — образование получил домашнее. Службу начал в 1808 г. в Литовском Уланском полку, продолжал

службу в лейб-квартдии Гренадерском полку, с 1810 г. — в Кавалергардском. Участник Отечественной войны 1812 г., в Бородинском сражении «был ранен саблею в лицо и в правую руку и в правую ногу», участник заграничных походов русской армии — неоднократно был награжден и повышен в звании. В 1819 г. он становится полковником и флигель-адъютантом Александра I. «За примерный порядок, усердие и точность в исполнении своих обязанностей во время нахождения в строю в войсках Гвардейского корпуса, собранных по Высочайшему повелению на Дворцовую и Исакиевскую площади против мяжеников во время бывшего в Санкт-Петербурге происшествия, удостоился в числе прочих получить Высочайшую признательность 15 декабря 1825 г. «Военная служба С.В.Шереметева продолжалась успешно, и уже в 1827 г. он получил звание генерал-майора; отличился во время Турецкой войны 1828-29 гг. — награжден золотой саблей «За храбрость» с алмазными украшениями. В 1835 г. вышел в отставку и поселился в своем имении Горбатского уезда Нижегородской губернии. С 1837-46 гг. служил Губернским предводителем дворянства. При его активном содействии были организованы Александровский Губернский Дворянский Банк, Александровский Губернский Дворянский Институт и Мариинский Институт благородных девиц. «За отлично-ревностную службу в звании Губернского предводителя дворянства объявлено Особое Высочайшее Его Императорского Величества благоволение.» В 1839 г. произведен в тайные советники. В период работы комитета по крестьянскому вопросу принадлежал к его большинству.

24 По словам самого С.В.Шереметева, крестьяне из его вотчин ссылались в Юрино «за закоренелое упорство.., где они поправлялись как состоянием, так и поведением». А в 1850 г. он отобрал у многих крестьян земли, приобретенные ими на его имя, вместе с документами.

25 Адлерберг Владимир Федорович (1791-1884). В 1852-72 гг. — министр Императорского двора и уделов.

Адлерберг Александр Владимирович (1818-1888 гг.) — граф, генерал-адъютант, член главного управления цензуры, министр Императорского двора и уделов (сменил отца на этом посту).

26 Как видно из биографии С.В.Шереметева, он действительно участвовал в подавлении восстания 14 декабря 1825 г. А.Н.Муравьев, покинув тайное общество в 1819 г., в событиях 14 декабря участия не принимал, и был арестован 8 января 1826 г. в с.Ботово Волоколамского у. Московской губ.

27 26 июня 1858 г. Нижегородский комитет принимает очень стеснительное для крестьян постановление об усадьбах, что и вызвало эти гневные слова А.Н.Муравьева.

28 Речь идет о статском советнике Якове Александровиче Куприянове, о котором известно, что после окончания училища правоведения с 1844 г. он служил на различных должностях по ведомству Министерства Юстиции, а с ноября 1857 г. стал нижегородским вице-губернатором.

29 Письмо С.В.Шереметева к гр. А.П.Бобринскому от 6 апреля 1859 г.

30 Бобринский Алексей Павлович (1826-1890).

31 Боборыкин Петр Дмитриевич (1836-1921) — известный русский писатель.

32 В 1860 г. Воронин В.М. состоял младшим чиновником по особым поручениям при генерал-губернаторе, в 1861 г. он уже старший чиновник. Долгое время (как удалось установить по Адрес-календарю), до 1880 г. Воронин

был исправником нижегородского уездного полицейского управления, имея чин коллежского секретаря.

33 Комеражи (от фр.commerager) — сплетни, пересуды.

34 По воспоминаниям А.А. Дробышевского, председатель нижегородской уездной земской управы.

35 С 18 по 22 августа 1858 г. Александр II находился в Нижнем Новгороде. Осенью, вернувшись в Петербург, он сказал С.С.Ланскому: «Мы с Вами начали крестьянское дело и пойдем до конца рука об руку».

36 Речь идет о предписании от 28 июля 1858 г., одобренном Александром II.

37 Имеется в виду А.В.Адлерберг.

38 Потентат (от лат.potentatus) — верховная власть, вельможа, властелин.

39 Речь Александра II публиковалась во многих изданиях, посвященных крестьянской реформе.

40 По воспоминаниям того же П.Д.Стремоухова, борьба между С.В.Шереметевым и А.Н.Муравьевым завершилась следующим образом: по ходатайству П.Д.Стремухова к министру внутренних дел, «в виду исключительных обстоятельств того времени», дело о злоупотреблении помещичьей властью С.В.Шереметевым обошлось без формального следствия.

41 Муравьев Николай Михайлович (1820-1869) — генерал-майор, сын М.Н.Муравьева-Виленского.

42 Валуев Петр Александрович (1814-1890) — граф, русский государственный деятель.

43 А.Н.Муравьев был уволен от должности и высочайшим приказом назначен сенатором с переводом в Москву 16 сентября 1861 г., фактически это была почетная отставка.

44 Милютин Николай Алексеевич (1818-1872).

Толстой Дмитрий Андреевич (1823-1889) — граф, русский государственный деятель, член Государственного Совета.

45 Валленрод Конрад — гроссмейстер Тевтонского ордена, который в к. XIV в. возглавил крестовый поход против Литвы и Польши. Предание сделало из него патриота-литвина, который вступил в орден с единственной целью отомстить ему за разорение своей Родины.

Публикация и примечания Т.Г.Дмитриевой

В первой половине 1994 года в Русской Православной Церкви совершилось очень важное событие. Совместными усилиями функционеров Московской патриархии и Союза православных братств — при поддержке значительной части столичного приходского духовенства и определенных кругов православной интеллигенции — были предприняты действия, направленные, по существу, на разгром общины Владимирского собора бывшего Сретенского монастыря в Москве, основанной в 1990 году священником Георгием Кочетковым. Раздаются требования и о лишении его священного сана.

Всем, кто следит за положением дел в российской церкви, эта эпопея, без сомнения, известна в подробностях из нескольких десятков публикаций едва ли не во всех средствах массовой информации. И нет резона повторяться, еще раз пересказывать ее детали. Дело не в деталях.

Существует разряд событий, которым отведена роль итога, рубежа, извещения о том, что настоящее стало прошлым. Наступая, как правило, внезапно, такие события застают участников врасплох, заставляя их реагировать «с листа», открывать правду о самих себе.

«Победа», которую потерпело «русское православие» над «модернизмом» о.Георгия, относится, мы полагаем, именно к этому классу событий. Для нас она звучит как похоронный колокол по 10-летнему периоду надежд на то, что РПЦ, освободившись от пресса коммунистического режима, встанет на путь преобразования из «религиозного ведомства» в Церковь, то есть в место, где свободно собравшиеся, ответившие на призыв Бога люди, живя по законам «не от мира сего» и одновременно таинственно и парадоксально отдавая себя «за жизнь мира», будут полностью и целостностью своего бытия в Церкви являть, показывать нецерковному миру безвыходность, ущербность его безбожного существования; надежды на то, что в новой России Православная церковь будет свидетельствовать обществу, потерпевшему в XX веке антропологическую катастрофу, о заповеданном Спасителем в Евангелии: о Любви, о Логосе, о Свободе...

Похоже, этот романтический период завершен.

Причины, по которым РПЦ оказалась не в состоянии самоидентифицироваться, осознать себя в новой исторической реальности и все глубже погружается в трагический фарс российского посткоммунизма, анализирует в публикуемой ниже статье известный православный богослов Александр Кырлежев. Мы же предваряем его текст своим по следующим мотивам.

Во-первых, мы ни в каком случае не считаем для себя возможным оставаться безучастными, когда толпа травит одного человека.

Во-вторых, мы хотели бы обратить внимание читателей на некоторые обстоятельства, заставившие сделать столь серьезный вывод о крахе официально провозглашенного «возрождения» РПЦ.

Нынешний победоносный блицкриг неограниченного контингента «ревнителей благочестия» разрушил несколько недавно возникших, но уже устойчивых мифов, приняв которые, можно спокойно и упрямо убеждать себя в том, что все к лучшему в этой лучшей из церквей. Благостный миф об обнадеживающей религиозно-нравственной неоднородности епископата, клира, мирян. Есть неоднородности, да. Но когда потребовалось подняться на защиту собственного спокойствия («церковного мира») от «бунтаря», весь бунт которого заключается в попытке ввести в общинную практику литургические традиции ранней Церкви, сочетая их с общепризнанными всемирным православием достижениями современного экклезиологического и катехизического опыта, плечом к плечу встали все слои «церковной общественности» — от патентованных интеллигентов до малограмотных фанатиков. А Московская патриархия, хороня миф о добром Патриархе, задыхающемся в окружении злобных изуверов, не побрезговала и помощью «Черной сотни», которая активно участвовала в изгнании общины Кочеткова из Владимирского собора.

Другой миф — о моральном превосходстве «профессиональных» православных над внешними. «Профессионалы» использовали для расправы над Кочетковым и его делом методы, дикие даже на фоне этической дикости российский общества образца 1994 года.

1974 год, год организованной травли Солженицына, был отмечен бесчисленными откликами «с мест»: мы, советские комбайнеры, домоуправы, оленеводы и т.д. Солженицына не читали, но как один заявляем, что он власовец, клеветник, двурушник, и требуем...

В 1994 «верные чада РПЦ» завалили редакции газет: мы, православные священники, миряне, православные артисты, кинорежиссеры и математики, Кочеткова в глаза не видели, в храме у него никогда не бывали, но как один заявляем, что он модернист, обновленец, враг Святой Руси, и требуем...

Из всего обилия откликов следует особо сказать о двух. «Сигнал» на имя Патриарха подписал ряд деятелей культуры. Нелепо предъявлять претензии к караемому долголетием Л.М.Леонову. Наивно обижаться на Никиту Михалкова. Но И.Р.Шафаревичу стоит задать вопрос: как может человек, имевший реальный опыт преследования за убеждения, опуститься до участия в коллективном стукачестве?

Когда общество, покрывая себя позором, требовало расправы над Солженицыным, от РПЦ печатно выступил один представитель — престарелый митрополит Крутицкий и Коломенский Серафим. Донос Патриарху на Кочеткова подписали 42 московских пастыря. Все «уважаемые и почитаемые»: от Асмуса до Ширинкина. Господа 42 священнослужителя, сделанное вами — подлость. Несколько лет вы так или иначе открещивались от сотрудничества с КГБ. Хорошо. Но вы умеете баловаться доносками и без помощи КГБ.

В 1983 году Кочетков был удален Комитетом госбезопасности с последнего курса Ленинградской духовной академии за православную проповедь среди интеллигенции. До начала 90-х он подвергался преследованиям этой организации.

В 1994 радетели «чистоты православия» пытаются изгнать отца Георгия из священников. Радетели, затворившись в мирке «церковности» кто духовно комфортабельно, кто материально, а большинство удачно совместив первое со вторым, — перепугались. Чего? Элементов древней литургики? Частичного перевода богослужебных текстов на русский язык? Чтения вслух запрестольных молитв?

Они испугались предпринятой Кочетковым попытки реализации той творческой свободы, которая заповедана в Евангелии, — попытки жить в Церкви, соотнося свои слова и дела со смыслом и совестью, с великим Преданием Церкви Христовой, а не с самодельными «преданиями старцев».*

Игорь Виноградов
Сергей Юров

* Уже после того, как материал был подготовлен к печати газета «Сегодня» (04.05.94) опубликовала письмо к Патриарху за подписью 34 православных священников, которые, не упоминая имени отца Георгия, тем не менее высказались против сугубо административного решения проблем, вся острота которых отразилась в «деле Кочеткова». Будем надеяться, что появление такого письма есть свидетельство о том, что пусть количественно и небольшая, но реально существующая часть РПЦ отдает себе отчет: от окончательного превращения в этнографический реликт российскую церковь может уберечь только открытое и свободное обсуждение ее нынешнего положения.

ЦЕРКОВЬ ИЛИ «ПРАВОСЛАВНАЯ ИДЕОЛОГИЯ»?

Все революции суть революции сознания.

Наша нынешняя — началась с открытия, что «так жить нельзя». И невозможно, и не должно. Поиск же представлений о том; как нужно жить, пошел по двум направлениям: «пространственному» — в сторону современного Запада и его «европейской парадигмы» и «временному» — в разрушенное и утраченное до-советское прошлое.

В обоих случаях, однако, искания так или иначе упирались в тему религии и привели к мысли о необходимости ее реабилитации в обществе, которое долгое время всякую религиозность подавляло и уничтожало. Это понятно: для демократически ориентированного сознания религиозная свобода — первое и неотъемлемое право личности; для ностальгического — столь же очевидно, что религия была не последней по значимости составляющей «России, которую мы потеряли».

Так идея «религиозного возрождения» стала обязательным пунктом в «новом революционном сознании». И на первых порах в этом пункте сходились и «правые», и «левые». Главным было общее ожидание того, что Церковь, наконец-то освобожденная из большевистских уз, расцветет и раскроется в полноте своих духовных возможностей перед лицом всего общества и окажет на него свое благотворное влияние: особенное, только ей присущее, ничем не заменимое.

Сегодня приходится констатировать, что эти надежды — как, впрочем, и многие другие, навеянные «перестроечной» эйфорией, — не оправдались. Церковь как нечто целостное, как активная духовная и общественная сила, которая имеет, что предложить обществу, переживающему тяжелейший кризис, — такая Церковь в постсоветском обществе не появилась. Вопрос о «религиозном возрождении» — есть ли оно, и если есть, то в чем проявляется? — остается открытым; определенного ответа общество на него не получило. Конечно, «общества в целом» — нет, потому что оно аморфно и в то же время поляризовано. Однако совершенно очевидно, что официальная позиция Православной Церкви, выражаемая вы-

шей церковной властью, сегодня никак не может уже удовлетворить на «правых», ни «левых». Положение осложняется тем, что и внутри Церкви как сообщества православных верующих — священнослужителей и мирян — идут сложные процессы, отражающие жизнь и эволюцию общества в целом.

Два года назад анализ этих внутрицерковных процессов позволил сделать прогноз, который сегодня в своих существенных чертах уже оправдался (см. статью «Современное Российское Православие: типология религиозного сознания», опубликованную в «Континенте», — 1993, N 75).

Речь шла тогда о «внутрицерковном плюрализме» — то есть о существовании в православном церковном обществе различных групп верующих, для которых характерно разное восприятие Церкви, опирающееся на разные приоритеты в понимании церковной жизни. Такой подход позволил выделить следующие типы современного религиозного сознания: культовое («ритуалисты»-миряне и «требоисправители»-священнослужители); политическое (распадающееся на, условно говоря, «православных патриотов» и «христианских демократов»); аскетическое (монашествующие — в прямом и переносном смысле слова); эстетическое (восприятие Церкви прежде всего в параметрах формулы: «храмовое действо как синтез искусств»); и, наконец, либеральное (ориентированное на творческое преобразование церковной действительности в ключе «духовной свободы»). Результатом же проведенного анализа стало предположение, что хотя наблюдаемое разнообразие в церковной среде указывает на отсутствие целостного видения Церкви, разделяемого всеми или большинством ее членов, вряд ли следует ожидать каких-либо серьезных разделений или расколов в Российской Православной Церкви. И сегодня динамика церковной жизни — в полном соответствии со сделанным ранее прогнозом — показывает, что в настоящее время идет как раз процесс определенной консолидации указанных церковных групп. Но — не в результате выработки целостного, богословски продуманного и принимаемого большинством верующих представления о Церкви в различных ее аспектах, а за счет отторжения тех групп верующих, которые по тем или иным причинам не разделяют традиционалистского образа Церкви, отражающего прежде всего и по преимуществу церковную практику исторического прошлого — как досоветского, так и средневекового. Так отторгаются от массивного и инертного «церковного тела» «левые политики» («христианские демократы») и церковные «либералы», а также те, кто стремится осуществить именно целостный, смысловой подход к современным церковным проблемам, опираясь на богословское мышление и те результаты, которые оно уже дало в Православии XX века.

Все это побуждает снова обратиться к церковно-общественной теме.

1

Чтобы понять, что же реально происходит сегодня на путях церковного возрождения (или, вернее, его неудачи), нужно начать с вопроса о самой Церкви: что она такое по своему существу? Попытка ответить на этот вопрос, опираясь на церковно-исторический материал, была уже сделана в статье «Раннехристианская Церковь и трансформация христианского сознания» («Континент», 1993, N 76). Здесь нам важно напомнить прежде всего о том, что Церковь как христианская традиция есть отнюдь не только исторически преемственная институция культового характера. Церковь — это всегда также определенная логически связанная система представлений о Боге, мире, человеке и его путях в истории, то есть особая богословская теория, которая, в свою очередь, неотделима от особой духовной практики — опытного знания о Боге, мире, человеке и путях, которыми он должен ходить перед Богом в этом мире. Все люди, в Церковь приходящие, так или иначе всегда обнаруживали эти три основные измерения Церкви: организованный культ, возглавляемый церковной иерархией («священноначалием»); вероучение («догматика»); специфический церковный духовный опыт. Понятно, что они необходимо присущи Церкви и сегодня.

Вглядимся теперь в эти три измерения более пристально. И начнем с двух последних.

Отметим прежде всего, что по своему внутреннему смыслу интеллектуально-теоретический и духовно-практический аспекты церковного опыта суть, конечно же, две стороны одного целого, разные проявления и выражения одного и того же. Понятно, что их необходимо различать: если первое есть осмысление истин христианского Откровения и вероучения, то второе — своего рода методика осуществления этих истин в жизни человека, обретаемая в практическом опыте. Однако и разорвать их невозможно; в противном случае отказ от данных духовного опыта, например, неизбежно ведет к отвлеченному теоретизированию, которое «не пользуется нисколько». Подобного рода «крены», как мы знаем, не раз случались в церковной истории, и внутренний «механизм» их образования всегда был один и тот же. Ведь, строго говоря, церковное богословие не является собственно «мировоззрением», то есть неким комплексом сугубо теоретических постулатов, или «убеждений» (так Хайдеггер справедливо считал одним из сущностных явлений Нового времени перетолковывание христианства

в «христианское мировоззрение»), Это именно богословская теория в изначальном смысле слова как созерцание, видение духовной реальности человеческого существования перед лицом Бога. Поэтому богословие неотделимо от духовного опыта, питается им. Но, как уже сказано, и наоборот: отказ от богословского мышления в свою очередь также приводит к деформациям в духовной практике, лишенной целостной богословской ориентации, потому что именно взаимное согласие логоса и этоса, «слова» и «дела» характеризует подлинно церковный опыт; именно это и призвана возвещать Церковь, когда она обращается к миру и призывает каждого стать участником ее жизни.

Но если это так, тогда на первый план выходит вопрос: как возможно соединить разные аспекты церковной жизни, не пренебрегая особенностями каждого, специальными задачами, их различающими?

Историческое предание Православной Церкви необычайно богато, но его духовная (человеческая, экзистенциальная) ценность определяется прежде всего тем, что само предание есть депозитарий не безличного, «абстрактного», но именно личного и меж-личностного опыта. Все подлинно значимое в предании — персонифицировано, есть результат раскрытия и реализации духовных даров, «танталов» (в евангельском смысле), которые получили и «пустили в оборот» конкретные люди. Эти дары, или призвания в Церкви различны по содержанию и степени. Богословы-теоретики, поэты-литургисты, монахи-подвижники, епископы как организаторы церковной жизни и руководители общин («пастыри») — каждый по-своему осуществляет свое христианское призвание и тем самым привносит что-то новое в традицию. Именно благодаря этому единая церковная традиция, обогащаемая опытом тех, кого она называет «учителями» и «святыми», и приобретает те измерения, о которых мы говорили: прежде всего три основные, «структурообразующие» измерения священнической культовой организации, богословской теории и духовной (подвижнической) практики. Каждое из них необходимо для целого и, вместе с тем, особенно, то есть имеет свою специфическую логику, свои приоритеты и свою традицию, уходящую в историческую ретроспективу.

Так мы приходим к весьма важному выводу. Взаимосвязь различных измерений Церкви не является «автоматической». Для того, чтобы она была актуализирована, требуется сознательное усилие самого человека — самих членов Церкви. И сегодня только так можно выявить и оживить все, что «заложено в памяти» Церкви, — через необходимо новое, «современное», усилие самих христиан. В противном случае все «богатства предания» останутся мертвым грузом, только знаками чужой, оставшейся в историческом прошлом жизни.

Но для этого недостаточно, чтобы среди нас жили продолжатели мистико-аскетической традиции, обладающие опытным духовным знанием («старцы»), и профессора-богословы, штудирующие древние святоотеческие творения. Недостаточно иметь «законную» церковную власть (епископы) и продолжать совершать богослужение «по уставу» (священники в храмах). Для того, чтобы можно было надеяться на подлинное возрождение Церкви, на ее возвращение к себе самой, — какой она была в лучшие времена своей истории, — мало воспроизводства отдельных аспектов совокупного церковного опыта. Для этого необходимы также синтетические усилия, направленные на то, чтобы согласовать эти различные измерения церковности, восстановить целостность и соразмерность церковной жизни. Последнее же по определению является делом церковной иерархии — епископов. Их призвание заключается в том, чтобы объединять богословский опыт «теоретиков» и духовный опыт «практиков», поверяя один — другим, и чтобы, используя данную им власть, организовывать жизнь Церкви в соответствии с этим двуединым опытным знанием, заботясь о том, чтобы оно постоянно сообщалось всем членам Церкви. В этой простой схеме и выражается тот общий «механизм» воспроизводства Церкви как целого, который представляет собой действительно соборное усилие всех членов церковного сообщества — каждого в соответствии с личным призванием и даром.

Понятно, что такое воспроизводство, — а тем более «возрождение» чего бы то ни было, — невозможно «запрограммировать». Возможно, однако, — избавившись от внешних стеснений и получив свободу действий, — не только осознать необходимость «восстановительных работ», но и выработать общую «комплексную программу» действий. Но именно этого и не произошло в Российской Православной Церкви после краха старого режима, и потому она не оправдала тех надежд, которые возлагало на нее общество. Ведь только формирование целостного церковного сознания на основе ясного представления о том, что такое Церковь и чем она должна быть сама по себе, согласно своей внутренней логике, открывает путь к решению актуального вопроса: как Церковь должна относиться сегодня к внешнему, нецерковному миру — обществу? И тем более — влиять на него?

2

Сегодняшний кризис Церкви как целого есть, таким образом, прежде всего кризис ее самоидентификации. И он, конечно, напрямую связан с тем, что в течение веков (а также десятилетий советской истории) наша Церковь жестко определялась прежде всего извне — со стороны государства, светской власти, становив-

шейся все менее «церковной», менее «христианской» и, наконец, ставшей открыто атеистической. Этот исторический опыт по существу является единственным опытом существования Российской Церкви в обществе. Все области человеческой жизни, не являющиеся собственно религиозными, издавна были отданы Церкви на откуп государству. Это было оправдано в эпоху господства «средневековой парадигмы», когда само государство осознавало себя христианским и опиралось на «божественное право»; когда общество в целом признавало своими христианские ценности и цели. Богословие тогда было «наукой наук», святость — общим нравственным идеалом, а архиереи приравнивались к «генералам». Но секуляризация изменила социокультурный контекст бытия традиционной Церкви.

Русская Церковь испытала первый серьезный кризис идентичности в начале XX века: в 1906-ом она осталась заложницей государства, тогда как другие конфессии получили свободу; в 1917-м новое государство (в лице Временного правительства) стало отрывать ее от себя, почти заставляя стать самостоятельной. Победа большевиков не позволила завершиться процессу самоопределения Церкви во внецерковном обществе и государстве, и на десятилетия она была законсервирована почти исключительно в «культовом» состоянии — все остальные элементы церковности сохранялись лишь в подполье (в «подполье сознания» в том числе). Когда с обвалом коммунистической идеократии пришла, наконец, реальная свобода действий, когда вне Церкви враждебная «безбожная власть» сменялась современным «безбожным обществом», когда все, что жило и развивалось в церковном подполье, вышло наружу, — тогда наступило замешательство. Это замешательство Церкви — и высшей церковной власти прежде всего — сегодня вполне соответствует общему замешательству в обществе, которое тоже не понимает, что оно такое и куда идет.

Кризис самоидентификации, который переживает Церковь, имеет два аспекта. С одной стороны, это кризис самосознания Церкви как сообщества единоверцев, проявляющийся в отсутствии ясного ответа на вопрос, что такое Церковь. Разные группы верующих отвечают на этот вопрос по-разному; но поскольку церковная власть не заботится о том, чтобы актуальные церковные проблемы стали предметом серьезного богословского анализа и всестороннего обсуждения, побеждает то мнение, которое имеет в настоящий момент наибольшее число сторонников (хотя очевидно, что общий уровень богословского сознания после десятилетий атеистического режима оставляет желать лучшего).

С другой стороны, этот кризис проявляется в непроясненности церковного отношения к современному миру, к тем социокультурным процессам, которые сегодня идут на Западе и на Востоке.

«Субъективно» этот второй аспект кризиса последует первому. Ведь для того, чтобы самоопределиться в обществе, Церковь должна осознать свои собственные пределы: исходя из того, что является ее существом, собственно христианской истиной, ответить на вопрос о том, в какой степени религиозные послышки позволяют выносить оценочные суждения относительно процессов общественного развития. Где та грань — если она есть, — за которой, с религиозной точки зрения, начинается автономия секулярного мира, который Церковью не является? Иными словами, важно различать саму Церковь, которая «не от мира сего», и «мир сей», который теоретически хотя и может быть воцерковлен, «христианизирован», но сам по себе всегда остается иной, внеположенной Церкви реальностью.

Вот недавний пример, в котором ярко проявился этот нынешний кризис церковного самосознания, о котором идет речь. На собрании, посвященном обсуждению проблем церковного обновления, оправданности изменений в приходской и литургической практике, один из выступавших, — сославшись на слова авторитетного духовника, многими почитаемого за «настоящего старца», — высказал мнение, которое заключалось в следующем: сегодня существуют четыре главные опасности, представляющие страшную угрозу для Церкви, а именно: введение нового стиля в церковный календарь, перевод богослужения на русский язык, экуменическое общение с инославными христианами и созыв Всеправославного церковного собора. При этом важно помнить, что для выступавшего и множества духовных чад старца мнения последнего являются безусловно верными, но столь же непреложными остаются и послушание церковной иерархии, и ревность о Православии вообще. Однако, если обратиться к современной практике Православной Церкви, оказывается, что указанные «опасные тенденции» являются для нее совершенно обычными. Из 16 Поместных Православных Церквей только 3 сохраняют старый стиль, а остальные давно перешли на новый (имеется в виду неподвижный годовой календарный цикл; Пасха и связанные с ней праздники во всех Православных Церквях — за исключением Финляндской — совпадают). Православное богослужение совершается по всему миру на множестве местных — в том числе вполне современных — языков, и сам вопрос о переводе богослужения никогда не был проблемой для Православия (достаточно вспомнить, что первоучители Словенские Кирилл и Мефодий, ратуя за перевод богослужения на язык славян, боролись с т.н. «триязычной ересью», согласно которой служить Богу можно только на трех древних «священных языках»: древнееврейском, греческом и латинском). Что же касается участия в экуменическом общении с инославными христианами, то оно происходило и происходит по сей день не просто по благословию,

но при прямом участии церковной иерархии (в послушании у которой пребывают все клирики и миряне), так что сам патриарх Алексий II до своего избрания на патриаршую кафедру был президентом одной из крупнейших экуменических организаций — Конференции Европейских Церквей.

Однако самым несообразным с «теорией и практикой» Православия является последнее предостережение — по поводу созыва Всеправославного собора. Разве не соборы — «высшая инстанция» в Православной Церкви, призванная решать как вероучительные, так и дисциплинарные вопросы (в противоположность католическому «папизму» и протестантскому «библеизму»)? Конечно, церковная история знает и т.н. «разбойничьи соборы», но тот факт, что такие соборы имели место и что церковное сознание в целом не признало их законными и полномочными принимать решения, никогда не означал, что соборы вообще утратили свое значение в жизни Церкви и могут представлять для нее только опасность. К тому же будущий Всеправославный собор, который совместно решили созвать все Православные Церкви, находится в стадии подготовки уже в течение нескольких десятилетий. Его повестка дня и проекты возможных решений разрабатываются с величайшей тщательностью и подлежат предварительному одобрению всеми поместными Церквями. По существу, этот собор уже работает в форме общеправославных предсоборных совещаний, но он далек от принятия каких-либо однозначных и автоматически общеобязательных («опасных») решений. Таким образом, описанный эпизод на конференции, где обсуждались самые жгучие вопросы церковной жизни, обнаруживает предельно абсурдную ситуацию: учителя духовной жизни (старцы, «практики») высказывают авторитетные мнения, находящиеся в прямом противоречии с тем, что делает иерархия и что является установившейся практикой Православной Церкви в целом. Но при этом — заявляют о своем послушании церковной власти и не отрицают своего единства с православным миром. Со стороны иерархии, однако, не следует никакой реакции на подобные мнения, распространяемые среди верующих их духовными наставниками; она продолжает, скажем, участвовать в межправославных и экуменических встречах и посылает туда своих профессоров-богословов, которые поддерживают вместе со своими коллегами из других Церквей вышеупомянутые «опасные тенденции». Иными словами, не происходит самого главного: согласования богословского мышления и духовного опыта, которое призваны осуществлять епископы данной им властью, — властью, признаваемой всеми членами Церкви. Мало быть профессором богословия, знатоком церковной истории и теории — необходимо еще прислушиваться к церковному опыту «различения духов, от Бога ли они». Равным образом для того, чтобы высказываться по сложным

церковно-богословским вопросам, мало быть «практиком», человеком личного духовного опыта — необходимо еще уметь выразить его на богословском языке Церкви, не впадая в противоречие ни с общеправославным сознанием, ни с теми, у кого ты находишься в послушании (или же — в противном случае — открыто заявить, что и иерархия, и православный мир в целом перестали быть православными, а значит, нужно от них отделиться). И, наконец, мало быть носителем власти в Церкви — нужно еще ее осуществлять, используя особый опыт как «теоретиков», так и «практиков» и добиваясь общецерковного единомыслия и единодушия в существенном, чтобы можно было допустить различия во второстепенном.

Сегодняшняя наша церковная ситуация свидетельствует как раз об обратном. А поэтому на первый план выходит нечто прямо противоположное подлинно церковному богословию: то, что можно назвать «православной идеологией».

3

Термин «идеология», возник, как известно, в эпоху французской революции и связан с именем Дестюта де Траси. Тогда он обозначал нечто прямо противоположное его современному значению. А именно — правильную воспитательную и образовательную политику, опирающуюся на разум и научное знание (такая «идеология» одно время была принята Наполеоном в качестве государственной).

Однако, если вдуматься, уже здесь различимы зародышевые черты идеологии в современном смысле: с одной стороны, воспитательные цели; с другой — особый пафос научности и разума, сам по себе научным не являющийся.

Первая «идеология» возникла в борьбе со старым религиозным обществом, претендуя на то, чтобы заместить собою традиционные религиозные ориентиры и ценности. И это изначально определило соотносительность идеологии и религии. Появившись в качестве антирелигиозного соперника религии, идеология сама стала постепенно приобретать черты религии.

Однако важен и обратный процесс: в эпоху секуляризации сама религия идеологизируется. Исторический переход от «органически» христианской эпохи к модерну и пост-модерну изменил контекст, в котором жила и воспроизводилась церковная традиция и осуществлялось богословствование. Тип сознания, образ мышления, весь комплекс представлений о мире, человеке и обществе, характерные для Средневековья, стало уже невозможно — при самом сильном желании — просто продолжать воспроизводить в исторической ситуации Нового времени.

Что же такое идеология сегодня? По существующему мнению, идеологию отличают несколько характерных особенностей. Идеология — это (1) доступная пониманию среднего человека теория, объясняющая человека и мир, — теория, которая вместе с тем (2) является выраженной в общих, абстрактных понятиях программой социально-политической организации. При этом предполагается, что (3) непременное условие осуществления этой программы — борьба, а чтобы вести эту борьбу, необходимо не просто убеждать людей в правильности «программы», но (4) рекрутировать сторонников в качестве ее адептов, «войнов». Помимо этого (5) идеология, обращенная к широким массам, наделяет особой ролью лидеров вырабатывающих ее интеллектуалов — то есть собственно идеологов.

При таком общем взгляде на идеологию очевидно, что она претендует быть целостной, тотальной системой представлений, в которой соединены элементы теоретического знания и поведенческие ориентиры, практические указания, «как поступать». В этом смысле идеология напоминает систему донаучного знания, однако возникает она после выделения из этой системы автономной экспериментальной науки, которая сама по себе антиидеологична. Нерелигиозная или антирелигиозная идеология опирается на науку и пытается «восполнить» ее элементами, которые научное знание не содержит, дать «руководство к действию» людям новой эпохи, для которых старые средневековые руководства потеряли свое значение.

В этой ситуации религиозное сознание оказывается перед альтернативой: или признать законность эмансипации науки и рационального мышления, их внерелигиозную значимость и, со своей стороны, определить границы собственно религиозной сферы, в пределах которой научные критерии не действуют; или же противопоставить религию — науке и создавать свое «цельное знание», исходя из теологических посылок.

Выбор первого пути ставит богословие перед новыми проблемами, которых не знала старая «христианская эпоха», однако позволяет ему остаться один на один с исторической реальностью и искать верные решения, опираясь на внутренний опыт Церкви.

Выбор второго пути означает только одно: создание религиозной идеологии. (Говоря здесь о науке, мы имели в виду не только и не столько т.н. естествознание, сколько науки гуманитарные: социальные, политические, исторические, а также философию Нового и новейшего времени, то есть то знание о человеке и обществе, которым мы сейчас располагаем).

По сравнению с научным знанием (которое по определению есть знание развивающееся и специальное, предполагающее профессионализм), современная идеология претендует на окончательность своих утверждений.

Но окончательность — это коррелят веры. Сама религиозная вера создает определенные стимулы для формирования религиозной идеологии. Исходя из догматов веры, являющихся достоверными только внутри собственно религиозной сферы, религиозная идеология начинает интерпретировать и объяснять смысл исторических, социокультурных процессов, игнорируя результаты внерелигиозного мышления и придавая своим выводам качество религиозной истины. Если Карл Поппер отмечал (говоря о нерелигиозной идеологии), что ее ошибка заключается в представлении, что история может быть превращена в науку, то в отношении религиозной идеологии можно сказать иначе: ее ошибка — в представлении, что предмет исследования гуманитарных, социальных и политических наук (человек и общество в истории) может быть превращен в религию в собственном смысле, в предмет религиозного отношения.

Это, разумеется, не означает, что история, «исторический человек» и феномен человеческого общества не могут быть подвергнуты богословскому анализу и интерпретированы в религиозных категориях. Не только могут, но и должны (особенно сегодня)! Однако богословский подход не исключает, а главное — не может заменить подход «специальный», профессиональный, дающий результаты, значимые не только для нерелигиозного мира, но и для богословия. Анти-богословскими, то есть в данном случае идеологическими являются все попытки включить в вероучительную сферу (назвав «православными» или «церковными») определенные представления об обществе, государстве, нации, социальном поведении, политике, культуре, историческом процессе и т.п. — представления, которые отнюдь не вытекают с логической необходимостью из истин вероучения и могут быть с тем же успехом заменены другими, столь же совместимыми с религиозной верой. Учение Церкви не дает прямых ответов на все частные вопросы «исторического человека», так же как Библия не является учебником по космологии и естествознанию. Богословие призвано осмысливать все, что происходит с человеком, исходя из духовного опыта Церкви и своего видения мира *sub specie aeternitatis*, но осмысление это не означает установления непреложных, окончательных «религиозных истин» относительно всех сфер человеческой жизнедеятельности (в том числе тех, что стали сегодня практически вполне секулярными).

4

Сегодняшний кризис самоидентификации Православной Церкви в России, — помимо тех его аспектов, о которых шла речь, — осложняется еще одним обстоятельством. Существует объективная

трудность для его разрешения: неопределенность, аморфность, текучесть самого нынешнего российского общества, находящегося в «переходном» состоянии к неизвестному пока будущему. Общество ищет пути развития, и в крайних своих проявлениях этот поиск идет, как уже отмечалось, в двух направлениях: в сторону Запада и в направлении исторического прошлого, «русских начал», представляющихся незыблемым основанием всякого «национально-государственного строительства». И сложность этой ситуации для церковного самоопределения заключается не только в том, что все еще не решен вопрос о выборе пути, что «российская демократия» снова, как и в 1917-м, оказалась кратковременной и эфемерной. Сложность в том, что в массе своей общественные настроения резко сместились вправо, к привычному авторитарному правлению, что сама власть стала подстраиваться к этим настроениям, а политические силы «ностальгического» толка с особенной энергией ищут сегодня поддержки Церкви.

Церковь не успела и не сумела встать на собственные ноги, выявить и определить собственно религиозные основания своего существования в мире ни после того, как рухнуло поддерживавшее ее здание царской империи, ни после подобного же крушения империи большевистской, у которой она была в плену. В этом отношении минувшие годы оказались тоже безрезультатными, что и вызвало изменение отношения к Церкви в обществе: от участливого интереса, сопровождаемого вопрошаниями о смысле жизни, к недоумениям и первым «критическим замечаниям» и, наконец, к нарастающей настороженности и отстраненности («лучше не связываться — неизвестно, что получится»). «Левые» и «средние» в массе своей уже отвернулись от Церкви, а «правые» — национал-патриоты, государственники, традиционалисты — с тем большим энтузиазмом раскрывают ей свои объятия и навязывают «политическую ангажированность».

В этих условиях, учитывая, что государственная власть нестабильна, высшей церковной власти все труднее держаться на точке «аполитичности» и демонстрировать свой нейтралитет. Не озаботившись тем, чтобы богословски обосновать свою «аполитичность», определить смысл призвания Церкви и объяснить это обществу, ей приходится кивать то вправо, то влево, одновременно стараясь всемерно укреплять свои связи с существующей государственной властью. Однако это «ситуативное самоопределение», естественно, не может решить проблемы, потому что политики, ищущие сближения с Церковью, ждут от нее не просто символического благословения, но гораздо большего: религиозно обоснованных и более того — прямо вытекающих из догматов веры представлений о правильном устройении российского общества и государства, которые совпадали бы с их собственными политическими программами.

Может ли удовлетворить эти ожидания отдельных, хотя бы и влиятельных партий нынешняя высшая церковная власть? Конечно, нет. Она готова поддержать только тех, кто обладает реальной государственной властью, так что любым претендентам на эту власть пока придется подождать. Но Церковь неоднородна, и ее возглавление не выражает того многообразия мнений, которые существуют в церковной среде. В Церкви существуют сильные «низовые» движения, возникшие в условиях религиозной свободы. Они-то — как оказывается — и готовы предложить нечто, согласующееся с желаниями политиков определенного направления. А именно — религиозную идеологию.

Как и в секулярном обществе, в Церкви в переломные, «постсоветские» годы активность главным образом проявилась и проявляется снизу (верховная власть оказалась самым слабым местом). Постепенно в той или иной степени оформились различные внутрицерковные движения и сообщества: братства, издательства и периодические издания, учебные заведения, группы верующих, объединенных вокруг авторитетных священников-духовников, религиозно-политические организации. Со временем стало ясно, что эти частные и групповые инициативы практически не контролируются высшей церковной властью и уж тем более не включены в какую-либо единую программу действий. Кроме официальных деклараций, заявлений «по поводу», никакой продуманной богословской концепции общецерковного строительства не существует. Церковная власть реагирует на конкретные события, «казусы», и ее реакция определяется прежде всего политической и общественной конъюнктурой. Сегодня эта конъюнктура определяется прежде всего кризисом российской демократии, ее интеллектуальным и политическим бессилием, иными словами, провалом доминировавшей еще недавно в обществе идеи «поступательного обновления» согласно западно-европейской демократической парадигме. И эти новые социально-политические тенденции вполне соответствуют логике тех внутрицерковных процессов, о которых шла речь в вышеуказанной статье. Церковная власть перестает «играть в демократию», как это было в «перестроечный» и послеавгустовский периоды, а традиционалистские (религиозно) и антидемократические (религиозно-политически) движения внутри церковного сообщества все более активно заявляют о своей позиции и оказывают прямое давление на высшую церковную власть.

5

Весьма показательна в этом смысле история с о.Глебом Якуниным. Его церковная реабилитация последовала за реабилитацией

политической — в период демократической эйфории и освобождения всего и вся, в том числе и Церкви (в советское время аресту о.Глеба предшествовало его церковное запрещение в священнослужении). Вплоть до кризиса демократии в октябре 1993-го активная политическая деятельность «священника-демократа» не вызывала никаких запретов со стороны иерархии (несмотря на явное недовольство ею в сугубо церковной среде), но они последовали незамедлительно после общественной дискредитации демократической идеи во время осенних событий в Москве (что было одобрительно встречено в церковных кругах). В данном случае изменилась не позиция Якунина, но именно реакция церковной власти на конкретную ситуацию. Апелляции к церковным канонам — как с одной, так и с другой стороны — не проясняют дело, которое мог бы решить только церковный суд; однако церковного суда в Российской Православной Церкви до сих пор не создано (несмотря на решение Поместного Собора 1988 года). Пример с о.Г.Якуниным демонстрирует отторжение «традиционалистской Церковью» «чуждых элементов», общественно и политически ориентированных на реальные современные («европейские») социокультурные процессы. Для подавляющего большинства православных людей сегодня словосочетание «христианская демократия» — звучит абсурдно, и, учитывая реальное состояние общества, никто — в том числе и о.Глеб Якунин — не в состоянии убедить их сегодня в том, что выражение это может иметь конструктивный смысл.

Другой характерный пример — получившая обильную прессу кампания против приходской деятельности о.Георгия Кочеткова, провокационно названного его церковными обличителями «неообновленцем». В этой истории характерно, что патриарший указ, предписывающий распустить церковную общину «кочетковцев», последовал в ответ на требование Союза православных братств «разобраться» с богословием и церковной практикой общины, которые этот Союз считает неправославными. Здесь также следует вспомнить ситуацию двухлетней давности. Тогда — в эпоху демократической эйфории в обществе — подобный «богословский ультиматум», предъявленный этим Союзом патриарху в связи с его «неправославным» выступлением перед американскими раввинами, патриархия просто игнорировала; теперь же — с изменением общественного климата «вправо» — она поддалась давлению влиятельной «низовой» церковной организации.

В «деле Кочеткова» наглядно выразилось иное отторжение — в данном случае тех людей в Церкви, которые не могут пройти мимо реальных проблем церковной жизни и, соответственно, стараются решать их, опираясь на богословскую логику, с одной стороны, и исторический опыт Церкви, с другой. Проблемы об-

щинной жизни, богослужения и его языка, характера православного миссионерства, отношения к другим христианам и культуре вообще, и, в конечном счете, проблема понимания того, что же такое Церковь в современном мире, — эти проблемы реальны, не надуманны, но решаться они могут церковными людьми прямо противоположным образом. Отрицательная реакция на практику общины о.Георгия, выраженная в целом ряде публикаций, требующих ее «запретить» и «осудить как неправославную», позволяет сегодня говорить о религиозном фундаментализме, практически доминирующем в нашей Церкви. Суть его заключается в абсолютизации определенных выражений церковной веры и форм церковной практики, которые достались нам от предшествующих поколений. Попытки заново продумать вопрос о Церкви и ее месте в современном мире, неизбежно связанные с постановкой церковных проблем и их богословским, то есть теоретическим, а затем и практическим разрешением, воспринимаются фундаменталистами как покушение на «истины веры». Наиболее характерным здесь является тот факт, что именно вопрос о богослужбном языке (о возможности и необходимости русификации церковно-славянского языка или же перевода богослужения на русский язык) стал центральным в полемике вокруг общины «кочетковцев». Язык — наиболее живой, наиболее чуткий к изменениям культурно-исторической ситуации феномен человеческого существования, и именно он стал камнем преткновения для фундаменталистов, для которых изменения в языке, в способе выражения духовного опыта равносильны отказу от содержания, смысла этого опыта. Стремление во что бы то ни стало сохранить внешний status quo в Церкви означает принципиальный отказ от истории, от признания историчности человека и социокультурной среды, в которой он живет. И на деле этот отказ оборачивается не чем иным, как ностальгической ориентацией на определенное историческое прошлое (которое и породило конкретное содержание этого «статус кво»). Так собственно религиозный фундаментализм оказывается на уровне сознания (и/или подсознания) прочно связанным с традиционализмом и антиисторизмом, проявляющимися в отношении к современным социальным и политическим процессам. Обнаруживается простой факт: нельзя, стараясь сохранить внутреннюю связность своих представлений о совокупном человеческом опыте — как религиозном, так и секулярном, — быть «традиционалистом» в духовных и церковных вопросах и «прогрессистом» (скажем, демократом) в вопросах социально-экономических и общекультурных.

Таким образом, кампания против сугубо церковной деятельности о.Г.Кочеткова и подобная ей кампания против политика о.Г.Якунина инспирируются из одного источника — и не только доку-

ментально фактически (в смысле одних и тех же церковных движений или групп) но и на уровне «фактов сознания», определенной внутренней логики, характерной для православного фундаментализма и традиционализма.

6

Итак, сегодня в Российской Православной Церкви — за отсутствием серьезного теоретического богословия, которое было бы способно для начала смело взглянуть в лицо исторической реальности и хотя бы сформулировать основные проблемы, стоящие перед церковным сознанием, — мы можем наблюдать процесс формирования православной идеологии. Или даже — нескольких православных идеологий. Они постепенно вызревают в умах околоцерковных «идеологов», лишь вчера ставших «православными», но также и в среде духовенства и мирян с солидным церковным «стажем». Люди, еще недавно вполне аполитичные, целиком погруженные в «духовную жизнь», вдруг принимаются рассуждать на историко-философские и религиозно-политические темы, опираясь на Св. Писание и святых отцов. Само это желание — естественно: Церковь не может остаться в стороне от того, что происходит за порогом храма. Беда в том, что доморожденные, вполне произвольные теории заменяют богословское мышление, невозможное вне целостной церковно-богословской традиции и современного общеправославного опыта; беда в том, что вместо людей с серьезным богословским (и не только богословским) образованием за это берутся самоучки-публицисты, часто вообще плохо представляющие, что такое Церковь и чем она должна быть согласно своему подлинно традиционному самопониманию. Тот «механизм» воспроизводства Церкви как целого, о котором была речь выше, когда иерархия соединяет усилия богословской мысли и результаты духовного опыта, а затем, выполняя свою миссию церковного учительства, распространяет это совокупное знание на всю Церковь, есть антипод религиозной идеологии, ее формирования и функционирования. Но он не работает, потому что для этого необходимо сознательное усилие (прежде всего церковной иерархии). Поэтому-то, реагируя на сегодняшние внутрицерковные проблемы и конфликты, церковная власть и принимает свои «ответственные решения» под влиянием господствующей религиозно-политической идеологии.

Всякая идеология есть анти-мышление; она отрицает проблематичность человеческого существования. Религиозная идеология при этом апеллирует к «добродетели веры»: нужно, не рассуждая, верить в догматы и лишь делать из них «правильные» выводы. Это многих убеждает, ибо здесь каждый вправе задаться вопросом:

действительно, откуда быть в Церкви «проблемам»? Разве ее вероучение касается не вечных тем и ситуаций человека? И разве в нем не разрешены раз и навсегда духовные вопросы?

В самом деле, традиционная Церковь (в данном случае Православная) исповедует сегодня те же истины, что и столетия назад. Ее вероучение само по себе если и нуждается в новом подходе, то только в смысле его нового прочтения в изменившихся исторических условиях, переосмысления догматического предания с целью его адекватного понимания.

Однако уже здесь возникает современная задача для церковного сознания, и она указывает на самую суть дела. Церковь — «не от мира сего», она — «иное» в этом мире, и ее проблемы возникают из столкновения реальности Церкви с «миром», всегда внешним для нее: с культурой, с обществом, со всем историческим контекстом ее существования. То, что можно собирательно назвать «культурой», есть иное измерение человеческой жизни, не отождествляемое с Церковью, с религиозной жизнью, хотя и тесно связанное с ней на уровне «форм» — материальных и идеальных. Именно сфера отношений Церкви с миром, который всегда по существу остается нецерковным, и является сферой проблем для Церкви, которые требуют богословского анализа, церковного суждения и принятия решений. Это наглядно показывает вся история средневековой христианской цивилизации и Нового времени, пришедшего ей на смену. Пути культуры и Церкви все больше расходятся, Церковь постепенно оттесняется на «обочину исторического прогресса», но при этом она — остается и поэтому вынуждается к самоопределению по отношению к новому, «современному» миру.

Современная православная идеология как раз и берется за разрешение этой проблемы. Но отрицая за проблемой соотношения Церкви и расцерковленного мира богословское значение, то есть отказываясь от мышления, от поиска подлинно церковных критериев и прежде всего от принципиального различия Церкви как Царства Бога, которое приблизилось, и «мира сего», который в существенном смысле неисправим, но в котором и живет Церковь, стараясь остаться верной себе самой, то есть Христу, — православные идеологи строят свою «тотальную» систему, опираясь на опыт исторического прошлого и предлагая его «возродить» под церковным флагом. При этом характерно, что они, ничтоже сумняшеся, используют даже и само слово «идеология» в качестве самоназвания для своей церковно-политической программы. Так под названием «Русская идеология» вышла в Софии в 1939 году книга эмигранта архиепископа Серафима Соболева, посвященная, в частности, религиозному «обоснованию царской самодержавной власти».

Однако наиболее ярким современным примером православной «русской идеологии» является брошюра митрополита Санкт-Пе-

тербургского и Ладожского Иоанна, озаглавленная «Пути русского возрождения (национально-православный взгляд)». Здесь вообще ничего не говорится о Церкви в собственном смысле (ведь сама Церковь, согласно этому пониманию, не более, чем неизменный религиозный «статус кво»), но лишь о том, чего, по мнению автора, Церковь должна добиваться для «спасения душ», — «стабильной, мощной, национально осмысленной государственности», которую необходимо воссоздать. (Первый раздел так и называется: «Идеология и мировоззрение»; вспомним историю возникновения идеологий и замечание Хайдеггера о «христианском мировоззрении»).

Что представляет собой православная идеология?

В полном соответствии с изложенным выше схематичным определением идеологии, она предлагает программу социально-политической организации, якобы логически вытекающую из христианского учения о мире и человеке.

Основные черты этой программы:

— ярко выраженный религиозный национализм, отождествление русскости с православностью, выявление неких «русских интересов, взглядов и ценностей», являющихся одновременно христианскими;

— религиозно осмысленное авторитарное государство с властной «вертикалью» («власть — понятие религиозно-нравственное»), официально поддерживающее Православную Церковь;

— религиозно-политическая регламентация жизни общества («восстановление традиционных религиозно-нравственных ценностей в качестве правовых норм жизни общества», «государственный контроль над экономикой») и полный отказ от демократических принципов: разделения властей, прав человека, свободы печати и т.п. («все идеи демократии замешаны на лжи»);

— общественно-политическая изоляция от «Запада», который представляет собой врага («враждебные русскому народу силы»), вплоть до разделения мира на сферы влияния и «глобального военного сдерживания». Все «русские» (они же «православные») призываются «беспощадно бороться с силами тьмы, разрушения и ненависти» (при этом нужно учиться «правильно различать друзей от врагов», что, однако, придет «по мере воцерковления нашей жизни»).

И конечно, идеологи — тот же митрополит Иоанн — становятся признанными лидерами планируемого «национально-православного возрождения».

Описанная модель восходит, конечно, к старой российской государственности, но, оторванная от конкретных реалий прошлого, сегодня представляет собой чистую идеологическую абстракцию. При этом православными идеологами движет один основной мотив: желание разрешить проблему соотношения Церкви и современного

* Все цитаты — из брошюры и статей митрополита Иоанна.

мира через резкое противопоставление первой — как некоторой «исторической постоянной» — второму — как порождению безбожной исторической изменчивости. Здесь историческое изменение как таковое истолковывается именно как измена. История не имеет права на существование, потому что она есть результат действия Сатаны — противника Бога. Иными словами, история — это приближение Антихриста. Поэтому признание каких-либо объективных исторических императивов означает «сатанизацию русской действительности». Что можно противопоставить надвигающемуся апокалиптическому огню? — Конечно, закрепощение всего, что только можно укрепить (и прежде всего самой России, имеющей богатый опыт таких укрепощений).

Всякую идеологию воодушевляет некий пафос: созидания и разрушения, воспитания и борьбы. В данном случае именно такой пафос замещает собой логические критерии, которыми являются для церковного сознания критерии богословские. Эсхатология — вечное напряжение между Царством Бога (Церковью) и царством «князя мира сего» — подменяется апокалиптикой — лихорадочным ожиданием Конца. Внешняя непринужденность веры, совершенный образец которой являет Богочеловек Иисус Христос («трости надломленной не преломит, льна курящегося не угасит»), — государственным принуждением к «православности» и «христианской добродетельности». Обретение истинной меры человечности «во Христе» по ту сторону племенного разделения и соперничества — филетизмом, то есть отождествлением нации и Церкви.

Но главный пафос православной идеологии — в противостоянии культуре как области человеческой автономии, где не имеют власти «системы предписаний», но только свободное и осмысленное решение самого человека.

Культура проблематична, спорна, неокончательна по определению; она не живет без личного усилия, без внимания к тайне творчества и личной судьбы. Когда в пространстве культуры глубокий и подлинный человеческий опыт выражает себя — его свидетельство самодостовечно. Но — только для тех, кто еще не попал под неумолимую власть идеологии. После того, как исторически культура и Церковь разошлись, культура сохранила и даже накопила свое собственное знание о Боге и знание Бога — и не только трагичное, отрицательное.

Но православная идеология не признает ни этого факта, ни самого права иметь что-либо общее с Богом за пределами себя самое. И сама эта идеология вне-культурна, без-культурна и анти-культурна, потому что всякая идеология означает примат общего над частным, «идеологической структуры» над воспринимающим субъектом, «системы представлений» над живой и живущей личностью.

Идеология не просто безлична, она — против личности. И поэтому идеология и христианство, идеология и Церковь, идеология и Православие — несовместимы по существу Бог — всегда бесконечно далекий от любой «суеты существования» и вместе с тем всегда предельно близкий к любому живущему (и по необходимости «существоющему») существу — Бог не может быть идеологизирован. Где Дух Господень — там свобода. Но свобода, которая согласна с Духом Господним, не есть хаос (пафос борьбы с которым вдохновляет религиозных идеологов), но Логос, строй, смысл, соразмерность, мир. Жесткий же идеологический «порядок», поддерживаемый невротическим «пафосом борьбы и труда», — нечто совершенно иное. Как правило, этот порядок и порождает — рано или поздно — революции, а именно — «революции сознания».

Сегодня мы переживаем одну из таких революций, которая для многих началась еще при старом советском режиме, когда тогдашней идеологии была найдена альтернатива: вера, приводящая в Церковь Живого Бога.

Что будет, если завтра нас победит новая идеология — и нас поведут по улицам с транспарантами, на которых будет написано «Слава Богу!»? Где мы тогда будем от нее спасаться?..

АРХИМАНДРИТ СОФРОНИЙ: МОНАХ ДЛЯ МИРА

11 июля 1994 года исполнится год со дня кончины о.Софрония (Сахарова), выдающегося представителя первой русской эмиграции, а вернее той ее части, для которой «Церковь» стала синонимом духовного творчества и свободы и которая сумела поэтому принять участие в чрезвычайно важной работе: в осмыслении и выявлении Православия как поистине «живого Предания», имеющего универсальное значение и выходящего далеко за узко-национальные и конфессиональные рамки. Будучи прежде всего аскетом в изначальном смысле этого слова, о.Софроний реализовал в своей жизни и деятельности экзистенциальные и культурные измерения восточно-христианской мистико-аскетической традиции — как духовный писатель, основатель многонациональной монашеской общины в Англии, собеседник тысяч приехавших к нему людей из разных стран. Православный швейцарец Максим Эггер, автор предлагаемой статьи, был близок к о.Софронию в последние годы его жизни. Его свидетельство, свидетельство человека европейской культуры, особенно важно сегодня в России тем, что оно указывает на подлинную природу духовного опыта Церкви, который не поддается описанию в терминах времени, места, крови, нации, государства.

Статья была первоначально опубликована во французском православном журнале «Контакты» (№163, 1993), выходящем под редакцией Оливье Клемана, члена редколлегии «Континента».

* * *

«Господь невыразимо щедр, но Он дает нам Себя в той мере, в какой мы, в нашей свободе, готовы Его принять», — писал отец Софроний. В этом — таинство человеческой личности и божественного предведения.

Есть люди, с момента своего крещения мучимые жаждой Абсолютного. Отец Софроний был одним из них. Он родился в России в 1896 г. С самых юных лет его волновали основные метафизические проблемы. Очень рано он осознал трагичность человеческого

существования: она открылась ему в великой русской литературе, но также и в истории — в огне и бессмысленной резне первой мировой войны, в кровавой эсхатологии Октябрьской революции. Софроний, офицер инженерных войск, на фронте не был. Однако дважды его арестовывала ЧК и отправляла на Лубянку.

В этот период, когда зашатался весь внешний мир, отец Софроний пережил подлинный внутренний переворот: «памятование о смерти». Не просто *memento mori* аскетической традиции, а головокружительное погружение души в бездны небытия. Переживая свою смерть, он ощутил, как в нем и вместе с ним умирает все, что объемлется его сознанием: человеческий род, мир и даже Бог. Это был незабываемый опыт, из которого Софроний вынес два парадоксальных приобретения: глубокое ощущение тщеты существования и открытость «в пустоте» навстречу тайнству личности, способному объять тварное и нетварное, навстречу реальности бесконечного Существа. «В пустоте» — потому что в 17 лет однажды утром Софронию пришла в голову мысль, что Абсолютное не может быть «личностным», что вечность, заключенная в евангельской любви,— всего лишь сентиментальность и «достойный презрения психизм».

Тогда, оставив живого Бога своего детства, он обратился к мистицизму нехристианского Востока. Софроний занимается йогой, пытается освободить свое сознание от всех относительных форм. Смешивая понятия «индивидуум» и «личность», он служит (как он сам выразился позднее) «богу философов, в действительности не существующему».

Одновременно с этим Софроний предается своей страсти к живописи, которую изучает в Московском училище изящных искусств. Но большевистская революция помешала его работе. Он принимает решение эмигрировать. После Италии и Германии он в 1922 году приезжает в Париж, где очень скоро ему предоставляется возможность выставить свои работы в прославленных «храмах» современного искусства — в Осеннем Салоне и Салоне Тюильри. Однако живопись, этот поиск скрытого за видимым невидимого, хотя и доставляет Софронию «мгновения чистой радости», все же не удовлетворяет его: «Средства, которыми я располагал, были бессильны передать царствующую в природе красоту».

И вот однажды Тот, Кого он покинул, направил его взгляд на слова Библии: «Я есмь Сущий» (Исх 3:14). Каким образом безначальный Бог, Творец и Господь вселенной, может сказать о Себе: «Я есмь»? «Обращенное к человеческой истории», это данное Моисею откровение абсолютного Сущего как личностной ипостаси поистине стало для отца Софрония путем в Дамаск. «Великое слово «Я»! — пишет он. — Оно означает личность. Действительно живет только личность. Бог — живой, потому что Он ипостасен.

Содержание этой жизни — любовь. Бог говорит: «Я», — и поэтому человек может сказать: «Ты». В моем «я» и в Его «ты» заключено все сущее: и этот мир, и Бог Вне и за пределами Него нет ничего. Если я пребываю в Нем, тогда я тоже «есмы», но если я вне Его, я умираю».

«Высший и основной факт Бытия», это ипостасное Начало имеет имя и облик, грозные в своей силе и святости: Иисус Христос. «Без Него я не знаю ни Бога, ни человека», — пишет отец Софроний. Он видит в воплощенном Сыне Отца предвечный промысл Божий о человеке: спасение как обожение. «Человек — большее, чем микрокосм: он микротеос». В силу того, что Творец, приняв облик раба, во всем уподобился человеку, человек имеет возможность стать во всем подобным Богу. Для отца Софрония святость — явление не этического, но онтологического порядка: «Святой — не тот, кто достиг высшей ступени в области человеческой нравственности, в аскетической жизни или даже в молитве (фарисеи тоже постились и произносили «долгие» молитвы), но тот, кто носит в себе Святого Духа».

Самооткровение Бога, эта бесконечная радость, оказывается для отца Софрония также источником «страдания, которому предстояло стать лейтмотивом всей его жизни в Боге». Ибо, открывая Себя таким, каков Он есть, Бог дает ему увидеть и себя таким, каков он есть, вплоть до самых интимных глубин его существа. Просвещая его душу, Святой Дух заставляет его узреть всю глубину его греха и внутреннего мрака. Греха не как преступления некоей этической нормы, но как незнания истинного Бога, как отказа от Отчей любви, «отрыва от онтологического источника нашего бытия». С ужасом обнаружив в себе собственный «внутренний труп», отец Софроний нисходит в «ад покаяния». Для него это дар небес «более великий, чем лицезрение ангелов», который он считает своим третьим рождением, после рождения по плоти и рождения в Духе. Возмущение, стыд, отчаяние, ненависть к себе — все эти до крайности обостренные чувства обрушились на него. Подобно Петру после отречения, он проливает горячие слезы. Однако это метафизическое страдание, худшее, чем самая сильная физическая боль, не уничтожило его. Оно полностью переродило его тварную природу, пробудив в нем «иное зрение, иной слух, энергию новой жизни».

Из Огня, истребляющего страсти и очищающего душу, требовалось совершить прорыв к просвещающему Свету. Отец Софроний осуществил его в 1924 году. В день Великой Субботы, сразу после причастия, Бог посетил его и дал узреть нетварный Свет Своего Царства. «Я ощутил его как прикосновение божественной Вечности к моему духу. Сладостный, полный мира и любви, он оставался со мной в течение трех дней. Он рассеял вставший передо мной

мрак небытия. Я воскрес, и во мне и вместе со мной воскрес целый мир. Единственное настоящее рабство — это рабство греху. Единственная настоящая свобода — это воскресение в Боге».

Этот непрестанно углублявшийся опыт нетварного Света в соединении с практическим знанием восточно-христианской мистики дал отцу Софронию ясное видение разных способов созерцания — божественного, человеческого и бесовского. Способность к их различению привела к тому, что с того момента, как он обосновался на Западе, Софроний стал желанным собеседником многих людей, находящихся в духовном поиске. Никто лучше него не мог показать иллюзии и опасности, таящиеся в некоторых формах гнозиса и естественной мистики, основанной на методах психической техники: смешение нетварного Света (идущего от Бога) с тварным светом ума (который — не более, чем отражение первого); самообожение на пути отождествления сущности человека с сущностью Бога; внутреннюю успокоенность, зачастую представляющую собой просто разновидность «квиетизма»; несовместимость медитации (расслабления) и молитвы (крайнего напряжения); растворение человеческой личности в «неизменном океане сверхличностного Абсолюта». Для отца Софрония «видение нетварного Света неразрывно связано с верой в божественность Христа». Оно вытекает из этой веры и подтверждает ее. Невозможно сосчитать всех генонистов*, буддистов и прочих гностиков, которых Христос обратил через посредничество отца Софрония.

Очевидно, Пасха 1924 года ознаменовала поворотный пункт на жизненном пути отца Софрония. По его собственному выражению, Святой Дух «наполнил его сердце вдохновением, более его не покидавшим». Святой Дух дал ему «безумную отвагу», необходимую для того, чтобы быть христианином. Началась новая жизнь. Отец Софроний беззаветно отдается молитве, видя в ней «живую встречу тварной человеческой личности с Личностью божественной». Он чувствует, что стоит перед решающим выбором: либо усыновление Богом-Отцом, либо мрак небытия. «Среднего пути нет», — полагает отец Софроний. В сердце его разгорается жестокая борьба между любовью ко Христу и страстью к искусству, «владеющей им как рабом». После нескольких месяцев внутренних метаний он, подобно Аврааму, решается принести в жертву самое дорогое, что у него есть: он оставляет живопись.

Желая посвятить свою жизнь Богу, отец Софроний поступает в только что открывшийся в Париже институт св.Сергия. Но учеба не удовлетворяет его. Он находит, что на занятиях говорят не

* Имеются в виду последователи французского философа Р. Генона, принявшего ислам и создавшего мистико-гностическое учение об эзотерических, сакральных основах бытия. — Прим.ред.

столько о самом Боге, сколько о вещах, связанных с Богом. До конца жизни отец Софроний сохранил критическое отношение к академическому богословию. По его мнению, богословская наука полезна и необходима для Церкви на ее исторических путях, но отнюдь не для личного спасения и истинного богопознания. Он объясняет свою точку зрения так: «Она [богословская наука] дает лишь интеллектуальное знание, но не приводит к действительному возвышению до области божественного бытия». Для отца Софрония, верного ученика св.Силуана, «христианство — не доктрина, а жизнь»; богословие — не упражнение в умозрении, а «состояние существа, вдохновленного божественной благодатью»; познание — не интеллектуальное знание, а «обретенный в существовании опыт общения с Богом». Таким образом, утверждается примат экзистенциального опыта, не исключающий, однако, сущностной необходимости твердого догматического сознания. Как пишет отец Софроний, «условием праведной жизни являются правильные понятия о Христе и святой Троице. И наоборот: малейшее отклонение от истины в нашей внутренней жизни извращает догматическую перспективу».

В 1925 г. отец Софроний отправляется на Афон и становится монахом русского монастыря св.Пантелеимона. Для него монашество, по выражению Феодора Студита, которого он любил цитировать, — «третья благодать». Это небесная жизнь на земле, духовное сердце Церкви. Очень скоро отец Софроний получает благодать непрерывной молитвы — «дар Божий, связанный с другим даром — покаянием». Исполненный молитвой и преображенный ею, он сам становится молитвой — молитвой ходатайства. Для него монах — это икона Богородицы: тот, кто молится за весь мир. Тот, кто обрел царственное и пророческое священство Мелхиседека — универсальное, доступное всем христианам, превышающее в духовном отношении иерархическое священство по чину Ааронову.

На Афоне отец Софроний пережил также утрату благодати. Человек, будучи запечатлен «законом греха», не в состоянии «полностью сохранить дар божественной любви». Рано или поздно он становится жертвой своих страстей и чувствует, что осязаемое присутствие Святого Духа оставляет его. Ибо достаточно самой малости — простого движения гордости, усладительного обращения сознания на самого себя, — чтобы сердце закрылось и ум подернулся мраком. Падение иногда настолько сильно, что человека охватывает уныние — духовная болезнь, которую отец Софроний определяет как «отсутствие заботы о спасении».

Обретенная ранее благодать может заставить переживать эту богооставленность как настоящий «ад». Переживать тоску, печаль, боль, близкие к тому, что познал Христос в Гефсиманском саду и на Голгофе. Чтобы вновь обрести благодать, то есть преобразить

наше существо, избавив его от страстей, нужна аскеза, внутренняя брань. «Процесс тотального кенозиса», выражающий наше желание следовать Христу, уподобиться Ему более совершенным образом. «Любовь Христова — блаженство, с которым не сравнится ничто в мире, — пишет отец Софроний. — Но в то же время любить Христовой любовью означает испить Его чашу. Любовь к Богу кенотична. Он заповедал нам любить Его вплоть до ненависти к себе».

Безвозмездный дар благодати — богооставленность и — вновь обретение благодати. Для отца Софрония вся духовная жизнь заключается в этом вечно возобновляющемся тройном движении. Сам он непрестанно переживал «и мрак смерти, и в то же время надежду на спасающего нас Бога». Это колебание между адом и светом, это парадоксальное состояние, когда душа то возносится к небу, то срывается в сумрачные долины ада, отметит весь долгий путь «хождения по мукам» отца Софрония и станет одним из ключей к его духовному опыту.

Однако извлечь пользу из этого жгучего опыта отец Софроний сумел не ранее того момента, когда в 1930 г. произошло важнейшее событие его жизни: встреча с блаженным старцем Силуаном. Софроний, утонченный и страстно влюбленный в метафизику интеллектуал, сразу же склонился перед этим простым и почти необразованным человеком, крестьянином по происхождению. Старец Силуан, достигший высочайшей степени любви к врагам и вплотную приблизившийся к бесстрастию, познал самые крайние духовные состояния: отчаянное видение своего грядущего вечного осуждения и потрясающее видение Христа в ослепительном Свете. В 1905 г., когда Эйнштейн предвестил революции XX столетия созданием своей теории относительности, святой человек услышал от Христа слово спасения, обращенное к нашему времени: «Держи ум твой во аде и не отчаивайся».

Для отца Софрония этот призыв к постоянному самоосуждению — наиболее совершенное выражение пути кенозиса Христова, самая прямая и надежная дорога к совершенству. Именно через уничтожение самих себя как недостойных Бога, через самоосуждение на вечные муки ада мы сумеем уничтожить в себе всякую страсть, сделать свое сердце смиренным и свободным для принятия божественной любви. Ибо, как говорит отец Софроний, «одно дело — аскетическое смирение, и другое — смирение Христово». Первое, относительное смирение состоит в том, чтобы считать себя «худшим из всех»; оно есть плод жестокой борьбы с помыслами. Второе, абсолютное смирение — это «признак божественной Любви, дающейся без меры»; оно есть действие в нас Святого Духа, когда мы переживаем «всецелого Адама», как самих себя.

Старец Силуан почил в Господе 24 сентября 1938 года. Два года спустя отец Софроний отправляется в одну из пещер Карулии, в самое сердце афонской «пустыни», чтобы начать отшельническую жизнь. Цель Софрония состояла в том, чтобы подвергнуть испытанию верность своей любви к Отцу, а также углубить знание божественных вещей. Там, в одиночестве, он познал мгновения чистой молитвы. Лицом к лицу с Богом. Без отвлекающих образов и помыслов. В совершенном единении ума и даже тела — с сердцем. Он познал духовное погружение в беспредельную, светоносную и безымянную бесконечность божественной вечности, лежащей по ту сторону границ пространства и времени. Но — очередной парадокс! — в то самое мгновение, когда он «ощущал присутствие Живого Бога вплоть до забвения мира», молитва расширяла его сердце и сознание до пределов космоса. Он слышит эхо войны даже в глубине пещеры. По ночам крики страждущего человечества пронзают ему сердце. Как и старец Силуан, он молится за весь мир, за всецелого Адама, с теми же слезами, с какими молится за себя. В этом слезном даре Божьем он видит отсвет молитвы Христовой в Гефсиманском саду, когда «душа Его скорбела смертельно», «и был пот Его, как капли крови, падающие на землю» (Мф 26:38; Лк 22:44). Теперь отец Софроний осознает глубинный смысл слов Христа: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Эта заповедь, полагает он, не столько указывает на меру должной любви, сколько раскрывает онтологическую общность человеческого рода, разрушенную грехом и подлежащую восстановлению любовью и в любви. Любить Христовой любовью значит включить в свое личное существование жизнь всего человечества; это значит взять на себя все зло мира как свое собственное зло.

«Молиться за людей значит проливать свою кровь», — говорил св. Силуан. Но такая молитва совершается не сама собой. Будучи даром Святого Духа, она требует совершенного покаяния. Эта сущностно необходимая ввиду своей спасительной силы молитва в то же время поражена бессилием. Ибо, как говорит отец Софроний, «ничто и никто не может лишить человека свободы поддаться злу, предпочесть мрак свету. Люди сами создают свой ад». И наихудший ад, наитягчайший грех — это война. Что может христианин против этого проклятия? Сегодня, когда от Ирландии до Кавказа через земли бывшей Югославии и Ближнего Востока фанатизм всех видов — религиозный, националистический, этнический — заливают кровью издревле христианскую землю, более чем когда-либо надлежит помнить о двойном провозвестии св. Силуана и отца Софрония. Во-первых, о провозвестии универсальности воплощенного Слова Божьего: «Я не знаю греческого, русского, английского или арабского Христа, — говорит отец Софроний. — Христос для меня — это все, это сверхкосмическое Су-

щество. В тот самый момент, когда мы ограничиваем личность Христа, низводя Его, например, до уровня национальности, мы теряем все и погружаемся во тьму». Во-вторых, надлежит помнить о заповеди любви к врагам. Для отца Софрония она представляет собой не больше и не меньше, чем краеугольный камень Евангелия. Единственное средство против всех зол. Последний непреходящий критерий истинной веры, подлинного общения с Богом, истины в Церкви. Кто имеет силу любить врагов, тот знает Христа в духе и истине. Кто же, напротив, не имеет такой силы, тот все еще остается пленником смерти, тот еще не «православный», то есть еще не знает «Бога таким, каков Он есть».

В чем конкретно узнается любовь к врагам? В том, что человек предпочитает быть убитым, нежели убивать, отвечает отец Софроний. «Следует не убивать наших врагов, а побеждать их любовью. Памятовать о том, что абсолютного зла не существует, абсолютно только безначальное Добро. Заповедь не противиться злему (Мф 5:39) — самая действенная форма борьбы со злом». Борьбаться с помощью силы означает заменять одно насилие другим, поддерживать динамику зла. Победа, одержанная с помощью силы, — это всегда позор для человечества. Естественно, что она не может длиться вечно. Победа же мучеников и святых — истинная слава. Она остается на веки вечные. Доказательством служит новейшая история России, за которую отец Софроний неустанно молился и в которой выделял явно парадоксальную особенность: страдания, преступления и бесконечные драмы на земле — и обилие святых на небе и в Церкви. «В Боге нет трагедии, — говорил он. — Трагедия существует только для человека, чей взгляд не простирается за пределы земли. Христос пережил трагедию всего человечества, но в Нем самом не было никакого следа трагедии». Только безмерный мир...

В 1941 году отец Софроний был рукоположен в священники в скиту св. Анны. Годом позже он был возведен в достоинство духовного отца. С тех пор он стал духовником-исповедником многих монастырей. Это было началом его духовного отцовства, которое непрестанно расширялось и после его приезда в Западную Европу. Ирония судьбы и усмешка Провидения: отец Софроний, будучи некогда офицером инженерных войск и занимаясь маскировкой, делал видимое невидимым; теперь же ему предстояло трудиться по превращению невидимого в видимое для множества его учеников. Да, отец Софроний был настоящим старцем. Духовным отцом во Христе, заботящимся о воплощении Логоса в истории и мире, о преображении истории и мира в Свете Логоса. Молчаливником, через которого говорит Логос, человеком, рождающим нас для самих себя и для жизни во Христе своим вдохновенным словом. Проповедником, подобным псалмопевцу, способным на рав-

ных говорить со всеми и с каждым — от самого простого труженика до самого утонченного философа. Человеком-молитвой, принесшим в дар Богу первые плоды своих размышлений и получившим от Него ответы на тысячу и один вопрос своих посетителей. Духоносцем, умеющим читать в сердцах людей, участвовать в их радостях и горестях и открывать их навстречу действию Благодати. Беседа с отцом Софронием заставляла чувствовать непреодолимое влечение к преодолению, к переходу от психологического — к духовному, от неизбежных мелочей и суеты повседневной жизни — к «единому на потребу», от нашего маленького «я» — к космическому масштабу всецелого Адама, от логики мира — к «обратной перспективе» Евангелия.

В 1944 г. по просьбе монахов монастыря св. Павла отец Софроний оставляет Карулию и перебирается в другую пещеру в Неа Скити — более уединенную, с маленькой часовней, однако подверженную наводнениям. Условия жизни здесь были очень суровыми. Они подорвали здоровье отца Софрония, и спустя три года он вынужден был отсюда уйти. Именно тогда он почувствовал внутреннюю потребность передать миру духовный опыт старца Силуана. Больной и потревоженный в своем духовном делании господствовавшей в то время на Афоне антиславянской атмосферой, отец Софроний решает покинуть Святую Гору и переехать во Францию. В 1952 году в Париже он публикует писания старца Силуана, сопровождая их глубоким анализом его жизни и учения. Дело в том, что услышанные свыше «слова вечной жизни» Силуана столь просты, столь бесхитростны, что их богословская глубина и отраженное в них высочайшее духовное совершенство ускользали от самых блестящих умов эпохи. Переведенный впоследствии на множество языков, труд отца Софрония «Старец Силуан, монах Афонской горы» стал классикой православной аскетической литературы. Отец Эмилиан, игумен афонского монастыря Симона Петра, даже считает его «новым Добротолюбием». Интуиция отца Софрония и его свидетельство принесли свои плоды. В 1988 г. старец Силуан был канонизирован Константинопольским патриархом.

Мучимый серьезной болезнью и плохо оправлявшийся от последствий тяжелой операции, перенесенной в 1951 году, отец Софроний так и не смог вернуться на Святую Гору. Кроме того, под влиянием холодной войны ситуация на Афоне для монахов славянского происхождения резко ухудшилась. Поэтому отец Софроний остался в той «России в миниатюре», какой был городок Сен-Женевьев-де-Буа, близ Парижа. Здесь вокруг отца Софрония собираются люди самой разной ориентации, привлеченные исходящим от него духовным излучением. В 1959 году, после безуспешных попыток найти во Франции более благоприятное место

для развития общинной жизни, отец Софроний переезжает в Англию с небольшой группой учеников. Они обосновались в Tolleshunt Knights (Эссекс), в бывшем доме священника, некогда приютившем знаменитого кинематографиста Альфреда Хичкока. Так родился монастырь св.Иоанна Крестителя. Он был назван по имени первой часовни, украшенной иконами, написанными отцом Григорием Кругом.

Жизненный путь отца Софрония примечателен: сперва монах общежительного монастыря, потом отшельник, и наконец — старец в сердце мира. В Великобритании все его усилия были направлены на создание «духовной семьи», соединенной любовью и поиском «единого на потребу». Открывая свой монастырь, отец Софроний не мог не думать о мистическом духе св. Сергия и еще более о св. Ниле Сорском. Подобно последнему, отец Софроний придает большое значение интеллектуальной деятельности, невзирая на свое недоверие к академическому богословию. Опять-таки подобно Нилу Сорскому, он ставит уважение к неповторимости личности выше устава. Единство монашеской общины создается не типиконом, а вполне осознанным стремлением к жизни в Духе. Сущность и смысл поста заключается не во внешних предписаниях относительно приема пищи, а во внутренней борьбе с помыслами и сосредоточении ума на жизни Троицы. Аскеза — не самоцель, повторял отец Софроний, но средство освобождения от греха, очищения сердца, получения Благодати, согласования нашей воли с волей Божьей, «стяжания любви, заповеданной нам Христом». Величайшая опасность устава в монашеской жизни, как и в других областях, состоит в том, что он побуждает личность приспособляться к правилу как к своей собственной мере. В конечном счете это вырабатывает в ней «сознание в Дарданеллах» — слишком узкое и тесное, чтобы постичь «сверхкосмическое величие Христа». В действительности единственное имеющее ценность «правило» — это сам Христос; но стать в строгом смысле соразмерным Ему невозможно. Перед Его лицом наше покаяние на земле бесконечно.

По этим причинам монастырь св.Иоанна Крестителя не имеет устава, но только распорядок дня. День определяется тремя основными периодами: временем принятия пищи, временем работы и, прежде всего, временем молитвы: литургии и призывания Имени. Для отца Софрония литургия была не просто «актом благоговейной веры, но созерцанием Богочеловека в действии, Пасхи Господней, постоянно присутствующей среди нас». Он говорил: «Если спасение во Христе — единственная цель нашей жизни, то все, что мы делаем, может стать актом молитвы. Наша повседневная жизнь должна быть непрерывной литургией».

Духовным основанием монастыря св.Иоанна Крестителя несомненно является учение св. Силуана. Здесь нет поисков особых

мистических состояний, возвышенных созерцаний, но только простая, евхаристическая, евангельская жизнь. Жизнь в следовании за Христом, «куда бы Он ни пошел» (Откр 14:4). Если ясна цель — спасение, обожение,— то не менее ясен и способ ее достижения: принятие заповедей Христовых в качестве единственного и неизменного закона бытия. Для отца Софрония, убежденного паламита, заповеди представляют собой не этические нормы, а божественные энергии. Отсвет жизни вечной на земле. «Пребывая в этих заповедях, мы делаемся внутренне подобными Христу,— говорил он.— Его жизнь становится нашей жизнью, Его сознание — нашим сознанием, Его мысль — нашей мыслью».

Заповеди Христовы, открывающие на земле врата небес, отец Софроний сосредоточивает в одной единственной формуле — литургической формуле, которую не устает повторять: «Старайтесь прожить день без греха». Без греха — значит свято. Не задевая других, а стремясь послужить им и принять на себя их случайные оплошности. В напряженном до предела сознании постоянного невидимого присутствия Бога здесь и теперь: «Следите, чтобы в вашей жизни не было ничего безличного. Старайтесь жить так, как если бы вы должны были дать отчет о каждом движении вашего сердца и ума перед всем человечеством. Пусть дух ваш денно и ночью пребывает там, где Христос». Такая внутренняя позиция предполагает непрестанную борьбу со страстями и их космическими энергиями — помыслами. Именно в этой культуре духа, поистине «науке наук», которую не удостоверяют дипломами — разве что свыше,— наставлял учеников отец Софроний, именно к ней призывал он своих духовных детей.

Стараться жить без греха, принимать на себя слабости других. Эта простая и глубокая программа в то же время была для отца Софрония путем к единству христиан. «Пусть каждый на том месте, где поставил его Бог, трудится ради стяжания Святого Духа, а Бог доделает остальное». Отец Софроний был слишком критичен по отношению к церковной иерархии, слишком привержен правильному догматическому сознанию, чтобы с доверием относиться к институциональному экуменизму. Он жил, в доброжелательности и любви, экуменизмом сердца. Доказательство тому — почти тысяча гостей (значительную часть которых составляют неправославные), принимаемых в монастыре ежегодно. Несколько натуралистичная иконопись, забота о совершении литургии на местных языках, введение в богослужение Иисусовой молитвы, важная переводческая работа учеников, диалог и духовная дружба со многими христианами других конфессий,— все это делает отца Софрония, если использовать выражение Оливье Клемана, настоящим «проводником» между христианским Востоком и христианским За-

падом; одним из великих свидетелей универсальности Православия в нашем столетии.

Пережив трудное начало, в равнодушном и в то же время подозрительном окружении, монастырь св. Иоанна Крестителя постепенно рос и сегодня насчитывает около 25 монахов и монахинь двенадцати различных национальностей. С 1966 г. он находится в юрисдикции Константинопольского патриархата и является ставропигиальным. Вспомнив о своем прежнем даре, отец Софроний открывает мастерскую иконописи. Вместе со своими монахами он украшает фресками новый храм, посвященный св. Силуану, а также трапезную. Кроме того, он берется за перо и пишет книги и статьи. На французском языке отец Софроний опубликовал следующие работы: «Его жизнь — моя жизнь» (Cerf, 1981), «Счастье познания пути» (Labor et Fides, 1988), «О жизни и Духе» (Le Sel de la terre, 1992) и прежде всего свою духовную автобиографию: «Видеть Бога, как Он есть» (Labor et Fides, 1984)*.

Монах, отшельник, священник, исповедник, духовный отец, основатель монастыря, иконописец, создатель литургических текстов, писатель, автор множества писем, миссионер,— харизмы отца Софрония неисчислимы. Его личность была не только многогранной, но и глубоко парадоксальной. Ибо если его духовная жизнь подобна «линии высокого напряжения», протянутой между Гефсиманским садом и горой Фавор, то его апостольская деятельность целиком разворачивается между nova et vetera (новым и старым). Наследник св. Иринея Лионского в борьбе против гностицизма и в «совокупляющем» видении всецелого Адама, последователь Макария Египетского в понимании благодати, родственник св. Максима Исповедника в своем двойном призвании аскета и метафизика, брат св. Симеона Нового Богослова в благоговейном почитании учителя и автобиографическом вдохновении, паламит в своем отношении к нетварному Свету и заповедям Христовым, воспитанник долгой русской традиции *келотичного Христа*, отец Софроний целиком погружен в Предание Церкви. Но в то же время это Предание никогда не было для него синонимом повторения и консерватизма. Так, он не колебался, утверждая новые символы (земля в центре космоса, увенчанная византийским крестом), вводя новшество в иконопись (изображение Иуды, покидающего Тайную Вечерю), обогащая литургию новыми молитвами, разрешая существование двойной монашеской общины (мужской и женской рядом). Традиция означает творчество в Духе и в личном усвоении!

* Книги о Софронии на русском языке «Старец Силуан», «Видеть Бога, как Он есть», «О молитве», первоначально вышедшие за рубежом, недавно переизданы в России (Прим. ред.).

Отец Софроний вошел, по его собственному выражению, «в безмолвие Света Вечности» 11 июля 1993 года. Ему должно было исполниться 97 лет. «Как можно соединить дух, подобие Абсолютного, с землей?» — спрашивал он себя. Всю свою жизнь он трудился в таинстве человека — чистого и свободного «духа» в теле, подчиненном космическим силам. Можно сказать, что он всем своим существом прожил это таинство до конца. Все, кто встречался с отцом Софронием незадолго до его смерти, поражались контрасту между крайней слабостью его тела, уже не способного передвигаться, и пламенной живостью ума. Как сказал один из близких отцу Софронию людей, «пламя Духа поглотило в нем материю вплоть до последней частицы».

В последние годы своей жизни, в предчувствии приближающегося конца, отец Софроний старался передать свое «духовное завещание» членам своей общины. Каждую неделю, если позволяло здоровье, он проводил с ними устные беседы, отвечая на вопросы слушателей или просто сообщая им то, что Святой Дух «внушал» ему в молитве. Нижеследующий текст представляет собой обработанную запись одной такой беседы, состоявшейся 3 июня 1991 года.

КАК ПОЛУЧИТЬ ДАР ИСТИННОГО БЫТИЯ?

Неоднократно я вам говорил, что благодарю Бога за то, что Он продлил мою жизнь до сегодняшнего дня. И я рад, что могу находиться среди вас, хотя я уже полная развалина — по крайней мере, так я себя чувствую. Но несмотря на все это, я пытаюсь говорить с вами о путях спасения.

Мы так слабы, так принижены в нашей повседневной жизни, что нам трудно оторваться от земли. Как поднимемся мы к нашему Небесному Отцу, будучи столь немощны? Как можем мы в нашей приземленности получить от Бога дар божественной, вечной жизни?

Каков бы ни был срок нашей земной жизни, мы ежедневно повторяем множество молитв. Я думаю об истории Церкви, сохранившей молитвы, данные нам Господом Иисусом Христом — как, например, «Отче наш». Сегодня мы говорим вновь о путях, какими мы можем прийти к нашему Отцу, Сущему на Небесах.

Как говорил апостол Павел, нужно несомненно быть безумцем, чтобы верить в данном нам Иисусом Христом и Святым Духом Откровение о будущем веке. Символ нашей веры заканчивается словами: «Ожидаю — [терпеливо и с нетерпением] — воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь».

Молю вас: когда мы будем повторять эту молитву, не позволим никому скрыть от нас подлинный смысл произнесенных слов. Слова «Отче наш» страшны, если мы действительно ощущаем Отчее присутствие: тогда мы чувствуем себя такими «ничтожными», такими малыми. В словах «ожидаю воскресения мертвых», в этом ожидании несомненно заключена живая сила — сила веры, которая воскресит нас в судный день.

Поскольку мы монахи, одна и та же задача встает перед нами каждый день, каков бы ни был срок нашей жизни. Сколько раз говорил я вам: если мы живем по совести перед Лицом Божиим, то получим божественную энергию и благодать от Святого Духа.

Вы знаете, как я благодарен Богу за то, что Он привел меня к стопам блаженного отца Силуана. Я часто вспоминаю его жизнь, в которой были поистине замечательные моменты. Сегодня мне хотелось бы остановиться на одном эпизоде, случившемся с ним

во время военной службы. Однажды он находился вместе с несколькими товарищами из своей роты в Санкт-Петербурге, в ресторане, где звучала музыка и горел яркий свет. Приятели заказали хороший обед и водку, оживленно беседовали, но Силуан молчал. Один из них сказал: «Семен (прежде чем стать монахом, старец носил это имя,— прим.ред.), почему ты молчишь?» Тот ответил: «Мы сидим здесь, чтобы слушать музыку и пить водку, но мои мысли пребывают на горе Афон, где монахи проводят всю ночь в молитве. Кто же даст лучший ответ на страшном Суде? Они или мы?» Тогда один из солдат воскликнул: «Что за человек этот Семен! Мы собрались, чтобы повеселиться; мы пьем водку и слушаем музыку, а он духом на Афоне и на Страшном суде!»

Этот рассказ некоторым образом продолжает то, о чем мы говорили две недели назад. Как сказал апостол Павел, мы должны думать о том же, о чем думал Сам Христос, и жить так же, как жил Он (ср. Фил 2:5). Но как жил Он? Возьмем первый попавшийся пример: Иисус в Вифании. В Евангелии от Матфея эта сцена происходит в доме Симона прокаженного (Мф 26:6-13), в Евангелии от Иоанна — в доме Марии, Марфы и Лазаря (Ин 12:1-8)... Если следовать Евангелию от Иоанна, Мария помазала драгоценным миром ноги Христа, воскресившего ее брата Лазаря. Иуда возмутился этим. Все это происходит после того, как Христос, будучи в доме Симона фарисея, позволил одной женщине целовать Ему ноги (см. Лк 7:36-50)... Очевидно, Христос находится здесь в чрезвычайно деликатном положении. Когда в доме Лазаря второй раз женщина выказала Ему сердечную любовь, апостолы смутились, а Иуда, согласно Евангелию от Иоанна, захотел предать Его. Вопрос: о чем думал Господь, когда Мария смазывала Его ноги драгоценным миром? Где был Его дух? Мы можем узнать это из Его ответа апостолам: «Она приготовила Меня к погребению» (Мф 26:12; Ин 12:7). Другими словами, Он думал о предстоящих страданиях, об ожидающей Его смерти.

Когда нас осаждают тщетные и страстные помыслы, мы должны научиться переноситься духом в божественный мир, открытый для нас Иисусом Христом и Духом Святым. Постоянно хранить ум свой в Боге — вот чему нам должно учиться: нам, монахам. Именно для того, чтобы мы могли хранить ум свой в Боге, все в монашеской жизни совершается в церкви и вокруг церкви. Мы должны научиться жить, храня ум наш в Боге и помня о Страшном суде. Тогда всякий раз, когда нам случится оступиться по причине телесных помыслов, мирских забот, гнева на брата или сестру, мы будем знать, как исправиться.

Если мы действительно будем помнить о Страшном суде, то вся наша жизнь, каждое мгновение нашей жизни будет проходить

в совершенно другой атмосфере. Это разовьет в нас чувство ответственности перед творением, но также и прежде всего перед Богом, сотворившим все, весь космос. Если мы будем чувствовать эту ответственность, наши мелкие повседневные дела позволят Святому Духу прийти к нам и в нас. Об этом говорил Исаак Сириин: «Очисти твоё «внутреннее место», и Святой Дух придет и научит тебя всему». Именно так Дух Святой наставлял таких малограмотных людей, как отец старца Силуана и сам Силуан. Имея подобные примеры, попытаемся жить каждый день в этой атмосфере. И тогда мы найдем то, что ищем.

Множество людей с трудом понимают, как человек, созданный из земли, может забыть о земле и жить духом в вечном Боге! Это поистине чудо, ибо в наших молитвах, в божественном Откровении, в Слове Божьем сказано: «Прах ты, и в прах возвратишься» (Быт 3:19). И вот этот «прах» размышляет о предмете нашего сегодняшнего разговора!

Вы знаете, что я говорю без всякой подготовки, что вся моя подготовка состоит только в молитве. Я не знаю заранее тех слов, которые вам скажу. Поэтому мне хотелось бы, чтобы вы задавали вопросы. Опыт научил меня, что когда мы читаем заранее подготовленный текст, часто во время чтения из слов уходит «жизнь», они перестают быть действенными. И напротив: когда слово рождается из потребностей самой жизни, оно поистине обладает энергией, способной перерождать людей.

У нас есть одна основополагающая цель: прежде всего преодолеть присутствие смерти в нас. Человек, сотворенный из праха, получает дыхание жизни от Творца и становится «душою живою» (Быт 2:7) Теперь он должен стать подобным воплощенному Сыну Божьему, — стать личностью, ипостасью. Прошу вас: помните об этом!

Но как направлять наш ум, чтобы он непрестанно пребывал в Боге? Лично я чувствовал, как Некто словно приподнимает меня и держит над землей. Я не в состоянии подняться сам, меня поддерживает Кто-то другой. Важны не просто абстрактные размышления о Боге, но постоянное чувство нашей связи с Ним. Вот одна из основных целей нашей аскезы.

Если Бог того пожелает, в другой раз, в ходе наших бесед, мы могли бы рассмотреть действие, оказываемое памятованием о Страшном суде на наш дух. Видя, насколько мы не соответствуем заповедям Божьим, мы не можем с упованием глядеть на небо. Но в то же время не можем мы и отказаться от него.

Когда мы думаем о Страшном суде, то видим, до какой степени мы ничтожны. Мы живем на земле как трава... «Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет» (Пс 102:15-16). Но

Святой Дух придет к нам и даст нам то, о чем мы думаем с тайным желанием ежедневно и ежечасно. Я хочу сказать, что покаяние, сожаление о содеянном нами в нашей повседневной жизни рождает в нас особую благодать. Это покаяние — наш единственный путь к Богу. Его особенность в том, что оно возрождает нас и делает подобными Христу. Поскольку же мы никогда не достигаем меры Христа, можно сказать, что покаяние в земной жизни не знает конца.

Итак, — я вновь прихожу к тому же, — наша задача состоит в бодрствующем внимании к самим себе; в том, чтобы никому не позволить увлечь наш дух к иным «сферам», нежели открытые для нас Господом нашим Иисусом Христом.

Как же направить ум свой к другим мыслям? Мне хотелось бы подсказать вам одно скромное практическое средство. Когда чуждый Евангелию помысл придет вам на ум, следует произнести: «Господи, исцели ум мой!» Когда в сердце нашем поднимается раздражение или другое подобное ему чувство, надлежит сказать: «Господи, исцели сердце мое!» Если это принимает размеры духовной брани, следует внутренне воскликнуть: «Господи, исцели всего меня! Призри на меня, лежащего во прахе, и избавь меня от низких помыслов, от низменных страстей, от недостойных движений моего сердца!» Вот как мы должны вести духовную брань.

Если мы любим Бога, то, чем бы мы ни занимались, мы не забываем о Нем. Как говорит Силуан: «Никакая работа не препятствует любви к Богу». Другой монах сказал мне однажды: «Никакая самая скромная работа — как, например, уборка дома, приготовление каши или мытье посуды, — не может унижить человека. Унижает человека только грех». Я не забыл урок этого монаха. Его келья была рядом с моей, и мы встречались довольно часто. Однажды, когда я был болен, он пришел навестить меня и говорит: «Я наблюдаю за тобой; ты очень скоро умрешь». Я спрашиваю его: «Как скоро?» Он отвечает: «Думаю, тебе осталось жить не более двух лет». Тогда я сказал ему: «Как, отец Серафим, — так его звали, — ты больше не считаешь меня монахом?» — «Почему ты так говоришь?» — спросил он. Я сказал: «Боюсь, как бы ты не ввел меня в заблуждение. Ведь я каждый день думаю о своей смерти, а ты говоришь, что у меня есть еще два года жизни!» И тогда он ответил: «Даже если бы я сказал тебе, что у тебя есть еще шесть лет, у нас все равно не будет достаточно времени для покаяния». Так он избежал ловушки, которую я ему расставил. Действительно, даже если бы у нас было еще шесть лет жизни и больше, мы все равно должны были бы каяться каждый день. Думаю, на сегодня достаточно. Было бы, конечно, интересно рас-

сказать вам о множестве других встреч, пережитых мной на Афоне. Тогда у меня была одна забота: как преобразить все мое существо, чтобы стать настоящим христианином? Если бы я обладал талантом писателя, чтобы описать эти встречи и беседы, то, думаю, мог бы написать о времени моего пребывания на Афоне новый патерик, ничем не уступающий Патерику первых веков монашества. Но сейчас не время сожалеть об этом.

Перевод с французского Г.Вдовиной

Александр Хоменков

ЗАКАТ «ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО МАТЕРИАЛИЗМА» И ХРИСТИАНСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

1

Одному из ведущих физиков XX столетия — Максу Борну — принадлежат следующие слова:

«Время материализма прошло. Мы убеждены в том, что физико-химический аспект ни в коей мере не достаточен для изображения фактов жизни, не говоря уже о фактах мышления»*.

Эту мысль можно считать определенным философским итогом деятельности известной копенгагенской школы — научно-философского направления, которому, в основном, человечество обязано созданием квантовой механики. К этой школе, кроме Борна, принадлежали такие ученые, как Нильс Бор, Вернер Гейзенберг, Вольфганг Паули. Особенно много внимания уделял философскому осмыслению происходящей в науке переориентации Гейзенберг. Он, в частности, подчеркивал, что основанием для ломки старых материалистических взглядов в современном точном естествознании является отказ от так называемого картезианского разделения реальности. Этот мировоззренческий принцип сформулировал в свое

* М.Борн. Физика в жизни моего поколения. М. Изд. иностр. литературы. 1963, с.99.

Александр Хоменков — родился в 1957 г. в г. Жлобине /Беларусь/. Окончил биологический факультет МГУ. Работал по специальности как ихтиолог, имеет ряд научных работ. В настоящее время служит чтецом-алтарником в православном храме.

время Декарт /он же Картезий/, постулировавший разделение всей полноты реальности нашего мира на субстанцию мыслящую, то есть человеческое сознание, и субстанцию протяженную, то есть материальный мир.

Почему материализм связан именно с такого рода картезианским разделением? И что в современном точном естествознании послужило основанием для отказа от этой мировоззренческой позиции?

Идеализм, к которому, по свидетельству Гейзенберга, повернуло развитие современного точного естествознания, признает, как известно, наш мир явлением более глубоким, чем тот его образ, который дан человеку в непосредственном восприятии. Идеализм исходит из того, что кроме реальности материального характера, существует реальность иного плана, которая, будучи основополагающим началом бытия и принимая деятельное участие в жизни нашего «видимого» мира, сама является «невидимой», то есть недоступной для психофизической природы человека.

Напомним, что Платон, раскрывая эту мысль, дал такой образ: люди — это узники, закованные в пещере так, что могут смотреть только в одном направлении. За спиной узников горит огонь, и они видят на стене лишь тени своих собственных тел и объектов, находящихся сзади них. А поскольку они ничего не могут видеть, кроме этих теней, то их они и принимают за действительность.

Через несколько столетий после Платона святоотеческая христианская традиция связала идеальные первоистокы нашего мира с Божественными энергиями, «держщими» собою весь тварный мир, который как бы «вписан» в пространственно-временные рамки, тогда как его Первопричина запредельна (трансцендентна) по отношению к пространству и времени.

Такой подход подразумевает исходную ограниченность человеческого мировосприятия рамками пространства и времени, в силу чего эти категории включаются в самое основание наших взаимоотношений с природой, а не только принадлежат одной природе.* Другими словами, пространство и время являются одновременно и условием, и продуктом нашего опыта.

Однако уже во времена Ренессанса святоотеческая традиция стала, как известно, вытесняться идеями и умонастроениями, оставившими все меньше места для представлений о трансцендентных истоках феноменального мира. В XVII веке основную

* В философской мысли нового времени эта проблема была поставлена, как известно, Кантом, который утверждал, что категории пространства и времени имеют априорный характер. Здесь нет однако возможности обсуждать сколько-нибудь подробно достоинства и слабости кантовской концепции, в которую современная физика, принимающая в целом принцип априоризма, должна была внести существенные коррективы, выправляющие кантовский крен в сторону субъективного идеализма.

тенденцию этого процесса и закрепил в своей философской системе Декарт. Разделив всю полноту реальности на субстанцию мыслящую и субстанцию протяженную, Декарт фактически постулировал воспринимаемый человеком образ пространственно-протяженного мира как нечто абсолютное, не выводящее нас за свои пределы ни к какой трансцендентно-идеальной глубине. Картезианское разделение реальности неизбежно вело к признанию того, что все движущие и формообразующие силы нашего мира всецело находятся в пределах пространства и времени и их следует искать не иначе, как в глубине самой материи, в составных частях сложного.

В XVIII и XIX веках этот подход и был взят на вооружение развивающимся классическим естествознанием. Поэтому с самого начала оно было обречено на редукционизм и материализм — на сведение сущности сложных явлений к сущности их составных частей и на поиск первичной реальности нашего мира в наименьших материальных образованиях.

Так, связав свою судьбу с картезианскими взглядами на реальность, наука заняла в европейском обществе позицию колоссального по своей силе проводника материализма и бездуховности. «Влияние картезианского разделения на человеческое мышление последующих столетий едва ли можно переоценить,» — писал в связи с этим Вернер Гейзенберг. И «именно это разделение,» подчеркивал он, мы и «должны подвергнуть критике на основании развития физики нашего времени»^{*}.

2

Конечно, не следует думать, что современная физика смогла опытно исследовать трансцендентную реальность. Это невозможно по определению: трансцендентное после его исследования перестало бы быть таковым, но стало бы очередной сферой реальности, доступной человеческому опыту. Философские представления вообще невозможно непосредственно выводить из конкретно-научного материала. Говоря о естественно-научной критике картезианского разделения реальности, следует иметь в виду достаточно абстрактный уровень формирования понятий.

Дело в том, что расположенность современной науки к признанию трансцендентной реальности связана прежде всего с осознанием невозможности отделения нашего знания о мире от познавательных возможностей человека. Оказалось, что представление об абсолютной, независимой от наблюдателя реальности познаваемого мира должно быть заменено на представление о

* В.Гейзенберг. Физика и философия. Часть и целое. М. Наука. 1989, с.42.

некоторой неразрывной системе, непременно включающей в себя наблюдателя, познающего внешний мир явлений только через ту или иную *проекцию* познаваемой этим наблюдателем онтологической* реальности на его психофизические особенности восприятия и их продолжение в физических приборах.

В рамках ньютоновской концепции пространства и времени, господствовавшей в естествознании XIX столетия, место для трансцендентно-идеальных корней явлений найти было довольно трудно. Вся полнота реальности должна была находиться внутри пространственно-временных рамок, поскольку пространство и время тогда считались неким абсолютным и беспредельнымместилищем материального, не зависящим от самой материи.

Однако, современная физика показала, что это не так. Она показала, что абсолютного пространства и абсолютного времени нет. Их свойства определяются полем тяготения, то есть зависят от распределения и движения материи — источника поля тяготения. В таком понимании пространство и время можно рассматривать лишь одновременно с материальным началом нашего мира, они как бы прикованы к этому началу.

К нему же прикована и духовная составляющая человеческой природы. Сознание человека в реальных условиях нашего мира тоже нельзя рассматривать в отрыве от материального начала, а следовательно — и в отрыве от пространства и времени. С этим, по-видимому, и связаны изначально заложенные в наше мировосприятие элементы пространственно-временной априорности, — того условия, которое отделяет область трансцендентного — внепространственного и вневременного — от области феноменального. Восприятие мира человеком посредством его органов чувств не может выйти за пределы пространства и времени. Не может выйти за эти пределы и продолжение непосредственного мировосприятия — изучение природы физическими приборами. То, что человек наблюдает, измеряет, взвешивает, — находится внутри пространственно-временных рамок и не обязательно должно обладать онтологической полнотой. Поэтому-то, в классической физике отсутствие этой онтологической полноты в картине физической реальности нигде явно и не ощущалось.

Однако в квантовой механике представление о неполноте нашего знания о микромире становится уже тем необходимым философским фоном, на котором конкретно-физические проблемы только и могут получить свое наиболее ясное и четкое освещение. При этом сама возможность существования чего-то более глубокого, чем доступный для научного изучения мир феноменов, не может не под-

* Онтология — учение о бытии как таковом, независимо от познающего мир человека и психофизических особенностей его восприятия.

толкнуть ум исследователя к возможности признать вполне допустимым существование и той сверхчувственной реальности, о которой писали христианские богословы.

В области микромира все это хорошо иллюстрируется на примере корпускулярно-волнового дуализма.

Известно, что при одном способе наблюдения свет проявляет себя как поток движущихся частиц, при другом — как цуг распространяющихся в пространстве волн. Поэтому возникает вопрос: каков же он в реальности? Ведь, как справедливо подметил Гейзенберг, «обе картины, естественно исключают друг друга, так как определенный предмет не может в одно и то же время быть и частицей /то есть субстанцией, ограниченной в малом пространстве/ и волной /то есть полем, распространяющимся в большом объеме/».*

Пытаясь найти ответ на этот вопрос, как раз и следует помнить, что никакое явление в атомном мире не может быть описано без ссылки на наблюдателя, на весь образ его действия, а при таком подходе волновую и корпускулярную природу света можно считать только двумя проекциями непознаваемой до конца онтологической реальности на два различных способа наблюдения. Эти две проекции несут в себе принципиально различное, взаимоисключающее друг друга выражение исследуемой реальности, так что их невозможно совместить в рамках одной картины объекта. Поэтому-то эти проекции и были названы «дополнительными» по отношению друг к другу. И принципиальная их несовместимость в рамках одной картины как раз и указывает на то, что описывается здесь нечто *отделенное* от сущности квантового явления, нечто *деформированное* в сторону наблюдателя — деформированное в разных случаях по-разному, откуда и несовместимость двух картин реальности. Эта несовместимость говорит о принципиальной *неполноте* нашего знания об этом феномене, о том, что здесь, по словам Борна, «наблюдение или измерение относится не к явлению природы, как таковому, а только к аспекту, под которым оно рассматривается в системе отсчета, или к проекциям на систему отсчета».**

Именно подобные проекции и составляют в физике микромира предмет научного изучения, а вовсе не сама «объективная реальность» в строгом смысле этого понятия. Вернер Гейзенберг по этому поводу писал, что мы в настоящее время уже «не можем уйти от факта, что естествознание создано людьми. Естествознание описывает и объясняет природу не просто так, как она есть «сама

* В.Гейзенберг. Физика и философия. Часть и целое, с.22.

** М.Борн. Физика в жизни моего поколения, с.279.

по себе». Напротив, оно есть часть взаимодействия между природой и нами самими.* Все это, подчеркивал он, и обязывает нас признать, что «если в наше время можно говорить о картине природы, складывающейся в точных науках», то речь, по сути дела, должна идти уже не о картине природы, а о картине наших отношений к природе. «Старое разделение мира на объективный ход событий в пространстве и времени, с одной стороны, и душу, в которой отражаются эти события,— с другой, иначе говоря, картезианское различие «субстанции мыслящей» и «субстанции протяженной» уже не может служить отправной точкой в понимании современной науки».**

3

Итак, человек неотделим от мира. Он составляет часть его реальности и не может в процессе научного познания мира абстрагироваться от психофизических особенностей своей природы. Так называемый «объективный научный метод» на самом деле несет на себе печать определенного «общечеловеческого субъективизма». А осознание этого позволяет говорить и об определенном *выравнивании* гносеологической значимости «объективного» научного и субъективного «созерцательного» способов миропостижения. В обоих способах будет присутствовать определенная доля субъективизма, хотя в первом — субъективизма только «общечеловеческого», присущего «универсальному наблюдателю». Макс Борн писал по этому поводу следующее: «В 1921 году я был убежден, и это убеждение разделялось большинством моих современников физиков, что наука дает объективное знание о мире... Мне тогда казалось, что научный метод предпочтительнее других, более субъективных способов формирования картины мира — философии, поэзии, религии... В 1951 я уже ни во что это не верил»***.

Итак, заслуга физики XX столетия состоит в разрушении той жесткой системы представлений о познаваемом, согласно которой сфера доступной для научного метода «объективной реальности» обладает онтологической полнотой. При этом мы не должны забывать о том, что термин «объективная реальность» в традиционном для естественнонаучного понимания смысле, как подчеркивал Гейзенберг, «не случайно ограничен теми явлениями, которые человек

* В.Гейзенберг. Физика и философия. Часть и целое, с.43.

** В.Гейзенберг. Шаги за горизонт. М. Прогресс. 1987, с.303-304.

*** М.Борн. Физика в жизни моего поколения. с.7

может просто описать при помощи пространства и времени».* А такой подход оставляет в картине бытия — кроме сферы наблюдаемого — достаточно места и для существования реальности иного плана — внепространственной и вневременной, являющейся онтологическим основанием нашего «видимого» мира. Того мира, корни которого, в соответствии с христианским мировоззрением, уходят в сферу Божественных энергий.

Святоотеческая традиция свидетельствует: «энергии,— это Сам Бог в Его обращении к твари. Его творческая мощь, промыслительное попечение о мире, все Его явления миру и человеку не суть сама сущность Божия, которая остается неприступной и непознаваемой, а Божественные энергии, или точнее, единая, но многообразная и многочастная энергия /действие/ всех Трех Божественных Ипостасей».**

В контексте этих представлений законы, управляющие жизнью материального мира, и представляют собой, в конечном счете, всего лишь проявление творческого воздействия на мир этих Божественных энергий. А потому абсолютность этих законов и условна — они вполне могут нарушаться Божественным произволением.

Эти-то нарушения и проявляют себя в событиях, которые человек воспринимает как чудо.

Святитель Феофан Затворник писал об этих чудесных «нарушениях» так: «Среди сего, истекающего из воли Божией, неизменного, навсегда установленного порядка миробытия и составляющих его тварей, благоволит Бог являть и особые Свои действия, непосредственные, не в силах и законах мира имеющие источник, а в непосредственной воле Божией»***

Этими особыми, «не в законах мира имеющими источник» событиями изобилует, как известно, вся история христианства. Так, многие сотни чудесных исцелений были совершены в России всего несколько десятилетий назад по молитвам святого праведного Иоанна Крондштатского (такие исцеления по молитве праведника свидетельствуют, кстати сказать, и о том, что Бог не только Вседержитель, но, одновременно, и Личность, к Которой возможно такое молитвенное обращение).

Да, и в настоящее время тоже происходят подобного рода «нарушения» естественного порядка событий. Одно из наиболее из-

* В. Гейзенберг. Развитие интерпретации квантовой теории. В книге: «Нильс Бор и развитие физики». М. 1958, с.43.

** Архимандрит Киприан. Антропология св. Григория Паламы. УМСА-PRESS. Париж. 1950, с. 295.

*** Епископ Феофан. Уроки из деяний и словес Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. М. 1901, с. 34.

вестных — снисхождение Благодатного Огня в Иерусалимском храме Воскресения Христова. Это событие совершается ежегодно на протяжении многих столетий в одно и то же время — накануне православной старостильной Пасхи. Благодатный Огонь представляет собой «материализацию» внезапно появляющегося в храме голубоватого свечения, от которого принято зажигать пасхальные свечи. Первое упоминание об этом событии сохранилось с IV века.*

Другой вид встречающегося и в настоящее время нарушения законов «видимого» бытия — мироточение икон. Несколько случаев такого мироточения наблюдалось совсем недавно в России, о чем упоминалось в Рождественском послании святейшего патриарха Алексия II-го. Наиболее же продолжительно длится мироточение Иверской иконы Божией Матери в Монреале. С 1982 года и по настоящее время эта икона источает благоуханную маслянистую жидкость — миро, причем это событие происходило при **многочисленных** свидетелях. Интенсивность мироточения бывала различной. Прекращалось оно лишь во время Страстной **Седмицы**.**

4

Каждое чудесное событие имеет свой духовный смысл, находящийся вне компетенции как науки, так и философии, если брать традиционную форму последней. За пределами возможностей научного подхода находится и конкретный «механизм» подобных явлений. Нет смысла сводить особые «нестандартные» формы Божественного действия в мире к обычному образу Его мироправления. Мы ничего не можем сказать о том, как осуществляется переход от чисто духовной энергии к материи. Эта область принципиально недоступна для науки и уже не традиционна для богословской мысли. Да и как свести к каким-либо известным нам процессам факт истечения из иконы неизвестно откуда взявшейся благоуханной жидкости? Ведь это событие очень напоминает акт сотворения вещества «из ничего». Тот самый акт, которому и соответствуют как раз те представления о сотворении Богом мира «из ничего», что лежат в основе христианского учения о происхождении Вселенной.

Но ведь к этим же представлениям подошло со своей стороны и современное естествознание и это неизбежно приводит к возникновению точек соприкосновения между традиционным христианским и современным естественнонаучным мировоззрениями.

* Подробнее: Благодатный Огонь над Гробом Господним. М. Пересвет. 1991.

** Подробнее: Россия перед Вторым Пришествием. Изд. Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. 1993, с312-314. Град-Китеж. №7 /12/. 1992, с.26-28. См. также: «Обретение новой чудотворной мироточивой иконы Божией Матери Иверской». СПб, 1993.

В этом плане особый интерес представляет сопоставление некоторых аспектов святоотеческих воззрений на мир с тем, что может сказать по этому поводу современная наука.

В традиционном христианском миропонимании «видимый» мир явлений, как уже говорилось, содержится «невидимыми» Божественными энергиями, которые превечно изливаются из единой Сущности Пресвятой Троицы — Отца и Сына и Святого Духа. При этом особое место в формировании объектов тварного мира отводится Второй Ипостаси — Богу-Сыну, Который, в контексте христианского учения об отношении Творца к тварному миру, именуется Божественным Словом или Логосом. «Тесные отношения Логоса к миру, — писал исследователь византийского богословия С.А.Епифанович, — выражаются при посредстве и в форме энергии Его, или маленьких логосов, идей, на которые творчески как бы расчленяется Единый Божественный Логос».* Эти идеи и составляют ту трансцендентно-идеальную сторону бытия, вокруг которой как бы кристаллизуется материя нашего мира, образуя пестрое многообразие явлений. Целостный облик каждого явления, а так же его внутренние свойства определяются, в конечном счете, формообразующим воздействием на материю Логоса.

Весь мир, в таком понимании, можно считать, следовательно, в определенной степени именно «одебелением» или «воплощением» Логоса. А это значит, что можно говорить об определенной *логосности*** нашего мира, то есть о подчиненности его высшим принципам, вносимым в его жизнь Божественным началом. И эта логосность мироздания обнаруживается перед духовным взором повсюду, она отражает волю Создателя и Промыслителя.

Подчеркнем, что такое понимание природы бытия не имеет ничего общего ни с пантеизмом, стирающим грань между Богом и миром, ни с деизмом, отвергающим участие Бога в жизни тварного мира после акта его сотворения. «Если пантеизм, — писал архимандрит Киприан, — слил в одно Бога и тварь, и если деизм не мог преодолеть трагической бездны между миром и трансцендентным ему Богом, то святоотеческое предание никогда не знало этих основных трудностей космологии; оно всегда сознавало живую связь Творца и мира»***.

В соответствии с таким представлением, творческое воздействие на мир Логоса должно быть наиболее заметным, очевидно, прежде

* С.А.Епифанович. Преподобный Максим Исповедник и византийское богословие. Киев. 1915, с.45.

** Термин «логосность» употребил в одной из своих работ православный богослов о.Киприан /Керн/. Этот термин довольно адекватно выражает христианские святоотеческие представления о тех разумных принципах мироустройства, корни которых принадлежат к сфере Божественного.

*** Архимандрит Киприан. Антропология св. Григория Паламы. с.326.

всего в особенностях природы целостных феноменов. И характерные свойства каждого явления нельзя рассматривать при таком подходе лишь как сумму свойств его составных частей. В целом, кроме стандартного элементарного, должно присутствовать еще нечто специфическое, связанное с его трансцендентно-идеальным корнем, который, собственно и ответственен за формирование его характерных свойств как целостного. Законы, управляющие жизнью тварного бытия, в таком понимании не будут полностью «замкнуты» на законы более элементарного уровня, но будут в какой-то мере «открыты» по отношению к творческому воздействию на мир Логоса, запечатлевая это воздействие в своей структуре.

И действительно: именно такое понимание природы целостного и находит себе полное подтверждение в богатейшем фактическом материале из самых различных областей естествознания, свидетельствующем о неправомочности полного сведения высшего к низшему, целостного к элементарному. Особенно явно это ощущается в биологии.

Вся история биологии, по свидетельству ее исследователей, показывает, что «более глубокое проникновение в сущность биологических явлений ведет к более решительному отбрасыванию механистического подхода, отрицающего специфику живого».* Особенно явно это ощущается в эмбриологии. Не зря ведь бытует мнение, что витализм является профессиональным «заболеванием» эмбриологов. А сами эмбриологи /например, в лице Л.Вольперта/ именно тем и оправдываются, что, дескать «процесс развития организма так изумителен, что можно понять тех, кто приходит к выводу о невозможности объяснить его на основании законов химии и физики».**

Конечно, идеалистический подход к пониманию сущности жизни вовсе не означает, что эта сущность не имеет конструктивно-функциональной зависимости от физических и химических процессов, протекающих внутри клетки. Он означает лишь то, что этой зависимости недостаточно для того, чтобы живое существо было тем, чем оно является. Целое здесь явно больше суммы своих составных частей. И больше как раз на тот трансцендентно-идеальный логосный элемент, который вносит в жизнь материи духовная Первопричина тварного бытия.

Такое понимание сущности жизни позволяет, в частности, оценить гносеологическую ценность всерасчлняющего аналитического подхода к живым организмам — того подхода, на который, в

* В.Н.Веселовский. О сущности живой материи. М. Мысль. 1971, с.35.

** Л.Вольперт. Развивающиеся клетки знают свое место. Природа. № 6. 1971, с.60.

основном, практически и опираются исследователи. Этот подход ориентирован на познание лишь одной стороны познаваемого, а результаты анализа можно считать, как уже упоминалось, лишь проекцией онтологической природы живого на наши аналитические средства изучения. Естественно, что в этой проекции будет полностью отсутствовать то, что связано с трансцендентно-идеальным основанием живого. И подобно тому, как мы не можем одновременно изучать волновую и корпускулярную природу света или измерять координату и импульс элементарной частицы, точно так же мы не можем одновременно рассматривать целостные живые существа и продукты их аналитического расчленения, то есть виталистическую и механистическую сторону жизни. «Мы вынуждены принять,— писал по этому поводу Нильс Бор,— что собственно биологические закономерности представляют законы природы, дополнительные к тем, которые пригодны для объяснения свойств неодушевленных предметов».* «Дополнительные» — значит, в соответствии с сущностью этого гносеологического принципа, несовместимые в рамках одной картины объекта, несводимые друг к другу, но — равноценные, способные дать всю возможную полноту информации об объекте лишь при поочередном их рассмотрении.

Такой подход подразумевает непривычные для традиционной научно-философской мысли следствия: наряду с привычным способом познания свойств целостных объектов путем их аналитического расчленения, гносеологически не менее значимым приходится признать постижение природы и путем простого созерцания. Можно, по-видимому, говорить даже о существовании неких «созерцательных горизонтов» в сфере взаимоотношения человека с миром, которые не менее реальны и гносеологически не менее плодотворны, чем традиционные для науки «горизонты аналитические».

Применительно к живым существам такой подход подразумевает, что продукты анализа не содержат и не могут содержать в себе того, что, относясь к собственно биологическому плану, присуще в то же время целостному «измерению» живого существа, несущего в своем облике определенный отпечаток формообразующего воздействия на материю Логоса. Единственный путь к постижению этой стороны жизни — именно целостно-непосредственное созерцание форм и красок окружающей нас природы. Ибо в этих формах и красках, как свидетельствует современная биология, действительно содержится определенный смысл, непонятный для матери-

* Н. Бор. Атомная физика и человеческое познание. М. Изд. иностр. литературы. 1961, с. 37.

алистически настроенной науки. Речь идет о том, что можно назвать *эстетическим* принципом организации живой природы.

Еще в первой половине нашего столетия русский биолог Любичев сформулировал свой вывод о том, что морфологические структуры живой природы «лишь в частных случаях определяются выполняемыми функциями, а в более общем плане подчиняются некоторым математическим законам гармонии».* Это относится, в частности, к симметрии биологических тел — свойству, которое издавна вызывало пристальный интерес естествоиспытателей как одно из наиболее замечательных и загадочных явлений природы.

Другой пример — широко встречающаяся в живой природе пропорция золотого сечения, делящая целое на две неравные части так, что меньшая относится к большей, как большая к целому. По ее уникальной простоте пропорцию золотого сечения можно считать неким способом передачи материальными средствами определенного идеального начала, заключенного в геометрическую форму, — определенного смысла.

Подобный таинственный смысл выражается также и в простоте других геометрических структур, в соответствии с которыми организовано царство живой природы. То же можно сказать и на счет весьма характерной для многих живых существ яркой их окраски — свойства, значение которого тоже никак не уместается в рамки представлений о чисто приспособительном характере морфологической организации живых существ.

Смысл всех этих феноменов абсолютно непонятен с позиции материалистического подхода к действительности. Они указывают на тайну, внесенную в жизнь тварного мира его Нетварной Первопричиной — Логосом. Как человеческое слово заключает в себе определенную мысль, так и Божественное Ипостасное Слово, являясь зиждительным основанием тварного мира, вносит в структуру материи непонятный для науки смысл, непостижимую для нашего ума идею, таинственный образ чего-то запредельного...

В таком понимании логос — как конкретный трансцендентно-идеальный корень каждого явления — уже не только натурфилософское понятие, не только закон природы, но и таинственный символ иного мира. Об этом всегда учили отцы Церкви. В частности, преподобный Максим Исповедник говорил «о взаимпроникновении двух миров, видимого и потустороннего, В потусторонней сфере бытия вечно содержатся логосы — начала этого мира, а в этом чувственном мире логосы — символы того божественного бытия».** Вся окружающая нас природа в этом смысле представляет собой

* С.В.Мейен и др. Классическая и неклассическая биология. Феномен Любичева. Вестник АН СССР · 1977, с.119-120.

** Архимандрит Киприан. Антропология св. Григория Паламы, с.331.

как бы некую таинственную криптограмму, несущую в себе символическое отображение невидимого «горнего мира». И человеку дана определенная возможность непосредственного усвоения этого символического смысла мироздания. Ведь те логосно правильные геометрические структуры, к которым тяготеет морфологическая организация живых существ, являются одновременно для человека и источником прекрасного, питая его эстетическое чувство.

В таком понимании категория прекрасного заключает в себе исключительное по своей значимости метафизическое содержание, которое, очевидно, затрагивает и сферу художественного творчества человека. Об этом свидетельствует и то, что как в объектах живой природы, так и в произведениях искусства можно обнаружить одни и те же эстетические закономерности — в частности пропорцию золотого сечения. Этот факт подтверждает широко распространенное мнение об универсальном характере законов гармонии. Композитор Р.Шуман утверждал по этому поводу: «Эстетика одного искусства есть эстетика и другого, только материал различен.» При этом можно, вероятно, поставить вопрос даже и о правомочности применения пропорции золотого сечения как формального показателя, способного выявить эстетический уровень художественного произведения.

Конечно, проблемы эстетики очень глубоки и доступны рациональному раскрытию только отчасти. Исследование структуры художественного произведения с помощью пропорции золотого сечения или любого другого формального показателя напоминает работу анатома, метод которого ничего не может сообщить о сущности содержавшейся некогда в исследуемом организме жизни. Однако, как паталагоанатом способен отличать уродливые и больные организмы от здоровых и жизнеспособных, так и исследователь художественного творчества с помощью пропорции золотого сечения, по-видимому, способен все же отличить живое творчество от подделки под него. В частности, это можно отнести и к музыкальному творчеству, где пропорция золотого сечения проявляется во временном аспекте, так что к этой пропорции тяготеет соотношение длительности отдельных частей музыкальных произведений, а так же положение их кульминационных точек. При этом замечено, что в музыке «закон золотого сечения проявляется в наиболее точных и логических формах у наиболее гениальных авторов», а у последних — «преимущественно в эпоху их полной зрелости и главным образом в лучших, наиболее одухотворенных творениях их».*

Ключ к этой загадке можно найти в христианской антропологии, в представлении о человеке, как образе и подобию Божию.

* Э.К.Розенов. Статьи о музыке. Избранное. М. Музыка. 1982, с.156.

Вспомним, что многие писатели Церкви усматривали одну из граней проявления в человеке образа Божия именно в его способности творить и производить в разных областях духовной и мирской жизни. Бог-Творец отпечатлел и на Своем создании — человеке — богоподобную способность творчества, и в своем творчестве человек способен в какой-то мере воспроизводить отдельные черты Божественного образа действия. Бог сотворил природу, отпечатлев в ее структуре символическое отображение «горнего мира» — человек в своем художественном творчестве повторяет это отображение.

В таком понимании духовное содержание художественного творчества неизмеримо земными мерками, как неизмерима ими и сама красота. Ведь красота, относясь одновременно и к объектам созерцания, и к созерцающей эти объекты душе человека должна каким-то образом выражать наличие живой логосной основы, одновременно держащей собою как созерцаемое, так и созерцающую человеческую душу — той безграничной по отношению к нашим человеческим понятиям основы, всю глубину которой мы не можем измерить никакими формальными показателями.

В контексте этих представлений «субъективное» прекрасное тоже связано, следовательно, с «объективным», логосным. И эта связь является, по-видимому, общим правилом, значение которого далеко выходит за рамки искусства. Вспомним известное изречение: «Красота — сияние истины». Это сияние и выражает то, что прекрасное связано с логосными, то есть с фундаментальными принципами мироустройства. Восприятие прекрасного помогает проникнуть в фундаментальный смысл бытия, сделаться сопричастным этому смыслу, сопричастным истине.

Особенно, может быть, отчетливо эта связь между истинным и прекрасным проявляется в сфере познания физических законов с помощью математики.

Все законы, управляющие жизнью нашего мира можно, в конечном счете, понимать как проявление творческой энергии Логоса. Это же относится и к физическим законам, составляющим область приложения математического метода. Те, кто их исследуют, говорят об ощущении порядка, красоты и гармонии, открывающимся их внутреннему взору. Об этом же порядке и гармонии свидетельствует и сама удивительная возможность познания законов природы, опираясь на математический метод, — возможность, о которой Альберт Эйнштейн сказал, что «самое непостижимое в мире то, что он постижим».*

Здесь уместно вспомнить, что еще античные мыслители — Пифагор и Платон утверждали, что пестрое многообразие явлений

* См.: М.Клайн. Математика. Поиск истины. М. Мир. 1988, с.253.

может быть понято именно потому, что в основе его лежит единый, доступный математическому описанию принцип формы. То есть, другими словами,— принцип разумной организации, принцип логосности. И этот тезис античности полностью подтвердился всем ходом развития точного естествознания, успехи которого общеизвестны. Общеизвестно и эвристическое значение красоты при проникновении в тайны мироздания с помощью математического метода. Когда, к примеру, известного физика Поля Дирака попросили сформулировать наиболее важный принцип научного творчества, он написал следующее: «Физический закон должен быть математически изящным».* Когда же у Гейзенберга спросили, почему он так упрямо верит в правильность пути, по которому идет развитие квантовой теории, несмотря на то, что очень многое еще совсем не ясно, он ответил следующим образом: «Я считаю, что простота природных законов носит объективный характер. Когда сама природа подсказывает математические формы большой красоты и простоты, то поневоле начинаешь верить, что они «истинны», то есть что они выражают реальные черты природы».**

Подобных высказываний можно привести очень много, ибо столь существенное значение эстетического чувства в процессе познания природы как раз и свидетельствует о наличии реальной, глубинной живой связи между человеческим умом и внутренней, идеальной стороной познаваемого,— связи, дающей возможность непосредственно созерцать логосы явлений и отражать результат этого созерцания в структуре математического соотношения.

Весьма примечательно, что о таком созерцательном элементе в математике заговорила в последнее время и математическая логика, показавшая несводимость движущей силы математического творчества к рациональному началу.

5

Несомненное наличие логосной основы под психическим должно обуславливать, очевидно, и характерные особенности индивидуального сознания человека. Вполне логично предположить, что психика человека, «опираясь» на всеобщее логосное основание тварного мира, должна обнаруживать следующие характерные особенности: во-первых — наличие специфических целостных свойств, не сводимых к более элементарному уровню /по аналогии с тем, что присуще биологическим объектам/; во-вторых — относитель-

* См. В.С.Барашенков. Кварки, протоны, вселенная. М. Знание. 1987, с.94.

** В.Гейзенберг. Физика и философия. Часть и целое, с.196.

ную независимость в своем целостном облике от материальных процессов мозга.

Что может сказать по этому поводу современная психология?

На основании эмпирических данных своей науки психологи делают следующий вывод: «как организм, разложенный на составные элементы, обнаруживает свой состав, но не обнаруживает специфически органических свойств и закономерностей, так и сложные, целостные психологические образования теряли свое основное качество, переставали быть самими собой при сведении их к процессам более элементарного порядка».*

Если бы возможность сведения высшего к низшему в психике существовала, то это могло бы быть серьезным аргументом в пользу материалистического взгляда на природу сознания, так как низшие психические функции и рефлексы уже довольно жестко связаны с физиологией мозга. Однако возможность подобного сведения отсутствует, что тоже указывает на участие в формировании свойств психики логосного начала. Такое участие позволяет считать сознание человека идеальным образованием, вполне самостоятельным по отношению к материи, хотя и связанным с материальными процессами, протекающими в мозге.

Эта субстанциональная самостоятельность психического выражается, в частности, в известных фактах значительной устойчивости сознания при разрушении мозга. При этом высшие сферы психического обнаруживают гораздо более высокую степень устойчивости, чем низшие, что говорит об их большей независимости от материальных процессов мозга. Так, наблюдения над ранеными в голову во время Великой Отечественной войны показали, что «если элементарные физиологические функции /зрения, слуха, тактильной чувствительности и простых движений/, нарушающиеся после очаговых поражений соответствующих отделов мозговой коры человека, практически не восстанавливаются вовсе и дефект остается пожизненно, то судьба других, более сложных форм психической деятельности, которые также отчетливо страдают при очаговых поражениях мозга, оказывается совсем иной. Несмотря на то, что прямой результат разрушения определенных участков мозга остается необратимым, сложные формы психической деятельности, нарушенные ранением, восстанавливаются».**

Похоже, мозг является только «проводником» высших сфер сознания человека. Его травматическое разрушение вызывает лишь временные затруднения высшей психической деятельности. Если

* Л.С.Выготский. Развитие высших психических функций. М. Изд. АПН. 1960, с.15.

** А.Р. Лурия. Восстановление функций мозга после военной травмы. М. Изд. АМН СССР 1948, с.225.

же разрушение мозга идет постепенно, то таких затруднений, похоже, вообще не обнаруживается.

В подтверждение этого можно привести пример, описанный в недавно вышедшей монографии профессора Л.И.Корочкина «Свет и тьма».

У клинического больного с редкой формой рассеянного склеоза происходило неумолимое разрушение нервной ткани. В результате этого разрушения больной провел более 10 лет на искусственном кормлении, так как единственная двигательная функция, которая у него оставалась — это способность открывать и закрывать глаза. Именно на этой способности и было построено общение с ним — можно было задавать вопросы и получать ответы, пользуясь заранее обговоренным «кодом», и тем самым следить за состоянием его психики. Скончался больной в полном сознании, при полной сохранности своих мыслительных способностей. Когда же при патолого-анатомическом вскрытии исследовали мозг, то оказалось, что за исключением некоторых жизненно-важных центров, ответственных за регуляцию дыхания и кровообращения, а также иннервирующих мышцы глаз и «обслуживающих» зрительное восприятие, — все остальное погибло.

Если следовать материалистическим представлениям, то этому больному просто нечем было мыслить.

Этот пример далеко не единственный. В той же монографии приводятся описания многочисленных случаев заболевания водяной мозга, болезни, при которой высшие психические функции сохранялись в норме несмотря на то, что основную часть полости черепа занимал уже не мозг, а цереброспинальная жидкость.

Все это свидетельствует о том, что субстанциональным основанием высших сфер сознания человека являются не материальные процессы мозга, а идеальное логосное основание тварного мира. Эмпирические данные медицины и психологии в этом плане находят свое законное место в той посткартезианской картине мироздания, которая должна заменить натурфилософские представления XIX столетия. В то время весьма многие ученые были склонны верить, что факты психологии могут быть в конечном счете объяснены физикой и химией человеческого мозга. Но с точки зрения философских обобщений, к которым подводит квантовая механика, «для таких предположений, — писал В.Гейзенберг, — нет больше никаких оснований. Хотя в мозге физические процессы имеют отношение к психическим, все же нельзя предположить, что эти физические процессы достаточны для объяснения психических явлений».*

* В. Гейзенберг. Физика и философия. Часть и целое, с.61.

Человеческую душу, судя по всему, следует считать самостоятельной идеальной сущностью, имеющей два полюса — высший, опирающийся на идеальное логосное основание бытия, и низший, тесно связанный с физиологией высшей нервной деятельности. После прекращения функционирования мозга, то есть после смерти, неизбежно исчезает только низшая часть души. Высшая же ее часть, собственно человеческое «я» должно сохранить свою индивидуальную сущность и после отделения от души связанной с телом ее физиологической составляющей.

Такое понимание природы психического не только дает право на признание бессмертия человека, но делает понятной природу той сокровенной сверхчувственной связи между людьми, с проявлениями которой в своей жизни сталкиваются очень многие люди. Признание существования этой связи делается возможным, во-первых, потому, что психическое — как самостоятельная по отношению к материи идеальная сущность — не ограничено пространством; и, во-вторых, потому, что сознание человека в своей жизни «опирается» на единое онтологическое основание тварного мира, общее для всех его явлений, для всех человеческих индивидуумов. В контексте этих представлений сверхчувственная связь между людьми может быть просто внутренне присуща человеческой природе. Ее же осознанное проявление, как показывает сама жизнь, происходит, как правило, в случае смертельной опасности, которой подвергается один из близких людей — примеров такого рода в современной литературе тысячи.

Еще одна грань проявления логосно-обусловленных свойств человеческой природы связана с теми высшими сферами знания о мире, которые, в соответствии с христианскими святоотеческими представлениями, даются духовно преображенному человеку.

Источник этого высшего знания — Логос — является Учителем, дающим, по словам преподобного Максима Исповедника «вкушать достойным людям науку, находящуюся в логосах видимого мира, и пить ведение, находящееся в логосах умопостигаемого».*

Христианская духовная традиция свидетельствует: прикрытие от взора большинства людей «созерцательные горизонты» открываются избранным — тем немногим, кто этого оказался нравственно достоин, кто духовно последовал за Христом, кто стяжал в своем сердце Божественную благодать. Логосный смысл мира открывается самим воплотившимся Логосом — Главою христианской Церкви. Восприятие этого смысла дает человеку, по словам православного

* Цит. по Архимандрит Киприан. Антропология св. Григория Паламы, с.330.

богослова о.Киприана «целое миропонимание и мироощущение, неведомое мудрецам позитивного знания. За «грубою корою вещества» человек видит божественные логосы тварей, ту настоящую реальность, отраженными символами которой являются вещи этого мира».*

В таком понимании природа «созерцательных горизонтов» определяется фундаментальными принципами мироустройства, которые включают в себя и сферу духовно-нравственного. Все это свидетельствует о реальности, об объективной природе нравственного закона, как важнейшей грани логосности нашего мира. Выполнение этого закона, равно как и стяжание человеком благодати, равно как и видение в эстетических красках логосного смысла нашего мира — это разные грани одного и того же драгоценного камня, поиск которого составляет смысл христианской духовной жизни и приобретение которого, в соответствии со святоотеческой традицией, является определенным залогом положительной участи человека в Вечности. Способность к духовному восприятию красоты мира становится при этом как бы своеобразным показателем причастности души человека к благодати. «Потерявший благодать,— учил преподобный Силуан Афонский,— не воспринимает, как должно, красоты мира и ничему не удивляется. Все невыразимое великолепное творение Божие не трогает его. И наоборот, когда благодать Божия с человеком, тогда всякое явление в мире поражает душу своей непостижимой чудесностью, и душа от созерцания видимой красоты приходит в состояние чувства Бога, живого и дивного во всем».**

6

Формирование мировоззрения, как и все прочее в человеческом бытии, нельзя выделять из общего контекста духовной жизни человека. При благодатном преобразовании духа и связанном с ним живом усвоении логосного смысла мироздания материалистические взгляды просто не в состоянии овладеть сознанием человека. Но ведь к такому благодатному преобразованию своей природы призван всякий человек, и особенно тот, кто берется за решение мировоззренческих проблем. Не свидетельствует ли это о том, что конечной причиной широкого распространения в последние столетия материализма следует назвать именно потерю благодати?

* Архимандрит Киприан. Предисловие к книге «Откровенные рассказы странника духовному своему отцу. Сергиево подворье. 1948, с.11.

** Иеромонах Софроний. Старец Силуан. М. Ново-Казачье. Минск. 1991, с.89.

Эта потеря, очевидно, и привела к закрытию «созерцательных горизонтов» и переориентации всех познавательных усилий человеческого духа в направлении «горизонтов аналитических». Высший, логосный смысл мироздания перестал быть доступным человеческому разуму, и окружающая человека природа во всей ее таинственной глубине превратилась в безликую «протяженную субстанцию» Декарта. Еще позже сущность этой «протяженной субстанции» начала сводиться к тому единственно, что классическое естествознание смогло обнаружить в живых существах, подходя к ним со стороны «аналитических горизонтов» — то есть к молекулам и атомам. Кратко весь этот процесс можно выразить следующими словами: материализм как потеря Бога в мировоззренческом аспекте есть логическое завершение потери Его в бытийном плане, отхождения человечества от благодати. Поэтому и термин «естественнонаучный» можно применять к современному материализму лишь с рядом оговорок и в кавычках. В основе его широкого распространения лежат, в конечном счете, причины духовного характера.

Истоки материалистических тенденций в европейском научно-философском мышлении последних столетий можно усмотреть еще в тех духовных процессах, которые происходили в Западной Европе на рубеже последних тысячелетий. Именно тогда внутри западного христианства появились ростки так называемого номинализма — учения, у котором единственно реально существующим признавалось конкретно-предметное в ущерб универсальному, трансцендентно-идеальному, воспринимаемому с участием благодати. Широкое распространение в западноевропейском мировоззрении средних веков номинализма явилось своеобразным показателем отхождения от благодати, индикатором начавшейся там эпохи апостасии, эпохи отступления от Бога. В дальнейшем эти духовные тенденции получили широчайшее распространение, что, очевидно, и привело наш мир к его сегодняшнему состоянию с многочисленными социальными и экологическими проблемами. Ведь результаты деятельности человека являются, в конечном счете, лишь внешним выражением состояния его духа. Если образ Божий в нем не затемнен, то и характер его творчества несет в себе определенную печать богоподобия. И недаром та же, например, «логосно ориентированная» музыка оказывает, как известно, положительное воздействие на живые существа, — в частности на растения, которые, подобно людям, реагируют на музыку как целостные живые организмы.

Но положительное воздействие на живые существа оказывает в основном, как выясняется, лишь классическая музыка, связанная с традициями и духовной атмосферой христианской культуры. В современных же музыкальных произведениях такого положитель-

ного воздействия уже, как правило не обнаруживается, что свидетельствует об определенной утере современной музыкой «логосной ориентации». Так, в ряде экспериментов было выявлено, что некоторые растения, например, при звуках музыки тяжелого рока испытывали угнетение своих жизненных функций и, в конце концов, погибали. В других опытах растения «отклонялись от источника звука, как будто бы хотели уйти от губительного действия этой музыки. Чтобы убедиться в достоверности такой реакции, растения поворачивали на 180°, и они вновь отклонялись от источника рок-музыки. Поистине, для них это была роковая музыка».*

Можно предположить, что онтологическое основание этой музыки имеет явную «антилогосную направленность». И здесь поневоле вспоминается известный персонаж, противящийся во всем Богу, хотя и пытающийся своей деятельностью Ему подражать. В обществе, «просвещенном» картезианско-материалистическим мировоззрением, этот персонаж принято лишать бытийного статуса и помещать в некие аллегорические рамки. Но стали бы от аллегорий вянуть растения?

Через вполне доступную рациональному анализу структуру рок-музыки тоже осуществляется, видимо, мистический контакт с запредельными сферами бытия. Но — уже совсем иной природы. Потому-то контакт с этими сферами и способен неким образом «отрывать» все живое от логосной первоосновы тварного мира, способен убивать жизнь.

К несчастью, дух человека имеет, видимо, какую-то глубинную внутреннюю подчиненность бытийному основанию этой «антилогосной» демонической энергии, если «эволюция» музыки — и не только музыки — на протяжении ряда сменявших друг друга поколений неуклонно шла в направлении от высокой классики к тяжелому року. И человечество — в основной своей массе — воспринимало это движение как прогресс... Этот факт указывает на глубинное расстройство природы человека, связанное, согласно христианской богословской традиции, с его грехопадением. Именно грехопадение привело, в конце концов, к глубокому расстройству всех свойств человека, в том числе его отношения к истине и красоте, перевернуло всю его шкалу ценностей так, что, по словам святителя Игнатия Брянчанинова, «состояние падения обманчиво представляется состоянием торжества, и страна изгнания — исключительным поприщем преуспеяния и наслаждения».** Музыка — вместе с другими видами искусства, в логическом завершении

* А.П.Дубров. Музыка и растения. Новое в жизни, науке, технике. Сер. Биология. Вып.3. М. Знание. 1990, с.15.

** Соч., т.V, с.294.

их исторического пути,— всего лишь частный случай проявления падшей человеческой природы. Вот почему если эта природа не преобразована Божественной благодатью, современное «свободное» развитие творческих устремлений приводит только к углублению состояния грехопадения и к еще большему порабощению человека демоническим началом. «Антилогосная» направленность рок-музыки — объективно выявляемое подтверждение этого закона. Человеческое общество, включившее в свою духовную жизнь подобные разрушительные «антилогосные» энергии, находится в вопиющей дисгармонии со всеобщими логосными принципами мироустройства. И последствия этой дисгармонии для человечества неизбежно должны носить поистине катастрофический характер.

7

Итак, сегодня мы можем наблюдать определенную тенденцию возвращения научно-философской мысли к христианским принципам понимания действительности.

Когда-то христианское мировоззрение было в Европе практически общепринятым. Переход от него к современному материализму был осуществлен через промежуточную ступень — деизм, учение, в котором Бог почитался лишь Творцом мира, сообщившим Вселенной вечные законы ее жизни. Сейчас в сфере научно-философской мысли происходит процесс обратной направленности, идущий наперекор тому, что составляет основу духовной жизни Европы последних столетий. Современная наука уже вышла из младенческого возраста и потенциально способна противостоять идеологическому напору со стороны, потенциально способна самостоятельно ориентироваться в вопросах мировоззренческого характера.

Процесс возвращения к полноте христианских взглядов на природу бытия дошел в науке в настоящее время уже, по крайней мере, до уровня деизма — представлений о сотворении нашего мира. Эти взгляды, оформленные в виде концепции научного *креационизма**, привлекают к себе все больше и больше последователей. Логике этих взглядов один из современных ученых-креационистов М.Дентон выразил следующими словами: «Разве правдоподобно, что случайные процессы могли создать реальную действительность, наименьший элемент которой — функциональ-

* Креационизм — /от лат. creatio — сотворение/, — система взглядов, обосновывающая представления о Божественном сотворении мира.

ный белок или ген — более сложен, чем что-либо, созданное разумом человека?»*

Нетрудно подсчитать, и уже подсчитано, что вероятность как случайного самозарождения жизни во Вселенной, так и случайного прохождения полезных макромутаций, способных стать основой предполагаемого эволюционного процесса, столь ничтожна, что можно уже смело хоронить как теорию самозарождения жизни, так и дарвинизм со всеми его последующими модификациями.

Эти теории, кстати, до сих пор занимают существенную часть школьной программы биологии и преподаются как нечто абсолютно достоверное. На самом же деле они не выдерживают серьезной научной критики. И это, похоже, понимают сами же сторонники эволюционной доктрины. В противном случае как объяснить тот факт, что основой для утверждения эволюционных взглядов в настоящее время во всем мире является не свободная научная дискуссия с оппонентами-креационистами, а пропаганда и административные запреты?

Это относится не только к странам, пережившим пленение марксистской идеологией. Известный американский ученый-креационист, — Генри Моррис в своей книге «Сотворение и современный христианин» приводит ряд фактов из жизни американского общества, подтверждающих этот парадокс. Так, в 1981 году в американской научной печати появилось сообщение о том, что сессия Национальной Академии Наук проголосовала практически единогласно /один голос против/ за отказ от участия в дебатах по проблеме «эволюция против сотворения». В этом же году в Арканзасе состоялся известный «суд над креационизмом», поводом для которого послужила попытка установления в некоторых американских школах параллельного /вместе с эволюционизмом/ преподавания креационных идей. И подобные примеры являются не исключением, но правилом.

Нечто подобное следует, по-видимому, ожидать и в дальнейшем, при продвижении научно-философской мысли к представлениям теистического характера, согласно которым наш мир не только сотворен, но и существует не самостоятельно, а при участии «невидимой» Божественной первоосновы. Это участие, как уже сказано, проявляется прежде всего в несводимости законов высших сфер бытия к более элементарному уровню, и это, в общем-то, сегодня уже тривиальный факт. Впрочем, в любые времена всякий нормальный и способный к независимому мышлению человек вряд ли способен был бы считать себя и окружающих людей просто упорядоченными совокупностями атомов и молекул. Однако по-

* См: Д.А.Кузнецов. О чем умолчал ваш учебник. М. Протестант. 1992, с.19.

добная независимость от картезианско-материалистической идеологии далеко не всегда свойственна тем, кто с этой идеологией связан профессионально и кто, в частности, определяет, что и как преподавать детям в школе. Современная школьная программа построена, так, что у слишком усердных учеников к моменту окончания школы вполне может сложиться твердое убеждение, будто они ничем принципиальным не отличаются от химической реакции, протекающей в пробирке.

Понимание всего этого дало в свое время Вернеру Гейзенбергу повод написать следующие строки:

«Мы сегодня может сослужить хорошую службу для будущего, если попытаемся, по крайней мере, расчистить путь вновь вырабатываемым методам мышления и не будем выступать против них, ссылаясь на необычайные трудности, возникающие в связи с их непривычностью».*

В настоящее время эти слова звучат не менее актуально, чем и в момент их написания.

* В.Гейзенберг. Философские проблемы атомной физики. М. Изд. иностр. литературы. 1953, с.19.

Дмитрий Минченок

ИСТОРИЯ НЕРЕАЛИЗОВАННОГО ПРОЕКТА ИСАДОРА ПАЛЬПИМЕРА ПО ПОСТАНОВКЕ «ТОРЫ» ПРИ ИМПЕРАТОРЕ И БОЛЬШЕВИКАХ

Стоит ли заглядывать в архивы? В них все по-старому. Двери памяти закрыты для тех, кто знает все о будущем и уверенно чувствует себя в настоящем.

Главного героя этой истории, которая приключилась в начале века, никогда не покидало чувство, что он никому не нужен. Ни городу, в котором жил, ни друзьям, с которыми встречался. Но ему оставалась уверенность, что он нужен тому существу, которое привело его на Землю. Иными словами, мессианскими чувствами этот герой был полон. И это тем более естественно, что он родился евреем, жил в Витебске, дружил с Марком Шагалом, а признания не встретил, может быть, из-за крамольности поставленной перед собой задачи.

Назовем имя героя этой повести — Исадор Пальпимер. Режиссер из местечка, которое прославил Шагал.

Два знаменитых еврея на один город — это много. Кого-то приходится забыть, не узнав. Такие истории часто встречаются среди еврейской оседлости, и ничего страшного. Быть уверенным, что все известно, проще с меньшим числом гениев. Учебники тоньше — а ощущения, что знание полновесно, так же много. Поэтому не удивительно, что театральные истории, живущие один день, имеют мало шансов попасть в историю, поскольку она по-прежнему что-то вроде Ноева ковчега, который с каждым годом набирает скорость крейсерского состава, следующего мимо дат рождения гениев без остановки.

**Дмитрий
Минченок**

— родился в 1967 году в г. Витебске /Беларусь/. Окончил театроведческий факультет ГИТИСа. Автор многочисленных статей в периодике.

Исадор Пальпимер в этот состав не пожелал садиться. Его профессия была изначально несовершенна. Театральная режиссура нуждается в профессиональных соглядатаях, которые ко времени расцвета творчества Пальпимера обслуживали по социальным заказам и писали доносы вместо рецензий. Их вечера были заняты теми, кто должен был стать жертвой палачей, а не героем истории. Самой горькой насмешкой над судьбой Пальпимера стало то, что он был более талантлив, чем Грановский,* но если последнего ожидали слава и почет от историков театра, то Исадору Пальпимеру осталось только внимание витебских архивариусов, закончивших местное епархиальное училище, — или, на языке местечка (включавшем кроме идиш заимствования из иврита и арамейского), — «гоев», каковыми именовались все живущие рядом с иудеями не-евреи.

Исадор Пальпимер творил искусство, которое живет только пока длится представление. Он понимал некую социальную ограниченность своего дела, стеснялся этого и верил, что его профессия менее нужна государству, чем профессия сталевара. В отличие от многих его коллег он не умел вытребовывать блага жизни с воображаемым плакатом на груди — «перед вами великий режиссер». Ему думалось, что блага в этом случае не дадут. Вот почему жизнь Пальпимера складывалась аналогично жизни простого продавца селедки (распространенное дело среди местечковых обывателей). Он был еврей, ему надо было заботиться о национальном достоинстве, о пропитании, о погромах. Ему надо было служить обществу в ранге рядового истории. И что же? Общество его не заметило. Но ему хотелось, чтобы о нем когда-нибудь вспомнили. Все-таки, как все таланты, в глубине души он был честолюбив. Пусть это будет спустя сто лет.

Достоверных фактов из его жизни осталось очень немного. Это чудом уцелевшие отзывы Марка Шагала о своем витебском друге, воспоминания родственников семьи Шагалов — Пальпимеров, доживших до наших дней в Париже и Петербурге. Наконец, архивные данные старого Витебска, сохранившиеся в выписках и находящиеся в частных собраниях. Несомненные факты и удручающие пробелы образуют пунктирный, местами нечетко прорисованный портрет героя, который то кажется реальным — как живой человек, то иллюзорным, как его сон о самом себе. Во всяком случае факты переплетаются в повествовании с предположениями и характерными ситуациями эпохи, которая вычесывала всех под одну гребенку. Двоюродная сестра Пальпимера Евгения, которая дожила в Витебске до седых волос считала, что слишком нереально, что реальность ее брата будет когда-то замечена. И всех об этом предупреждала, начиная рассказ о своем кузене.

* Алексей Михайлович Грановский — режиссер, создатель и руководитель первого государственного еврейского театра, образованного после 17-го года, знаменитого ГОССЕТа, легендой которого были Михозлс и Зускин

Витебск. 1904 год.

Год рождения бабушки автора, которая рассказала ему эту историю.

Посвящается бабушке Жене

1.

Еврейский театр в Витебске начался со связи Доры Штаркман и студента Варшавского университета Исадора Пальпимера. И Грановский, и Пальпимер одинаково страстно мечтали о реорганизации еврейского театра. Грановский мечтал о театре светском, посещаемом модными людьми, а Пальпимер думал о театре мистическом, в котором были бы запечатлены боль и тоска еврейского переселения.

Пальпимер очутился в Витебске в 1914 году. С первой весточкой из Сараево о гибели эрцгерцога Фердинанда.

Надо сказать, что Пальпимер любил подобные мистические совпадения. А если их не было, придумывал их сам.

В Витебске «жидов» в армию не забривали. В Варшаве, из которой он выехал, перестав числиться студентом, могли бы. Пальпимер никогда не отличался пристрастием к физического рода деятельности и потому военных действий никаких бы не вынес.

Видимо, предчувствуя грозящие опасности, Пальпимер отправился туда, откуда был родом, и едва телега, на которой студент ехал, миновала деревянный указатель с выжженным на нем названием «Витебск», в Сараево раздался выстрел и начался век 20-й.

Витебск был еврейской Меккой. Самый крупный промышленный и торговый центр на границе оседлости, в котором евреи северо-западной части империи имели право селиться. Город находился не только вблизи обеих столиц, но и на одинаковом от них расстоянии. К примеру, в Смоленске, который был следующим после Витебска на пути в Москву, нищие евреи, а также еврейские купцы второй и третьей гильдии селиться уже не имели права.

Исадор Пальпимер был из породы простых евреев. Отец его был меламедом — учителем в начальной еврейской религиозной школе. Мать, как положено в таких случаях, сидела дома, изредка помогая советом: как правильнее соблюсти обряд при отправлении умершего к праотцам.

Витебск был город интеллигентный — состоял наполовину из евреев. «Интеллигенцию» в основном представляли портные, часовщики, мастера игрушек, которые изготовляли к православной Пасхе игрушечные вертепы со спящим в люльке младенцем Христом, купцы, торгующие всяким товаром и в особенности знаменитые своими ручной работы деревянными пуговицами, которые у еврейских мальчишек покупали ехавшие в Смоленск помещики, а также селедочники (через город протекала река Двина — аж до самой Риги; туда из Витебска гнали плоты, обратно волоком тащили селедку в бочках. Дед Пальпимера был одним из тех силачей, что гнали плоты в Ригу). Словом, Витебск с живущими в нем евреями казался страной красноликих израильтян — древних мифических еврейских племен, живущих за рекой Самбатъен — легендарной рекой в Земле обетованной, непреодолимой из-за бурного течения в будние дни и спокойной по субботам. За этой рекой, как учил отец Пальпимера, скрывалось царство десяти колен Израилевых, некогда уведенных в плен. Правоверный еврей в это царство попасть не мог, потому что по субботам сидел дома, хотя видел ее из окошка, а грешник, «мешумед», как в местечке именовался вероотступник, бегающий по субботам с делами, этой страны найти не мог.

Пальпимер дышал этими историями с детства. А потом, когда попал в Варшаву на обучение в студенты, лелеял их, как волшебный напиток ишмоэльс, который пил Давид перед тем, как сказать Голиафу все, что он о нем думает.* Оголодав в Варшаве, но научившись в ней мудрости европейского театра, Пальпимер вернулся в страну куриных котлет, каковой по праву мог именоваться Витебск, знаменитый на всю Белоруссию и Польшу еврейскими базарами.

2

Пальпимер был честный человек — он бредил правдой. Но что такое правда по Пальпимеру? Это не натурализм. Это не отягчающие восприятие мелкие подробности. Это интуитивное озарение, которое приходит наобум, неизвестно откуда. Оно может быть туманно, расплывчато, неясно, но во сто крат убедительнее фотографической картинки сциентиста. Пальпимер называл эту правду — правдой неба, потому что она не найдена в результате

* Давид и Голиаф — библейские образы, популярные в местечковом фольклоре. Парадоксально их сочетание как образов учителя и ученика. Это своего рода символ преемственности, которая передается в результате кровавой битвы: побежденным оказывается учитель, а победившим — ученик.

богоборческих высокомерных поисков рационального ума. Она пришла незванной гостьей и страшна. Потому, что слишком откровенна. И не может быть провозглашена повсюду подобно схоластической истине.

Пальпимер мечтал поставить Библию. Не больше не меньше. Он знал, что на него закричат: «Как можно — это свято, а ты на позорище национальное достояние выносишь!».

Оттого это и была его тайна. С одной стороны, такое не разрешит сделать его отец, даже если Пальпимер-сын получит разрешение от Ребе из Любавич*. С другой стороны, наивный гений стоял перед фактом собственного мироощущения: нигде, кроме театра, нельзя убедительно, как в букваре, показать — и ламедвожникам**, и мешумедам-выкрестам — как выглядит сказочная страна за рекой Самбатъен.

Пальпимер верил в реальность этой страны, но не спешил искать дорогу туда. Будучи сыном учителя иешивы (школы, где мальчики от 13 лет изучают Талмуд,***), он знал, что не надо идти на базар, когда туда несут только ноги. Если туда не позвала душа, ворота души — глаза — там не откроются.

Пальпимер никогда не бывал ни в Москве, ни в Петербурге, потому что там кричали: «Куда прешь, жидовская морда?» — но сами не застывали перед величием небес, в течение веков обреченно смотрящих вниз на тех героев, половина из которых осталась в русских учебниках, другая в снах и слезах евреев. В «Зогаре»****, комментарии к Пятикнижию, сказано, небо над землей неподвижно. Земля сдвигается, сходит со своего места, исчезает вовсе, небо над ней остается одно и то же. По каббалистическому учению, небо представляло собой последнюю букву древнееврейского алфавита, которой не хватает, чтобы прочесть полное имя Бога. Лишь перед приходом мессии самый большой праведник сможет

* Мистическая роль Ребе из Любавич, знаменитого своим личным духовным опытом, неоспорима. Он является центральным духовным наставником в хасидской среде.

** Ламедвожник — синоним скрытого праведника. По каббалистическому учению цифровая символика букв, образующих это слово — 36. Тайное учение говорит о том, что в реальном мире должно всегда присутствовать не менее 36 праведников, иначе миру грозит гибель.

*** Талмуд — устная Тора, буквально «учение». Собрание текстов законоучителей, сводящих к сакральной основе все стороны жизни иудея и с этих позиций устанавливающих нормы поведения.

**** Зогар — буквально «Сияние», одна из основных книг каббалы, автором которой был рабби Шимон бар-Иохаи (2 век н.э., жил в Сирии.)

увидеть в небе эту единственную неизвестную букву, скрывающую Бога от зрямого воплощения.

Пальпимер не видел Петербурга и не хотел этого. Он учился в Польше. Это был другой центр мира — от Варшавы ближе к Ребе из Любавич.* Он не был в Москве и не видел спектакли знаменитого Станиславского, но успокаивал себя тем, что Варшава тоже европейская столица, в которой близость к Парижу, быть может, более просвещает.

Между режиссерами всегда существует соперничество. Грановский подсчитывал, сколько на его спектакль написали рецензий и сколько на спектакль Алексева-Станиславского. Он мечтал, чтобы в Москве жило много знаменитых режиссеров, чтобы их было больше, чем зрителей: Южин, Евреинов, Немирович, и еще сто таких же! Тогда его Грановского, первенство среди них было бы более почетно.

Исадор же Пальпимер ни с кем не хотел вступать в соревнование! Пальпимер относился к этому делу так: как в одном местечке не могут быть два ребе-учителя, так в одном городе не может быть двух режиссеров. Режиссер — это жрец. Ему не нужно общаться с себе подобными. Он не торговец, чтобы сравнивать, кто оборотистее.

Он — маг!

Он один знает тайну мира. Более одной тайны на единицу пространства, ограниченного размерами: местечка, города, земного шара — не надо. Пусть соблюдаются пропорции. Во времена патриархов иудейство начиналось с тайны голоса: кому-то слышался голос Иеговы, а кому-то — нет! В последующую эпоху — по-другому.

3.

Надо искать тайну в той обыденности, среди которой живешь. Витебск казался Исадору вылепленным из куриных котлет. Железные рельсы при подъезде к городу становятся как из теста, и ничего из злой и глупой цивилизации в город не проникает. В Витебске не было привычной бывшему варшавянину городской культуры больших городов. Сколько знаменитый своими сочинениями Лажечников в свое время ни пытался привить подчиненным согражданам-горожанам интрижные нравы своих любимых героев XVIII века, ничего не получалось. Исторический романист, удаленный из Петербурга за провинности перед режимом, из пред-

* Местонахождение первого духовного лица у евреев Восточной Европы не являлось местом паломничества, хотя каждый из любавических хасидов желал встретиться с Ребе из Любавич хотя бы раз в год.

ложенных ему на выбор мест для службы выбрал сразу Витебск и был отправлен туда вице-губернатором. С тех пор город не изменился.

Витебск не жил новостями карьеристской логики. Градоначальство не интересовало то, что в Москве есть Станиславский, а в Витебске его нет. На мир в этом польско-еврейско-литовском городе смотрели очень особенно. Так особенно, что даже не считались с очевидными законами, и в результате один чудак по фамилии Юрковский изобрел важнейшую деталь того самого фотографического аппарата, которым по сей день «снимают головы» великих людей. (Витебский изобретатель Сигизмунд Юрковский изобрел в 1882 году фотографический затвор по принципу шторок, и с тех пор по сю пору этот принцип используется).

Пальпимер считал, что его странный театр должен понравиться горожанам. Но предварительно он справился в письме у своего отца, сколько театров есть в городе. Отец не знал, что ответить, потому что никогда не ходил в подобные места, и отнесся с вопросом к своему соседу, рубщику кошерного мяса реб Эфраиму. С его подсказки он отписал сыну в Варшаву, что есть только один театр — «для гоев». Он имел в виду русских дворян, которые собираются летом в центре города в деревянном здании, крашенном в зеленую краску, но что они там делают — неизвестно.

Пальпимер посчитал, что ответ его удовлетворяет. Его планам ничего не мешало. Земляки не смогли бы обвинить его в незнании театрального дела — просто по отсутствию возможности сравнивать! Бывший студент мог ехать в Витебск. С другой стороны, он допускал, что может разочаровать горожан, влюбленных в абстрактное понятие театра, своим реальным.

Поэтому Пальпимер решил быть осторожным. Для этого были и другие основания. С 1889 года в Витебске ходили первые во всей империи трамваи. (Трамваи в Витебск были «завезены» бельгийцами, которые считали Витебск местом весьма выгодным, что доказывало открытие ими банковской сети в центре в Витебске, а не в Минске.) Для горожан это было все равно что железная дорога локального масштаба. Исадор читал и читал Достоевского и помнил, как в «Бесах» некий Лямшин выдвигал теорию о том, что железные дороги суть предвестники падения первой звезды из Апокалипсиса. Пальпимер Апокалипсис не любил, хотел трактовать его только как поэтическую вольность ума разгоряченного, со смыслом символическим и только. Но с его мистической силой считаться приходилось.

Исадор считал, однако, что мистика может быть как сакральная, так и современная. Он думал, что создает мистическую трактовку мира в своих театральных фантазиях, и полагал, что его фантазии

будут ближе не искушенному в христианской символике местечковому зрителю.

Дора Штаркман — вдова богатого русского полковника Скабичевского, за брак с которым ее простила ее сторона (а его — его сторона), — обрадовалась приехавшему из Варшавы студенту и предложила ему деньги, а также связи для реализации плана.

Еврейский театр в Витебске на идиш — это новое, это то, чего не устраивал ее муж. В город постоянно, несколько раз в год приезжают гастролировать польские труппы, показывают Пшибышевского, Загозинского, еще ряд незапоминающихся имен на «ого». Спектакли польской труппы — это три-четыре кресла (которые берутся с собой), выцветшие двери, обитые шелком, обязательно «русский слуга», который картавит, и пьеса, в которой покинутая женщина заламывает руки и хватается за пистолет мужа. Все больше подделки под Ибсена, рожденные поверхностным пониманием его драматического мира.

Жить в местечковом Витебске — значит жить в передней. Заниматься в ней реалистическим театром — безумие. Это значит плодить убогость и нищету даже в фантазиях. Надо заглядывать в заоблачные дали. Чтобы люди вспомнили свою настоящую родину. Местечковый еврей Пальпимер был уверен, что человеческие души — части того неподвижного неба, которое всегда одно — и в веке нынешнем, и в веках минувших.

4

В городских архивах Витебска сохранилась запись о регистрации в 1914-м увеселительного городского театра на «идиш» для малолетних господ еврейской национальности, а также русских бар, охваченных этнографическим зудом, которые путешествовали по Польше и Белоруссии, ища у себя под носом туземные племена капитана Кука.

Дора Штаркман спросила Исадора, что он хочет ставить. «Что-нибудь значительное, — ответил Исадор. — Про наших отцов и прадедов». «Про погромы, что ль?» — переспросила Дора. «Раньше, — ответил Исадор. — Гораздо». «Как гетман Хмельницкий «жидов» морил?» — «Еще раньше!» — вскричал студент. «Ума не приложу, что могло быть раньше, чем погромы», — озадачилась Дора. «Сотворение книги праотцов. Про то, как Библию писали. Про то, что течение реки от Бога, а бег трамваев — от Самаила» — стеснительно и невнятно произнес Исадор. Самаил на иврите было именем сатаны. Дора ко времени вдовства стала забывать язык родителей. Исадор этого стеснялся. «Не может быть, — прошептала Дора, — чтобы тогда люди не любили друг друга. Мужчины не

брали себе в жены чужих дочерей? Отвечай, не брали?» Исадор, подчиняясь железной логике и не желая расстраивать Дору, ответил, что брали. «Вот видишь,— подытожила та,— значит любовь была. Значит барышни травились. Покажи в деталях, как травмились,— будет у тебя театр, не покажешь — никто не пойдет к тебе, еврей-ученый».

И Дора пошла к губернатору. Ее приняли. Она написала бумагу с просьбой дать ей землю на строительство театрального здания на правом берегу реки. Ей дали разрешение. Пальпимер приступил к работе. У него не было ничего, кроме строительного макета, каковой должен был превратиться в реальное здание. Три дня у кромки воды стояла белая палатка, рядом с которой выделялся вкопанный указатель: «Театр Исадора Пальпимера». Так Витебск знакомился с будущим режиссером. (В итоге там построили здание театра, но уже при новой власти и для игры на белорусском языке). Первоначальную группу Пальпимер думал выписать из Варшавы. Свои спектакли он задумывал на трех языках: идиш, русском, польском. А потому он хотел, чтобы у него играли евреи, которые говорят без акцента по-польски.

Так получилось, что у Пальпимера был друг, Марк Шагал, художник. Он был известен в Берлине и на Монмартре — в Париже, в одном месте, которое прозывали «Улей». Дружил с Пальпимером с детства, вернулся в Витебск как раз перед приходом Пальпимера и хотел там жениться. В Витебске у него жила девушка. Ее звали Белла, она была дочерью торговца ювелирными украшениями и увлекалась театром.

Пальпимер мечтал, чтобы Шагалы остались в его театре. Муж — художник. Жена — актриса. Он чувствовал, что жена его друга может приковывать внимание своим молчанием. В своих письмах к Шагалу он описывает ему, как его жена может долго молчать, а зрители столь же долго могут смотреть на нее. Не отвываясь.

По одному этому можно было понять, что Пальпимер верил в мистический натурализм. Тут была долгая цепь рассуждений. Профессия актера греховна? Конечно! Но актер — человек? Не обязательно!

Человек — божье создание. Соответственно задача уловить в человеческие сети божье начало — поставлена может быть. Кто к этому готов более других? Конечно же, актер с его восприимчивой зеркальной натурой, готовой ловить в себе самом чужие отражения.

В умершем человеке наиболее отчетливо заметна его природа: добрая или злая. Это невидимая сторона человеческого лица заметна только тогда, когда человек уже ушел на зеркальную сторону

мира и стал ее частью, которая мучит и тревожит каждого живого, воображающего себя замкнутым цельным существом. Нельзя ли ее воспроизвести в человеке живом? С помощью каких-то тайных упражнений вывести актера на ту сторону, где ходят тени? Разговор с ними наполняет живого человека силой. Но разве не эта сила заставляла Моисея или Давида формулировать законы, слагать гимны, которые дают частицу своей силы потомкам на протяжении тысячелетий? Эти особые первые люди, которые действовали в Библии, умели выходить на теневую сторону бытия и получали оттуда свои знания.

Вопрос постановки Библии как раз в этом и заключается: понять, какие тайны завещали в своих гимнах иудейские пророки: сформулировать их и пытаться иллюстрировать эмоциональным переживанием.

С одной стороны, полное спокойствие, а с другой стороны, технические приемы— движение, которое вызывает погружение актерской психики в состояние теневой части человеческой психики. С одной стороны, это находило выражение в следующем: театр без слов. Театр, действующий с помощью света и тени, гулкого эха и молчания, а по контрасту со всем этим — потрясающий подробным, со множеством деталей, образом-портретом актера, в котором его многозначность заменяла бы диалог. Но кроме того нужно увлекать зрителя действенной стороной. А как это совместить?

Пальпимер не знал.

Он боялся об этом говорить с Дорой. Он боялся обмолвиться об этом в семье. Он не боялся только Витебска, в котором, представлялось ему, он может сделать великолепный спектакль по Библии. Но хотел он, чтобы к нему в театр шли не сравнивать гений русский и еврейский, как ходили к Грановскому. Он хотел, чтобы еврейскому зрителю некуда бы было пойти, кроме как в его театр, и, просидев там на скамейках, которые колются, уйти, подумав, что Исадор Пальпимер в первую очередь сын учителя иешивы. Студент хотел доказать, что Ветхий завет сам по себе театрален.

Театр Исadora был бы не просветительский и назидательный. Он бы ничему не учил и ничего не объяснял. Пальпимер делал то, что ему виделось и воображалось, когда он лично читал текст Торы. Бог не являлся никому, кроме Моисея. Только Моисей видел его в дыму. Но голос, который рвался из груди Моисея в тот момент, был Божий. Исадор верил, что Создатель нуждался в том, чтобы в его бесплотном образе хотя бы что-то было от того мира, среди которого читается текст Торы. Глухой голос пророка.

Бог был немного в Моисее, и Моисей был немного в Боге. Поэтому, по глубочайшему убеждению Пальпимера, вместо них обоих в определенный катарсический момент имел право появиться Актер, который единственный мог быть немного и тем, и другим. Существо, которое могло уравнивать Бога и Человека в одном теле.

5

Пальпимер был убежден, что царь Давид испытывал не случайный катарсис, когда слагал свои Псалмы. И поэтому-то считал Пальпимер, в Книге Псалмов и даются указания на психологические и профессионально-музыкальные средства при воспроизведении псалмов. Многие песни Давидовы начинались с «ремарок». Давид взбирается на гору, спасаясь от врагов, или Давид подкарауливает ищущего его Саула. «Сноска» рекомендует соответствующие приемы погружения в «атмосферу» событий: «игра на духовом орудии» при подъеме на гору, «игра на струнном орудии» при нападении на Саула. Но сам священный текст предполагает переживание от себя лично. Эти два условия создают предпосылки для актерско-зрительского восприятия текста. Здесь кроется эстетика «соборного театра», о котором (в терминах Вячеслава Иванова, пытавшегося выстроить теоретическое объяснение театра XX века) Пальпимер, весьма вероятно, ничего не слышал, но которому следовал параллельно с петербургским ученым.

Соборность для Пальпимера, не мечтавшего, конечно, о том, чтобы его зрители хором с актерами распевали псалмы во время представления, заключалась в катарсическом отождествлении себя с сакральными персонажами. Актер чувствовал в себе божественное начало, его эмоциональное потрясение передавалось зрителю. Кстати, открытие «соборного» эффекта — довольно закономерное явление для еврейского режиссера, ощущающего свою национальность как повод для неврозов. Актер отгораживался от презрения величием своего персонажа.

6

Царь Давид не сидел внутри покоев своего большого дворца со ста двадцатью стенами и не размышлял о словах над свитками. Царь Давид двигался. Непрестанно. То убегал от погони, то сам кого-то преследовал. И во время этих событий сочинял псалмы. Пальпимер мечтал показать внутренние покои дворца Давида похожими на лабиринт. Со стенами, обрывающимися где-то на высоте в полтора человеческих роста. Давид переходит из покоя в покой.

Это символизирует либо восхождение на гору, либо нисхождение с нее. Иной раз это рождено приступами отчаяния, когда подъем вверх может быть рожден мрачной целью, для которой нужны молоток с гвоздями и веревка.

Царь путешествовал по таинственным местам, подвергался опасности, а когда их набиралось больше, чем он мог вынести, останавливался как вкопанный, и из него начинали выходить речи. Эти речи — псалмы — были невозможны без предшествующего движения и событий во время движения. Собственно, это движение было как бы синонимом таинственных упражнений, которые помогают свернуть на тайную сторону души. Где нет фиглярства — нет иллюзии существования, но есть само подлинное существование.

Эти речи возникали тогда, когда царь двигался по определенному маршруту. С точки зрения человека, стоящего на земле, это имело вид перемещения, к примеру, из Элифаза и Тифаз, а с высоты Бога — было начертанием таинственного узора. Речь человека во время этого путешествия — ключ к его расшифровке. Соответственно, эти речи могут так же зазвучать и потом, через много лет, может быть, в XX веке, в котором живет думающий об этом Исадор, если он правильно повторит те движения и угадает те опасности, которые испытывал царь Давид. У Пальпимера было многое невыразимо. Но в ощущениях одно он чувствовал очень точно: между текстом псалмов и их произнесением вслух скрывается рецепт театральности. Пальпимер не был пророком, но в 1914-м он хотел делать то, что делали в 70-х Ежи Гротовский, Эудженио Барба. (И Гротовский и Барба стали основоположниками нового театрального учения, отвергающего психологизм и пытающегося установить иные причинно-следственные связи человеческих поступков. Их полем деятельности стало подсознание.)

Катарсис Давида был абсолютом, был тем невыдуманном Раем, который достигается самовнушением ли, шаманским исступлением ли, сильнейшим ли нервным потрясением. Соответственно, каждый поступающий согласно с логикой Давида, как бы испытывал часы или минуты абсолюта, лишался бытовой, замусоренной житейскими мыслями реальности. Актер, их произносящий, попадал в сады Эдема.

Пальпимер видел достаточно оснований для того, чтобы создать двойника сакрального персонажа посредством сценических средств, основанных на гипнозе и аутогипнозе. Пальпимер верил в искренность, которая рождается посредством физических передвижений, рожденных определенным переживанием упражнений. Он хотел, чтобы невозможно было сказать, будто актер р а з ы г р а л выдуманные лица, надо было добиться, чтобы их реальность

превзошла реальность актера. Пальпимер замысливал театр фантомов, о реальности которых можно говорить лишь на основе косвенных свидетельств. Реальность эта достаточно метафизична, но чрезвычайно впечатляюща, а главное, способна вызвать катарсис у зрителя.

Принципом игры актера было высвобождение того таинственного двойника, диббука, который живет в душе актера, как и каждого человека, и толкает его на неожиданные поступки. Вот театральная антропология Пальпимера.

7

Пальпимер что-то записывал из своих мыслей. Что-то типа плана репетиций — эти уникальные записи существовали в Витебском архиве до пожара, который во время войны уничтожил все бумаги. План попал случайно на хранение в Витебский архив. Можно представить, с каким подхихикиванием его читали архивариуски 30-х годов.

Пальпимер сам выходил на сцену и играл Давида в процессе репетиций. Он был в златотканых одеждах, с накладной бородой, — но это для него была историческая мишура, которая создавала приятный колорит для глаза. Зрительские места должны были располагаться амфитеатром, чтобы удобнее было наблюдать движение актера и соотносить это движение с изменениями в судьбе сакрального героя.

Ставя псалмы, Пальпимер видел в судьбе Давида прежде всего трагедию одинокого человека — уже не царя. Царь вдруг ощущает себя перед Божественной непредсказуемостью актером, марионеткой, которая разыгрывает чужой сценарий. Пальпимер ведь был религиозно мыслящим человеком. Он хотел ниспровергнуть расхожий тезис, будто игра актеров есть зло. Конечно, зло — но в театре психологическом. Его актеры обязаны были чувствовать и мыслить категориями высокими, переживаниями подлинными.

Исадор Пальпимер был хасидом и верил, что сцена должна быть квадратной не случайно. Как квадратная буква еврейского письма, сцена представляла собой лист бумаги, по которой актер чертил графический узор, означающий судьбу человека.

Хасидизм — религиозное течение, которое подчеркивает важность физического движения в построении судьбы человека. Хасидизм был важен как язык жестов. Человек, проходя определенный путь, ввергал себя в определенное состояние. Траектория его пути повторялась в линиях квадратного еврейского письма. Каббала учила пути. Бен-Маймонид нашел букву, которая

повторяет судьбу Моисея. Бен-Бенцалель нашел буквы, которые создают Голема, (неодушевленное существо громадного роста, по преданию — из глины, оживленное пражским раввином) Голем, которого создал знаменитый мистик-каббалист, одно время воспитатель в доме венгерских князей Эстерхази, с свою очередь создателей знаменитого домашнего театра, был символом того призрачного существа, которого порождала игра актера. Пальпимер верил в то, что он может нарисовать путь, который создает актера. То, что движение по определенному пути влияет на повороты судьбы, равносильно актеру, который поступает так, как это замыслил драматург. Пальпимер думал так: все, что создано Богом, — это естественное. Все, что создается его творениями, есть искусственное. Соответственно человек — это еще божие создание. А все, что произошло от человека, — это уже от черта. Все это было той духовной основой, содержащейся в хасидизме, которую Пальпимер принимал как неперемutable условие и оправдание театральной игры с иллюзией. Бывший студент, познавший греховность мира, хотел занятие актерством сделать богоугодным делом.

8

Пункт первый, который выделил Пальпимер в доказательство театральности Библии, гласил о мнимом многолюдстве библейских персонажей. Для Пальпимера было важным, что число людей в мире библейском столь же ограничено, как и персонажей в спектакле. Прежде всего в Пятикнижии при упоминании о толпах народа вовсе не подразумеваются реальные люди. Человеческие толпы — это метафора. Метафора распространенности религии. Их существование никак не влияло на историю. Мир определяют эмоции тех немногих действующих персонажей, начиная с Адама и Евы, Авраама и Сарры, которые, любясь и рождая детей, ссорясь и мирясь, создают азбуку человеческих эмоций. Оставаясь верным идее проявления создателя в его творениях, Пальпимер выводил тождественность потомков первоначальному предку. Единый Бог делал их похожими. Их поступки были продиктованы верой в одного и того же Бога. Соответственно, и судьба ч и т а т е л е й Библии повторяла судьбы п е р с о н а ж е й Библии, которые создавали историю человечества.

Второе: мир Библейский так же ограничен, как и пространство сцены. Все вертится вокруг одного места на Земле — земли обетованной, символ которой есть замкнутое пространство скинии Господней. Среди него не нужно работать. Священным в нем является бездействие. Более того, само понятие «тхумшабеса» как терри-

тории, передвижение в пределах которой не считается нарушением священного бездействия в субботу (что делает нереальным осуществление любого дела в принципе), является интерполяцией «священного» смысла сцены — как тоже территории, разделяющей мир на притворный и непритворный, на искусственный и сотворенный. По Пальпимеру выходило, что только с позиции «царицы-субботы» (поэтическая метафора уже не территории, а времени обетованного) мир становится онтологической твердью и перестает теряться в том двоении правды-вымысла, которое происходило и происходит в будни — в первые шесть дней.

Пальпимер вывел очень важную противоположность: актер — зритель, две территории психики, на которой по-разному может отражаться одна и та же реальность. Эрец-Исроэл — на иврите название Палестины — земля обетованная — место, борьба за которое делает людей героями. Это и время и пространство царицы-субботы — Эдем. Это земля вымысла, попасть в которую можно тропами искусства и только по его законам. Именно присущие Земле обетованной понятия ограничения и конечности создают, в версии Пальпимера, то, что позднее стало древнеаристотелевским театральным единством места, времени и действия. Закон, который не утратил и йоту актуальности, но пренебрегается в наши дни, хотя сформулирован еще «людьми в чулках» — Пальпимер так определял теоретиков классицизма. А Аристотелю, как и Буало, Пальпимер верил.

Но он долго не мог решить, какому театральному амплуа соответствуют герои потустороннего мира Библии. Кто такие будут ангелы и падшие серафимы в его трактовке? Обозначения каких-то психических состояний человека? Таких состояний, в которых жизнь легка, проблем нет, человек чувствует себя всемогущим? Но это состояние в момент любви, в момент высвобождения из лап смерти, это состояние, вплотную приближенное к тайной стороне человеческой психики...

Герои земные, например, Ной — это легко объяснимо. Это прежде всего драматические фигуры — это плоть и кровь, которая не может не вызывать сочувствия и внимания другой плоти и крови.

Ной, как главный свидетель гибели мира, — это человек, который рождает вокруг себя неразрешимые проблемы, ибо драма одиночества была уже пройдена до него Каином и Авелем. Ему пришлось по-новому закрутить мировую историю настолько туго, что она разматывается вот уже несколько тысяч лет. Желание первых людей постичь одинокое существование закончилось распределением ролей для их потомков. Причем ролей для балаганного представления. Авель — вечный праведник, Каин — грешник, Адам — пра-

ведник и грешник одновременно, который, лишившись зримого Бога, познал истинное одиночество.

Именно это одиночество прошло по судьбе Ноя, и только у Авраама оно обрело новые нюансы. Трагедия встреч и расставаний, которые никогда не заканчиваются, все снова и снова закручивая, как часовую пружину, историю мира.

Для того, чтобы трагические истории обрели ясность и открытость, не нужно размножать человеческий род. Достаточно одного семейства, которое создаст универсальную энциклопедию любви и ненависти.

Пальпимер очень хотел воссоздать эту энциклопедию наглядно, чтобы в ней каждый мог найти себя и своих близких.

9

Для Пальпимера Дора Штаркман была создателем, творившим для него среду, в которой он мог развиваться как художественный гений. Для Доры Пальпимер был Адамом, которого она послала возделывать сад. Для губернатора, который был другом безвременно ушедшего полковника Скабичевского — мужа Доры, поступок вдовы был шалостью любопытной «Евы». В конце концов, губернатор был рад, что «Ева» вмешалась в театр, а не в революцию. Сам «Адам» был более далек от осознания этих фактов, чем продавец свинины от иудаизма.

В какой-то степени он воспринимал себя вечным нарушителем, который, не видя, что делает, идет по газонам райского сада. Поэтому так неохотно он разговаривал о том, что делает, с непосвященными. И поэтому-то сохранилось всего лишь несколько устных пересказов его теории. Сохранились еще картины Марка Шагала, с которым он общался и который так же любил и идеализировал местечко, как это делал Пальпимер. В картинах Шагала выразилась и его, Пальпимера, нелюбовь к натурализму, перегруженному отвлекающими подробностями.

В психологическом реализме на театре Пальпимер находил и другой криминал. С историческими эпохами в психологической режиссуре часто происходит путаница. И к драматургии Чехова, и к драматургии Софокла могут подойти с одинаковых позиций: психологическая мотивация становится унифицированным методом режиссуры. Поступки чеховских персонажей объяснялись теми же страстями, что и у античных героев. Но страсти одних были слишком велики другим.

Театр — говорил Пальпимер — это союз актера и зрителя, при котором каждая из двух сторон знает, что их различие только в местах, занимаемых по отношению друг к другу. Эти места —

два способа убедить себя в существовании одной и той же реальности. По сравнению с притворяющимися актерами, зритель — это не персонаж, а герой.

«Пространство субботы» отмечено прежде всего физическим покоем. Физический покой — это путь к Богу. По существу, смерть — путь туда же. В христианстве этому есть доказательства. Пальпимер приводил в пример икону, на которой изображен Иисус Христос в момент страшного суда. Бог-Сын взирает на нас в позе зрителя, придавая этому тривиальному для неверующего человека состоянию некую сакральную значимость. Или пример индийских йогов, которые видят истинную картину мира только в состоянии созерцания. Зритель может быть также нереален, как и театральный герой. И связаны они наподобие сообщающихся сосудов: как только человек встает со стула и начинает идти — он с точки зрения другого такого идущего с той же скоростью может показаться стоящим на месте, — такой человек попадает во власть сплошных фантомов — и становится актером.

Пальпимер писал: театр — лишь частный случай реальной жизни. Для его реальности зрители выбирают лишь определенную степень условности, негласно договариваются на определенное количество общих сюжетов.

Для бывшего варшавского студента все сюжеты сводились к трем. Встреча, расставание и одиночество. Эти три действия, объединяющие все человеческие поступки, суть те три кита, что держат театральный мир Пальпимера. Геометрически это доказывалось весьма наглядно, убедительно и интересно — построением треугольника. Театр Пальпимера был театром действий — да! Но излюбленным состоянием в нем являлся покой.

Солнечный Витебск был весьма подходящим местом для покоя. Город космополитический, с вольным магдебургским правом в генах, утерянным лишь при Екатерине, мог выдержать эксперименты режиссера на тему религиозного самоопределения: в те годы на юге России прокатилась волна еврейских погромов. Витебска они не коснулись. Этот город умел относиться к своим согражданам без учета мнений других на этот счет.

Но как каждая песня Давида начиналась с ремарок о тех опасностях, что преследуют Давида, так каждая новая власть определяла для Пальпимера иные предлагаемые обстоятельства. Исадора преследовала революция. Видимо поэтому он искал новых героев. Он слушал музыку сфер в кожаных куртках. Все три дореволюционные года после начала войны он готовился к постановке Торы, он рисовал на деньги Доры эскизы макетов, а для горожан ставил пьесы своего земляка Ан-ского. Фамилия Анский (с причудливым написанием через дефис) была псевдонимом

знаменитого драматурга Шлоймы-Занвила Раппопорта. Русские его звали Семен Акимович. Самая его знаменитая пьеса называлась «Меж двух миров». В русском театре ее прославил Вахтангов. В его постановке она называлась «Диббук». Тот самый диббук, обретение которого в реальности, а не во сне позволяет актеру быть вымышленным персонажем, а не изображать его. Пальпимер считал, что настоящие актеры умеют находить таких диббуков в эфире и играть с их помощью. Ан-ский был одно время литературным секретарем знаменитого народовольца Петра Лаврова. И хотел, чтобы Пальпимер поставил что-нибудь созвучное эпохе. Но Пальпимер любил не партии, а культуры. В предреволюционные годы он говорил исключительно по-русски. Позже из протеста переходил на другие языки. Показывал свои проекты градоначальству. После революции возглавил — по предложению Шагала, назначенного Луначарским в Витебск комиссаром по делам искусств,— первый революционный театр Сатиры — ядро будущего одноименного московского театра. История московского театра начиналась с «костяка» бежавших в Москву витебских актеров. Пока же этого не произошло, Пальпимер сотрудничал с новой властью. Первое, что ему посоветовали поставить в витебской Сатире, был агитационный спектакль... на библейские сюжеты. Пальпимеру было легче съесть собственного папу. Он отказался. Это запомнили.

Видимо, в соответствии с жанром Пальпимеру надо было погибнуть в годы гражданского междоветия. Не получилось. До самого 23-го года Витебск оставался неувядающим котлетным городом, не тронутым террором. В нем было сытно. Шагал переманил, чтобы спасти от голодной и красной смерти, весь художественный цвет России: Пуни, Добужинского, Ермолаеву, Эль Лисицкого, Малевича, наконец, который, написав свои знаменитые трактаты на витебских котлетах, сместил Шагала с руководства художественной школой. Это было посильнее, чем смещение с политической должности. Шагал уехал жаловаться в **Москву** к Луначарскому, а потом в Париж на Луначарского, и Пальпимер понял, что его звезда в Витебске закатилась. Дора лишилась своего состояния.

Вместе с армией Тухачевского Пальпимер добирается до Варшавы. Хитростью остается там. Поселяется в районе Железной Браны, который позже, во время войны, фашисты превратили в гетто. Становится режиссером в Еврейском театре. Последнее сведение, которое приходит от него из Варшавы Хаиму Янкевичу (витебский живописец, позже ленинградец, ученик Малевича), помечено 27-м годом. В Польше было хорошо. Можно было поставить

ва-банк. Оставались ли для этого сокровища в душе, — неизвестно. В случае неудачи Пальпимер мог стать учителем иешивы, потому что любил детей.

А может быть, было и не так. Из польских газет известно, что до войны какая-то смелая еврейская труппа показала спектакль «Житие Авраама».

Вот и все.

А с царем Давидом он мог встретиться в Эдеме, куда наверняка вернулся.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ РОССИИ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА, ПОЭЗИЯ, КРИТИКА
Конец 1993 г., первый квартал 1994*.

І. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА

Знакомясь с журнальной и газетной периодикой первого квартала этого года, а также с последними прошлогодними номерами провинциальных журналов, сильно запаздывающих по понятным и вызывающим сочувствие причинам, можно заметить гораздо более редкое, чем в прошлом году, обращение их беллетристических отделов к прозе исторической тематики. Злоба дня явно сегодня литературно соблазнительнее, она активно завладевает журнальными площадями, отведенными под беллетристику, и оттесняет историческую прозу, оставляя ее в основном авторам эпических полотен, прочно связавшим себя с историческим жанром. Возможно, это объясняется ослаблением надежд на то, что уроки истории и опыт предков помогут понять, что с нами происходит сегодня, и с растущим осознанием того, что объяснение сегодняшнему дню нужно искать прежде всего в сегодняшнем же дне. Поэтому и сама история становится все чаще либо некой подсобной и всего лишь условной канвой для модной ныне игровой эстетической обработки в духе так называемого постмодернизма, либо средством иносказания по поводу современных проблем, либо тоже достаточно условной временной средой для помещения в нее героев, решающих экзистенциальные общечеловеческие проблемы личностного бытия. Так, рассказы Юрия Буйды («Волга», 1993, № 11) принадлежат

* О содержательном профиле и принципах составления БСК см. редакционные предисловия к предыдущим выпускам в № 78 и 79. Для большей репрезентативности обзоров по разделам религиозной, философской, историко-культурной мысли, социально-политической публицистики, мемуарных, архивных и документальных публикаций и републикаций культурного наследия редакция сочла более целесообразным давать их не раз в квартал, а раз в полгода. Первый их выпуск — в следующем номере.

явно к первому типу — это квазиисторические стилизации с достаточно точными и конкретными историческими деталями, способствующими мнимой достоверности, и с сегодняшними аллюзиями. Гротесковое повествование из времен Екатерины II о княгине Осорьиной-Роще, патологической развратнице, соединившей в себе ангела дивной красоты и исчадие ада, иллюстрирует столь же игровую авторскую мысль о реабилитации плоти как средстве свободного устройства отечества, поскольку «Россия есть душа, живущая грезой о теле» («Аталия»). В рассказе «Черт и аптекарь» жители советского городка (со всеми историческими достоверностями средневекового быта), по приказу заезжего вертялявого черта, устраивающего себе развлечение, должны отправить на переплавку любимую бронзовую статую Генералиссимуса, но сговариваются похоронить его на городском кладбище, а он, живее всех живых, ведет их за собой и чуть не топит в болоте. С этими рассказами перекликаются еще два — уже без исторических декораций, о биологических превращениях. В одном случае — человека, который после операции аппендицита затосковал, оброс рыбьей чешуей и уплыл в море («Аппендэктомия»), в другом — человека, нашедшего в поисках укрытия от крошечной жизни и от собственного неперсонифицированного страха оптимальный вариант — он зарывается в гору дохлых мышей на городской свалке, сам уподобившись крупной дохлой мыши и чувствуя себя, наконец, в полной безопасности («Как люди»).

Сходный характер имеет и рассказ Олега Клинга «Парк побежденных» («Неделя», март, № 12) — об оживших каменных и бронзовых кумирах прошлых лет. Вечером они оживают, бродят взад-вперед по парку, потом делятся на два лагеря и устраивают побоище...

В игровой стилизации под рукопись конца XVIII века «7 ноября. Анекдоты и факты. Издание подготовил А.М.Песков» («Дружба народов», 1993, № 11-12) история получает уже несколько большие права. Не претендуя на точность имитации, автор, Алексей Песков, тщательно собирает, однако, разнородные исторические известия вокруг 7 ноября 1796 года — дня восшествия на престол Павла I. Перед нами, таким образом, любопытный опыт синтеза художественности с документалистикой.

Использование исторического антуража для аллюзионного прочтения современности отличает «Клеарха и Гераклею» Юлии Латыниной («Дружба народов», № 1) — «греческий роман» о приключениях Клеарха из городка Гераклеи в IV в. до н.э. Герой активно домогается власти, а превратности судьбы заносят его в Персию и делают участником тамошних придворных интриг. Стилизация древнегреческой прозы; усвоен и опыт философской по-

вести XVIII в.. В итоге — остроумный «политологический роман», где подробнее всего обсуждаются проблемы общественного устройства и государственного управления. Сравняется опыт персидской монархии и греческой демократии, переходящей в тиранию.

Что касается исторической прозы более традиционного характера, где историческая тема хотя и получает современное освещение, однако интересует все же автора и в собственном своем содержании, то здесь можно отметить повесть «Выбор полковника Вышеславцева» («Москва», №3), автор которой, Юрий Маслов, обращается к истории гражданской войны. Но — расставляя в ней сегодняшние идеологические акценты. Под Новороссийском воюют друг с другом белые, красные, зеленые — казаки, кадровые офицеры и солдаты, крестьяне и рабочие. Причины, по которым они из белых становятся красными, зелеными или наоборот, зависят от игры случая. Со всех сторон одинаковая жестокость и ненависть, везде грабежи, пьянство, мародерство. Все они русские люди, все они за Россию, единую и неделимую, и красный командир полка, бывший путиловский рабочий, пытаясь понять смысл происходящего — что его разделяет с белыми, в чем его отдельная от них правда? — не находит ответа. Однако что его разделяет с евреями и поляками, он понимает, как понимает это и его противник, полковник Вышеславцев, командующий полком Белой гвардии. Не веря в белое дело, которое погубили боровшиеся за власть генералы, но не веря и в правоту красных, готовящих гибель будущей России, полковник выбирает самоубийство.

Сходное настроение читатель обнаружит и в рассказе Михаила Бутова «Известь» («Новый мир», № 1) о белогвардейском офицере-корниловце. Рассказ не очень внятен по общей идее, но выразительно передает атмосферу гражданской войны: кризис традиционных этических представлений, обесценение человеческой жизни, поиск ускользающего смысла «белого дела»...

Отметим, наконец, что в «Нашем современнике» (№ 1-2) продолжает свою романную летопись драматических событий в селе Шибаниха на Вологодчине времен коллективизации Василий Белов. В романе «Год великого перелома» (Часть третья) он рассказывает, как крестьянский уклад с его привычным течением жизни, кругом ежедневных хозяйственных, семейных, бытовых забот подвергается все более грубому вторжению власти, ломающей характеры и судьбы; как все более обесмысливаются хозяйственная самостоятельность, предприимчивость и инициатива.

С начала года продолжилась и публикация исторического романа Владимира Личутина «Раскол» (книга вторая — «Крестный путь». — «Наш современник», № 1, 2, 3. Начало — в № 10, 11 за 1993 г.), о котором уже сообщалось в прошлом выпуске БСК.

Оба эти романа (как и повесть Юрия Маслова), по содержательной своей структуре вплотную примыкают, в сущности, к той разновидности журнальной прозы современной тематики, которой в прошлых выпусках БСК мы дали условное наименование идеологической. В этом «жанре» начало года тоже принесло некоторый урожай.

События опубликованного посмертно романа *Бориса Бондаренко «Диссидент»* («Москва», № 1-2) происходят в ставшие уже для нас историческими 60-80-е годы и связаны с традиционной конфликтной схемой, характерной для литературы «шестидесятников». Герой романа — изгой, не приемлющий навязываемого ему образа жизни, бич, скитающийся по просторам Сибири и Дальнего Востока в поисках смысла собственной жизни. Его «диссидентство» заключается в том, что, имея неполное среднее образование, он становится начитанным опровергателем марксизма, цитатами из классиков уличая представителей местной власти в невежестве и по разным поводам демонстрируя им свое умственное превосходство. За это он попадает под суд, потом в психбольницу. Но в его бедах, вопреки убеждению героя (и, кажется, писателя), виноваты не власти и не коммунистические порядки. Перебирая разные варианты, которые предлагает ему жизнь, — литературная деятельность, свой дом с любящей верной женой, отчий дом с беспомощными стариками-родителями — он отказывается от душевого труда, который требует упорства и силы, и срывается, мучимый совестью, за своей постылой свободой в новое бродяжничество. После отчаянных, но умозрительных попыток обрести себя в вере, герой кончает жизнь самоубийством, избавляясь от преследующих его пустоты и бессмысленности. Однако одна из основных идей романа при этом: «жить на трезвую голову в нашем бесчеловечном, изолгавшемся государстве... слишком уж непосильная задача для простого смертного».

Иную, но тоже отчетливую тенденциозную и идеологическую направленность имеет роман *Сергея Солоуха «Шизгара, или Незабвенное сибирское приключение»* («Волга», 1993, № 6-9). Это поэтизированное повествование являет собою своего рода роман-гимн и одновременно роман-эпитафию поколению «безумцев и мечтателей», нынешним 35-летним, пережившим в 70-е годы свой единственный короткий праздник души и продолжающим жить, внешне, может быть, и благополучно, но механически, душевно отсутствующим образом. Разветвленный сюжет, щедрый на неожиданные и совпадения (которыми отечественный быт, богатый унизительными подробностями, преследует юных героев), разводит вчерашних одноклассников и их друзей из южносибирского городка, пустившихся в автономное плавание по жизни. И вновь

сводит в поезде «Новосибирск-Москва», куда они пробираются, проявляя чудеса изворотливости и изобретательности и сметая на своем пути все препятствия: они уверовали в «обломное» газетное известие, что в Москву приезжают Битлы. Традиционный мотив дороги позволяет лучше разглядеть героев, являющих собой «позор и брак отечественной педагогики», — немых и нестриженных, хорошо знакомых с иглой, «травкой» и «колесами». Электрический звук, который породили провинциальные мальчишки из Ливерпуля, стал для них «земной формой существования, верой и любовью»; это пленники мечты «о всеобщей любви и праздничной справедливости будущего детского мироустройства». Они едут, чтобы «воспарить, достигнув блаженного единения» со своей мечтой, чтобы вместе войти «в прекрасную страну, где исполняются все желания, где сказка становится явью». Они не знают того, что захватившая их надежда уже «испустила дух среди всеобщего попового шабаша», и они родились как раз вовремя, чтобы достойно отпеть ее. Те из героев, кому удастся доехать до Москвы, заполоненной съехавшимися со всего Союза такими же безумными мечтателями, окажутся в грандиозной тусовке в Лужниках, чтобы попасть в облаву, организованную «союзом серых шинелей и габардиновых пальто»...

Наконец, следует упомянуть и яркий образчик идеологической прозы «Молодой гвардии» (начало в № 11-12 за 1993 г., окончание в № 1-2 за 1994 г.) — роман *Ивана Шевцова «Голубой бриллиант»*. Сочинение известного автора известной в 60-е годы «Тли» выдержано в том же стиле социалистического реализма и повествует о любви художника Алексея Иванова к журналистке Маше Зорянкиной, по возрасту годившейся ему в дочери. В свободное от искусства время он дарит ей куклы и объясняет смысл октябрьского переворота, говорит о тайных силах, двигавших большевиками, и о силах, одурманивающих народ сегодня. Маша внимает ему с глубокой солидарностью и с теплой улыбкой. В романе выведен также образ генерала Якубенко, друга художника, который, веря в восстановление Советской власти, ведет народ на танки в феврале 1992 г. От травм, полученных в стычках с органами охраны правопорядка, генерал умирает, но последняя его мысль — о суде, который настигнет предателей отечества. Маша выходит за художника замуж, они живут счастливо, пока их не забирает с собой летающая тарелка.

Любопытно, что роман дал повод для еще одного экзерсиса в духе «постмодернистской» критики. Штатный критик «Независимой газеты» *Виктория Шохина* в статье «Русский кэмп» («НГ» 22.03.94 г.) уверяет, что стиль романа (социалистический реализм, доведенный до самопародирования) представляет собой кэмп — ис-

кусство двойной кодировки. Его эзотерическая сторона обращена к немногим интеллектуалам, экзотерическая — к обычному читателю. Критик пишет, что «Иван Шевцов уловил наиболее забавные из распространенных иллюзий и предрассудков эпохи. Причем как «патриотического», так и «демократического» лагеря (что лишний раз подтверждает их методологическую близость)». Таким образом, перед нами еще один шедевр постмодернизма.

А в тему «наши за границей» свой идеологический вклад вносят «Рассказы из Италии» Маргариты Сосницкой («Наш современник», № 3). Героиня рассказов (родом из города Менделеевска) — переводчица, имеющая за плечами неудачное замужество. Она работает в Риме по контракту в совместной фирме и мается от бесчеловечности окружающих итальянцев. Оказавшись в компании «молодых князей» Волконского, Трубецкого и Оболенского, которые за чаем заняты исключительно тем, что мрачно и отрывисто сводят счеты с родиной предков, патриотически настроенная героиня осуждает их, попутно поставив на место «молодую Пушкину» за то, что ей «не знаком опыт прерванной культуры». При этом автор явно не подозревает, что высказанное одним из князей сожаление о том, что Наполеону не удалось завоевать Россию, принадлежит Смердякову. Да и весь антураж этих «смердяковско-княжеских посиделок» сильно смахивает на пародию, а плохой русский язык укрепляет это впечатление. В финале, сосватанная одним из князей и получив от него «перстень с прямоугольным сапфиром в малине из бриллиантов», героиня примеряет к себе титул, представляя себя «княгиней (?) Парашей Жемчуговой», и даже «не боится возвращаться» на родину, где они с будущим мужем, получившим в подарок от богатого дядюшки «не такое уж скромное водочное княжество», займутся, чтобы «помочь России», налаживанием производства особой водки — «чистой и обжигающей», которая до сих пор «славилась по всем америкам и европам, не включая отечества»...

Из произведений современной темы, более тесно связанных не столько с идеологией, сколько с непосредственно-изобразительной (хотя и не лишенной, разумеется, оценочного освещения) традицией художественного постижения сегодняшней жизни, отметим следующие:

— *Повесть Юрия Малецкого «Ониксовая чаша»* («Дружба народов», № 2). Это — эпизод из жизни современных горожан. Действие отнесено к августу 91-го года, события которого находят косвенное отражение в повести, преломляясь в сознании ее персонажей. Автор свидетельствует о духовном неблагополучии, которое обнаруживает себя во взаимном непонимании самых близких родственников, в рутинных мерзостях будней. Повесть интересна

тонкой проработкой мотива всеобщей отчужденности, расстыковки в человеческих взаимоотношениях.

— *Повесть Александра Хургина «Дверь»* («Новый мир», № 3). Это подробное воспроизведение унылой, духовно скудной жизни наших современников. Люди одиноки и неприкаяны, погружены в свои заботы и комплексы. Глубокий контакт между ними почти невозможен, социальные связи рвутся. Символом этой атомизации становятся заботы главного героя о безопасности своего жилища: он ставит железную дверь и т.д. Хургин — зоркий наблюдатель и тщательный фиксатор городского быта.

Находясь в тех же поисках, *Виктор Сорокин в рассказах «Коршуны», «Зеленый свет», «В мороз», «Карлушиха», «Стамбульская тарелка», «Валет и Акулина»* («Наш современник», № 1) отталкивается от картинок с натуры — как портятся дети, голодные и беспризорные, шныряющие по московскому Черемушкинскому рынку, как инвалиды, ветераны войны в поисках приработка к скудной пенсии проявляют «русскую смекалку», добывая по очередям дефицит и соединяясь в купле-продаже с деловыми коммерсантами с Кавказа. Писатель возвращается мыслями в свое детство в уральском горном хуторе, как в утраченный рай, где все было по-иному — и отношения между людьми, и детство, и старость, и в этих воспоминаниях черпает надежду на будущее и силы жить.

Жанр «паломника», путешествия к святым местам, возрождает *Владимир Крупин в повести «Крестный ход»* («Москва» № 1), духовным пафосом напоминающей роман И.Шмелева «Лето Господне». Это исповедальное повествование о крестном ходе летом 1993 г. в Вятке. «Весь крестный ход длится неделю: три дня до Великой, день там, три дня обратно». По жаркой летней дороге, через леса и пустые деревни идут сотни паломников. Идут, несут мешки с грехами Леша и Коля, физики из Обнинска, Люба, музейный работник, врач Нина, девяностолетняя Маргаритушка. Идут, поют в дороге духовные песни, делятся переживаниями: кого-то спасла Божья Мать, кому-то пригрозил Николай Угодник; сетуют на то, что ни одной женщины нет без греха. Из разговоров с ними, наблюдений, историй жизни и переживаний самого автора и составлена повесть. Крупин описывает обряд, его историю, сопровождающую его особую молитвенную настроенность и сосредоточенность, краткие ночевки, общие разговоры и выделяющиеся лица в толпе паломников, отмечая по пути следы бывших деревень, оскверненную землю и изгаженные водоемы. Крестный ход для писателя — знак того, что Россия жива, что внутренне она та же, что и столетия назад. Он описывает крестный ход как путь покаяния. Повесть заканчивается словами: «Наш Бог —

Бог православия, кого убоимся, наша вера — вера православная, кого устрасимся?» .

Поиски «живой» России и в *рассказах Михаила Ворфоломеева «Тихие голоса» и «Родительская суббота» («Москва», № 2)*. Писатель ищет ее в душах людей — старика-погорельца и его дочери, душевно обогревающих и укрепляющих друг друга; вдовца, разговаривающего с женой, как с живой, на ее могиле.

Николай Блохин в рассказах, объединенных общим названием «Упористые островки в покладистом море» («Наш современник», № 3), тоже обращается к религиозной теме — истории религиозных гонений первых лет советской власти. Герои рассказов доживают до наших дней волею автора, которому хочется неотвратимости воздаяния за грехи — если не в жизни, то хотя бы в литературе. Возле бассейна «Москва» безумный старик горячечным шепотом исповедуется рассказчику в грехах, которые не оставляют его и не дают спокойно умереть, — равнодушная полувера, безучастие таких, как он, и заложили первые мины под храм Христа Спасителя («*Мины*»). В рассказе «*Колпак*» чекист, с «огненной молодости» замороженный неким проектом стеклянного колпака над Москвой, всю жизнь как бы возводил это сооружение, беспощадно уничтожая людей, тянувшихся к небу. К старости — одинокий, никому не нужный, боящийся света и людей — он выходит по ночам на свою обычную прогулку к Лубянской площади и однажды видит на ней «стоящий в воздухе и сверкающий золотыми куполами, давно снесенный храм Гребневской Божией Матери». Храм устремляется ввысь, и он слышит «звон разбиваемого крестами колпака над Москвой». Умершего от потрясения старика никто не забирает из морга, «и труп его пошел на разделку для нужд медицины»...

Более сложные формы художественного постижения современности, сочетающие реалистическую изобразительность, условность, публицистически-философское оснащение или даже притчевые конструкции, мы находим в повести *«Изгнание из Эдема» Александра Мелихова («Новый мир», № 1)*. Эта «исповедь еврея» представляет собою попытку определить социокультурный статус советского еврея и описать характерный склад его самоощущения. Перед нами сплав семейно-биографической хроники (детство в убогом казахстанском поселке, трудный и нищий быт и т.п.) и эссе с актуальными публицистическими выходами на популярную ныне тему о евреях в России.

Другая повесть *Александра Мелихова, «Эрос и Танатос, или Вознагражденное послушание» («Нева», 1993, № 12)*, посвящена в основном социалистическому эросу. Описываются сопутствующие комплексы и опыт героя на фоне советской идеологии.

В этом же ряду из прозаических произведений крупной формы следует отметить роман *Алексея Слаповского «Первое второе пришествие»* («Волга», 1993, № 8-9), который предлагает читателю увидеть в сегодняшней жизни ее евангельскую подоплеку. Все происходящее в городке Полянске Сарайской области вполне реально, но сквозь эту реальность проступает другой, преображающий ее мистический смысл, по мере продвижения к финалу все более властно очерчивающий роль того или иного персонажа в жестком евангельском сценарии. Каждый из них, ведая или не ведая, что творит, до конца исполняет свою роль, как исполняет ее Петр, сын кочегара из котельной и уборщицы Марии, еще недавно добродушно смеявшийся над городским сумасшедшим, возомнившим себя новым Иоанном Крестителем и скончавшимся от усекновения главы по наущению возненавидевшей его женщины. Терзаемый сомнениями и тоской, в двоящемся свете реальности и ее евангельского смысла получающий все новые доказательства своей избранности на крестную муку, Петр принимает на себя грехи людей и — чтобы они теперь жили радостно, не боясь «второго» второго пришествия, Страшного суда, — встречает мученическую смерть: подростки-садисты с издевательствами и надругательствами распинают его на остоле сожженного вагона...

Наконец, отметим несколько вещей, обращенных к более общим, «вечным» проблемам этического и экзистенциального плана. Здесь прежде всего нужно назвать превосходные рассказы *Фазиля Искандера — «Ласточкино гнездо»* («Новый мир», № 1), где нравственная неудовлетворенность московского ученого-физика обнажается автором на фоне неожиданного поворота его судьбы, влекущего драматическую развязку, и рассказ *«Страшная месть Чика»* («Знамя», № 2) продолжающий цикл рассказов о мальчике Чике, на сей раз с акцентом на теме воздаяния за добро и за зло.

В рассказах *Бориса Екимова «Цветение садов»* («Наш современник», № 3) читатель, напротив, отдохнет душой в безлюдье, на пустынном берегу Дона, растворившись в природной благодати, вдыхая запахи летнего травостоя, любуясь цветением садов, различая оттенки в сладости, спелости, аромате яблочных плодов, но попутно получая и полезные советы, заботливые наставления.

В цикле рассказов *Владимира Шапковала «Чужие»* («Дон», 1993, № 10-12) действуют разные герои, похожие, однако, друг на друга тем, что их бескорыстная помощь людям, нежелание гоняться за выгодой делают их чужими в той среде, где они живут, и обрекают их на одиночество.

С рассказами Шапковала перекликается рассказ *Виктора Пшеничникова «Пришлый»* («Москва», № 2) — о поселившемся в де-

ревне новом человеке, который заново отстроил и разукрасил купленную развалюху, соорудил ветряк для автономного электричества, наладил производство розвальней и детских санок, перекинул арочный кирпичный мостик через тонкий ручей, сделал проезжей старую дорогу. Деревенские ребятишки липли к нему, никого он не обидел, ничего дурного не сделал, но не пил, магарыч не ставил и стал бельмом на глазу у деревенских мужиков, которые однажды ночью пожгли все его постройки. После его исчезновения из деревни рассказчик, тоже из «пришлых», стал прикидывать, где он поставит ветряк...

В традициях «деревенской» прозы написаны рассказы Климента Борисова «Внутреннее сгорание» и «Таис» («Урал», 1993, № 11) о людях Предуралья — с их невеселыми судьбами, с их природной мягкостью и деликатностью, приверженностью своей земле.

В рассказе Ольги Бирюзовой «Мы дружили» («Москва», № 2) девочки-подростки осваивают жизнь, получая доказательства существования в ней высшего разумного порядка, который гарантирует симметрию поступков, даже нечаянных, и их последствий. Рассказ овеян предчувствием утраты детской веры в справедливость жизни, будущим страхом перед ней.

В «чеховской» тональности написан рассказ Юлиу Эдлуса «Маленькая ночная серенада» («Культура», 1994, 15 января) о талантливом скрипаче, который безысходно завяз в провинциальном болоте, а по ночам видит сны о том, как он — обновленный и свободный — сидит за пультом первой скрипки в московском концертном зале.

Отметим в этом ряду и рассказ Юрия Буйды «Виллупут из Виллупутиш» («Октябрь», № 1) — о подростке, который отстаивает свое понимание справедливости. Это, как часто у Буйды, тщательно собранная рационалистическая конструкция, основанная однако на хорошем знании послевоенного жестокого и нищего быта глухой советской провинции. Нравственная антитеза элементарна, но в ее обработке ощущается усвоение уроков Фолкнера.

С поэтикой постмодернизма более тесно связаны короткие рассказы из «Книги для тех, кто не любит читать» («Дружба народов», № 2) Алексея Слаповского, который в своей привычной манере экспериментирует, упраздняя интригу и излагая лишь элементарную последовательность событий, которые как бы ни к чему не ведут. Ощутимо влияние Хармса. Сходного характера и его же «Вещий сон» («Знамя», № 3) — «детективная пастораль»: то ли сон, то ли явь. Герой пробуждается ото сна, чтобы оказаться в новых сновидениях. Фоном же является хаос постсоветской действительности в городе и деревне.

В заключение отметим ряд публикаций мемуарного характера: — «Vixi» *Алексея Адамовича* («Дружба народов», 1993, № 10), «законченные главы незавершенной книги» о детстве и юности автора, о родителях, о белорусской деревенской и поселковой жизни 30-х г., об оккупации, о послевоенной молодости, взаимоотношениях с «органами» и др. Это мемуары в сочетании с публицистическими отступлениями и художественными вставками (например, фантастический сюжет о беседах Гитлера и Сталина)

— Роман *Анатолия Наймана* «Поэзия и неправда» («Октябрь» № 1-2) — повествование о молодых ленинградских поэтах рубежа 50-60-х гг., к числу которых принадлежал и сам автор. Мемуарная хроника сочетается с художественным вымыслом, с имитацией дневников и записок по случаю. В центре действия — поэт Германцев, который уходит из современности, чтобы вобрать в себя и пережить опыт крупнейших русских поэтов XX века. Автор размышляет о соотношении творчества и жизни, поэзии и правды.

— Написанный в форме дневника «93-й год, или бортовой журнал машинистки Риты Ч.» *Раисы Мустонен* («Москва», № 3), обладающий всеми приметами подлинности. Обычная совслужащая, машинистка из нищей конторы, заводит дневник, «чтобы было что в старости вспомнить», и зарекается писать о политике, но все, что она пишет — о полуголодном существовании, о ваучерах, о жалости к бездомным животным, о грабителях-слесарях из ЖЭКа, о «гастрономических снах», о дачных заботах, о неудачных поисках приработка, о творческой интеллигенции, разводящей на продажу кроликов, и т.д. — так или иначе связано с политикой.

— Повесть *Ирины Муравьевой* «Ляля, Наташа, Тома...» («Дружба народов», 1993, № 10) — род семейной хроники. Это сентиментальная, трогательная история о подругах-москвичках из культурных семейств на фоне суровой эпохи (рубеж 40-50-х гг.), разрушающей девичьи грезы.

Из мемуарной литературы можно отметить и воспоминания вологодского поэта *Александра Романова* «Искры памяти» («Север», № 1) о поэтах-земляках Александре Яшине и Николае Рубцове, а также воспоминания вдовы ростовского писателя В.Д. Фоменко *Ирины Левиной* «Александр Твардовский — Владимиру Фоменко. Письма и воспоминания» («Дон», 1993, № 10-12) — об их многолетних отношениях, дружеских и литературных.

В значительной мере автобиографичен и «*Exegi monumentum*» *Владимира Турбина* («Знамя», № 1-2) — авантюрно-фантастический роман, где автор сплетает быль и мифы Москвы застойных времен, вовлекая в повествование интеллигентов и гэбистов, па-

рапсихологов и тайновидцев. В романе есть философские рассуждения и путешествие в прошлое, в XVIII век.

Наконец, особо отметим своеобразную публикацию *Владимира Бахтина* «Приходи ко мне вчера» («Нева», 1933, № 11), где он предлагает коллекцию образцов современного фольклора — детских нескладух и нелепиц (типа: «Включите свет! Дышать темно и воздуха не видно!»).

II. ПОЭЗИЯ

Ряд стихотворных публикаций начала года отдан так называемому «авангарду». Все их объединяет, как правило, непонимание и неприятие окружающего мира и, более того, декларация этого непонимания и неприятия. Разумеется, здесь — фундамент авангардистской культуры, так что наши поэты-«авангардисты» верны себе.

На этом общем фоне выделяются *стихи Алексея Алехина* («Дружба народов», № 1), хотя и построенные, как большинство верлибров, на мимолетных, поверхностных ассоциациях, но представляющие лирического героя добрым, спокойным и мудрым — в традиции (в том числе — и формальной) скорее восточно-азиатской, нежели российской или европейской.

Характерное название подборки *Александра Левина* — «Что-то как бы происходит...» («Дружба народов», № 2) очень точно передает существо представленных стихотворений. Состоящие из реминисценций, намеренно сломанной лексики и придуманных поэтических картин, стихи не могут спастись ни стандартным эпатажем, ни игровой формальной установкой — отсутствие истинных боли и страсти слишком очевидно.

Опубликованные здесь же стихи *Михаила Кукина* куда значительнее. Они передают впечатления молодого человека, юноши, только вступившего в жизнь, замечающего те или иные ее внешние проявления, но пока не умеющего дать им собственную оценку. Пытаясь выработать ее, поэт обращается к пушкинской кальке.

Возможно, в рамках своего стиля самодостаточна и *Татьяна Вольтская*, пишущая в этой же книжке журнала и о мерзости сегодняшних ночных улиц, и о губах любимого так называемым «культурным стихом» — с употреблением почти уже обязательных для женской поэзии «снов», «ветров», «волн» и прочих «жертвенных костров», давно ставших общим местом литературы.

Вообще же следует отметить большое количество поэтесс, ступивших на поэтические страницы в начале этого года: *Светлану*

Кекову («Знамя», № 1), Олесю Николаеву («Знамя», № 2), Татьяну Полетаеву («Знамя», № 3), Елену Аксельрод и Ольгу Постникову («Новый мир» № 1). Все они вполне профессиональны, имеют устойчивую литературную репутацию. Ольга Постникова назвала свою подборку «Бабы песни». Как известно, существует много любителей именно такого жанра, начинающего оказывать феминистическое влияние и на творчество мужчин — например, на стихи Юрия Кублановского («Знамя», № 2), изобилующие образами и метафорами, более привычными именно в «Бабых песнях».

Этим поэтическим приемам можно противопоставить творчество Владимира Соколова, опубликовавшего стихи разных лет в «Знамени» (№ 1). Как из обычных слов складывается тонкая лирика — загадка, которую, слава Богу, никогда не удастся разрешить.

Следом за подборкой признанного мастера опубликованы стихи малоизвестного ростовского поэта Юрия Фадеева, которые, возможно, явятся открытием для литературных столиц. Совершенно состоявшиеся художественно, жесткие, четкие, глубокие, его стихи выводят на первый план не эфемерного лирического героя, а самого автора — духовно крепкого и зрелого человека.

Достаточно «сделаны» стихи, написанные Александром Грабарем («Знамя», № 3), которому только двадцать один год. Вероятно, редакция, замороженная возрастом автора, решила не обращать внимания и на многочисленные стилевые заимствования из самых разных поэтов — от Маяковского и Пастернака до Лермонтова и Есенина, и на то, что пока ничего нового ни о Москве, ни о Германии, где живет автор, он не только не сказал, но, главное, не почувствовал. Несомненными напором и энергией, с которыми все здесь написано, автору еще предстоит научиться управлять.

Отчетливо управляемы автором «Этюды в манере Огарева и Полонского» Генриха Сапгира («Новый мир», № 3). К сожалению, название подборки остается для читателей втуне. О близости стилевых манер тут нечего и думать, поскольку автор — один из известнейших (более — за рубежом, чем в России) лидеров авангарда. Остается не совсем ясной и причина отсутствия в тексте точек и запятых, поскольку оное отсутствие не создает новой художественной данности, ничего не прибавляя стихам и не отбавляя от них. Огарев или Полонский, увидя таковое в редактируемых ими журналах, наверняка дали бы расчет метранпажу.

«Новый мир» опубликовал две мемориальные подборки, обращающие на себя внимание, — Алика Ривина (№ 1) и Бориса Слуцкого (№ 3). Стихи А.Ривина, написанные под большим влиянием Хлебникова и общей «маяковской» эстетики первых лет революции,

привлекают пробивающейся сквозь формальную заданность искренностью. Говоря же о Борисе Слуцком, «Новый мир» совершенно справедливо вспоминает о многолетнем публикаторе поэта Юрии Болдыреве. Благодаря Ю.Болдыреву свершилось некое чудо: большой поэт умер, а стихи его продолжали выходить к читателям, словно только что сошедшие с рабочего стола. Теперь умер Ю.Болдырев. Редакция «Континента», чьим автором он был, в этом кратком обзоре присоединяется к словам скорби о добром и талантливом человеке.

III. ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Наиболее заметные публикации, посвященные общему осмыслению современного литературного процесса:

«Миф о поколении, у которого однажды отняли свободу» («Дружба народов», № 2) — круглый стол критиков Аллы Марченко, Александра Архангельского и Андрея Немзера. Участники рассуждают о современной литературной ситуации, о «поколенческой идее» в литературе, пытаются вывести некий общий знаменатель нынешней литературной жизни. Обсуждается творчество Маканина, Давыдова, Шишкина, Дмитриева, Солоуха и других.

Статья Александра Архангельского «Огонь бо есть. Словесность и церковность: литературный сопронат» («Новый мир», № 2) — попытка осмысления того, как религиозный опыт облекается в художественную словесную ткань. Материал анализа — в основном русская литература XIX в., но отчасти и современная словесность. Автор отмечает неудачи Айтматова и Алфеевой и успех Н.Трауберг — переводчицы Г.К.Честертон и К.Льюиса.

Статья Бориса Парамонова «Постмодернизм. Конец стиля» («Независимая газета», 26.01.1994) — апология постмодерна. Отвергая эстетическую, художественную классику «как возвышающую альтернативу», автор истолковывает постмодернизм как все, что противостоит «репрессивной культуре», идеологизму, моностилю.

Статья Виктора Камянова «Космос на задворках» («Новый мир», № 3) — выполненный в жанре обширного интеллектуального памфлета разбор литературы постмодерна, с критикой «глумливо-безлюбивой эстетики «люмп». Автор рассуждает о том, почему писатель не ищет истину, не стремится к пониманию мира, откуда берется и что значит «эстетика безначалия». Речь идет о В.Пелевине, Е.Попове, А.Бородине и других.

Об эсхатологичности в национальном мировосприятии, отраженной в литературе, размышляет Вера Чайковская в статье «На раз-

рыв аорты. (Модели «катастрофы» и «ухода» в русском искусстве). («Вопросы литературы». Выпуск VI (1993 г.). Главный «грех» русской литературы, по мнению критика, заключается в ее революционности, в стремлении потрясать основы. Критик определяет этот способ отношения к миру как юношеский и связывает его с «предельными» моделями — «катастрофы» и «ухода», не рассчитанными на здравый смысл и реальные обстоятельства. Но, замечает критик, обвинять в этом русскую литературу, значит обвинять ее в том, что она дала бесконечный масштаб оценок, поставила неразрешимые жизненные вопросы, усомнилась в спасительности традиционных ценностей. Характеризуя модели «катастрофизма» и «ухода», критик пишет, что «катастрофическая» модель исходит из реального «бытия-во-времени»; высшим выражением этой модели является любовная катастрофа. Такова бунинская линия. Модель «ухода» ориентирована на полный разрыв с «наличным бытием», и это линия Набокова. В третьей части статьи утверждается, что мотивы «катастрофы» и «ухода» в искусстве последних лет продолжают как некие «магистральные линии экзистенциального постижения жизни».

Отметим, наконец, в этом ряду и статью Александра Гольдштейна «Скромное обаяние социализма». (Неосентиментализм в советской литературе тридцатых годов) — «Новое литературное обозрение», № 4, 1993 г. Статья посвящена одной недооцененной, как считает автор, ветви советской литературы. Это некая общность текстов, созданных в тридцатые годы и объединенных одним стремлением «показать особую теплоту роевых, коммунальных связей, роевой семейственности, этику низового пролетарского демократизма и простых и честных охлократических обычаев и свывчаев»... Новая чувствительность, новый сентиментализм, о котором заговорили в 30-е годы, «стихия семейственности, частной жизни человека, нехитрая прелесть домашнего бытия воскресили на страницах «Наших знакомых» Ю.Германа, «Степана Кольчугина» В.Гроссмана, «Дикой собаки Динго» Р.Фраермана, «Двух капитанов» В.Каверина, «Машеньки» А.Афиногенова»...

Из литературно-критических портретных «персоналий» отметим статью Игоря Дедкова «Объявление вины и назначение казни» («Дружба народов», 1993, № 10). Это концептуальный анализ романа В.Астафьева «Прокляты и убиты». Автор вписывает роман в традицию бытописательной русской прозы, отмечая новые черты и в манере Астафьева, и в объекте его изображения, а далее переходит к осмыслению астафьевского понимания человека. В героях романа критик не находит чувства другой жизни, ее возможности, нет у них и самоукора. Астафьев — «художник не милующий, а взъясывающий и казнящий». У него верховодят чувства,

а мысль гушается, по мнению Дедкова, тоже за это Астафьева «не милующего».

В жанре эссеистики обращают на себя внимание два *литературных эссе*, посвященных О.Э.Мандельштаму,— *Виктора Кривулина «Последний взлет»* («Волга», 1993, № 9) и *Аркадия Львова «Желтое и черное»* («Наш современник», № 2). Кривулин размышляет о воронежском периоде жизни Мандельштама, о его стихах из «Воронежских тетрадей», объясняя взрыв его поэтической активности «силой почвы», которую почувствовал поэт, оказавшись впервые в жизни «лицом к лицу с русской... провинцией, живущей под властью земли». Львов в свободной, раскованной манере рассматривает жизнь и творчество Мандельштама через призму его еврейства, через его попытки преодоления в себе «иудейского хаоса», в итоге оказавшиеся, по Львову, несостоятельными, поскольку, считает он, еврею не дано «отлепиться от иудейского стада» и блудный сын, собирающий «травы для племени чужого», неизбежно вернется в ветхозаветное лоно.

Уважаемая редакция!

С удивлением прочитал в «Континенте» № 78 письмо уважаемого публициста Анатолия Стреляного. В особенности следующий пассаж:

«На Западе существует договор издателей серьезных книг, журналов, газет. Он не положен на бумагу, но выполняется неукоснительно. Не давать слова расистам и шовинистам. Не пропускать болтовни о природном назначении женщины. Не помещать проектов переустройства общества на особо благородных началах...»

Вот уже более двадцати лет я живу на Западе. И как писатель, и как публицист, и как многолетний издатель, смею думать, достаточно основательно изучивший здесь издательско-газетный мир, со всей ответственностью свидетельствую, что никакого — ни формального, ни келейного, ни морального — договора подобного толка в природе не существует.

Такому принципиальному рыночнику, как автор этого письма, следовало бы давно усвоить предельно простую формулу обожаемого им рынка: производится то, что покупается. Это в полной мере относится и к издательско-газетной сфере. Поэтому на высокоцивилизованном Западе, о котором, как выражается Анатолий Стреляный, «мечтать... в России, наверно, рано», в самых престижных изданиях публикуются и антисемитские бредни пастора Фарраhana, и антиарабские филиппики Ле Пена, и «проекты переустройства общества на особо благородных началах» Габриеля Марсея и Маркузе. Даже «Майн Кампф» издан на большинстве европейских языков, в том числе и на иврите в Израиле. Мало того, по свидетельству самой американской печати, в ряде магазинов этой благословенной и обожаемой нашими рыночниками страны беспрепятственно продается детская игра «Убей еврея». Не правда ли, трогательно? Признаюсь, за книгами «О природном назначении женщины» я не следил, но уверен, что и в этой области дело обстоит точно так же.

Это и есть демократия, которая, уважаемый Анатолий Иванович, кроме многих других прав, предполагает еще и право знать. Пора бы нашим интеллигентам, раз уж они хотят быть демократичнее всех на свете, усвоить и эту простенькую истину.

Что же касается «третьего пути», то эта проблема является одной из ведущих в интеллектуальных дискуссиях в образованном обществе Запада. Освежите-ка в памяти хотя бы философскую публицистику покойного Сартра или экономические поиски нашего современника Гелбрайта. Да и я, грешный, один такой проект опубликовал. Причем, не только в нескольких эмигрантских газетах и журналах, но и в одном из самых престижных итальянских изданий — газете «Иль Джорнале». Хозяин ее — крупнейший итальянский газетный магнат Сильвио Берлускони (после недавних выборов возможный премьер-министр страны), а редактор — Индро Монтанелли — выдающийся историк и публицист. Кстати, поисками «третьего пути» между капитализмом и коммунизмом еще со времен Каутского заняты и правящие в благополучнейшей Австрии социал-демократы. Да, в той самой, где в настоящее время проживает А. Стреляный.

А вот к модным в России банальным словословиям безудержному капитализму в «образованном обществе» Запада действительно относятся со снисходительным удивлением: чужды, мол, дикари!

При чтении писем, подобных тому, что написал в «Континент» Анатолий Стреляный, у меня создается впечатление, что это не Россия, а определенная часть современной российской интеллигенции отстала от всего остального человечества лет этак на полтора.

С уважением, В.Максимов

АРТ-ФОНАРЬ

АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ

Ежемесячное приложение к еженедельнику

«Арт-фонарь» – одно из шести приложений к самому популярному еженедельнику “Аргументы и факты”. Если Вы любите кино, театр, музыку, живопись, следите за новинками литературы и моды

«Арт-фонарь» – Ваша газета.

Подписной индекс 32132.



Телефоны редакции:

924-94-49,

925-54-93.

Художник М.Кудрявцева

**Сдано в набор 2.05.94. Подписано в печать 19.07.94.
Печать офсетная. Бумага офсетная №1.
Формат бумаги 84×108/32. Гарнитура "Таймс".**

Тираж 8 000 экз. Заказ №156 . Цена договорная.

Л.Р. № 010184

**Издательство "Московский рабочий", 101923, ГСП, Москва, Центр,
Чистопрудный бульвар, 8а**

**Адрес редакции журнала "Континент":
101923, Москва, Центр, Чистопрудный бульвар, 8а.
Телефон: (095) 928-97-42.**

*Оригинал-макет изготовлен
в Центре информационного обслуживания
и подготовки печатных материалов АО "ФинСтатИнформ"*

**Отпечатано в Московской типографии №13.
107005, Москва, Денисовский пер., 30.**

1994 год, №2

